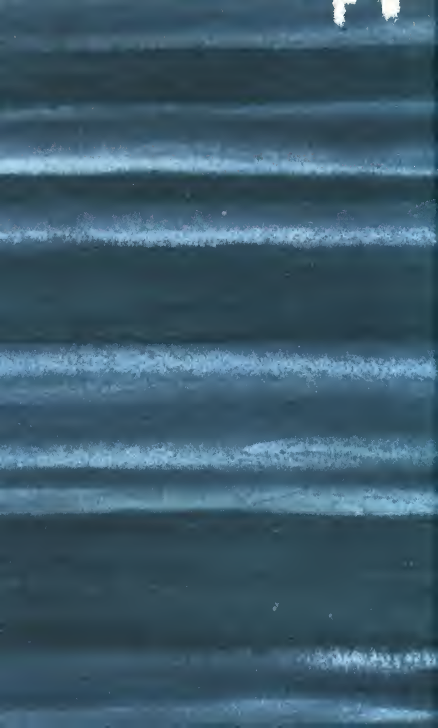
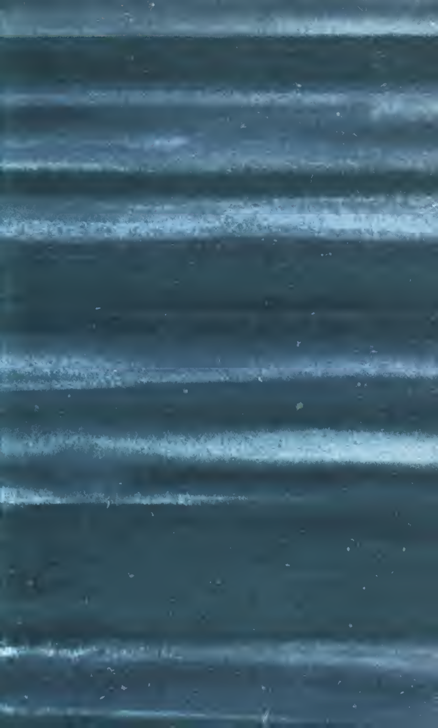
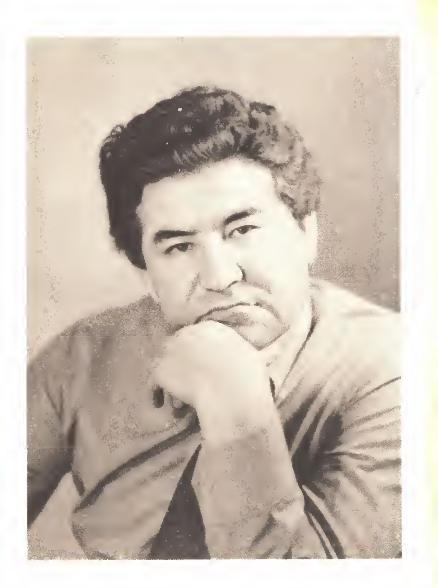

УКТАМ УСМАНОВ
ОЖИДАНИЕ







УКТАМ
УСМАНОВ

# ОЖИДАНИЕ

РОМАН, РАССКАЗЫ

*Перевод с узбекского*

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

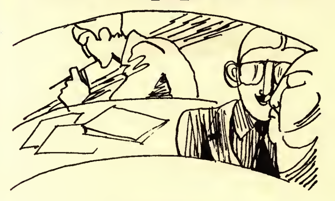
ББК 84 Уз7
У 75

*Художник* ВАЛЕРИЙ КРАСНОВСКИЙ

У $\frac{4702570200-157}{083(02)-86}$ 354—86



# НАЕДИНЕ



РОМАН

## 1

Жаркое лето.

Солнце, весь день поливавшее землю жгучими лучами, казалось, и само изнемогло и решило прилечь-передохнуть. Горизонт на западе побагровел, небесный свод приобрел цвет аниса. И только вершины далеких гор не хотели расставаться с голубизной, извечной голубизной неба, к которому они тянулись.

На Чиланзаре наступил час, когда тени от красных и пепельно-серых зданий становятся такими длинными, будто стремятся от них убежать. Раскаленный асфальт источает душную марь. На улицах гомон и суета; машины, целые караваны машин снуют туда-сюда, туда-сюда, словно их подгоняют люди, спешащие после работы домой. Автобусы переполнены, пассажиры висят на подножках, ухватившись за поручни и друг за друга. Еще чуть-чуть — и вон тот автобус, похоже, не устоит, свалится набок, но нет, ничего — он бодро катит дальше, выпуская одних и принимая других пассажиров. На остановках люди изнывают от жары, кучками пристраиваются в тени, мечтая о прохладном, спасительном ветерке — ну подуй, сделай милость.

Сквозь людской поток к мостовой пробирается молоденькая женщина. Она только что вынырнула из магазина и бережно держит в руках бутылку хлопкового масла. На женщине застиранное атласное платье, голова ее обвязана полотенцем. Она среднего роста, тоненькая, как былинка, во всем ее облике есть что-то девичье, что-то незащищенное. Однако лицо ее уже поблекло, глаза потускнели, у нее отрешенный, безрадостный вид.

Переходя улицу, женщина едва не угодила под ма-

шину. Голубая «Волга» заскрежетала тормозами, тяжело проползла по асфальту, остановилась. Дверца распахнулась, из машины выбрался стройный, похожий на спортсмена, мужчина лет тридцати. Одет он был в ладный коричневый шерстяной костюм, словно на дворе не стояло жаркое, на редкость жаркое лето.

Он направился к женщине уверенной, пружинистой походкой, поигрывая ключами на замысловатом серебряном брелоке.

— Вот это встреча! Здравствуйте, Салтанатхон! — он радостно улыбнулся.

Женщина, растерявшаяся от испуга, резко подняла голову и залилась краской. Первым ее побуждением было спрятать бутылку за спину, но, поняв, что он уже заметил ее, переложила бутылку из одной руки в другую и сконфузилась еще сильнее. Салтанат мысленно обругала продавца, который поленился завернуть ее покупку в бумагу, и тут же спохватилась, вспомнила, что на голове у нее полотенце. «Вай, на кого я похожа!» — подумала она и нервно затеребила свой полотенечный тюрбан тонкими красивыми пальцами. «Надо же такому приключиться! В каком я виде!..»

Салтанат собралась было приготовить ужин и даже разожгла огонь под казаном и вдруг обнаружила, что в доме нет ни капли масла. Она засуетилась: «Магазин вот-вот закроется», выключила газ и в спешке выбежала из дому. Ей сейчас было мучительно стыдно за старое платье с разошедшимся на рукаве швом, за полотенце, которым она закрыла намазанные кислым молоком волосы; за стоптанные свои домашние туфли. Она так растерялась, что не могла вымолвить ни слова, не знала, как вести себя в этой неловкой, унизительной для нее, как она считала, ситуации.

Мужчина приблизился и протянул руку широким и спокойным жестом.

— Вы все такая же трусиха, Салтанатхон! На улице надо быть осмотрительнее!

— Это вы, Юлдаш? Вас не узнать! — заикаясь, еле слышно произнесла Салтанат, делая вид, будто только теперь его признала.

Юлдаш понял, как она растеряна, смущена, и постарался дать ей время успокоиться.

— Я слышал, что вы живете на Чиланзаре. Как ваше здоровье, как дела? Как ваш муж, все ли у него в порядке?

Салтанат стояла, опустив голову. Сильные руки Юлдаша, которые она видела так близко, совсем рядом, напомнили ей счастливые, беззаботные дни. Однажды эти руки невзначай обняли ее на такой же вот большой улице, но как давно это было! Воспоминание обожгло и раздосадовало ее. Салтанат бросила на Юлдаша быстрый сердитый взгляд, но тут же отвела его, не выдержав открытого, смелого взгляда Юлдаша.

— Спасибо,— Салтанат потупилась, но приметливым женским своим взором сразу охватила и модные ботинки, и отлично отутюженные брюки, и редкой белизны рубашку. «Чистый артист!» — подумала она.

— Вам далеко? Я с удовольствием подвезу вас.

— Нет, нет, спасибо! Я живу в двух шагах, вон в том доме! Потому и выскочила в магазин в чем была...

— Ничего страшного. Мы ведь старые друзья. Все мы так, все в бегах, все в спешке... Где работаете?

— У меня маленький ребенок, сын,— то ли с гордостью, то ли с горечью вымолвила она.

— Рад, очень рад нашей встрече. Вот перепугал вас только, но нечаянно, простите. Передайте привет мужу. А как чувствуют себя ваши родители? — Юлдашу явно не хотелось прощаться, и он задавал ей вопрос за вопросом почтительно и дружески.

Салтанат жаждала одного — поскорее прервать эту встречу, избавиться от неловкости и смущения.

— Спасибо, спасибо, все в порядке, все здоровы. Я спешу, извините. Может быть, заглянете в гости?

— Спасибо. Как-нибудь в другой раз.

Юлдаш улыбался ободряюще, но было ему очень грустно. Салтанат, гордость школы, его первая любовь, из-за которой он испытал столько мальчишеских светлых мук, так изменилась, так поблекла! Видно, ей досталась нелегкая доля. Он протянул ей руку и крепко сжал ее длинные, вялые пальцы.

Уже сидя за рулем, Юлдаш высунул голову в боковое окошко, улыбнулся Салтанат и тихонько тронул машину с места. Он еще долго и жадно смотрел на нее в зеркало — она шла медленно, понурая и жалкая. И что-то похожее на надежду шевельнулось в нем.

Около подъезда Салтанат помедлила, оглянулась,

будто не верила в то, что эта встреча действительно состоялась, что Юлдаш только-только стоял рядом. Она поднималась по лестнице и вспоминала, как однажды ее мать спросила:

— Ты ведь знаешь сына Ашрафа-кузнеца из соседней махаллы? Он учился с тобой! У него еще дядя ученый, профессор по хлопку. Помнишь, он приходил к тебе на день рождения!

— А-а, вы говорите о Юлдаше! — рассмеялась Салтанат.— Вы ошибаетесь, мамочка, он учился не в моем классе, он старше на три года. Почему вы вспомнили о нем? С ним что-нибудь стряслось?

— Ничего с ним не стряслось! Видела его на днях, прямо-таки загляденье! Красивый, а как возмужал!.. Несу я всякую мелочь с Алайского базара, вдруг рядом останавливается машина, а в ней Юлдаш! За несколько минут домчал меня до дома. Говорит, он работал за границей, как и твой брат. Там и машину приобрел. Я-то его ни за что бы не узнала, это он меня приметил. И отец твой отзывается о Юлдаше высоко, говорит, что, если тот встретит на улице, никогда не пройдет мимо, не поздоровавшись самым вежливым образом. Вот так-то.

Мама бросила тогда на Салтанат ох какой красноречивый взгляд! Сколько в нем было укора: «Что же ты, доченька, не сумела выйти замуж за этакого парня! И сама небось была бы красавицей за таким-то мужем, не превратилась бы в молодую старушку». Салтанат горько вздохнула и опять принялась ругать себя за то, что вышла на улицу в таком неприглядном виде. «Я в самом деле стала опускаться. Надо следить за собой! Я ведь была...»

— Хвастун несчастный, пижон! — вырвалось у нее невольно.— Все такой же противный хвастун и задавака! Надо же уметь: вырядился в жарищу в шерстяной костюм! Щеголь эдакий! — Салтанат сердито и насмешливо хмыкнула. Однако сердце ее вдруг заныло, она почувствовала себя одинокой и несчастной.

* * *

Салтанат услышала за дверью плач сына. Она начала было лихорадочно открывать ее, потом остановилась, уткнулась лбом в прохладную дверную обивку. «Господи, да что же это за жизнь такая? Скучная, все

одно и то же, одно и то же! Неудачница я, неудачница! — горькие слезы душили Салтанат. — Юлдаш, да господи, как он робел, терялся передо мной раньше, а теперь? Смелый, уверенный в себе, красивый! Я, я оробела перед ним, растерялась... Замарашка, несчастная жена мужа-неудачника!» Ей стало так обидно, так досадно, так жаль себя, что в ней поднялись злоба и ожесточение на них, виновных во всех ее бедах. Она нарочито медленно открыла дверь, отнесла на кухню злополучную бутылку, присела на табурет. Не обращая внимания на крик ребенка, будто мстя ему за глубокую личную обиду, она сидела с каменным лицом, сидела упорно и долго. Сын зашелся в плаче, и тогда она вошла к нему в комнату. Сжав руку в кулак, Салтанат в тихой ярости ударила по спинке кровати.

— Вы отняли у меня счастье! Вы загубили мою жизнь! — ее голос сорвался, она разрыдалась.

Сын, словно поняв состояние матери, умолк. Салтанат опустилась на пол и замерла. Машинально перебирая бахрому дорожки, на которой она сидела, Салтанат оглядела свое жилище, будто впервые его увидела. Детская кроватка, рядом — письменный стол мужа; запылившееся, тусклое зеркало в облезлой деревянной раме; книги, папки, бумаги свалены кое-как на старой тумбочке, которая в любую минуту может развалиться. Через открытую дверь Салтанат посмотрела на так называемый зал. Когда они с Азизом переезжали сюда, на новую квартиру, отец купил им на первое время шесть подержанных стульев и круглый стол, — они стоят до сих пор. Дешевый палас; накрытый мрачным темным покрывалом телевизор «Рекорд»; старомодный диван и набитый до отказа простенькими яркими чайниками, пиалами буфет. Дверь на балкон, видно, открыта, кисейная занавеска, как парус, полощется в комнате. Салтанат, словно инспектируя все уголки своего дома, подняла глаза к потолку: голая лампочка покрыта толстым слоем пыли, на шнуре — паутина.

Ей стало горько из-за всего этого убожества. Она ясно осознала: счастье обмануло ее — ускользнуло незаметно; мечты не сбылись, а главное и самое ужасное — она разлюбила свой очаг, он стал ей чужим и постылым.

Салтанат представила себе квартиру соседа-журналиста. Чего там только не было! Немецкий гарнитур

темного дерева, кругом ковры, хрусталь, все блестит и будто приглашает восхититься собой. Накануне переезда в этот дом счастливые Салтанат и Азиз любовались комнатами, пахнущими краской, советовались, обсуждали, куда что поставить. Тогда-то они и познакомились со своими будущими соседями, поздравляли друг друга с новосельем, радовались вместе. Тогда между этими двумя квартирами не было разницы — близнецы, да и только! А сейчас?.. Небо и земля!

Всхлипывания ребенка вывели Салтанат из тяжелого оцепенения. Она быстро поднялась, со злостью всунула соску в рот мальчику и, словно кто-то управлял ею, механически приблизилась к зеркалу. Она впилась глазами в свое отражение. Потухшие усталые глаза, продольные морщины у переносицы, на бровях застыли капельки кислого молока, бороздки от него на хмуром лбу, припухшие веки. Боже, опустившаяся домохозяйка, которая махнула на себя рукой! Неряшливая и поблекшая раньше срока! Женщина, которая никого и ничего не ждет. И это называется жизнью? Молодостью? «Куда исчезли мои девичьи мечты? — отчаянье охватило Салтанат, причиняя ей почти физическую боль.— Мама сказала правду... Какой он красивый! Как возмужал! Неужто это тот самый Юлдаш? Он по одному моему слову готов был спрыгнуть с высокой крыши. Вздыхал, страдал, бегал за мной! Как быстро мчится жизнь! Я, дура, отвергла такого парня! Господи, господи, что, если я теперь расплачиваюсь за прошлое, за него...»

Салтанат с опаской вновь вгляделась в зеркало и вновь увидела, как она постарела, какое у нее стало недоброе лицо, какие чужие, не ее, глаза.

Раздался звонок в дверь. Салтанат вздрогнула и тут же сорвалась с места. Это Азиз, ну, сейчас я отведу душу! — решила она, упиваясь своей яростью, и открыла дверь нараспашку. На пороге стоял свекор.

Салтанат сегодня будто прозрела, ее глаза схватывали все в один миг, замечая то, что было долго вне ее внимания. Перед ней робко стоял Курбанбай-ата, старый человек, вся жизнь которого прошла в тяжком физическом труде. Руки со вздутыми жилами; изборожденное морщинами лицо, выдубленное солнцем и ветром; ветхая, но чистая одежда. Несколько лет назад, работая как-то на заготовке тутовника для шелкопряда, свекор упал с дерева и сломал ногу. Он пролежал

в гипсе чуть не полгода, но старая кость срослась плохо, он стал хромать и теперь ходил с палкой.

Курбанбай-ата стоял на пороге весь в испарине — подъем по лестнице давался ему трудно — и улыбался. «Только его мне и не хватало»,— пронеслось в голове Салтанат, и она, не скрывая раздражения, сквозь зубы пригласила свекра войти. «Кажется, я не вовремя»,— понял Курбанбай-ата и, чуть помедлив у порога, кашлянул и вошел в переднюю. Кастрюлю с кислым молоком, которую держал в руке, он поставил на пол у самого входа.

— Как живете, невестушка, все ли здоровы? Как Азиз, как маленький? Устали, притомились вы с ним? Бабушка прислала ему кислое молоко,— вид у старика был виноватый, ему было неуютно наедине с этой враждебно настроенной женщиной.

Салтанат возилась у кроватки сына, поправляя ему подушку. Не оборачиваясь к свекру, проворчала:

— Не пьет он кислое молоко! Мал еще! Я вам уже говорила не раз!

— Будет пить,— простодушно возразил старик. Он тянул шею, силясь разглядеть внука сквозь решетку кровати.— Кислое молоко помогает человеку в росте... А где Азиз? Еще не вернулся с работы?

Салтанат дернула плечом, сердито схватила сына и начала кормить его. Она бросала на старика косые взгляды — «Вы что, только со вчерашнего дня знаете своего сыночка?» — и все больше негодовала на непрошенного, не ко времени, гостя. Свекор так и не дождался от нее ответа, весь сжался от неловкости за нее, за себя и не знал, посидеть ему еще в этом холодном доме или встать и уйти. Он знал, что у невестки едкий и злой язык, неприветливый нрав, но сегодняшнее ее поведение было совсем уж неприличным.

Салтанат застыла в напряженной позе — ни дать ни взять каменное изваяние,— и Курбанбай-ата тихо поднялся:

— Ладно, невестушка, я пойду, будьте здоровы!

Он хотел еще что-то добавить, но передумал, проковылял в переднюю; вынул кастрюлю из платка, которым она была укутана, свернул его и осторожно прикрыл за собой дверь. Салтанат еще долго слышала стук его палки.

Когда стемнело, Салтанат принялась за стряпню.

## 2

Азиз возвратился со своего опытного участка за полночь. Стараясь не шуметь, чтобы не потревожить сон жены и сына, он осторожно закрыл за собой дверь, стал шарить ладонью по стене в поисках выключателя. Нащупал его и в этот же момент заметил Салтанат. Она стояла в темном коридоре как кошка, подкарауливающая мышь. Он вздрогнул от неожиданности, поспешно щелкнул выключателем.

— Салтанат? Что стряслось? Что ты здесь делаешь? В темноте? Почему не спишь?

Салтанат только бровью повела в ответ и, стиснув зубы, поджав губы, направилась на кухню.

Азиз торопливо сбросил ботинки и пошел вслед за женой.

— Да в чем дело? Ты нездорова, что-нибудь болит?

Глаза Салтанат горели сухим злым блеском, они прямо-таки обожгли Азиза.

— Кому же еще болеть в этом доме, как не мне? — губы ее задрожали, в голосе был вызов.

Азиз почувствовал себя так, словно грудь его сдавили клещи. Это состояние стало для него в последнее время привычным. Его мучили упреки Салтанат, он видел, что она с ним несчастна и оттого блекнет, теряет свою красоту и былую веселость. Мучили его и собственные дела. «Что же я могу сделать для нее сейчас? Обстоятельства против меня. Опыты идут туго, надежды и планы пока не осуществляются. Но я ведь терплю, работая с утра до ночи! Не идти же мне на улицу и кричать о неудачах!»

— Возьми себя в руки! — повысил он голос, терзаясь от бессилия и чувства вины перед ней. — Потерпи немного. Все у нас будет хорошо. Должно быть. Тогда отдохнем вместе, развеемся. Вся твоя хандра и хвори пройдут, будто их не бывало вовсе.

Если бы Салтанат слышала эти обещания впервые! Когда-то она верила всему, что он сулит, каждому его слову.

— Э-эх, большому кораблю — большое плавание, а маленькому, видно, в луже сидеть только и остается! — Она прижала руки к груди и заплакала. — Когда? Когда все это будет? И отдых, и покой, и достаток? Когда я окажусь уже в могиле? Вы превратили меня

уже в старуху! И за что? — она разрыдалась зло и безутешно.

— Во всем этом виноват я? Один?!

— А кто же еще? Каждый раз вы кладете мне за пазуху пустые орехи! Ваши ровесники живут припеваючи, всего достигли, ни в чем не знают нужды. Дома у них — полная чаша, жены в довольстве и шелках...

— Хватит! Я за богатством не гонюсь! Пускай они хоть звезды с неба хватают и в дом тащат! Я никому не завидую и завидовать не стану, даже умирая с голоду! Я...— Азиз запнулся, от гнева не находя слов. Он стукнул кулаком по шкафчику с посудой, она жалобно зазвенела.— Наука тебе не базар, где раздают шелка и наряды! Понятно? У меня свой путь, и я еще скажу свое слово!

— Вас, видно, сам бог создал скандалистом! Вы только и можете, что на жену орать и хвастаться! Бахвал вы, да и только! Только и умеете, что сладкие обещания мне тут, сидя на кухне, раздавать! Ими, вашими посулами, сыт не будешь! Вон эти ваши Шорасулы и прочие! Только вчера объявились в институте, а свои делишки мигом устроили. И почет, и деньги, и звание — все у них в руках. А вы из себя святого корчите, скромника, я, мол, тише воды ниже травы, вот и сидите, как старая дева...

— Замолчи! — крикнул Азиз в бессилии, теряя власть над собой.— Или ты хочешь, чтобы я бежал из этого дома, из этого ада? Если я уйду, тебе легче будет? Этого ты добиваешься? Уйти мне? — Азиз скрылся в комнате.

Салтанат поглядела вслед мужу с ненавистью, потом с грохотом поставила кастрюлю на плиту и прошмыгнула в комнату к сыну. Мальчик заплакал, и она зашептала трясущимися губами:

— Лежи тихо, проклятый! Вы доведете меня до греха!

В доме установилась тягостная тишина, тишина без надежды и покоя. Азиз не выдержал ее и поднялся. Слабый свет лампы, проникавший в комнату со двора, мешал Азизу, будто подглядывал за ним. Он шагал по комнате, словно его кто-то завел сильной, безжалостной рукой, и не мог остановиться. Изо дня в день одно и то же! Неудачи, скандалы, разлад. Когда же этому конец? «Я больше не выдержу, не железный же я? Говорят, бывают железные люди, но ведь и железо ржа-

веет! А я не железный!» Азиз вышагивал от окна до стены, от стены до окна...

Азизу казалось, что жизнь решила доказать ему, какой она может быть жестокой, равнодушной и безрадостной во всем: в отношениях с женой и коллегами, дома и на работе, в дружбе, любви, поисках научной истины. Невезение Азиза было полным, оно преследовало его из месяца в месяц. Он похудел, почернел, начинал чувствовать себя неудачником и бездарью, терять веру в себя. Дома — слезы, упреки, тоска! Воистину нищего собака достанет и укусит, даже если он сидит на верблюде!.. Все, все дается ему ценой тяжкого труда, труда в поте лица! Чтобы поступить в аспирантуру — сколько пришлось корпеть над книгами! Не успел проучиться полгода, внезапно скончался Сергей Матвеевич, незабвенный его руководитель. Он был отцом для своих учеников, заботился о них, как может заботиться человек крупный и добрый. А его знания, его эрудиция! Если бы он был жив, многое было бы в жизни Азиза иным — радостным, гордым. Он избежал бы насмешек, неверия, давно бы защитился и ходил с высоко поднятой головой. «Эх, если нет у тебя крепкой опоры, дела твои дрянь. Салтанат не хочет меня понять, изверилась во мне, Сергей Матвеевич ушел из жизни так рано...» — размышлял Азиз, оставаясь наедине с собой. Эти мысли, как пчелы, неотступно следовали за ним, жалили, причиняли душевную боль и страдание.

Он часто вспоминал то прекрасное время, когда у него родилась новая, смелая гипотеза, которую так горячо поддержал Сергей Матвеевич. Рассуждения Азиза о создании принципиально новых сортов хлопчатника учитель слушал, как увлекательнейшее повествование. Опытного ученого радовали умная, целенаправленная энергия Азиза, готовность одолеть любые трудности ради научного открытия, сулящего людям столько пользы, его дерзкая дальновидность. Однажды Сергей Матвеевич похлопал Азиза по плечу своей маленькой сухонькой ладонью, ласково, одобрительно оглядел его складную фигуру и обратился к нему:

— Молодец, дружок! Молодец! Мне импонирует твоя смелость! Одним из своих крыльев наука опирается на риск! — Сергей Матвеевич призадумался и, словно отыскав в своей памяти то, что хотел, добавил: — Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений,

рожденных только воображением. Знаешь, чья это мысль? Ломоносова! Так что — дерзай, экспериментируй. А я, конечно, всегда к твоим услугам. Помогу, коли тебе будет нужна моя голова.

...Теперь сомнения и обиды посещали Азиза все чаще, все настойчивее, он, не находя покоя, истязал, обвинял, ругал себя. «Неужели я так и не научусь жить, как другие? Спокойно и легко? Не заводя себе врагов? Почему я не взял тему, которую предлагал Мухиддин Джаббаров? Все было бы, как говорят наши доки, «в ажуре». А вот сейчас у меня одни неудачи и нелады. Сколько времени прошло, а у меня нет уверенности в результатах исследований. Не могу разобраться, потерял, «где голова, где хвост». В последнем гибриде вроде бы начинают исчезать отрицательные свойства дикого хлопчатника — его бесплодие и чрезмерный рост... Он в некоторых отношениях приближается к культурным растениям... Однако все коробочки, волокно, его цвет и крепость все еще ближе к диким сортам... Надо мной уже смеются, считают, что я помешался на своей идее... Наверно, потому я теряю веру в себя, во всем сомневаюсь, даже в обнадеживающих показателях и в добрых людях тоже. Конечно, такие благородные люди, как Толмас Азимов, огорчаются за меня, стараются подбодрить, таким-то мне особенно стыдно в глаза смотреть! Они в меня верят, связывают со мной и моей работой колоссальные возможности для науки и практики. А я? Ни тпру, ни ну, застрял на одном месте... И упреки Салтанат в общем-то справедливы. Она страдает, мечется из-за моих же неурядиц и неудач. Она не знает, как выразить мне сочувствие, сострадает мне по-своему, оттого все эти ядовитые ее слова. Все хотят достать луну — в молодости, поскорее. И в этом нет ничего дурного. Женщина — она и есть женщина. Не хватает ей терпения и стойкости! Эх, Азиз, Азиз! Зачем ты кичишься тем, что делаешь то, что никому якобы, кроме тебя, не под силу... Маленький человек должен прятаться в тень! Если бы ты жил, как все твои коллеги, тихо-мирно, то давным-давно был бы уже на виду. Хотел выделиться, выпятиться, как утверждают некоторые, и вот — получай свое! Все ставят тебе палки в колеса! Эх, Азизбек! Этот мир существовал и до тебя, и после тебя не рухнет. Такие строптивые, как ты, начинают осознавать свои ошибки слишком поздно, когда жизнь на исходе... В науке тре-

буются не такие горячие, нетерпеливые, как ты, а люди с трезвой головой, способные провидеть завтрашний день. Таких, как ты, бьют и сметают с дороги. Да еще смеются при этом!.. Ох, ну и нытик же я! Самому противно! Совсем разнюнился. Надо собраться, подтянуться, иначе не доведешь дело до конца! Сделано-то ведь немало! Но... опять эти «но»! А как же без «но», когда опыты, чужие опыты всех последних лет, умные толстые книги ясно и непререкаемо утверждают: чтобы создать новые, результативные сорта растений, следует культурные сорта скрещивать с культурными сортами! Это же ни больше ни меньше как общепринятая истина. Какие же у тебя есть основания отрицать эту истину?.. Как ты дерзнул посягнуть на нее? Использовать в качестве мужского начала — дикий хлопчатник? Ты утверждаешь, что в нем есть устойчивость против вилта, этой страшной болезни, этого бича хлопчатника. Допустим. Ну, а как побороть бесплодность дикого сорта? Зачем дехканину сорт, не дающий урожая?.. Нет, напрасно ты, дорогой мой, обижаешься на Мухиддина Джаббаровича, подозреваешь его во всех смертных грехах!..— Подобные обращения к себе, объяснения с собой стали для Азиза привычными, стали частью его существования в последние месяцы. Академика можно понять! Во всем, во всем — недоверии к тебе и твоим «выкрутасам» — виноват ты сам. Ты сначала соверши хоть малую толику того, что Джаббаров совершил. Во имя науки. Во имя страны. И уж коли Мухиддин Джаббарович мстит, враждует с кем-то, то уж не с тобой. Ты для него — мелочь! Он не признает твоих идей, потому что они не подкреплены фактами, доказательствами. Ведь у тебя их пока нет, как же тут убедишь коллег? Ты только, словно жупелом, пугаешь всех именами Мичурина, Вавилова, только воздух сотрясаешь. Если ты прав — докажи на практике их учение! И свои прорицательские идеи! А пока... не преувеличивай, не приукрашивай свои возможности! Побольше скромности, поменьше самомнения — так-то оно будет лучше!.. Ведь и Сергей Матвеевич не раз предупреждал: «Ученый должен уметь четко мыслить и анализировать. Над твоими гипотезами следует подумать, крепко подумать». Может, он вообще и поддерживал-то тебя, чтобы поднять твой дух: продолжай, мол, работу, появятся первые результаты, тогда и обсудим их обстоятельно, поговорим!.. Нет уж,

усомниться в учителе — это совсем нечестно, это уж совсем значит пасть духом. Нет! Нет! Истина никогда не возникала сама по себе. А научные истины... Добыть их — все равно что иголкой вырыть колодец... Непроторенные пути самые трудные, но и самые прекрасные, чего же ты голову вешаешь раньше срока? Ведь факты — упрямая вещь, а они свидетельствуют: даже опробованные, высокоурожайные, скороспелые, с прочным волокном сорта — даже они подвержены вилту. Растение обычно защищается от влияния внешней среды веществами, выделяемыми собственными клетками. В культурных растениях эти вещества парализуются вилтом, хлопчатник заболевает — и этим наносится огромный ущерб народному хозяйству. В диком сорте mexicanum этих защитных веществ сколько угодно, однако они бездействуют, пропадают зря. Неужели сильные, благотворные качества тех и других растений нельзя соединить! Можно! Должно их соединить! Только нужен срок! Нужно время!..»

Азиз принялся опять вышагивать по комнате. Ни на кого он не умел так негодовать, как на себя, и этот гнев, это недовольство собой будили в нем новые силы, энергию, будили желание работать, горы свернуть... и аппетит, аппетит здорового, сильного мужчины. Азиз отправился на кухню, наложил себе полную тарелку машевой каши и принялся есть, запивая ее остывшим чаем.

Послышались тихие осторожные шаги, в кухне появилась Салтанат с пиалой кислого молока в руках.

— Что это вы подняли шум на весь дом? — обратилась она к Азизу тоном, в котором явственно слышалось: «Конечно, я плохая, но пищу, приготовленную мной, вон как лопаете». Она поставила пиалу перед мужем.— Приходил ваш отец... Ой, левая часть головы прямо-таки раскалывается, даже глаза открыть больно. Как только вечер — вот здесь начинает гореть, будто кол мне сюда всадили,— Салтанат приложила ладонь к левой груди.

— Это все нервы. Сходи к врачу.

— В этом доме не выдержит человек и со стальными нервами,— заметила она с обидой.

— Ну что я могу поделать, Салтанат?! — взмолился Азиз.— Зачем ты мучаешь меня и себя? Посмотрю на тебя — иной раз, ей-богу, нет человека умнее, а иной раз...

— К вам это тоже относится! — перебила его Салтанат.— Именно так! То умны очень, то...

— Подскажи, посоветуй, что мне делать? Ведь ты жена мне!

Салтанат безнадежно махнула рукой.

— Что толку с вами говорить? — процедила она с пренебрежением.

Азиз побледнел. Он искал и не находил слов, которые проняли бы, уязвили Салтанат.

— Скажи, чего ты хочешь от меня? Давай объяснимся,— взорвался он.

— Чего я хочу? — Салтанат грозно нахмурилась.— Я появилась на свет божий, как я понимаю, только однажды и желаю отпущенный мне срок прожить по-человечески! Чем я хуже других? Кривая, хромая или уродина? До каких пор я буду распродавать свои вещи, чтобы покупать продукты? Благо еще, что мой отец отправил меня к вам с грудой ковров!..— Лицо Салтанат покрылось красными пятнами, голос поднялся до визга.

У Азиза ослабели руки и ноги.

— Мне только еще недоставало того, чтобы кормить вас! — у Салтанат было ощущение, что ее подхватила какая-то неистовая сила и несет, несет ее.— Если бы вы, как и делают другие мужья, одевали бы меня с головы до ног в атлас и парчу, то, то... уверена, совсем со света меня сжили... вы, вы... не цените доброты моего отца... Вы слепы и глухи ко всему и всем! Вы принесли в дом дырявую кошму, и только!.. Все, все, даже ложки и чашки,— все, все здесь от моих несчастных родителей!..

Азиз молчал, словно подавился черствым куском. Салтанат всегда одолевает его такими вот глупыми, вздорными попреками, оскорблениями. Разрывает его сердце на части! Наверно, и не понимает этого. К его горлу подкатил горький ком. Азиз потупился и вышел из кухни.

Он отличался выдержкой и спокойствием с малых лет; друзья шутили: тебя ногой ударишь, а ты и не шелохнешься. Но это было раньше, а теперь... Теперь он изменился, стал как бочка с порохом, того гляди взорвется от неосторожной искорки... Постоянные жалобы Салтанат, слезы, претензии, хмурое неласковое лицо — все это стало для Азиза невыносимым. Жена обладала способностью втягивать его в свары, пере-

палки, которые унижали его мужское достоинство. Он потом страдал оттого, что не выдержал, унизился до мелких дрязг. Ему порой не хотелось вовсе ее видеть, слышать ее голос. Однако слова ее, как ядовитые стрелы, поражали его в самое сердце, и тогда он начинал понимать, хотя и боялся этого понимания, что он несчастлив с той самой Салтанат, которая когда-то была милой, веселой и желанной, которая так умела его любить. И от этого он еще больше ожесточался и упрямо продолжал — не мог остановиться! — спорить с ней. Спорить, пока жена не заливалась слезами. Их отношения дошли до предела, за который страшно было заглянуть. И Азиз терзался, что и он тоже совсем опустился, перестал быть человеком, достойным называться мужчиной.

Салтанат, наоборот, упивалась их ссорами. Она находила в них удовлетворение, отместку за разбитые свои надежды на счастье, на легкую веселую жизнь. Это было сильнее ее — желание все делать наперекор мужу. Началось это давно, в тот печальный день, когда у нее случился выкидыш. Она шла с Азизом по улице, поскользнулась и упала — и впервые почувствовала острую ненависть: «Злосчастный! Не мог поддержать меня, сохранить ребенка!..» Потом прибавились неудачи Азиза, Салтанат и вовсе ожесточилась. Через несколько лет родился Бехзод, но и он не принес тепла в их отношения.

Салтанат, будто прочитав его мысли, воскликнула, переполненная бешенством:

— Не позорил бы имя мужчины, чтобы ты сгинул!.. Сыночек, только из-за тебя все терплю-мучаюсь! Ты еще ничегошеньки не понимаешь, не можешь мне посочувствовать! Господи! С мужем и с сыном я, а все равно что одна! — Она закрыла глаза и вдруг зримо увидела перед собой Юлдаша, красивого, сильного, улыбающегося. Мужчину.

* * *

Азиз ворочался с боку на бок. Старый диван скрипел при каждом его движении, пружины больно впивались в тело. Азизу было так безотрадно, что он как будто бы даже обрел спокойствие. Спокойствие безысходности. И он опять пришел к заключению, что во всех бедах виноват сам. Значит, и расхлебывать их

должен сам. А как — он решит утром, на свежую голову, при свете солнца. Сейчас же надо попробовать заснуть. Однако в глазах его словно песок застрял: они не закрывались. Чем больше Азизу хотелось уснуть, тем больше напрягались нервы. Он попытался отвлечься, стал вспоминать о последних событиях, но никак не мог сосредоточиться, до конца додумать мысль. Мысли были отрывочны, беспорядочны, как неровные лоскутки, кем-то небрежно нарезанные и брошенные тут и там. Азиз никак не мог избавиться от тревоги, напряжения, беспокойства — как будто они стали его постоянным уделом. Он вспомнил Шорасула, которым недавно попрекала его Салтанат. Скуластое лицо, широкие брови, блестящие черные волосы, глаза с косинкой — они не останавливаются надолго на одной точке, все что-то нащупывают, шарят по людям и углам... Слава аллаху, Салтанат еще не знает, что работа Шорасула рекомендована к защите. Если бы она видела, как эта работа обсуждалась! Поднимались вроде бы солидные ученые, а философствовали на пустом месте — но с каким серьезным видом! «Малый наш ученый совет вроде бы и не интересовала научная ценность диссертации; говорили, в основном, похвально о личных качествах диссертанта. Председатель совета время от времени напоминал всем, ради чего они собрались, то есть об их прямом долге... Шорасул — везучий парень. Проворный, ловкий! Тему ему удалось взять апробированную, слишком общую. Другим, ей-богу, такую изжеванную тему не утвердили бы! В ней совсем нет практического смысла. А надо мной Шорасул подсмеивается — я-де «рабочая лошадка», «добытчик фактов»; ясно, черная работа в науке не всем заметна. Но она — основа, фундамент нау́ки, потому что дает факты. Конечно, необходимо разрабатывать фундаментальные проблемы. Но с ними могут справиться лишь люди с широкими всесторонними познаниями, способные анализировать сотни, тысячи фактов. Эрудиты с богатым научно-практическим опытом. Однако Шорасулу, как, впрочем, и другим молодым ученым, этого всего и недостает. Где нам! Ведь — правду сказать! — большинство из нас пришли в науку прямиком с институтской скамьи... На мой взгляд, лучше сделать и обосновать одно новое, пусть и невеликое, открытие, чем переписывать-перелопачивать не раз открытое, повторять азы, прибавлять на библио-

течных полках никому не нужные тома! Которые попусту пылятся и которыми, воистину, пыль в глаза пускают!..»

Шорасул занимал Азиза как тип человека и ученого, который легко вписывается в любую среду и обстановку, для которого приспособленчество — философия поведения и норма жизни. Вот уже два года, как Азиз знает Шорасула, но еще ни разу тот не вступил с кем-нибудь в дискуссию. Напротив, как только разгорался научный спор, Шорасул замолкал, словно в рот воды набирал, сидел, нахохлившись, никого не перебивал, ни к кому не присоединялся, никого не опровергал. Было похоже, что он больше всего боится ошибиться, сказать что-нибудь невпопад.

Азиз поначалу даже не поверил, что именно Шорасул уже подготовил к защите диссертацию — молчал-отмалчивался, никак не проявлял себя, будто специально старался, чтобы никто не мог составить о нем мнение,— и вдруг: «Все, диссертация завершена!..» Когда Азиз прочитал ее, то убедился: работа легковесная, слов много, своих, самостоятельных мыслей нет. Из ничего, из пустоты, пусть напичканной умными цитатами, мудреными терминами, не может родиться что-то стоящее. От «водянистой» работы может остаться лишь мокрое пятно. Поблестит, поблестит, а потом — испарится бесследно.

Азиза гораздо больнее уязвила позиция старших коллег; они с умным видом рассуждали об этой пустоте, выискивали в ней смысл, толковали о научном «значении». Вот уж это поразительно: серьезные взрослые люди будто превратились в незрячих и глухих, хвалили явный, никому не нужный, хотя и гладко сфабрикованный, брак.

У Шорасула было завидное терпение, он был толстокож. Над ним откровенно смеялись все — и младшие, и старшие. Он словно не слышал насмешек, был вежлив с младшими, подобострастен со старшими. Его гнали из одной двери — он входил в другую. Он был похож на пса, в которого хозяин швыряет камнем, а тот, отбежав в сторонку, все равно плетется за ним, поджав хвост...

Азиз понял наконец, что терпение, кротость, смирение Шорасула вовсе не случайны, что это линия поведения — сознательная, железная... Да, быстро и ловко Шорасул обтяпывал свои дела. Азиз возмущался этим

и одновременно бранил себя — за свою отчужденность от людей, за деревенский свой нрав, неуживчивый и прямолинейный, за то, что не умеет быть легким и приятным в общении.

...Азиз пожалел, что забыл сообщить Салтанат приятное известие. Сегодня, когда он был в колхозе на своем опытном участке, Махамат-ака предупредил его: «На днях поеду в город... Сколько лет мы с вами дружим, а семьями еще не знакомы. Ладно, хоть я и старший, начну я, покажу вам пример. Хочу навестить вас, познакомиться с вашей женой».

* * *

Салтанат тоже не могла уснуть. Гнев ее постепенно улегся, сменился опустошенностью и бессилием. Она не знала — винить ей Азиза или оправдывать, ожесточаться против него или жалеть его. Себя она жалела и оправдывала, хотя порой горячей молнией ее обжигало ощущение собственной большой неправоты и несправедливости.

Салтанат росла в состоятельной, дружной и — до поры до времени — благополучной семье: умный, заботливый отец, нежная, хотя и ограниченная мать, славные братья, сестра. Салтанат была в семье младшей и самой красивой; была она общей любимицей и в школе. Ее холили и лелеяли, она не знала нужды и горя, зато крепко усвоила, какие преимущества и удобства таит в себе возможность пользоваться жизненными благами без ограничений. Обаятельная, веселая и беззаботная Салтанат умела привлекать к себе людей; их симпатии, восхищение она принимала как нечто само собой разумеющееся, как должное, как дань, положенную ей раз и навсегда. У нее было много подружек, которые охотно поверяли ей свои тайны, она их умела хранить, хотя никогда по-настоящему никому не сопереживала. Если она что-то и любила по-настоящему, так это мечтать, мечтать о своей будущей, непременно прекрасной, блистательной жизни. Мечты уносили ее в неизвестные заманчивые дали, и она с трудом оттуда возвращалась. Детство сменилось юностью, менялись и мечты Салтанат — неизменным оставалось лишь желание быть самой счастливой, самой удачливой, всегда и во всем. Быть звездой первой величины. В наивности своей Салтанат не подо-

зревала, что любое светило только кажется самостоятельным, независимым от других небесных тел, что оно подчиняется общим законам и без этого не может существовать — погибнет. В этом неведении был источник многих ее огорчений и бед, поначалу невинных и детских, потом — серьезных, взрослых. Она не желала даже примириться с тем, что человек не всегда волен делать то, что он хочет, что гораздо чаще он вынужден поступать так, как ему вовсе не хочется. Разлад, диссонанс между мечтами, желаниями Салтанат и жизнью, реальностью мало-помалу превратили ее жизнь и жизнь Азиза в ад. Примирить их, как-то сочетать она не могла — не умела и не хотела.

Даже обычные женские обязанности, которые другие женщины почитали за счастье — растить детей, хозяйничать дома, ждать мужа, ухаживать за ним,— она воспринимала как надругательство над своими надеждами, грезами о мироздании, центром которого была бы она, Салтанат.

Тесная квартирка, убогая мебель, безденежье, одиночество — все это каждодневно оскорбляло ее. Она иной раз думала, что вся теперешняя ее жизнь снится ей в сером, бесконечном сером сне. Встречая смеющихся, нарядных людей, она словно внезапно стряхивала с себя этот кошмарный, унылый сон. Но тогда она понимала, что жизнь ее еще хуже, чем этот сон,— бредет она по ней, как по бескрайней пустыне, одна-одинешенька... «Господи,— взмолилась она,— почему я не вышла замуж за Юлдаша? Ходил за мной, как тень... глаз не спускал влюбленных. Видно, не судьба!..— Салтанат испуганно вздрогнула, будто кто-то мог подслушать ее.— Что это со мной? А как же Азиз? Ведь его я любила, его! И счастлива была этой любовью! Что со мной?»

Рядом с домом, где обитали родители Салтанат, жил известный профессор-селекционер Сергей Матвеевич Иванов. Все его знали, уважали, почтительно называли «Сергей-ата». Он прибыл в Ташкент по путевке Ленина сразу после революции. Здесь он стал основателем большой научной школы селекции и семеноводства. Он создал один из лучших и поныне используемых в Узбекистане сортов хлопчатника. О его жизни рассказывали самые разные, порой невероятные истории; о его уме, мудрости, знаниях, человечности ходили легенды. Многого в них Салтанат, когда была ребенком,

не понимала. Однако слова о том, что старик «большой человек», что он «повыше министров будет», запомнились ей. И она благоговела перед Ивановым — этим всегда приветливым человеком. Его инкрустированная тросточка с раздваивающимся набалдашником — он никогда не расставался с ней — представлялась Салтанат волшебной палочкой. А сам он — маленький, чуть сутуловатый, с длинными седыми волосами и острой бородкой — казался всемогущим волшебником. Она, как на врата рая, смотрела на голубые ворота, за которыми был дом Сергея Матвеевича. Если ей, вместе с другими ребятами удавалось заглянуть за них, ее охватывало сладкое волнение, трепет, будто она ожидала увидеть там какое-нибудь чудо.

Сергей Матвеевич жил один. Жена его скончалась. Своих детей у них не было, они воспитали мальчика из детского дома. Во время войны он погиб на фронте, как и миллионы других сыновей... Хозяйство профессора много лет вела старая женщина, стирала, убирала, готовила. Жизнь Сергея Матвеевича в основном проходила в работе. По субботам и воскресеньям его навещали ученики. Дом наполнялся шумом и весельем. Казалось, это институт, с его спорами и проблемами, на время переселялся в этот тенистый, обычно тихий, двор...

Сам того не ведая, профессор сыграл главную роль в знакомстве Салтанат с Азизом. Тогда девушка увидела в этом добрый знак.

Салтанат училась в ту пору в девятом классе. Однажды она вместе с подругами возвращалась из кино. Они с жаром обсуждали любовные перипетии индийского фильма, напевали услышанные только что мелодии. У ворот Сергея Матвеевича она заметила незнакомого парня. Парень был худощавый, стройный, с тонким привлекательным лицом — прямо герой фильма! На рубашке, на брюках — ни лишней складочки, ни одной морщинки. В руке — увесистый портфель. Ему было лет двадцать пять. «Кто же это, интересно?» — с любопытством уставилась на парня Салтанат; он тоже посмотрел на нее и почему-то улыбнулся. Белые, как жемчуг, зубы блеснули, он был очень красив, этот парень. Сердце Салтанат гулко забилось, она покраснела, отвела взгляд. Сделала несколько шагов — а ноги ослабели, едва держат! — и невольно оглянулась: парень смотрел ей вслед. Сердце заколотилось еще

сильнее, но она гордо вскинула голову и важно вошла в дом. Тут, задохнувшись от волнения, сразу же бросилась к окну, чуть отодвинула занавеску. Парень, то и дело оглядываясь, продолжал упорно нажимать на звонок. Потом раскрыл портфель, вынул из него бумагу, что-то быстро нацарапал и, свернув ее, бросил в почтовый ящик. Косясь на дом, где скрылась Салтанат, он прошествовал на трамвайную остановку.

Салтанат лишилась покоя. Ее так и тянуло выйти на улицу и взглянуть на голубые ворота. Они стали ей казаться еще голубее. Когда она проходила мимо них, то замирала, ждала — вот они отворятся и появится он. Но он не появлялся, и она, разочарованная, вздыхала.

Салтанат встретила парня неожиданно, когда уже потеряла всякую надежду на встречу. И не у этих замечательных, таинственных голубых ворот, а в прозаическом трамвае. Услышала совсем рядом ласковый и тихий голос: «Здравствуйте, девушка!» Салтанат обернулась и увидела его! «День добрый», — только и нашла что ответить она. Лицо заполыхало огнем, руки похолодели — она была счастлива тому, что рядом с ней нет подруг, не то засмеяли бы ее, гордую задаваку, первую красавицу махаллы. Парень больше ничего не сказал. Только, когда трамвай резко затормозил, нечаянно приблизился к Салтанат — и она близко-близко увидела его правильный с легкой горбинкой нос, высокие скулы, карие глаза. Он отвернулся и стал смотреть на мелькающие за окном дома, деревья, людей. Салтанат краешком глаза косилась на парня: в руках у него был тот же портфель, и одет он был так же, как и в прошлый раз; склонив к плечу голову, он неотрывно, напряженно разглядывал улицы. Салтанат казалось, будто все, кто находится сейчас в трамвае, догадываются, в каком она волнении, пристально следят за ней, и от этого волновалась еще больше. Она быстро, словно ее кто-то гнал, сошла с трамвая. У газетного киоска украдкой оглянулась; парень, улыбаясь, шел за ней в трех-четырех шагах. Ей стало легко и радостно, она внезапно остро прониклась сознанием своей красоты и власти над этим взрослым человеком. У своего дома она нарочно остановилась, громко отчитала маленьких ребятишек, игравших у окна, за баловство, медленно повернула голову к голубым воротам. Парень, будто зачарованный, глядел

на нее. Потом позвонил. Калитка быстро открылась, из нее вышел сам профессор.

— Азиз, дорогой! Я ждал тебя! Добро пожаловать,— донеслось до Салтанат. Сергей Матвеевич обнял парня за плечи и увел в дом. Калитка закрылась, и девушка почувствовала себя покинутой.

Так Салтанат узнала его имя. Она присела на скамейку и все ждала, когда же Азиз опять покажется и улыбнется ей. Ею овладела тоска — как будто ее лишили света: недавно он горел в ней и согревал ее, делал дома, улицы, людей сияющими, светлыми. Но она так и не дождалась в тот вечер.

Салтанат не смогла удержать в себе и эту тоску, и свою тайну и поделилась с близкими подругами. Они и сами находились во власти непонятных, неясных им, будоражащих чувств и сами были в том возрасте, когда любовь ходит рядом, готова вспыхнуть и поглотить их. Они выслушивали тайну Салтанат с жадным и отзывчивым вниманием, обсудили все, надавали много-много советов. Азиз и влюбленность их подруги стали любимыми темами девичьих разговоров.

— Покажи его нам,— просили они и дружно принялись следить за голубыми воротами.

...Салтанат лежала в темноте, но ей будто светили мягким, добрым светом эти воспоминания. Она улыбалась, качала головой, с умилением думая о своих девичьих годах. Запыхтел, зачмокал во сне Бехзод. Размягченная Салтанат сунула руку через решетку кроватки, и нежно похлопывая сына по плечику, тихонько затянула песню. Бехзод покрутился, покрутился и утих. Салтанат снова погрузилась в сладкие воспоминания. Беззаботные, невозвратные дни остались далеко-далеко.

«...Парень, вхожий в дом такого большого человека, как профессор, не может быть простым,— рассуждала она тогда.— Сам профессор ждал его, обнял, как сына...» И она принялась строить планы, над которыми порой сама же весело хохотала. «Возможно, через некоторое время, очень даже скоро, и он станет профессором. Буду учиться и я. Все равно где, в какой институт скажет, в такой и поступлю!.. У него жена должна быть не только красивая, но и ученая... Купим дом... Если будет трудно вести дом — а дом у нас будет большой! — и учиться, то наймем домработницу, как Сергей Матвеевич. У нас и машина будет...»

Несмотря на свою молодость, беззаботность, оторванность от реальной действительности, а быть может, благодаря всему этому, Салтанат считала комфорт и достаток неотъемлемыми, обязательными атрибутами своей семейной жизни. Она была уверена, что, подобно сестре, братьям, родителям, она будет — обязательно будет! — иметь все сразу: и дом, и платья, одно краше другого, и много денег, и все-все, чего душа пожелает. И хрусталь, и машина, и ковры, и частые гости — всего полно, всем на зависть...

Салтанат глубоко вздохнула, притаилась, будто усовестилась глупых, несбыточных этих мечтаний; укрылась с головой одеялом, словно боясь, что они покинут ее — пусть глупые, пусть несбыточные, но такие радужные грезы.

Разногласия, разлад в этой семье своими корнями уходили глубоко. Бывает: дерево быстро и легко скрестилось, а вот развивается оно трудно и болезненно; дает знать о себе, выявляются не сразу, со временем, слабые, хилые свойства одной из пород.

## 3

Салтанат искупала сына, с наслаждением ощущая его теплое, родное тельце, покормила его, уложила спать. Выстирала белье, аккуратно развесила на балконе, принялась за уборку. Она так увлеклась работой, что не сразу услышала, что звонят в дверь. Салтанат убрала со лба прядь волос и взглянула на часы — для Азиза рано, он обычно в это время находится в институте. Наверное, соседка, решила Салтанат и, на ходу вытерев руки фартуком, поправив прилипшее к груди платье, направилась к двери.

Это был Юлдаш. Он поздоровался вежливым наклоном головы, с особым тщанием вытер ботинки о коврик, лежащий у порога, и, так и не дождавшись приглашения онемевшей Салтанат, шагнул в переднюю.

Салтанат машинально пропустила его и пробормотала, словно извиняясь:

— Как я испугалась. Не обессудьте, у меня тут все вверх дном, затеяла большую уборку.— Она собирала разбросанные на диване детские рубашонку, штанишки, чулочки.

Юлдаш пристроил на столе какой-то сверток и улыбнулся.

— Ничего, ничего. Уборка есть уборка...— он обвел взглядом комнату.

Салтанат обдало горячей волной — будто она глазами Юлдаша вновь увидела ветхость, неприглядность того, что их окружало. Она пригласила Юлдаша присесть, и он, непринужденно поблагодарив ее, сел. Старый стул под ним заскрипел, заскрежетал, словно ожил неожиданно. Салтанат в смятении присела на табуретку, поближе к дверям. Юлдаш бросил взгляд на громоздкий, но с маленьким экраном телевизор. Салтанат перехватила его взгляд.

— Азиз еще в прошлом году хотел сменить его на новый. Но я не согласилась. Уже семь лет работает безотказно, очень хорошая видимость,— заметила она и тут же спохватилась: «Что же я поставлю на стол? Кроме сахара ничего-то у меня нет». Она поднялась, и вместе с ней поднялся Юлдаш:

— Салтанатхон, не беспокойтесь, я всего на минутку, и только. Спешу...— он сделал паузу.— Живешь себе спокойно, но вот встретишь друга детства — и все равно что юность встретишь. В тот день...

— Спасибо,— прервала его Салтанат торопливо, пытаясь предупредить лишние, опасные слова, и быстрым жестом, присущим только женщинам, застегнула ворот платья. Юлдаш заметил ее жест, понял, как она испугана.

— Дед мой говорил: «Человек до тридцати лет ходит, после тридцати — бежит...» Когда-то я смеялся над этими словами. А вот теперь уразумел их смысл, сам побежал, можно сказать. Увидел вас, и захотелось мне остановить годы. Снова почувствовал себя молодым. Когда имеешь семью, детей, все подчиняется одному ритму: как челнок снуешь из дома на работу, с работы — домой. Нравится не нравится, а живешь, как заведенный механизм. Без мечты. А как хорошо — с мечтой!

Слова эти согревали Салтанат. Она невольно улыбнулась, потом, спохватившись, стиснула ладони в кулаки.

В эту минуту заплакал Бехзод, Юлдаш вздрогнул в замешательстве, будто только теперь осознал, что он в чужом доме, наедине с чужой женой.

— Ладно, до свидания тогда... Вот увидел вас — и

легче стало. Если буду поблизости, загляну.— Он помедлил и добавил: — Если вы не будете против, конечно.

Салтанат, молившая бога, чтобы он побыстрее ушел, произнесла сама, удивляясь тому, что говорит:

— Может быть, посидите еще, скоро возвратится Азиз из института, познакомитесь с ним.

Юлдаш чуть было не вымолвил: «Я о нем наслышан достаточно. Он аспирант моего дяди», но вовремя удержался:

— Спасибо. В другой раз.

— Каждое воскресенье Азиз отправляется в колхоз, на опытный участок... тогда обычно задерживается. В другие дни возвращается вовремя, как все.

Салтанат давала ему понять — «быстрее исчезни, иначе сейчас Азиз придет — и неизвестно, как он тебя примет». Но Юлдаш усмотрел в этих простодушных словах другое... Он ткнул пальцем в сверток и смело и открыто, как и в прошлый раз, обратился к Салтанат:

— Еще успеем познакомиться... А это вам! Помните, в школе еще я обещал вам?

Салтанат встрепенулась в радостном ожидании чего-то приятного:

— Обещали? Что обещали? Вы шутите? Не помню никакого обещания!

— Вспомните. Вы потом вспомните. Это маленький сувенир, примите пожалуйста, а не то обижусь.

— Нет, нет, Юлдаш-ака. Что скажет мой муж! И не просите.

Салтанат первый раз в жизни назвала его «Юлдаш-ака». Хотя он был старше ее на три-четыре года, детство на то оно и детство! Салтанат всегда обращалась к нему просто «Юлдаш». А сейчас — он так обрадовался: в этом коротеньком, ласковом «ака» усмотрел красноречивое обещание. Он вынул из кармана сигарету, но вспомнил, что зажигалку оставил в машине, а главное, спохватился, что курить здесь неудобно, и сунул сигарету в карман.

Тем временем показалась Салтанат с Бехзодом на руках. Мальчик, сонный, со спутанными волосенками, морщил нос и тер глаза маленькими кулачками, он готов был в любую минуту заплакать.

Юлдаш почувствовал себя неловко, между ним и Салтанат оказался хотя и маленький, но третий че-

ловек. Он хотел приласкать малыша, взять его за ручку, но тот отвернулся, прижался к матери и заревел.

— Это пустяк, легкая дань воспоминаниям,— перешел на скороговорку Юлдаш.— У нас дома очень много вещей, до которых мне дела нет,— откуда они, зачем, не расспрашиваю никогда. Жене не обязательно обо всем докладывать мужу.

Салтанат смутилась, но промолчала. Юлдаш простился и ушел.

Салтанат поспешно захлопнула дверь. Сердце ее бешено колотилось, голова слегка кружилась — от волнения и чего-то еще, не испытанного ранее, сулящего новые ощущения, перемены в жизни.

«Надо же! Сколько всего наговорил он здесь... «Жене не обязательно докладывать...» Это, видимо, означает, что я не должна докладывать Азизу?.. «Помните мое обещание?» Господи, что же он обещал? Разве упомнишь детскую легковесную болтовню?! — Салтанат рассмеялась и, переполненная радостью, звонко поцеловала Бехзода.— Сколько лет минуло с тех пор, однако он ничего не забыл. Как интересно!»

Мысль о том, что он «не забыл», показалась ей очень значительной. Она усадила сына на диван, а сама принялась развязывать шелковую ленту, разворачивать сверток. В нем были две хрустальные вазы. Она бережно взяла одну из них и повертела в руках. Ваза в лучах солнечного света засверкала всеми цветами радуги. Салтанат повернулась к шкафу с посудой. Там стояла хрустальная конфетница, подаренная ей матерью на свадьбу. Каждую неделю она бережно протирала ее и вновь ставила на место, как главное украшение. Сегодня она показалась ей тусклой и бедной. Подаренные Юлдашем вазы были ручной филигранной работы, современной формы.

«Каждая из них небось стоит не меньше ста рублей,— прикинула Салтанат.— Что же это за обещание такое, вот любопытно! Он не забыл, это главное! Прошло столько лет, а он не забыл, бедняга! Значит, думал обо мне, вспоминал! Не напрасно бегал за мной следом... Любил. Недаром подружки твердили мне, что я его первая любовь. Видно, на роду мне написано — и эта встреча, и радость, разве я виновата? А любовь конечно же слепа! Надо же — такой видный, интересный, а любит меня! Как жизнь, однако, устроена: что рядом с тобой, перед глазами — не ценишь; лежит на ладо-

ни — выбрасываешь собственными руками... Эх, разве я одна такая? У всех почему-то глаза раскрываются на мир и счастье поздно. Слишком поздно. И приносит это прозрение одни только слезы. Вот уж поистине — что имеем, не храним, а потерявши, плачем... Сколько лет позади, а он ничего не забыл!.. Дурачок! Совсем такой же смешной, как раньше... Ой, вспомнила, вспомнила! Он говорил о том, что случилось в десятом классе! В день начала экзаменов! Да, да, именно об этом. Я несла цветы, мама поставила мне их в вазу с водой, а он разбил ее...»

Салтанат, нарядная и торжественная, шла на первый экзамен. На улице она встретила Юлдаша и остановилась как вкопанная: так изменился он за три года. Она тут же мысленно сравнила его с Азизом. Конечно, Азиз красивее, но и Юлдаш привлекателен, — может быть, дерзким блеском в глазах. Юлдаш вовсю дымил сигаретой — она впервые видела его курящим. Юлдаш широко, не скрывая радости, улыбнулся, быстренько бросил на землю сигарету, энергично придавил ее подошвой. Он заметно раздался в плечах и, что особенно рассмешило Салтанат, отпустил усы. Его густые волосы курчавились еще больше.

Они разговорились, как добрые друзья. Салтанат — да что там Салтанат, вся школа! — знала, что Юлдаш безнадежно вздыхает по ней. Раньше это стесняло ее, сковывало в обращении с ним — будто она перед ним виновата. Вместе с тем она мучила парня, исподтишка подсмеивалась, чувствуя над ним свою власть. Юлдаш, озорной, своевольный, сорвиголова, терялся в присутствии Салтанат и только восхищенно глазел на нее, готовый по одному ее знаку сделать возможное и невозможное. Она мучила его, кокетничала, одним словом, подкладывала новые порции дров в костер, который горел в его влюбленной мальчишеской груди. Ребята дразнили Юлдаша — девчонка веревки из тебя вьет, свернула тебя в бараний рог...

Салтанат спешила на экзамен и, конечно, очень трусила, потому и не расспросила Юлдаша о его житье-бытье. Зато Юлдаш теперь не трусил и не стеснялся. Он наклонился, чтобы понюхать цветы, которые были у нее в руках.

— Какие прекрасные цветы. Для кого они предназначаются? — он взял Салтанат за руку.

Она отпрянула и с опаской огляделась по сторо-

нам: улица большая, вдруг увидит кто-нибудь. Она быстро сунула букет Юлдашу, тот схватил его и при этом не заметил, что цветы находятся в маленькой фарфоровой фазе. Ваза разбилась вдребезги. Брюки Юлдаша, новые туфли Салтанат забрызгались водой. Цветы были в руках юноши, шипы роз впились ему в ладонь, ему было больно, но он терпел и только — уже робко — смотрел на Салтанат. Потом они дружно рассмеялись.

— Не сердитесь, Салтанат,— попросил Юлдаш, стряхивая капли воды с брюк.— Я подарю вам вазу из золота. Когда-нибудь!

— Вы случайно не на золотых приисках работаете? — задорно воскликнула девушка.

— Нет, но теперь придется, чтобы вернуть вам долг.

Салтанат взяла цветы и побежала в школу... А Юлдаш глядел ей вслед и думал, что любит эту девчонку уже целых четыре года, что никто другой не будет ему дорог так, как она, та, из-за которой он столько перенес невзгод и горестей... Когда он наконец понял, что она не любит его и за его спиной смеется над ним, он перестал даже смотреть в ее сторону: что он, зря, что ли, самый сильный и заметный парень в школе!

Потом жизнь развела их. Салтанат как-то столкнулась с ним в библиотеке, он тогда уже учился в политехническом институте. Встреча была короткой: «здравствуй — прощай»...

Салтанат слышала от подруг, что Юлдаш окончил институт, рано женился и, кажется, уезжал куда-то за границу работать. Она сама была замужем, и новости о Юлдаше оставляли ее равнодушной. Юлдаш был для нее лишь одним из тех мальчиков, которым она когда-то кружила головы своей красотой, своим веселым и капризным нравом.

Салтанат ласково поглаживала то одну, то другую вазу: «Они как весточки из моей юности. Светлые, блестящие. Но что же я скажу Азизу?!.. Столько лет, а даже такой мелкий эпизод сохранил в памяти! И такой же отчаянный, как раньше! Подумать только: вошел в дом безо всяких предупреждений и церемоний — и не побоялся! А что мужчинам? Все для них просто. А вдруг он похваляется передо мной? Своей щедростью и деньгами? Напрасно я взяла эти вазы, ой напрасно. Верну, обязательно верну. Пока спрячу. Хотя

Азиз может их и не заметить — он же ничего не видит на свете, кроме своего хлопчатника».

Салтанат вновь и вновь погружалась в воспоминания о школе, родительском доме, подружках, и так ей было отрадно, будто юность вернулась к ней, легкая, беспечальная. К матери тихонько подполз Бехзод и уцепился ручонками за ее ноги.

— Охрана ты моя! Душа моя! — Салтанат принялась теребить-тормошить сынишку. Он заливался смехом, и был этот смех таким заразительным, что и Салтанат рассмеялась тоже.

Она открыла сундук, завернула вазы в свадебный свой наряд и сунула их вниз, в уголок. Сверху положила груду одеял, подушки.

Открыв холодильник на кухне, она внимательно изучила его содержимое. Ей хотелось на ужин изобрести блюдо повкуснее.

## 4

Научно-исследовательский институт селекции находится на окраине города и соседствует с колхозными полями. Здание института построено еще до войны: окна большие, коридоры просторные, потолки высокие. У входа на длинном шесте красуется большой герб, когда-то яркий, а теперь потускневший, блеклый. На фронтоне начертано: «Хлопок — наше богатство». Три высокие, изрядно послужившие, ступени ведут к тяжелым дубовым дверям. По обеим сторонам дверей громоздкие железобетонные чаши с цветами, напоминающие по форме коробочки хлопка. Сразу за раздевалкой начинается длинный коридор, справа и слева — кабинеты.

Через стеклянные двери видно, что кабинеты эти похожи один на другой как близнецы: тот же размер, та же мебель — светлые шкафы и столы, заваленные грудами бумаг, рулонов. В конце коридора, однако, это однообразие исчезает: здесь глаз радуют новехонькие блестящие журнальные столики, кресла, обитые пестрой тканью, веселенький линолеум на полу. На стендах — образцы различных сортов хлопчатника, графики, таблицы; подоконники уставлены цветами. Табличка с крупным шрифтом — «Директор», она четко выделяется на двери, обитой черным свеженьким дерматином.

За этой торжественной дверью открывается большущая приемная, напоминающая размером добрый двор. Справа — между окном и стеной — возвышаются напольные часы в человеческий рост. Слева — аккуратно прибранный стол, за которым восседает секретарша. Вдоль стены выстроились стулья для посетителей. Со стен с портретов взирают на входящих Дарвин, Мичурин, Тимирязев и другие великие ученые.

Кабинет Азиза и Шорасула недалеко от директорского. В этом свои преимущества и свои недостатки. Рядом с мозговым центром института быть хорошо: быстрее других узнаешь новости, всегда в курсе всего, чем живет, чем дышит коллектив. Вот только заждавшиеся Расула Аллаяровича посетители охотно заглядывают в соседний кабинет на перекур и отрывают от дел.

Азиз пришел на работу в воскресенье. В институте, где обычно снуют люди, гулко раздаются их голоса и смех, сегодня было пусто и господствовала такая непривычная, неестественная тишина, что Азиз никак не мог заставить себя сосредоточиться и поработать. Склонившись над своим видавшим виды столом, который он давно собирался выбросить на свалку, Азиз перебирал материалы исследований. Глаза его лишь скользили по цифрам, выкладкам, схемам. Мысли его были далеко. Вот уже три года, как кончился его аспирантский срок. Он по-прежнему — лаборант, все с той же мизерной зарплатой, с теми же проблемами — неналаженный быт, нервная, вечно недовольная жена; все это загоняло его в тупик. Он невольно погружался в мелкие заботы, мелочные тревоги, которые казались таковыми ему, но не Салтанат. Он со страхом ловил себя на мысли, что перестает верить в дело, которому решил посвятить себя. И даже истина, которую он втолковывает, внушает жене — труды и муки наши потом окупятся сторицей,— стала казаться ему сомнительной. Только работа, спасительная работа помогала ему забывать о житейских неурядицах, о «прозе быта», как он мысленно называл каждодневные семейные будни, помогала ему чувствовать себя над ними, выше их и шаг за шагом продвигаться вперед, вперед к цели, к осмыслению, к окончательной победе, к одолению того, что должен был он одолеть, осмыслить, победить. Он, селекционер Азиз Касымов.

Как прекрасна, как возвышенна человеческая

жизнь, которая окрылена благородной мечтой, высокой целью, ради которой работаешь, не считаясь ни с трудами, ни с временем. Как светлы твои дни, когда ты не утратил надежду и веру в собственное призвание, в собственную миссию, да, да, именно — в миссию! Тогда ты полон оптимизма и ждешь, знаешь, что завтрашний день будет днем Открытия во имя людей!

Увы, действительность и мечты — разные, далекие друг от друга понятия. Сейчас на душе Азиза — мрак и темень. Он так и не сомкнул глаз в эту ночь и опять думал, думал — все о том же: кругом виноват он сам. И напрасно он называет жену, когда они ссорятся, «мещанкой», а себя — «человеком науки». Салтанат просто обыкновенная молодая женщина. Ей хочется жить нормально, легко, не отказывая себе в необходимом. В конце концов она терпела их скудную, скучную жизнь не один год, другая давно бы взбеленилась!..

Азиз откинулся на стуле, взглянул на потолок — вон они свисают, два вентилятора, словно два орла, приготовившиеся к пике. Они даже летом не крутятся, лишь покрываются пылью. Однажды он попытался привести вентиляторы в движение — они так задребезжали, что он чуть не оглох!.. Даже это ему не удалось, даже эти мертвые птицы оказали ему сопротивление — сиди и не суй нос за привычные рамки!.. Всегда и везде — барьеры, препятствия. Вон, в стеклянных стендах, образцы последних сортов хлопчатника, они и то заперты на ключ... Комната, где Азиз провел уже несколько лет, вроде бы и высокая, и широкая, все равно в ней стены и всего лишь четыре угла... Так и жизнь — и она имеет пределы! Нравственные, физические. Самое страшное — жизнь так коротка и быстротечна, как же следует экономить время! Попробуй сэкономь, когда кругом одни барьеры и преграды... Вот это поручение, например. Из-за него приходится тащиться в институт в выходной день, сидеть тут — считать, сопоставлять, подводить итоги... Взять бы жену и сына и махнуть к отцу в кишлак! Или куда-нибудь за город, на простор — подышать свежим вольным воздухом. Как обрадовалась бы Салтанат! Ей жизнь показалась бы милее. А тут сиди и занимайся черновой работой за директора, по сути — выполняй его собственные, его личные обязанности! «Меня ждет моя работа, а ты приводи в порядок таблицы, подсчеты Расула Аллаяровича! Сделаны они наспех, неумело,

без какого-то уважения даже к делу. А мне поручено «сравнить, сопоставить, сверить, взвесить, чтобы все было в ажуре!». Какой там «ажур»? Нет сил и времени остановиться, оглянуться на собственную жизнь, не то что вылизывать чужие материалы! Я и не отдыхал даже толком никогда. Будто я робот, обреченный — раз и навсегда — только на работу. Корплю, корплю, будто у меня нет ни сердца, ни нервов, ни чувств, желаний простых, человеческих. Я и в самом деле как механизм. Салтанат права, и это выводит ее из себя больше всего. Я забыл — она забыла! — как улыбаются жене, шутят; все время мрачный, измотанный, унылый! Сам бы от себя бежал. Да некуда!»

Азиз тяжело поднялся из-за стола, подошел к шкафу, с треском открыл створки, сплошь захватанные пальцами. Он извлек толстую папку, мало чем отличающуюся от десятка других,— разве пыли на ней было поменьше.

Из приемной Расула Аллаяровича послышался бой часов. Азиз замер и ждал, когда часы перестанут бить: пустые и оттого печальные коридоры отражали их звон особенно гулко и тревожно. Звон этот будто взывал о помощи. Азиз живо представил себе эти старинные, в человеческий рост, часы, и они показались ему забытыми, одинокими, как и он сам. Но если этим часам из приемной враз откликнулись боем часы в кабинете директора, то ему, Азизу, не откликнулся никто. Никто его не слышит, никто не хочет подать голос, знак: мол, и я здесь, рядом, и сердце мое бьется в унисон с твоим...

Азиз с грустью подумал, что небось и Расул Аллаярович сейчас отдыхает, забыв о своем лаборанте и этих злосчастных таблицах и цифрах. До мелочей ли ему, когда у него на плечах целый институт... Несмотря на бремя ответственности, Расул Аллаярович выглядит значительно моложе своих пятидесяти лет. Выше среднего роста, с открытым симпатичным лицом, приятным баритоном, звучащим всегда ровно и приветливо, директор неизменно вежлив, спокоен, в курсе дел и событий каждого отдельного сотрудника и всего института в целом. Кажется, у него нет слабостей, кроме, пожалуй, одной — забавной и безобидной. Он любил красивые очки в элегантных оправах. У него их был целый набор, из его карманов торчали обычно две-три пары. Он подбирал их в соответствии с требова-

ниями моды, словно на все случаи жизни, словно они гарантировали ему разную, но всегда правильную и точную реакцию на все, что происходило в мире и вокруг, рядом.

Вчера, когда Азиз вошел к нему в кабинет, Расул Аллаярович положил в футляр одну пару очков, достал другую и водрузил на нос. Он встал навстречу Азизу из-за своего орехового стола с ножками, похожими на львиные лапы, и плавным жестом показал ему на кресло.

— Азизджон, как дела? — улыбнулся он ласково.

— Рахмат, домла.

— Оставьте вы свое «спасибо». По глазам вижу, что-то вас заботит, тревожит. В чем дело? Выкладывайте, не стесняйтесь. Если не мне — то кому же еще говорить сотрудникам об их проблемах?

— Нет-нет. Спасибо. Ничего особенного. Просто мне слегка нездоровится.

— Нездоровится? Или, может, вы больны? Если так, то надо обратиться к хорошему врачу. Это в наших силах, мы можем это устроить.— Расул Аллаярович погладил холеными пальцами широкие свои брови и устремил на Азиза глаза, полные дружеского расположения.

— Рахмат, домла, за внимание и участие. Я просто чуть-чуть простудился.

— Ну что ж, отлично, коли «чуть-чуть». Если случаем, нужна какая-нибудь помощь, то не стесняйтесь...

Повадки директора Азиз знал хорошо. Если у него возникает необходимость дать кому-либо поручение посерьезнее, чем обычно, то он начинает издалека, обязательно расспросит о житье-бытье, потом поинтересуется научной работой.

— Азизджон, как ваши эксперименты? Когда мы узнаем о результатах? Что ваш руководитель — помогает вам?

Азиз слегка пожал плечами. Затем, словно решившись, сказал:

— Мухиддин Джаббарович придерживается своего мнения по-прежнему. Он считает, что я занимаюсь сомнительными экспериментами, а не научным исследованием. «Вы не в рационализаторской конторе служите, а в храме науки работаете, а стало быть, обязаны видеть на десять, двадцать, сорок лет вперед»,— повторяет он мне, как и прежде. В общем, он недоволен

мной, подсмеивается над моими опытами, хотя с ними не знаком. Правда, прямо о них он сам меня не спрашивает, не интересуется ими, наверно, как бесперспективными, а вот другие мне охотно пересказывают его слова и реплики,— заключил Азиз печально.

Расул Аллаярович почувствовал себя неуютно. Ему следовало как-то выразить свое собственное отношение к сказанному, то есть поддержать либо Мухиддина Джаббаровича, либо Азиза. Однако он не любил определенные, четкие суждения — ни чужие, ни свои, они причиняли ему неудобства, лишали возможности лавировать, смягчать, сглаживать. То есть лишали того, что было его правилом, его стилем, его защитной броней.

— Ничего, ваш руководитель, по-видимому, еще не вник как следует в вашу работу, очень занятой он человек... Ну, а вы сами довольны результатами, сколько лет вы уже работаете?..

Азиз не спешил с ответом. Да и что можно объяснить вот так, на ходу? Особенно о самом больном, когда тебя замучили именно эти проклятые результаты. И несколько лет назад, когда он только начинал эксперимент, и тогда он слышал этот же вопрос — «есть результаты?». Как будто бы в селекции сразу, с маху можно добиться результата! Когда Сергей Матвеевич был жив, он грудью вставал на защиту Азиза, пресекал пустые, никчемные толки и шуточки, что-де Азиз взялся потрясти мир сверхгениальным открытием. А сейчас?.. Как тут быть, когда идея Азиза опрокидывает многие устоявшиеся представления, с которыми людям трудно расстаться? Он хочет бороться с вилтом новыми средствами. Если уж быть до конца научно добросовестным, то в этом способе и особой новизны нет, он давно известен в науке. Однако он прочно забыт, ему многие годы не придают значения, выбросили из научно-практического обихода — и все тут. Создалась привычная ныне инерция, а инерцию преодолевать ох как тяжело!

Азиз тщательно изучил труды Вавилова о тяжелых болезнях земледелия, проштудировал опыты Мичурина и все больше убеждался в правоте своей идеи... В самом деле, одни химические препараты, одни ядовитые вещества, которыми мы так увлеклись в послед-

ние годы, не решают проблемы. Вилт так быстро приспосабливается к внешней среде, что он может приспособиться — и приспосабливается — к любым химическим средствам защиты растений от болезней. Поэтому будущее хлопчатника связано, по мнению Азиза, с выведением новых вилтоустойчивых сортов. Химические же средства против вилта должны стать вспомогательными.

Идею Азиза никто вслух, явно не отрицает. Но только как общую идею. Когда же дело доходит до конкретной работы, до применения ее на практике, многие ученые, и в их числе Мухиддин Джаббарович, противятся этому с завидным упорством. Азизу порой кажется, что его руководитель охотно раздавил бы его, как крота, роющего кропотливо никому не нужную яму. Однако... Однако не опасается ли он, что Азиз роет ему, академику, яму?

Азиз был близок к истине. Честолюбивый, болезненно самолюбивый, Мухиддин Джаббарович привык к тому, что его авторитет всегда и везде — превыше всего. Он был убежден, что работа Азиза — пустая, ненужная затея, затея с потугами на талант и славу. Есть, уже давно имеются, слава аллаху, прекрасные сорта хлопчатника. Тот же знаменитый сорт «Ф», им самим когда-то выведенный! Кроме того, в исканиях и трудах Азиза он усматривал намек — опасный намек! — на то, что он, академик Джаббаров, уже долгие годы бездействует, не создал больше ни одного сорта, существенно отличающегося от прежних. Мухиддин Джаббарович конечно же знал, что вилт, как бешеная река, захватывает все большие и большие посевные площади. Он понимал, что есть в этом доля и его вины, и его ответственности — ведь он уже многие годы главный и неоспоримый авторитет в хлопководческой науке... Однако время упущено, поздно, да и трудно ему теперь заниматься новоизобретениями: подотстал от науки, современных ее достижений, попривык к почету да президиумам. Он успокаивал, утешал себя тем, что бороться с хлопковыми болезнями можно и некардинальными методами — вот хотя бы с помощью химии. Недаром же она получила такое развитие, сколько средств на нее ассигнуется! Мухиддин Джаббарович утешал себя и тем, что в селекции хлопчатника был допущен вакуум, так сказать, по нужде, по необходимости. Он помнит, что уже в предвоенные годы почти не придава-

лось должного значения хлопково-люцерновым севооборотам. Надо было давать стране как можно больше хлопка... Молодой, энергичный, знающий Мухиддин Джаббаров не мог в те годы не осознавать, что пренебрежение к науке, к ее законам приведут в будущем к плачевным результатам. Однако плыть против течения не отваживался. На его глазах сторонники хлопково-люцернового севооборота терпели поражения и поношения в прессе, на собраниях и заседаниях. Некоторых вовсе отлучили от науки, обвинив во всех смертных грехах... Да и отдельные сорта вполне оправдывали себя на протяжении многих лет, давали хорошие, устойчивые урожаи — не жалей только минеральных удобрений!..

Азиз знал, что Мухиддин Джаббарович снискал себе славу, выдвинулся как раз в смутные, трудные для их науки годы. Это настораживало его, мешало ему приблизиться к Мухиддину Джаббаровичу. Но он знал также, что в самый разгар войны, в 1942 году, Джаббаров вывел сорт «Ф» — а это было действительно научным подвигом. Сорт тогда же приняла государственная сортоиспытательная комиссия. Рассказывают, что Джаббарова вернули обратно в институт буквально с вокзала, прямо с воинской повесткой в руках — чтобы он продолжил свою научную работу... Кончилась война, Мухиддин Джаббарович стал доктором наук, профессором, потом академиком, долгие годы руководил академическим институтом, был членом всяческих комиссий, отделений и тому подобное.

А в общем-то, он был для Азиза пока не до конца разгаданным ребусом: такой талант — и такой консерватор одновременно! Скорее всего — чрезмерная слава, головокружение от успехов, лесть порождают успокоенность, внутреннюю леность у таких людей, как Мухиддин Джаббарович. И как конечный результат — упадок селекции хлопководства в целом. Азиз часто размышлял: неужели Джаббаров сам этого не чувствует, не винит себя — хотя бы наедине с собой. Ведь совесть есть у каждого. Неужели косность и самовлюбленность завели его так далеко, что он не видит явного, не признает собственные ошибки? «Пусть другие сделают хотя бы толику того, что сделали мы, — тогда и потолкуем» — первая его реакция даже на робкую критику. «Мы себя не щадим, теперь очередь молодых. Посмотрим, посмотрим, на что способны эти герои, эти

говоруны» — обычный лейтмотив всех его выступлений... А чтобы дать молодым хоть капельку самостоятельности — упаси боже! Может, не только болезненное тщеславие тому причиной? Наверно, он считает себя на коне, а в молодых ученых не уверен? Все-таки он ошибается, наверно, упрямится не только по злобности характера — но и по слепоте своей. Но сколько вреда науке от заблуждений, от упрямства, консерватизма Мухиддина Джаббаровича! Сколько бездарей вьется около него, льстят, умасливают, поддакивают — и получают свое! Отчего к сильным, крупным личностям липнет такое множество ничтожеств, оплетают их, тянут в сторону от правильного пути. Не все, к счастью, сильные люди — слабы. Сергей Матвеевич — вот образец человека и ученого. Старенький, тщедушный, с тихим голосом — а какой богатырь духа! Всех видел насквозь, не терпел около себя людей с гнилым нутром. Чистый — он был беспощаден к людям нечистым...

Азиз вспомнил, как Сергей Матвеевич умел отстаивать свои взгляды, научные принципы, бросаться на помощь, поддерживать талантливых людей — их дерзание, их идеи. Для него не было мелочей, когда дело касалось общественной пользы. Это он добился, чтобы Азизу выделили опытный участок земли.

В день, когда Сергея Матвеевича утвердили научным руководителем Азиза, они долго беседовали. И учитель предложил:

— Я давно знаю тебя, Азиз, верю тебе. Даю тебе неделю. Поразмысли хорошенько — что, по-твоему, сейчас, сегодня является самой неотложной задачей в нашей области селекции?

Азиз пришел к Сергею Матвеевичу спустя неделю. За эти дни он перевернул гору литературы, журналы, доклады. Ему не терпелось поскорее выяснить, на верном ли он пути, ту ли ниточку он «поймал», за которую следовало ухватиться, чтобы потянуть...

— Делались ли когда-нибудь попытки вывести хлопчатник с участием дикого сорта? Нет? А почему? — Азизу изменила обычная сдержанность, он спешил выговориться, волновался: — Сергей Матвеевич, вы же сами учили нас — дикие сорта устойчивы против болезней. Неужели нельзя привить, перенести эту особенность на высокоурожайные культурные сорта? И такой выигрыш для республики!

— Это, Азиз, исключительно интересная мысль! И путь перспективный, многообещающий — правильно! Ты ошибаешься только, что это просто! Над этой проблемой уже бились умные головы. И слуга твой покорный потратил на это «простое» дело — несколько лет. Увы, безрезультатно. У меня элементарно не было времени, чтобы довести дело до конца; все времечко мое съели другие сорта.— Сергей Матвеевич грустно усмехнулся, откинулся в кресле, вздохнул глубоко, и Азиз вдруг понял, как Сергей Матвеевич стар и болен.— Однако надо пробовать снова и снова. Почему дикие сорта не подвержены вилту? Что их защищает — какой механизм, какое свойство? В этом ключ, в этом суть — в этом следует разобраться в первую голову. Сумеем мы разгадать эту тайну — дикий хлопчатник будет приручен так же, как и некоторые дикие животные... Азиз, дорогой мой, признаюсь откровенно: ты разбередил старую мою рану. Приступай к делу. Я ни сил не пожалею, ни времени, чтобы помочь тебе. Боюсь только, что мало их у меня осталось...

После кончины Иванова научным руководителем Азиза стал Мухиддин Джаббарович. Азиз дошел в своих воспоминаниях до этого момента и сразу погрустнел... Оказывается, разница между людьми может быть безграничной, буквально во всем. Академик сразу же невзлюбил Азиза. Казалось, свою неприязнь к Сергею Матвеевичу, перед которым, по слухам, он был грешен в трудные годы, Мухиддин Джаббарович перенес на его любимого ученика. Он одним глазом, мельком просмотрел материалы нового своего аспиранта, выслушал его вполуха, помолчал со значительным, непроницаемым лицом. Потом вынул из кармана обширный платок, вытер лицо, шею, уголки глаз и барственно изрек: «Продолжайте работать». Однако на первом же ученом совете, когда Азиз делал информацию об опытах, как бы вскользь бросил:

— Вы, Азизджон, потрясаете здесь некоторыми фактами из истории биологии. Культурный сорт хотите гибридизировать с диким. История хлопководства таких экспериментов не знает. Вы что, действительно надеетесь на успех? Или решили рискнуть? Благо государство платит вам деньги...

Так впервые он, аспирант Азиз Касымов, и академик, знаменитый селекционер Джаббаров, оказались по разные стороны научных баррикад. Касымов против

Джаббарова. Вернее, наоборот — Джаббаров против Касымова.

Все, весь ученый совет, с любопытством воззрились на Азиза. Он не раз слышал этот же вопрос от ученых, своих товарищей аспирантов и терпеливо объяснял им существо проблемы, пытаясь обратить их в «свою веру». Однако, услышав этот вопрос здесь, на ученом совете, от своего руководителя, он растерялся. Азиз понимал, что от убедительного, толкового разъяснения зависит многое, быть может, целое направление в развитии хлопководства. И он смело и решительно заявил:

— Да, верю! Верю! Результаты будут благоприятными. Непременно!

— Обоснуйте!

— Обосновать эту проблему в двух-трех словах очень трудно, Мухиддин Джаббарович, очень она сложна. Однако попытаюсь... Как известно, вилт получает все большее распространение, и народное хозяйство несет большой ущерб при этом. Сорта хлопчатника, которые мы выводим, пока что внедрять в практику не стоит, потому что несовершенны они. Сортоиспытательная комиссия справедливо отвергает их. По-моему, слабость этих сортов в следующем: мы постоянно гибридизируем близкие — в географическом и генетическом отношениях — сорта. Даже при скрещивании некогда вилтоустойчивых, культурных растений мы терпим неудачи. Эти сорта уже исчерпали свои генетические возможности. Теперь, по моему мнению, чтобы достичь ощутимого сдвига в нашей работе, необходимо скрещивать далекие друг от друга виды и сорта хлопчатника. Только так можно добиться изменения природы растений, сложившейся в данный момент в результате биологической эволюции...

Кое-кто смотрел на Азиза с сомнением, кое-кто — с иронией, кое-кто — с интересом.

Он продолжал:

— Известно, что эту идею еще в тридцатые годы выдвинул академик Вавилов. В биологии достаточно примеров в пользу этой идеи. Например, апорты Мичурина: они возникли в результате скрещивания американских и европейских сортов. Или возьмите опыты Камераза с диким картофелем. Или исследования Терновского, осуществленные на табаке? Наконец, сорта Автономова — он скрещивает многолетний перуанский

хлопчатник с вилтоустойчивыми сортами 10964, С-6002! Конечно, передать положительные свойства диких сортов культурным сортам хлопчатника очень нелегко. Особенно если иметь как конечную цель — высокие урожаи хлопка. К культурным сортам переходят не только положительные, но и отрицательные особенности диких растений. И все-таки стоит, стоит трудиться в этом направлении: по-моему, истина находится на этом пути, очень долгом, требующем усилий многих селекционеров!..

Азиз увлекся и горячо излагал доводы «за». По-разному реагировали на них те, кто был на том ученом совете,— спорили, опровергали, соглашались, негодовали, поддерживали. Лишь Джаббаров всем своим видом давал понять, что он принципиально воздерживается от каких-либо суждений и выводов, предоставляя другим возможность сделать их — без его давления. И если-де его что-то и занимает сейчас, так это чтобы никого не сковывал его авторитет.

Азиза поразило и оскорбило вызывающее, демонстративное равнодушие научного руководителя: он тогда почувствовал себя оставленным в одиночестве на поле научного боя.

— Некоторые дикие сорта обладают исключительным иммунитетом против болезней,— продолжал Азиз, внешне спокойный и неуязвимый.— Моя скромная задача, которую поставил передо мной покойный мой учитель Сергей Матвеевич, заключается в том, чтобы отобрать, найти дикий сорт с надежным, сильным противовилтовым иммунитетом, изучить наследственную генетику на основе этого сорта. Таким образом, если мне удастся, если хватит сил, времени и знаний, я попытаюсь применить новый метод... Поймите меня правильно, товарищи! Этот метод, эта задача требует действительно целой жизни...

— Это все прожекты,— не удержался все-таки Мухиддин Джаббарович,— воздушные замки. Доложите-ка нам лучше, что вы уже сделали? Конкретно, за эти годы? Какие изменения претерпело растение, с которым вы экспериментируете? Какие сорта скрестили? Вы охотно распространяетесь о диком хлопчатнике, а ведь он имеет великое множество разновидностей — дикий, полудикий, близкий к культурному... Сорта даже одного вида в морфологическом и биологическом отношениях не похожи. Какой же именно сорт вы отобрали

и почему? Мы, между прочим, собрались здесь не сказки рассказывать, не мечтами делиться, а науку, науку двигать вперед! Народному хозяйству, людям не красивенькие фантазии нужны, а конкретные результаты, так сказать, земные плоды. Это вы, надеюсь, понимаете?

Азиза больно задели грубость, явное недоброжелательство Мухиддина Джаббаровича. Зная к тому же, как коллеги относятся к мнению Джаббарова,— да что там к мнению, к движению его бровей! — он решил не обнародовать сейчас сопоставительные материалы, первые обнадеживающие наблюдения трех лет. Он не напрасно прожил эти годы. Из диких сортов он выбрал сорт mexicanum. Неоднократно испытывал его на вилт. К нему болезнь не приставала. Азиз мог бы доложить сейчас ученому совету, что его опыты еще раз подтвердили положение академика Вавилова о том, что иммунитет у растений появляется в результате длительного сосуществования рядом с болезнетворным микробом. Вилт в основном распространен в Центральной Америке, чаще всего встречается в Мексике. Не исключено, что Мексика и является родиной вилта. Поэтому логично скрещивать дикий мексиканский хлопчатник с высокоурожайным культурным сортом... Однако чутье подсказало Азизу — сейчас не время докладывать обо всем этом: слушатели его не готовы к тому, чтобы воспринять его идеи и результаты трудов; им мешает воспринять их упорная, стойкая негативная позиция академика. К тому же Азизу так дороги стали его бесконечные опыты, бессонные бдения, что ему было бы невыносимо стать очевидцем всеобщего равнодушия, нежелания понять его. О серьезном, важном, сокровенном можно говорить только всерьез — при взаимном уважении, интересе, внимании... Здесь сидели руководители лабораторий, заведующие отделами, ведущие ученые института. У всех у них — дел невпроворот, свои заботы, свои интересы. Они собрались здесь, на заседании, чтобы решить или, во всяком случае, высказать свои проблемы. Время было ограничено, повестка дня — длиннющая, все, как всегда, спешили. Азиз не был готов к дискуссии тогда, в тот момент, он вообще был работягой, а не полемистом. Он и мысли не допускал, как и все прочие, чтобы публично возражать академику Джаббарову, идти на открытую конфронтацию с ним. Когда все торопятся, замотаны, озабочены —

стоит ли рисковать, стоит ли в подробностях излагать то, что удалось ему сделать за три года упорного труда? Как вообще он смеет выступить против Мухиддина Джаббаровича в такой ответственной аудитории?..

Страдальческие эти — и капитулянтские, как он теперь, спустя месяцы, понимает — мысли сменяли одна другую с лихорадочной быстротой. Он постоял-постоял, пытливо и одновременно смущенно вглядываясь в лицо Джаббарова, словно не доходил до него смысл его запальчивых вопросов. Азиз опустил глаза и беспомощно перебирал бумаги, лежавшие перед ним. Умоляюще, опасаясь, что его сейчас оборвут, а главное — отстранят от опытов, обратился к академику:

— Должны быть результаты, Мухиддин Джаббарович. Должны. Нельзя, конечно, кроить пеленки для ребенка, который еще не родился... Однако искомый сорт будет. Будет минимум через два-три скрещивания.

— Слава аллаху! — Мухиддин Джаббарович грузно повернулся всем корпусом к Азизу.— Вы к месту вспомнили о еще не родившемся ребенке... При таких темпах, однако, мы вообще вряд ли дождемся его появления на свет божий. Уж поверьте мне! Моему опыту! Между тем...

Кто-то подобострастно хихикнул. Азиз покраснел до ушей и опять бросил на академика умоляющий взгляд, будто посылал сигнал о спасении. Чтобы как-то сгладить неловкую, прямо-таки странную ситуацию — научный руководитель всенародно шпыняет, «топит» своего подопечного,— вмешался Расул Аллаярович:

— Садитесь, Касымов!.. — Он взглянул на академика с немым вопросом — не хочет ли, мол, он еще что-то добавить.

— Между тем,— начал Мухиддин Джаббарович,— я хотел бы похвалить трудолюбие Азизджона. Человек, посвятивший себя науке, обязан быть трудолюбивым. Однако и труд свой и энергию необходимо использовать разумно, с толком. Есть ли польза от пули, летящей мимо цели? Мне передали этого аспиранта, я не отказался, надеялся — мы будем единомышленниками, союзниками, будем понимать друг друга. Однако наши идеи питает, мягко говоря, не один и тот же источник. Между тем если учитель и ученик мыслят по-разному, то все — успеха не будет, сотрудничество не получится! Азиз, не имея никаких научных данных и доказа-

тельств, хочет внедрить дикий сорт хлопчатника в... Не буду повторяться, все здесь имеют уши. Давеча он даже упоминал здесь светлое имя великого Вавилова. Упоминал всуе? И это нехорошо. Нехорошо это. Вы, Касымов, еще молоды, не привыкайте извращать мысли великих. Это очень скверно. И Вавилов, и Мичурин, авторитет которого вы также тщитесь использовать, действительно рекомендовали скрещивать далекие сорта. Однако не дикие сорта — и это я подчеркиваю... То, что Азизджон тратит драгоценное время, больше того — собирается посвятить жизнь на странное, немыслимое занятие, это только одна сторона дела, товарищи. Есть еще другая сторона, чрезвычайно важная. Допустим на минуту, что он получит противовилтовый сорт. Допустим даже, что он даст при этом хороший урожай. Ну, а потом? А потом, по моему глубокому убеждению, будет вот что: через два-три года вредные особенности дикого сорта проявятся в полной мере — и большие посевные площади вообще не дадут урожая! Вы, Азизджон, можете гарантировать, что этого не произойдет? Нет! Кто же будет нести ответственность перед страной, перед народом-тружеником? Кто? Может быть, вы? — Мухиддин Джаббарович ехидно прищурился. — Знаю, знаю, предвижу ваши возражения: мол, эту работу поддерживал сам Сергей Матвеевич. Между тем он, видимо, надеялся, что какой-то результат все-таки будет. Однако прошло более трех лет... Вы ничего определенного все еще обещать не можете. Не можете нас обнадежить. Между тем...

Азиз сделал движение, желая возразить, но Расул Аллаярович поднял руку в знак того, чтобы он помолчал, и обратился к Мухиддину Джаббаровичу:

— Быть может, нам следует вернуться к этой проблеме несколько позже...

— Вы, молодежь, должны прислушиваться к мнению — больше того, дорожить мнением! — опытных ученых, чьи кости, можно сказать, окрепли на хлопководстве, таких, как мы, между тем... — Мухиддин Джаббарович увлекся и не обратил внимания на вопрос Расула Аллаяровича.

Азиз, как и все в институте, знал, что Мухиддина Джаббаровича за глаза прозвали домла «между тем». Когда академик произносил эти слова, это значило, что он еще не закончил свою речь, собирается с мыслями. Мухиддин Джаббарович ухитрялся придавать бес-

численное множество оттенков этим двум словам «между тем».

— Нас, стариков, отделяет от вас, молодых, занавес времени, занавес прожитых лет. Между тем представим себе комнату, в которой занавес этот как бы разделяет ее на две половины — половину молодых и половину стариков. У молодых горит яркая свеча, и мы, старики, хорошо видим вашу половину, а вы нашу — нет. Между тем... возможно, не спорю, свободному художнику, артисту, например, писателю, и позволено заблуждаться, отдаваться чувствам, ошибаться, это обходится, может быть, и ему и другим не столь уж дорого... Однако нам, служителям науки, мыслителям, заблуждаться нельзя, противопоказано, более того — непростительно. И коли уж допустил ошибку, постарайся быстренько ее исправить! Поэтому, Касымов, не упрямьтесь! Оставьте свои химеры! Между тем приступайте к надежной теме. Поймите, братец, я пекусь о вашей же пользе. Кроме того, в наши дни в науке не должно быть места для маниловщины. Все вы знаете, что такое мираж. Он обманывает, завлекает людей в пустоту, в ничто: увидит человек в пустыне воду там или дерево — и устремляется к нему. Добирается вроде бы до места, а там нет ничего. Маниловщина в науке это тот же мираж. Запутает он тебя, превратит в бродягу, измотает... Все, я кончил,— бросил он Расулу Аллаяровичу.

Зал погрузился в тишину, все были под впечатлением железной логики и железного характера академика Джаббарова. И только Азиз порывался что-то сказать. Но тщетно, Расул Аллаярович будто и не замечал этого.

— Дайте слово Касымову,— раздался раздраженный голос. Встал профессор Азимов, с усилием подтянув протез на левой ноге.— Пусть Касымов выскажется. Не успеет он, бедняга, рот раскрыть, а мы его клеймим да поучаем! Все боимся, как бы он не сбился с пути истинного! Может, стоит разобраться наконец, где истинный путь, а где — если не ложный, то заезженный, а? Свечу, оно, конечно, хорошо через занавеску видеть, но как бы людей не проглядеть! Свеча-то для людей светит!

Азиз чувствовал себя как мальчишка, которого высекли на глазах у всех. Он был подавлен, унижен, не мог вымолвить ни слова...

Он часто вспоминал первое, публичное свое фиаско,

позорище, отповедь Мухиддина Джаббаровича. Много раз мысленно спорил с ним, доказывал, убеждал. Потом... Прошло уже почти четыре года, а они ни разу как следует не поговорили. Аспирантский срок истек, а он все еще лаборант... Джаббаров за эти годы подготовил нескольких кандидатов наук и даже двух докторов. Только к работе Азиза он был абсолютно равнодушен, сознательно, напоказ «умывал руки». Он не мешал — формально, но и не помогал — по существу. Своим поведением он как бы говорил: «Поступай как знаешь, глупец!»

* * *

Перипетии отношений Джаббарова и Касымова были доподлинно известны в институте всем, и, конечно, Расулу Аллаяровичу. Поэтому, очутившись сейчас в кабинете директора, Азиз хотел уйти от разговоров об этом: что толку в разговорах, ведь Расул Аллаярович все равно будет не на его стороне. Он молча ждал, какое поручение даст ему директор на этот раз.

Тот улыбнулся Азизу улыбкой, силу и обаяние которой отлично знал.

— Вы молоды, братец, и это самое дорогое ваше достояние. Ласковым словом и змею можно из норы выманить — не забывайте эту народную мудрость. Мухиддин Джаббарович знаменитый ученый, он много сделал для науки. Вы и сами отрицать этого не станете. Но... Когда человек стареет, характер его меняется, к сожалению чаще всего к худшему. Он начинает отзываться только на почет, уважение, на ласку и уступчивость. Вы умный парень, Азиз, не пренебрегайте мудростью о ласковом слове. Небось слышали ее не раз,— Расул Аллаярович лукаво подмигнул Азизу.— А вот еще одна: ласковый теленок двух маток сосет. Надо быть дипломатом! Скажите старику: «Хоп!» — и делайте спокойненько свое дело. Ведь Мухиддин Джаббарович — неиссякаемый источник знаний! Надо умело пользоваться этим. Он неплохой человек, не злой, упрямый немножко. У всех у вас характеры — у старых, у молодых,— и я с этим считаюсь, и я это учитываю, должность у меня такая... Ладно, обещаю вам еще разок побеседовать с Мухиддином Джаббаровичем! Выступить в роли вашего адвоката.

Приличия ради Азиз поблагодарил директора, он

знал, что слова его — дежурные обещания, и только. Знал также, что никакие разговоры пользы не принесут, в лучшем случае все останется по-прежнему. Однако Азизу неприятны были советы директора о дипломатии, о том, чтобы кивать Джаббарову — «хоп», вытягивать из него побольше, а самому делать — вопреки ему — свое дело. Он усмотрел в этом призыв к обману и неискренности... Ведь в конце концов Азиз спорил, расходился во мнениях с академиком не из-за наследства, не из-за того, что они не могли поделить капитал! В принципиальных вопросах не может быть соглашательства, примиренчества! Или Азиз, или Джаббаров — кто-то из них должен изменить свою позицию, отступить от своих воззрений. И конечно же Мухиддин Джаббарович, академик Джаббаров, перед ним, жалким лаборантом, никогда не признается в своей неправоте. Если, конечно, он, жалкий лаборант, не положит перед ним неопровержимые доказательства своей правоты — новый сорт.

Потом Азиз решил, что Расул Аллаярович наставляет его таким образом, поучает только для того, чтобы задобрить, смягчить пилюлю — он явно хочет навязать ему какое-то свое дело, задание.

Расул Аллаярович видел, что Касымов сидит отрешенный, угрюмый, осунувшийся. Ему невольно вспомнилось, что злые языки говорят о нем — «парень он немного не в себе», «того», «с приветом». Он вынул из стаканчика цветной карандаш, повертел в руках, положил обратно.

— Азизджон! Выше голову! — директор, казалось, источал симпатию и благодушие.— Я пригласил вас к себе, я бы сказал, по личному вопросу. Вы знаете, сколько у меня всяческих обязанностей и дел, дыхнуть некогда, одни собрания и заседания замучили, массу времени отнимают,— Расул Аллаярович плавно открыл ящик стола, извлек из него объемистую папку и протянул Азизу: — Вот в этом «сундуке» — диаграммы, таблицы, наблюдения, заметки примерно за десяток лет. Просмотрите их. Если они вызовут у вас сомнения, если найдете какие-то ошибки, несуразности — отметьте на полях, просто отметьте. Потом вместе пройдемся по этим галочкам. Это все — приложение к моей монографии. Книга уже в наборе, меня торопят в издательстве. Сделайте одолжение, выручите меня. Не возражаете, нет? Недельки вам хватит?

Азиз взглянул на папку, она была завязана на самые кончики тесемок. «И правда, «сундук»,— подумал он и неуверенно протянул:

— Наверно, хватит.

— Хватит, хватит! — подхватил Расул Аллаярович.— Можете прихватить субботу и воскресенье, я распоряжусь, вахтер вас пустит. А с Мухиддином Джаббаровичем я поговорю, не волнуйтесь. Постараюсь уладить ваш конфликт.

В комнате Азиз обнаружил Шорасула — несмотря на поздний час. Увидя в руках Азиза папку, напоминающую пухлую подушку, Шорасул, словно кому-то назло, демонстративно захлопнул дверцу своего стола.

...И теперь Азиз сидит тут один, в воскресный день, в тихой пустой комнате тихого пустого института и предается печальным думам и тягостным воспоминаниям. Тряхнув головой, словно пытаясь избавиться от них, он потянул наконец осторожненько за тесемки. Бумаги лежали в папке — в беспорядке, в путанице. До сознания Азиза дошло, что Расул Аллаярович переложил на него работу, над которой надо корпеть, не разгибаясь, по меньшей мере месяц. Он приуныл было, но потом, как и всегда, перед началом любого дела, приободрился: «Глазам страшно, а руки делают, ничего, одолеем вас, голубушки-таблички!»

Он проглядел две-три странички и расхохотался: Расул Аллаярович, оказывается, совсем не признает знаков препинания.

Азиз не заметил, как пролетел день. Когда спина его онемела, он отодвинул от себя папку, потянулся с наслаждением и повернулся к столу Шорасула. Он был чист и пуст, будто за него никто никогда не садился. Азиз вспомнил, как Шорасул вчера хлопнул в сердцах дверцей, что этому предшествовало,— и улыбнулся озорно и молодо... До конца рабочего дня оставалось минут пять — десять, когда в комнату вплыла Саодат — секретарша директора — и сообщила, что Азиза «просит пожаловать к себе Расул Аллаярович». Шорасул собрался уже домой, он уже и стекло на столе протер до блеска. Азиз вернулся через полчаса, а Шорасул сидел-посиживал на месте, будто дожидался сердечного друга с важными вестями. Азиз догадывался, что Шорасул терпеть его не может. Он особенно болезненно реагировал на всякое проявление внимания руководства к нему, Азизу. Шорасул просто-таки места себе

не находил, когда директор вызывал Азиза, сгорал от зависти, принимался неусыпно следить за ним. Стоило Азизу удалиться в сторону директорского кабинета, Шорасула будто приклеивали к столу — он дожидался, когда Азиз вернется, и впивался глазами в его лицо, пытаясь угадать: огорчен или обрадован, взбучку получил или похвалу. Самолюбие не позволяло ему спросить — «как да что», и он молча мучился от завистливого любопытства.

Да, ловкий тип, занятный, этот Шорасул. В лидеры не рвется, предпочитает находиться в тени, исповедует теорию «золотой середины». Кто не бросается людям в глаза, считает он, тот куда благополучнее и обеспеченнее! Людей неудачливых, «ломовых лошадок», как он нас называет, он презирает и посмеивается над такими. «Ну и черт с ним! — решил Азиз. — Что-то я о нем часто вспоминаю, не стоит он того!»

Азиз не знал, что и Шорасул частенько о нем думает. Именно так и думает: «В каждом учреждении есть люди, которые только и годятся, чтобы чистить-подчищать, вывозить за удачливыми и умными сотрудниками... И этот ревнитель правды не более чем ломовая лошадь!»

Конфликт Азиза с Мухиддином Джаббаровичем был выше разумения Шорасула. «Жизнь человеческая так скоротечна, сегодня ты есть, завтра тебя нет. Зачем эти споры, какие-то позиции, принципы, эти глупые идеалы? От них одни муки и беспокойства. Хочешь жить хорошо и спокойно — мирись и с червяками и с муравьями, не то что со львами! Поражаюсь я на Азиза! На что он надеется? Из-за какой-то дурацкой темы препирается с таким гигантом! Этот болван собственными руками рубит сук, на каком сидит. Прямо мастак обзаводиться врагами. Вот и итог — ни звания, ни денег, ни покоя».

По своему простодушию Азиз всегда удивлялся, что люди придают чрезмерное значение отношениям такого-то с таким-то, родственным и прочим узам такого-то с таким-то. Надо же, ведь даже серьезные люди, недоумевал он, любят похвастать добрыми отношениями с влиятельным человеком, намекнуть, что «вхожи в инстанции, имеют доступ в сферы».

Для Шорасула же эти отношения, эти связи — начало всех начал, корень бытия. Потому-то он так и мучился, когда директор приглашал — приближал к се-

бе! — Азиза, а не его. Он бесился, когда ему, Шорасулу, поручали срочно найти Касымова и передать, что его ждет какой-нибудь авторитетный, влиятельный человек. «Что я, адъютант при нем, что ли? Меня не больно-то приглашают!» Но огорчения огорчениями, зависть завистью, а кандидатская диссертация Шорасула была единогласно рекомендована к защите. Радости и гордости его не было предела!.. И все же он никак не мог связать воедино некоторые вещи. Директор присутствовал на обсуждении диссертации, не высказался, но по всему было видно: доволен, удовлетворен, что в возглавляемом им институте дела идут успешно, планомерно, как оно и положено. Он шутил, расточал улыбки... Расул Аллаярович близко знал отца Шорасула, но никогда ничем не давал этого почувствовать. Даже на приветствия Шорасула он обычно отвечал с не свойственной ему сухостью. После заседания ученого совета Шорасул специально дождался Расула Аллаяровича в коридоре, ждал с трепетом, что тот его поздравит. Нет! Директор ограничился тем, что слегка кивнул Шорасулу головой и молча позволил ему пожать свои пальцы — кончики пальцев. И все! Шорасул думал, что лопнет от досады, взорвется...

В последнее время нервы Азиза были обнажены, он особенно чутко реагировал на поступки людей; он улавливал их душевное состояние, настроение — удивительно чутко и обнаженно, вопреки собственному желанию. Наверно, потому Азиза так больно ранило отношение к нему Шорасула, эти его странные хлопания дверьми, хотя это были дверцы письменного стола — всего-навсего. «Вот и давал бы директор поручения этому лизоблюду! — досадовал он. — Вот уже поистине я без вины виноват».

Азиз опять принялся за бумаги Расула Аллаяровича.

«Хорошо, что у меня впереди еще неделя, — вздохнул с облегчением. — Ничего, поднатужусь, уложусь в срок».

Ему не хотелось идти домой. И когда ему пришла мысль порыться в собственном архиве, он обрадовался ей.

Почему-то сверху, в своих бумагах, он обнаружил брошюру Расула Аллаяровича: «Значение электрического света для выведения скороспелых сортов хлопчатника!» Азиз представил себе: над всеми хлопковы-

ми полями всей республики горят-сияют мощные прожекторы. Он хмыкнул иронически и... развеселился.

Он добрался до последней статьи Сергея Матвеевича в республиканской партийной газете. Азиз был убежден, что Сергей Матвеевич сам никогда бы не снабдил свою статью таким заголовком — «Убийца хлопчатника». Это, ясно, постарались журналисты.

Азиз с трепетом взял в руки газетный лист, он давно пожелтел, выцвел, покрылся пылью. Но пометки красным карандашом, которые он сделал когда-то, выделялись и сейчас. «Интересно, что я тогда отметил здесь?» — подумал Азиз и начал читать подчеркнутые абзацы.

«Вилт наступает на хлопок. В нашей республике из-за вилта ежегодно потери урожая хлопка составляют от 10 до 14 процентов. В 196... г. мы лишились около 500 тысяч тонн хлопка-сырца, а хлопкосеющие хозяйства республики потерпели убыток в размере более чем 200 миллионов рублей. Таким образом, народное хозяйство страны недополучило 1,5 миллиарда метров тканей».

Азиз пропустил несколько абзацев, нашел другие места, подчеркнутые красным карандашом: «Успехи определяются достижениями наших селекционеров». Дальше шла информация о поисках, исследованиях селекционеров, в том числе — и подробнее всего — об Азизе. «Азиз Касымов молодой, трудолюбивый, увлеченный своим делом ученый. Он не боится рисковать. Мне нравится его смелость, нравится и то, что он упорно ищет, идет нехоженым, своим путем». Азиз покраснел от удовольствия. «...Очень интересный и перспективный эксперимент. Даже, если он не даст практического результата, то и тогда наука обогатится нужной работой! Ибо ученый докажет непригодность этого метода... И ошибка в науке является ключом к познанию! Я хочу по-дружески обратиться к некоторым нашим уважаемым ученым, отрицающим с высоты своего авторитета какие бы то ни было положительные качества работы Азиза Касымова: будьте великодушны! И терпимы. Нельзя придерживаться лозунга «Вперед, но только — вслед за мной!».

В сильном волнении дочитал Азиз статью. Он будто слышал голос Сергея Матвеевича, и он вливал в него энергию, волю, желание работать и работать, доказать неверующим свою правоту, дать хлопкоробам

сорт, который избавит их от тяжелейшего, непроизводительного труда, опасных болезней растения, горьких разочарований: с утра до ночи они в поле, а вилт все равно сильнее, одолевает...

Азиз настежь, одним махом распахнул окно. Вокруг бушевала весна. Как быстро проходит время! Еще вроде вчера Азиз изнемогал от жары, от летнего пекла. А теперь весна уже в разгаре. Скоро опять лето. Круговорот... Под окном пышно цвела сирень — Азиз будто теперь только заметил, как она душиста и прекрасна... Прошел легкий весенний дождик, все блистало чистотой, глянцем, источало свежесть и прохладу. Где-то рядом ворковала горлица. Над пахучими желтыми цветами кружили пчелы. На виноградной лозе с едва проклюнувшимися листьями сидела недвижимо маленькая птичка: ни дать ни взять пушистое изваяние. Природа набирала силы от земли, от солнца и воздуха, просыпалась для новой встречи с жизнью.

Азиз усмотрел доброе предзнаменование в том, что в один и тот же час заново открыл то, о чем знал когда-то, но позабыл, что затерял в суете. Это только и представляло подлинную, вечную ценность — неувядаемую красоту, непреложность рождения весны. И силу честной мысли, убежденности в неодолимости научного прогресса, в развитии науки с большой буквы.

Дороже всего Азизу была вера учителя в него. В самом начале его пути... Азиз знал, что Сергей Матвеевич был бы сегодня им доволен — ученик прошел добрую, самую сложную половину дороги...

Азиз шагал по улицам родного города. Ему хотелось двигаться, действовать, он чувствовал в себе силы, которым, кажется, нет предела. И веру, веру, которую он было потерял! Азиз приспособил к своему шагу озорную песенку и шел, напевал ее, совсем как в детстве. Завтра он обязательно побывает на опытном участке. Вместе с Махаматом-ака все обмозгует. Поделится с ним последними результатами нового опыта, который никогда еще никто не осуществлял. «Рискнем, попробуем и безусловно достигнем цели. Достигнем обязательно!..» Азиз круто свернул к берегу Анхор. Речной ветерок, кусты, склонившиеся к воде, травы, цветы — приветствовали его, благоухали, ласкали взгляд, помогали освободиться от скверны приземленности, пут нерешительности. Лягушки, вспугнутые не-

ожиданным пришельцем, словно соревнуясь, кто прыгнет дальше, плюхались с плеском в воду. В небе, прозрачном как стекло, носились стрижи, держа соломинки в клювах. С высоты просторов на землю лились птичьи голоса.

Азиз шагал вперед, не видя дороги, всем существом своим ощущал он, как могуча и прекрасна жизнь. Он опять верил в свою счастливую звезду.

5

В разгаре знойное лето. В полдень стояла изнурительная жара, температура воздуха поднималась до сорока пяти градусов. Даже чинары с их необъятными корнями, с их мощной листвой, гордыми, взметнувшимися к небу ветвями к вечеру никли, не выдержав яростного наступления солнца. Они напоминали собой сокрушенных горем, одетых в траур богатырей — гнутся, клонятся к земле. Небо превратилось в бездонный тандыр, льющий на землю пламя и жар.

Сегодня воскресенье, но на улицах пусто. Люди попрятались по домам, ожидая, когда спадет зной. Изредка, со скоростью черепахи, двигаются полупустые автобусы.

Азиз вылез из автобуса, который всю дорогу кряхтел-скрипел от старости, лени и жары. Нырнув в тень, Азиз блаженно вздохнул. Он поставил на землю две полные сумки с продуктами, перевел дыхание, отлепил от тела мокрую рубашку. Обмахиваясь платком, посмотрел в сторону своего дома — до него надо было добираться еще целый квартал. «Что, все вымерли, что ли, ни одной живой души не видно? Все наслаждаются домашней прохладой. Только я... А Салтанат еще недовольна мной. Скажу-ка я ей, что у нее образцово-показательный муж. Храбрый муж — вышел на единоборство с солнцем! — Довольный Азиз ухмыльнулся. — Гох-хо-хо, тяжеленько, однако, сумки таскать... Хлопчатнику тоже трудно в этакую жару, — подумал он без всякого перехода. — Сначала весна затянулась, а сейчас солнце прямо-таки осатанело». Азиз осторожно высунул голову из тени и сердито, в сердцах, спросил: «Совесть у тебя есть?» Солнце ослепило его, и он несколько секунд ничего не видел. «Вот и подискутировали, совсем как на ученом сове-

те!» — он поднял сумки с овощами, фруктами, лепешками, любовно выбранными для жены и сына на Бешагачском базаре.

Когда Азиз приблизился к «чайхане», он почувствовал, что в горле у него пересохло от жажды. Так называемая «чайхана» уютно расположилась между высокими домами, в тени развесистой орешины, на месте, предназначавшемся когда-то под сквер. Травы здесь вымахали высокие, впору человеку прятаться, разросся дикий кустарник, поднялись молодые деревца,— в общем, сквер образовывался из года в год сам собой. В субботу и воскресенье сюда, к «чайхане», подвозят цистерну с пивом—и жители квартала обычно толпятся около нее. Сейчас человек десять—пятнадцать, игнорируя жару, стоят в очереди за пивом—кто с графином в руках, кто — с бидоном, кто — с объемистой кастрюлей. В очереди были соседи Азиза по дому, они призывно замахали ему рукой. Азиз лишь кивнул им, здороваясь, и поспешил к жене и сыну.

Обычно мужчины, принеся домой пиво, ставят его в холодильник. Когда жара немного спадает, они собираются группками по три-четыре человека во дворе. Там стоит стол, сколоченный из простых грубых досок, вокруг него — скамьи. Мужчины пьют холодное пиво, обсуждают всяческого рода новости, играют — кто в шахматы, кто в домино, а кто в карты. Азиза всегда поражает, сколько людей может разместиться за небольшим столом. А ведь размещаются и чувствуют себя превосходно, весело, непринужденно. В зависимости от того, сколько пива припасено, говор и шум во дворе может закончиться скоро, а может затянуться и допоздна.

Азиз, кряхтя, внес в кухню свою базарную добычу. Капельки пота густо покрывали его лицо; щеки и лоб горели, словно Азиз только что выскочил из парилки. Он облегченно и громко крякнул, заулыбался. Салтанат, вынимая из сумки припасы, будто невзначай коснулась щекой локтя Азиза.

— Ой, вы же обгорели, обуглились почти! Идите быстренько в ванну, примите душ,— ласково обратилась она к мужу.

Азиз заулыбался еще шире — от уха до уха — и тут заметил на столе целый ящик янтарного спелого винограда, его любимого «хусайни», два пузатых неподъемных арбуза и рядом — объемистую темную сум-

ку. Азиз вопросительно воззрился на Салтанат. Она сияла и хранила интригующее молчание.

Азиз хлопнул ладонью по лбу:

— Угадал, знаю! Это Махамат-ака!

— Угадали!

— В самом деле? Вот здорово! — Азиз бегом бросился в комнаты.

— Не спешите! Не ищите! Сейчас его нет, — нараспев произнесла Салтанат. Она ходила за ним по пятам, держа в руках аппетитную шафранно-розовую грушу. — Наш гость предупредил, что сначала пойдет и закончит кое-какие дела, а уж потом вернется сюда. Прошло уже два часа, и я уже начинаю немножко беспокоиться...

— Видно, утром ты не зря жаловалась на глаз! Какой глаз у тебя дергался? — пошутил Азиз.

— Правый глаз! Тот, что радость приносит. Я же вам говорила, а вы подтрунивали надо мной. В общем, без лишних разговоров делайте то, что я вам велю, все равно я всегда оказываюсь права.

— Не прекословь и подчиняйся! Ох уж эти женщины, все обратят в свою пользу! — пропел Азиз. — Похвали и меня, побывать на базаре в этакое пекло — подвиг.

— А кто вам предложил там побывать? — нежно проворковала Салтанат.

— Ты, конечно, ты! Предложила и вдохновила... Такой уж он человек, Махамат-ака. Все-таки выбрался к нам... Какое бы уважение мы ему ни оказали, все равно — мало будет. Салтанат, он удивительный человек! Прошу тебя, покажи нынче свое кулинарное искусство!

— Э-э, не учите меня! Хорошего человека я всегда распознаю. Даже лучше, чем вы, вот так-то! Ох, и накормлю же я вас сегодня!

Салтанат накрыла замечательный стол. На новенькой скатерти — бутылка коньяку, рядом блестящие, в капельках воды кисти «хусайни», половинка багрового арбуза, явно выращенного без минеральных удобрений, самса, источающая умопомрачительный аромат. В глубокой расписной касе — холодный айран, сдобренный зеленью: мелко нарубленным райхоном и кориандром. Салтанат бросила на мужа взгляд — как, нравится? — и разложила на дастархане спелые груши — стол украсился еще больше. Гордая, удовлетво-

ренная Салтанат поспешила на кухню. Оттуда вскоре послышалось шипение лука, поплыли аппетитные запахи.

Азиз был на седьмом небе. Пока Салтанат хлопотала на кухне, он выпил рюмочку коньяку и налил себе в пиалушку айран. Смакуя его, прищелкивая языком — «вай, вай, вай», Азиз отправился на кухню к жене. «Хорошо-то как, господи! Хорошо-то как!» — думал он. Наморщив нос, откинув голову подальше от горячего котла, Салтанат жарила морковь для плова. Он наблюдал за ловкими, спорыми движениями жены, прислонившись к дверному косяку. Когда она положила шумовку на блюдо, Азиз подкрался и обнял ее, прижал к себе. Салтанат взглянула на него слезящимися от лука глазами и кокетливо повела плечом: «Что случилось, Азизджон-ака? Почему у вас рот — до ушей?» Азиз чувствовал себя таким счастливым, таким влюбленным, как когда-то, в первые их годы. Душа его стала мягкой — воск, а не душа! — все вокруг казалось великолепным.

— Салтанат, настроение у меня сейчас, да и вообще в последнее время превосходное! — Азиз поднял руки и потанцевал на месте.— К тому же Махамат-ака к нам пожаловал. Ты же знаешь, как он мне дорог. Я тебе о нем много рассказывал. Помнишь историю о том, как у одного порядочного отца сын не сдал экзамены в институт? Помнишь? И хотел устроить его временно на работу в магазин, учеником продавца?

— Ах, так это он? — Салтанат оживилась, хохотнула, не переставая помешивать в котле.

— Он вспыхивает, как огонь, вот уж действительно настоящий порох. Своеобразная, самобытная натура! Вспылит, так родного отца не пощадит, уж такого наговорит! А успокоится — мягче, мудрее его нет на свете человека.

— Как интересно! — Салтанат налила через капгир воду в котел.— Я рада, что вы с ним подружились в конце концов, поняли друг друга. Притча его, которую вы мне рассказывали, поучительная. Он что, имея в виду какого-то конкретного человека?

— Разумеется! — воскликнул Азиз, радуясь, как ребенок, тому, что жена помнила его рассказы о Махамате Упрямце, помнила все перипетии их отношений...

Если бы Сергей Матвеевич не хлопотал и не добивался для Азиза опытного участка земли, не видать бы

ему участка! «Выбить» у Махамата Упрямца землю — это же невероятно! Бригадиру, кажется, легче было броситься с крыши дома вниз головой, чем уступить пядь колхозной земли под какие-то там опыты. Старого профессора хорошо знали в колхозах республики, уважали, почитали. Знал его, конечно, и Махамат-ака. Сергей Матвеевич, снискавший себе до войны славу «главы хлопководства», в годы войны по приказу партии оставил университет и работал в Центральном Комитете. Не было колхоза или совхоза, куда бы он не наведывался, не было председателя колхоза или директора совхоза, которого бы он лично не знал. После войны профессор Иванов руководил отделом науки Министерства сельского хозяйства республики. Когда он вышел на пенсию, Академия наук предложила ему заведовать лабораторией в институте селекции.

Сергея Матвеевича вдохновили смелые гипотезы Азиза... Профессор переживал рядом с Касымовым вторую молодость: он был рад, что не завершенное им самим дело продолжит его ученик; что идея, мысль, представляющая истинную научную и практическую ценность, — он верил в это! — претворится в жизнь, не умрет вместе с ним... Однако он понимал, что идеи эти могут оказаться своего рода палкой, которой разворошили ученый «муравейник». Он не стал требовать участок из институтского фонда, а прямиком отправился к одному толковому председателю колхоза. Ему ничего — как он говорил Азизу — не стоило убедить председателя в том, как нужны, как перспективны эти опыты. Между колхозом и институтом по всем правилам был составлен договор, там был и такой пункт: «...ученые института раз в два месяца должны читать колхозникам научно-популярные лекции... В целях обеспечения колхоза будущими специалистами ученые берут шефство над молодежью кишлака... В свою очередь колхоз выделяет полтора гектара земли для проведения научных опытов...»

Азиз боялся поверить в такую удачу. Он помчался в колхоз как на крыльях. Председатель был занят с представителями райкома и все-таки сам встретил Азиза. Маленький, прокаленный солнцем и ветрами, с напрочь бритой головой, веселый, подвижный — он сразу же понравился Азизу. Своим собеседникам председатель сказал: «Знакомьтесь, это ученик Сергея Матвеевича», и те приветливо закивали головами. Потом

председатель обратился к Азизу: «Пока я освобожусь, вы сходите, посмотрите на свой участок, как он вам...», посадил в свою машину, наказал шоферу: «Доставь гостя на место и возвращайся обратно».

Тогда-то Азиз впервые встретился с Махаматом Упрямцем. Смуглый до черноты, худой — кожа да кости, жилы на шее — как толстые пальцы, серповидные усы. Бригадир был в пропыленном комбинезоне, брезентовых сапогах, заляпанных грязью. Он стоял возле стола, над которым висела клетка с перепелом, и время от времени царапал что-то карандашом в простой школьной тетрадке. Он холодно поздоровался с Азизом и шофером, налил им чаю из старого, видавшего виды чайника. Узнав, зачем пожаловал к нему Азиз, он уставился на гостя гневным взором:

— Что-о? Земля? Участок? Какой такой участок?

В разговор вмешался шофер председателя:

— Раис велел выделить ему землю для опытов возле тутовой рощи.

— А ты помолчи! Иди и скажи своему председателю, что я не дам эту землю даже господу богу. Пусть отдает под опыты свой двор, благо он у него как стадион.

С шумом-скандалом они все вместе ввалились к раису.

Председатель принялся его увещевать:

— Махамат-ака, у других бригадиров тоже есть земля, и мы могли бы у них найти участок не хуже,— раис сделал выразительную паузу.— Вы же наш маяк, наша гордость. Опыт у вас огромный. Вы знаток хлопка, никогда не боялись неизведанного...

— Э, оставьте вы вашу демагогию... «Маяк»! — пробурчал Махамат-ака.

Раис начал закипать:

— Что они, унесут с собой в институт вашу землю?! Приезжают люди, хлопочут, ради вас стараются, поймите вы, наконец! Они хотят обуздать вилт!

Махамат Упрямец настороженно и вместе с тем уважительно посмотрел на Азиза.

— Не беспокойтесь, вам мешать не будут, продолжайте сеять свой хлопок. Только, когда на одномразъедином участке будете сеять, поливать, подкармливать хлопок, не сочтите за труд, советуйтесь с этим молодцом. И урожай с этого участка тоже будете собирать...— уговаривал бригадира председатель.

— Мы тут задыхаемся от вилта, он нас, подлец, прямо подкосил! Каждая пядь земли — на вес золота! А вы швыряетесь землей, поражаюсь я вам! — начал сдаваться Махамат Упрямец.

— Махамат-ака, не упрямьтесь! Все мы печемся об одном — о хлопке! И ученые тоже! Они хотят нам помочь! Они же... Из-за чего мы тут надрываемся, спорим? — Раис улыбнулся. — Если ваш внук занедужит, вы сразу кидаетесь к врачу. Эти люди тоже врачи. Они лечат хлопчатник. Махамат-ака, как ни скрывай болезнь, ее все равно выдаст высокая температура. Мы все мучаемся из-за этого проклятого вилта... А если вдруг найдется лекарство от него?! — Председатель поочередно обвел взглядом Азиза, Махамата и, будто успокаивая всех, заключил: — Раз так, давайте не будем создавать трудности там, где их нет. Что мы, как маленькие дети, карабкаемся с трудом на пустяковый холм? Давайте скажем спасибо ученым, поклонимся им... Семена, которые вы уже столько лет сеете, упали к вам с неба?! — вновь вспылил он. — Их создали вот эти ученые! А мы с вами почему-то считаем всех, кроме себя, глупцами!

Махамат-ака пробурчал: «Э, делайте что хотите!» — и, хлопнув дверью, вышел...

Председатель хитро усмехнулся, снял тюбетейку, почесал лысину.

— Получилось! — торжествующе изрек он. — Если он сказал — «Делайте что хотите!», то значит: все в порядке! Теперь идите к нему смело...

Махамат-ака встретил Азиза хмуро, но тотчас показал ему поле размером в полтора гектара. Ни слова больше не говоря он оставил Азиза одного и отправился по своим делам.

Азиз начал прикидывать возможности новой карты... Потом он услышал далекий голос: «Обе-ед!..» и обернулся на него. Загорелый, как и Махамат-ака, до черноты человек в одной майке, сложив ладони рупором, созывал колхозников на обед, посылая свой клич во все стороны.

К Азизу подскочил мальчик и сказал, что бригадир велит ему идти обедать. Есть Азизу не хотелось, не хотелось и ослушаться.

Махамат Упрямец сидел во главе стола и крошил лепешку в большую расписную чашку с маставой. Женщины, раскинув на траве палас, расположились

в тени рядом с хаузом. Громкий говор, смех, шутки, стук ложек... Все это напоминало Азизу родной кишлак в страдную пору. Махамат-ака знаком подозвал Азиза и указал на место справа от себя. Все с любопытством уставились на Азиза.

Махамат прикрикнул:

— Вы что, людей не видели никогда? Знакомьтесь: товарищ Касымов Азиз. Он прибыл сюда, к нам, уничтожить вилт. Чтобы облегчить наш труд.

Колхозники смотрели на Азиза с удивлением и восхищением. Кто-то принес и поставил перед ним полную миску маставы. Все вновь приступили к еде, молча и сосредоточенно. Азиз помешивал суп ложкой, чтобы он побыстрее остыл, а сам косился по сторонам. Неподалеку от длинного деревянного стола громоздились две бочки, на одной из которых кто-то оставил приемник. Чуть дальше — накренилась арба с одним задним колесом. Под ней — в прохладе — развалился большой пес. Когда чересчур наседала мошкара, он поднимал морду и тряс ею.

— Отведайте маставу хлеборобов! — неожиданно услышал Азиз голос бригадира. Махамату-ака, видимо, было чуть-чуть неловко, и он хотел сгладить неблагоприятное впечатление, которое мог вызвать у гостя своим криком и упрямством. — Желаете, расскажу современную притчу? — Он отодвинул пустую миску, вытер платком усы, поудобнее уселся.

— Давайте, давайте! — раздалось отовсюду.

— Надо же было так случиться, что у одного порядочного человека сын не поступил в институт, — начал Махамат Упрямец, улыбаясь одними глазами. — Что же ему, порядочному отцу, делать? Как быть? Ничего нет хуже безделья! Не дай бог сын пойдет — от нечего делать — по кривой дорожке! Ладно, решил отец, пусть займется чем-нибудь полезным. И вспоминает, что один его приятель заведует большим магазином. Не столичным, конечно, ГУМом или ЦУМом, но магазином большим. Отправился к нему: так и так, дружище, объяснил он, сын во время экзаменов на беду, заболел и не смог поступить в институт. Нельзя ли устроить его на работу к тебе? Может, найдется у тебя что-нибудь потяжелее, мы согласны даже без зарплаты. Приятель решил на бескорыстие отплатить великодушием: «Такой уважаемый человек обращается ко мне с просьбой, как же я могу отказать! Если для сына такого почтен-

ного отца места не найдется, значит, мы напрасно небо коптим! Пришлите сына завтра же!» Растроганный любезностью отец все же решил поинтересоваться: «Какая может быть работа?» Приятель отвечает: «Не сомневайтесь, присылайте сына, хорошая, хорошая будет работа, рублей триста будет иметь в кармане каждый месяц. Денежная». Отец сразу сник: «Нет, нет, такая нам не подходит. Я все-таки хочу, чтобы на будущий год он пошел учиться. Привыкнет к таким деньгам...» Друг идет ему навстречу: «Ну что ж, пусть поработает помощником продавца, будет иметь верные двести рублей...» Уважаемый родитель снова не согласился: «А другой какой-нибудь должности у вас нет? Зачем парню такие деньжищи?» Заведущий магазином, перестав понимать своего друга, ответил: «Тогда отдайте его в институт... Проучится-промучится пять лет, а потом будет получать семьдесят рублей в месяц».

...Эту притчу Махамат, как он после признался Азизу, рассказывал для того, чтобы все поняли, что он — Азиз — тоже из таких вот бессребреников.

Азиз не остался в долгу. Когда все отхохотались, угомонились, он невозмутимо заметил:

— Махамат-ака, если я пользуюсь достоверной информацией, то все ваши дети получили высшее образование?

Чувство гордости охватило Махамата, он выпятил грудь и начал хвастаться детьми:

— А как же! Бог наградил их и за нас! Теперь пришла счастливая пора для наших детей. Мы, как и велит жизнь, выучили всех детей. Меньшая дочь моя, если бог даст ей здоровья, на следующий год тоже будет поступать в институт, шелководом хочет быть. Остальные институты уже закончили, можно сказать, академики.

Снова поднялся хохот. Махамат думал, что люди все еще смеются над его притчей, но потом догадался, что попался на свою же удочку, и сам присоединился к всеобщему веселью. Он легко поднялся и своей заскорузлой рукой хлопнул по ладони Азиза: «Ваша взяла, сдаюсь!»

Вечером того же дня Азиз поведал о своей поездке в колхоз Салтанат, о людях, с которыми его, видно, надолго свела судьба, о Махамате Упрямце. Она поначалу смеялась, а потом посерьезнела.

— Однако, Азиз-ака, в этой притче есть соль. Огля-

нитесь вокруг: конь принадлежит тому, кто его оседлал, шуба — тому, кто ее надел. Не зря рождаются притчи. Видите, как мы с вами живем.

— А что, разве мы плохо живем?

— Об этом мы в другой раз поговорим! — примирительно произнесла Салтанат, а сама вспомнила советы, которые отец давал однажды молодому родственнику.

Отец сидел на террасе, попивая чай, а Салтанат вместе с матерью чистила морковь для плова, примостившись поблизости. «Когда в руки деньги попадают, не спеши их растранжирить. Копейка к копейке — ого-го, — глядишь, у тебя и достаток. Но не будь и скаредом. Потому что сколько бы ты ни получал — все равно кажется: мало да не хватает. Во всем мера нужна — и в тратах, и в экономии...»

Ожидая в нетерпении, когда же вернется Махамат-ака, Азиз не мог нарадоваться на жену. Попробуй разберись в ней — то бранится, то колючка колючкой, то светится лаской и любовью. Может, она и сама себя не понимает? То полна мечты, надежд на счастье, на успех Азиза; особенно если кто-нибудь похвалит его научные «подвиги», Салтанат вмиг преображается. Вслух мечтает: «Ничего, ничего, у терпения — золотое дно! И для нас взойдет солнце...» Как она хорошеет в такие минуты, на глазах расцветает! Как Азиз любит ее тогда... А бывает... Да зачем вспоминать... Сегодня Салтанат плыла по доброму, счастливому руслу.

Она и в самом деле была счастлива. Недаром такой герой, как Махамат-ака, пожаловал к ним в дом, понавез столько всякой вкусноты.

Значит — ее Азиз не последний человек, у него есть авторитет, его уважают. Салтанат заволновалась: хорошо ли она приветила гостя сегодня утром? Вроде бы — да...

— Вай, тавба! — проговорил Махамат-ака, едва переступив порог и ставя в коридоре на пол торбы с гостинцами. — Я ну прямо-таки пророк — такой вас и представлял, невестушка. У такого бравого парня, как Азизджон, и супруга должна быть такая же. Рад, очень я рад, что не ошибся! Пусть ваша жизнь будет долгой и благополучной...

Махамат-ака будто свет зажег в душе Салтанат. «Какой симпатичный человек. Простой, но воспитанный; как ценит Азиза! — ликовала она. Ей стало

жаль Азиза.— Бедный! Бедный мой! Зачем я мучаю его? Он старается для нас, любит нас с сыном. Что толку сравнивать его с другими: этот такой, тот эдакий, а ты никудышный! Даже пальцы на руке и те неодинаковые. У всех по-разному складывается жизнь. Чего я так спешу с его кандидатской? Придет время — и защитит! Надо уметь довольствоваться малым. Людей, которые живут труднее нас, тоже тысячи. Главное, чтобы он не разлюбил меня, есть ведь и такие мужья, что только и зыркают глазами на чужих жен... Азиз чистый, порядочный. Во всем. Как он работает, как работает! Другой давно бы плюнул... Азиз не отступает перед трудностями, добивается цели... И упрямство его от убежденности...»

Так размышляла Салтанат, изнывавшая от нетерпения: когда же возвратится с базара Азиз, у нее есть приятная новость о дорогом госте...

— Салтан,— Азиз назвал ее ласковым именем, именем счастливой их поры,— знаешь, я на днях будто Сергея Матвеевича встретил, наткнулся случайно на его статью. Она была опубликована в дни нашей свадьбы. Человеку в жизни не так уж много и надо! Нужно доброе слово! Оно может оживить, исцелить человека! А злое слово убивает... Я, ей-богу, заново родился.

— Это, наверно, действительно очень добрые слова! Прямо — великие слова!

— Теперь я уже не сосунок, каким был, когда встретил Сергея Матвеевича. И понимаю, каким он был благородным и щедрым человеком. Какой большой личностью, провидцем. Он-то знал и людей, и жизнь. Он предвидел трудности на моем пути... Салтанат, признаюсь тебе, мне иной раз хочется плюнуть на все и бежать без оглядки...

Салтанат порывисто возразила:

— Нет, нет! Вот тебе и раз! Когда я хочу с Бехзодом хоть одну ночь у мамы в доме провести, вы — на дыбы! А сами — бежать?! Вот это глава семьи!

— Кстати, а где Бехзод?

— Вспомнили, слава аллаху. Гульнара увела его на улицу. Вон они во дворе играют,— Салтанат высунулась в балконную дверь.

— Какая Гульнара?

— Вай, на какой планете вы обитаете? Вы что, и соседей своих не знаете?

Азиз промычал что-то неопределенно и, виновато тронув Салтанат за локоть, продолжал:

— Прочитал я эту статью — все мои сомнения и страхи рассеялись. Как дым. Будто и не было их никогда. Будто злосчастная моя работа вот-вот благополучно завершится. Понимаешь — успешно! Я чую это сердцем! Да, да, чую! Завтра снова мотану на участок, а там, глядишь, хлопок — что деревенские красавицы — высокий, рослый, сильный, плодовитый...

— Хорошо вы, однако, изучили кишлачных девушек! — перебила мужа Салтанат.— Вы к ним «мотанете» или...

Раздался громкий звонок.

«Пришел, наконец-то!» — в один голос воскликнули Салтанат и Азиз.

Махамат прижимал к груди целый ворох свертков и сверточков.

— Э, Махамат-ака, счастливы лицезреть вас целым и невредимым. Ассолом аллейкум! Прошу, добро пожаловать! — Азиз взял у гостя часть ноши.

— Идти-то всего два-три шага, а будто горный перевал одолел,— пошутил Махамат-ака.— Когда приезжаю в город, сразу накупаю игрушек на целый год. Внуки их с наслаждением раскурочивают. Захожу в магазин, и верите ли: перед глазами — не игрушки, а маленькие дети! Знаю, кто какую захотел бы! Каждому внуку да соседним ребятишкам купить по одной игрушке — все равно, что весь магазин скупить.

Допоздна затянулось застолье.

Разговорам их, кажется, конца не будет. Разговорам отца с детьми.

Потом Махамат сказал:

— Ну, Азизджон, невестушка, я выполнил свой долг. Теперь ваш черед! Приезжайте в гости в кишлак.

Тепло распрощавшись, Махамат, кряхтя, уселся в машину и тронулся в путь.

## 6

Азиз растянулся на траве под густой джидой. Небо все время меняло оттенки — недавно сияло бирюзой, а сейчас, будто вылиняв от солнца, стало белесым. Азиз вслушивался в милые ему звуки деревни: рокот трактора, птичьи трели, мычанье коров.

Он был на ногах с восхода солнца. Тщательно, как под микроскопом, изучил он каждый квадратик своего участка, чуть ли не исползал его вдоль и поперек. Свои наблюдения за ростом и рисунком растений Азиз записал в блокнот и только после этого, изнемогший, будто налитый свинцом, свалился на траву. Передохнув, он развернул завтрак, который снарядила ему Салтанат. Он жевал и разглядывал ствол джиды, которая спрятала его от солнца. Ствол был покрыт грубой шершавой коростой с выпуклыми, похожими на сливу, узлами. Эти наросты казались Азизу опухолью на теле дерева, которая подтачивает его... Чуть дальше — арык, будто остановился, истомленный зноем, нет сил катить воды дальше. Азиза тянуло, но он остерегался взглянуть еще раз на свой разбитый на карты участок: вдруг ему давеча померещилось? Почудилось, что кусты его хлопчатника отличались цветом стволов и листьев, словно впитали в себя какие-то особые соки земли. Наконец он решился — сердце его сладко екнуло. Ровные квадратики зеленели нежными кустами. На память пришли слова Джаббарова: «Не стоит тратить жизнь на пустые затеи, маниловщина в науке вредна». Азиз ласково прошептал, глядя на поле: «Утешители вы мои, спасители!»

На карте, что вплотную примыкает к тутовой роще, поднялся гибридный хлопчатник — надежда Азиза, его детище. Крупные коробочки, кусты высотой в девяносто—сто сантиметров, сразу видно, что вилт его не поразил. Ветки с коробочками покороче, листья на них резные, с пятью отростками, зеленые, сочные. Коробочки — гладкие, крупные, с нежными лепестками, как на подбор. Прошлым летом сорт Азиза дал по пять-шесть граммов с каждой коробочки. Сейчас даже на глаз заметно, что этот последний гибрид будет урожайнее.

Азиз смотрел на растение, как смотрят на долгожданное, наконец-то родившееся дитя. Дитя, оправдавшее твои давние надежды. Семь лет назад, после первого опыта, дикий хлопчатник даже не зацвел. Однако вилтом он не заразился, как Азиз ни старался его заразить. Он рос бесплодным, но здоровым, сильным.

А сейчас — спустя семь лет! Вот оно, его создание! Созревает раньше сорта «Ф», обладает лучшими качествами культурного и дикого растения. А люди смеялись над Азизом и его мечтой! Не верили в опыт.

Каким теперь простым, ясным, легким все кажется! Какое там — открытие, тайна природы! Аксиома, да и только! Чтобы получить эту маленькую «аксиомочку», он потратил, быть может, самые лучшие свои годы. А уж бессонные ночи, отчаяние, одиночества их разве учтешь? Взвесишь?

Радость, оживление Азиза вскоре сменилось печалью, сомнениями. Ему вспомнился утренний эпизод. Около правления колхоза ему повстречались два незнакомых парня. Один из них был в заляпанном мазутом комбинезоне, тяжелые кирзовые сапоги были ему явно велики, и он волоком тянул их по земле. Другой держал на плече кетмень и лихо курил сигарету. Парни вежливо поздоровались с Азизом, но, отойдя немного, разом хихикнули. «Это тот самый «богатырь», который с вилтом сражается! Уж лет десять, наверное, приезжает сюда и уезжает ни с чем. Никак не одолеет!» — донеслось до Азиза.

Ему стало стыдно и больно оттого, что его не понимают, не хотят понять, оттого, что лучшие его намерения, устремления, усилия — ради этих же людей — вызывают лишь насмешки, ехидное зубоскальство... Как многие мужественные и стойкие люди, Азиз был легко уязвимым и ранимым, когда дело касалось мелочей. Он огорчался из-за пустяков, правда, и радоваться мог малому.

Утренняя реплика врезалась в память, будто бросили увесистый булыжник в зеркало. Она испортила настроение. Но оказался Азиз на участке, облазил свои родненькие кустики — забыл и парней, и их смешки...

И все-таки, все-таки сомнения овладели им, хотя он имел право праздновать победу. «Может, парни эти не зря злословили? И я смешон со своим крохотным участочком? Люди и правда могут решить, что я маньяк какой-то: собираю засохшие ветки, запихиваю что-то в конверты, банки из-под консервов наполняю землей. «Лет десять, наверное, приезжает сюда и уезжает ни с чем!..» Это бы еще ничего — ну смеются, ну подтрунивают, ну не верят! Сам-то я уверен? Вдруг отрицательные свойства дикого растения все-таки проявятся в моем сорте? Не станет мой сорт давать урожай на больших площадях — что тогда? Кто будет нести ответственность перед страной, перед народом-тружеником? Мухиддин Джаббарович был вправе так поставить вопрос». Азиз пошел на поле Махамата-ака, где

рос обычный хлопчатник, испытанный за многие годы. Неделю назад Азиз видел это поле, кусты поднимались здесь здоровые, крепкие. Сейчас — остановились в росте, пожухли, пожелтели. Едва образовавшиеся завязи высохли, даже на землю попадали. Живых кустов осталось совсем мало, но и у них в завязях не ощущается тяжести.

Азиз брел вдоль арыка, присел на корточки, вымыл руки, охладил-ополоснул горящее лицо. Холодная вода, будто чуткий друг, успокоила, взбодрила его: поистине у страха глаза велики, робкий пугается собственной тени. «Вон они, мои доказательства, вон они, мои маленькие богатыри, стоят себе и тянутся к солнцу. Это явь, это практика. А как теория, научные закономерности? По-моему, я близок и здесь к цели, к обоснованию моей... гипотезы, что ли, нет, отныне практики! Она исходит из объективной материальной действительности. Разумеется, в соответствии с законами о наследственности, отдельные черты одного организма переходят в потомство, не изменяясь. Однако под влиянием внешней среды наследственные признаки могут видоизменяться и преобразовываться»...

Азиза охватило вдохновение, желание творить, дерзать, переворачивать во благо мир! Он подумал о том, что в студенческие годы он не знал сомнений — одни мечты, уверенность и надежды. Легко достижимыми, простыми казались ему тогда любые задачи, любые цели! Как все было ясно и четко в книгах, в учебниках. В жизни же все неизмеримо сложнее и запутаннее. Среди ученых постоянная борьба мнений и самолюбий. Самолюбие — это ерунда, мнение — вот главное. Ибо в непримиримых, казалось бы, спорах, дискуссиях и рождается новое, будущее! К примеру, ученые додарвиновского периода утверждали, что живая и неживая природа неизменны. Каким смешным и нелепым представляется это утверждение ныне! Дарвин подрубил под корень эту догму. Или наш Мичурин... Доказать на практике, что можно скрещивать далекие во всех отношениях друг от друга сорта, получить от них потомство! Его некоторые тоже считали «странным»... Вавилов создал учение о центрах возникновения культурных растений.

Однако в науке, как и в жизни, нет ничего застывшего на века. Она, подобно паруснику, несется вперед, подталкиваемая ветром открытий. Апробированные

теории нуждаются в коррективах — под влиянием новых открытий и познаний, которые приобретает человечество. Одно открытие отрицает, опровергает другие, познание расширяется — возрастает, возможность и отклониться от привычного пути, даже в яму угодить! И это тоже неминуемо и необходимо для развития науки,— прав был Сергей Матвеевич. Волшебное многообразие природы вызывает обилие точек зрения на нее. И обилие их — это наше богатство. Зачем же пренебрегать им, этим богатством, зачем отметать с ходу любую иную, чем твоя, точку зрения! Зачем забрасывать камнями ученого, у которого иной взгляд на проблему,— вдруг он, этот взгляд, приведет его к истине, быть может, новой, отличной от той, что некогда открыл ты! В конечном счете главное, чтобы все обращалось на пользу людям. Прав, абсолютно прав был Сергей Матвеевич, предостерегая ученых: «Берегитесь порочного лозунга — вперед, но только — вслед за мной!» Будто прямо к Джаббарову адресовался, который именно этим лозунгом руководствуется, тем более что у него — такие возможности и связи. Кажется, он вездесущ. Куда ни глянь — везде Джаббаров, всюду — член ученого совета, президиума, редколлегии, правления... И это было бы само по себе прекрасно, будь на его месте ученый типа профессора Иванова. А Джаббаров превыше всего — науки, объективной реальности — ставит свои собственные интересы. Это надо уметь — быть столь непримиримым к любой мысли, противоречащей его, наносящей, как он считает, урон его авторитету! Это тоже искусство — вовремя оскорбиться, предостеречь, «уберечь науку». «И все же — мои или чужие — новые идеи, подвергающиеся сейчас насмешкам и гонениям, одержат в конце концов победу. Жаль, конечно, что «в конце концов!».

В трудные минуты Азиз сетовал, что нет у него опоры и защиты: будь у него «сильная рука», было бы иначе, полагал он. Над тобой бы не подтрунивали как над человеком странным, неуживчивым; не создавали бы тебе репутацию личности, которая идет-де против общественности, не уважает авторитеты, чересчур самонадеянна, а дела-то, мол, «пшик»!

Азиз с горечью думал, что люди вообще живут общепризнанными истинами и не любят, когда истины опровергают или подвергают сомнениям. Но больше всего тосковал Азиз по единомышленнику, по человеку,

который бы понимал его, разделял его взгляды и устремления. Он, конечно, осознавал, что и «опора», и «защита», и «сильная рука» — категории зыбкие: сегодня есть, завтра нет. И чуждые ему, как все, что связано с меркантильным умыслом, практическим интересом, выгодой.

Понимание со стороны друга, его желание разобраться в твоих идеях, вникнуть в них, поддержать или отвергнуть, но с чистой душой,— об этом Азиз тосковал, к этому стремился, как к самому большому благу, дару судьбы...

Листья тутовника мирно шелестели, журчал арык, заливались птицы — Азиз весь обратился в слух. Словно из-под земли перед ним возник Махамат-ака. Он постелил на траву бумагу, водрузил тут же большую дыню.

— А ну-ка, отведайте, своими руками вырастил,— он уселся, скрестил ноги.— Азизджон, я вот подозреваю вас: не сыплете ли вы под свои кусты какие-нибудь волшебные приправы? — Он выразительно крякнул.

Увидя спелую дыню, Азиз оживился, сглотнул слюну. Махамат-ака вынул из-за голенища нож с наборной ручкой. Прежде чем разрезать дыню, он внимательно изучил ее со всех сторон и только потом плавно провел по ней ножом. На бумагу обильно полился сок.

— Да это не дыня, а сказка! — воскликнул Азиз, предвкушая, как они сейчас расправятся с ней.

— Вот это да! Какова красавица? Слава богу, дожили до поры созревания плодов. Угощайтесь, Азизджон, пробуйте. Она, голубушка, выросла на клочке земли, который я сам обрабатывал и подкармливал старым деревенским способом,— Махамат хитро подмигнул и расхохотался.— У кого двигаются руки, у того и рот шевелится.

Азизу еще не доводилось есть такую сладкую, такую бесподобную дыню. Она таяла во рту, ароматная, нежная. Когда с дыней было покончено, Махамат придвинулся ближе к Азизу и, словно опасаясь, как бы кто не услышал их, тихонько шепнул:

— Азизджон, а как будет на больших площадях? — и кончиком ножа показал на опытный участок.— Этот очень хорош. Каждый раз, как иду мимо, восхищаюсь вами.

Азиз засмеялся.

— Не смейтесь, Азизджон. Я серьезно спрашиваю. Беспокоюсь я.

Азизу будто наступили на «любимую» мозоль.

— Что, вы тоже сомневаетесь? — поморщился он.

— Нет, я не сомневаюсь. Однако и до меня дошли мелкие разговоры, которые вокруг вас ведутся. Я тоже бываю в Ташкенте, тоже уши имею. Я беспокоюсь, потому что люблю вас, братец. Не один год вместе пот проливаем, стали, слава аллаху, как отец с сыном. Если палка бьет по вас, она и мне боль причиняет.

Сжав зубы, Азиз ждал, когда Махамат-ака закончит говорить. Он снова вспомнил тех парней... «Значит, и Махамат-ака не верит мне? Просто скрывает, не хочет обидеть. Жалеет,— Азиз задохнулся от гнева.— Да что же это такое? Прямо все окружили меня одного и мутузят — кто сплетней, кто руганью, кто неверием. Так и норовит каждый уколоть, ударить, оскорбить. Будет ли этому конец?»

— Может быть, вам что-нибудь наболтала Салтанат? — Азиз еле сдерживался, чтобы не перейти на крик.

Махамат зорко посмотрел на Азиза — губы дрожат, глаза загнанные. «Да, видать, чутье меня не обмануло. Что-то между ними не ладно. Вроде бы и гладко, и блестит поверхность, а песочек все-таки попадается, мешает»,— соображал Махамат.

Интуиция подсказывала ему, что в семье Азиза нет того счастья и теплоты, той настоящей любви, которые в самых сложных условиях придают людям силы, делают их неуязвимыми, стойкими — вопреки всему. Дрожащие губы, загнанный взгляд Азиза утвердили Махамата в его подозрениях. Он искренне огорчился, что невольно разбередил раны Азиза, и попытался перевести разговор в другое русло.

— Есть мудрое изречение: собака лает, а караван идет. Век, наверное, сейчас такой: пока людей носом не ткнешь во что-то, ничему не верят. Я вам верю, Азизджон. Я знаю вас по делам, по трудам вашим. Я желаю вам удачи в вашем — нет, теперь уже в нашем общем — деле. Вы можете ходить с гордо поднятой головой. Я тоже профессор в хлопковом хозяйстве и вижу: вы сделали огромную работу! Просто я болею за то, чтобы вы подтвердили свою правоту.— Махамат молодцевато расправил плечи.— Никчемные разговоры, наветы — на каждый роток не накинешь платок!

Болтунов — что комаров на болоте! Не надо обращать внимания! Игнорировать надо! Если бы люди, милый вы мой, думали одинаково, то, пожалуй, скучно было бы жить! Вы бы первый захандрили. Верьте не верьте, когда вижу, что люди спорят, я радуюсь! Значит, во что-то верят, что-то отстаивают. Значит, есть у них в душе огонь. Избави нас бог от тех, кто словно лиса виляет перед тобой хвостом, а исподтишка вредит, словно иголкой колет. У-у-у! Такие похожи на змей, не ведаешь, откуда и когда они выползут!..

* * *

Трясясь в автобусе, Азиз размышлял о словах Махамата-ака: «Когда я вижу, что люди спорят, я радуюсь!» Так может думать лишь смелый, чистый человек. Если бы так же думал Мухиддин Джаббарович! Может, он уже миновал возраст, когда люди любят спорить?.. И ему нужен покой? Покой... Он и такие, как он, в свое время сделали немало — очень много сделали. Теперь никто не смеет сказать «брысь» даже их кошке. Никто!

Автобус катил по асфальту, который с двух сторон будто сжимали деревья, рощи, поля. Свет и тень, свет и тень — деревья отбрасывали длинные тени на дорогу, задумчиво играли лакированной листвой. Закат еще горел алым заревом на бескрайних хлопковых полях, золотились-зеленели виноградники. Но уже угадывалась близость пепельных сумерек. Повсюду копошились, двигались люди — сейчас время, страда земледельца. «Сколько земля потребует, столько они и будут отдавать сил ей. Они хорошо понимают друг друга, сотоварищи, братья, можно сказать. А братья разве считаются — сколько дать, сколько поработать ради брата. Для крестьянина это естественно... Вон на арбе! Посадил молодец рядом девушек, едет, зубы скалит!» Азиз улыбнулся. В детстве он вместе с ребятами таскал сливы из колхозного сада, а потом, притаившись где-нибудь под деревом, ждал, когда мимо поедет арба. Цеплялись они за край, влезали на арбу и, запихивая за обе щеки сливы, сплевывали косточки на пыльную дорогу. И ехали, ехали, бездумные, беззаботные. Боялись только, чтобы арбакеш не прогнал их длинным своим кнутом и не прервал их путешествия.

— Дней тех не вернешь, миновали безвозвратно,— прошептал вслух Азиз и в испуге, что его услышали пассажиры, покосился направо-налево.

«Когда я вижу, что люди спорят,— я радуюсь!..» Перед Азизом всплыло лицо Мухиддина Джаббаровича — красное, нервное; в ушах зазвенел его резкий, напористый голос. Однажды он обратился к Азизу, угрожающе махая пальцем:

— Братец вы мой, пререкаться, полемизировать по поводу и без повода — признак невоспитанности. Человек может ошибаться тысячу раз, между тем правильная, прямая дорога — одна. Заблуждаться, ошибаться — легко, но находить единственно верное решение, точно попадать в цель — сложное и кропотливое дело. Запомните это! И нечего спорить!

Потом сделал паузу, давая Азизу осмыслить изреченное им, и продолжал:

— Вам сейчас, может статься, и полезно шишек набить на лбу, вы еще молоды, у вас все впереди. Однако как бы вы с вашим характером всю жизнь не проплутали в потемках. Боюсь за вас.

«А что, если Мухиддин Джаббарович прав? И мой удел — неудачи, промахи и, как следствие, неоплаченные научные «счета»?.. Махамат-ака тоже во мне не очень-то уверен... Ох, что я нос вешаю? Если даже небо во власти Джаббарова, какими карами оно может мне грозить?.. Самое большое — академик не даст мне защитить кандидатскую. Ну и не надо! Не в этом суть — кандидат я или нет! Что изменится на планете, если станет на ней одним «остепененным» больше или меньше? Чепуха это! Суета сует! Главное — правота моя, живучесть и плодовитость моих зеленых богатырей. Все должно быть направлено только на это! Завоюю я славу или нет — зачем мне слава? Если мне удастся принести пользу, я буду счастлив и славен — для самого себя... Работаю я с добрыми намерениями, а потерплю неудачу — не казнят же меня, в самом деле! Буду искать дальше. А начну гнаться за степенями да за именем — ничегошеньки толкового не получится из меня. Какой тогда прок от степеней? Не в них суть, не в них! И не во власти академика Джаббарова отлучить меня от науки, вышибить из седла»,— так размышлял Азиз в день, когда сделал открытие, какое выпадает на долю не каждого ученого.

## 7

Добравшись до дома, Азиз почувствовал, как измотался за день под палящим солнцем, без куска хлеба.

Салтанат не отзывалась на его звонки, и он внезапно подумал: «Что, если с ней что-нибудь стряслось?» Азиз начал дубасить в дверь кулаками. Его воображение уже рисовало картины несчастий. Наконец послышался голос Салтанат: «Сейчас, сию минуту». Он ощутил слабость во всем теле. Растерянное лицо жены вызвало у Азиза раздражение, он еле-еле подавил его.

— Я забеспокоился, не приключилось ли чего с тобой.

— Ой, уже вечер, а я и не заметила. Бехзод уснул. Я вожусь на кухне.

Салтанат была очень бледной, голос ее прерывался, руки непроизвольно перебирали фартук. Она была вся напряжена, натянута, как струна, задень ненароком — и она зазвенит, оборвется. Азиз так устал и вместе с тем почувствовал такое облегчение — Салтанат вот она, цела и невредима, рядышком, что ничего не заметил. Самое важное для него сейчас — вымыться, поесть, лечь спать...

— Есть хочу, пить хочу и спать хочу. Холодный чай есть?

— Господи, вы совсем как Бехзод! — залепетала Салтанат, открывая поочередно холодильник, кастрюлю, чайник.— В доме есть и еда, и кровать, и чай. Вы же явились весь мокрый... Вы что, вдобавок к своей гипертонии хотите получить еще простуду? Потерпите немножко, охладитесь, выйдите на балкон. А я подам вам чуть погодя чай.

Азиз послушно последовал совету жены и вышел на балкон. Здесь было прохладно. Салтанат подала ему большой чайник зеленого чая. Он жадно выпил две пиалы подряд и немножко утолил жажду.

— Хорошо, что на свете есть вода,— удовлетворенно сказал Азиз и со стуком поставил пиалу на столик.

Салтанат пряталась от его глаз на кухне: на душе у нее было отвратительно, смутно. Она ритмичными движениями бросала тесто в кипящий котел — надо же все-таки приготовить любимый Азизом лагман...

Она начала стряпать сразу же, как накормила сына. С тех пор, как их навестил Махамат-ака, в ней вновь раскрылось, проснулось доброе, что она будто

держала взаперти. Салтанат повеселела, потеплела к Азизу, стала к нему внимательнее. Она знала, что у него сегодня трудный день: с опытного участка он обычно возвращался усталый и мрачный. Ей захотелось сделать ему приятное, порадовать любимым блюдом, накрыть красиво дастархан.

Однако она не успела осуществить свои благие намерения.

Когда в квартиру вошел Юлдаш, ее будто в пропасть толкнули. Он широко улыбался, стараясь прикрыть улыбкой смущение и робость — чувства, которые, как он полагал до недавних пор, вовсе им забыты. Он — снова! — был с объемистым пакетом. У Салтанат забили молоточки в висках, она стояла перед ним с бессильно опущенными руками. Ей было страшно.

Юлдаш нарядно, щегольски даже, одетый, ждал, чтобы Салтанат пригласила его в комнату, ждал и опасался, вдруг она прогонит его прочь. Салтанат будто онемела, потрясенная его нежданным, непрошеным вторжением. Юлдаш приблизился к ней, положил на пол сверток и протянул руку, губы его шевелились. Салтанат не поняла, что он спрашивал — разрешения войти в комнату и сесть или пожать ей руку. Она резко отпрянула назад и спрятала руку за спину. Очнувшись от гнева, она крикнула:

— Что вам здесь нужно? Как вам не совестно, взрослый мужчина! Являться в чужой дом! — У самой же в голове было: «А если его кто-нибудь заметил, сейчас уже кто с работы возвращается, кто цветы поливает на балконе... Ой, позор, что я натворила! А если Азиз раньше срока вернется, что я ему скажу?»

Салтанат дрожала как в лихорадке: «Господи, он меня пихает, толкает в пропасть... Спорить с Юлдашем нет никакого смысла, уж коли он опять решился... Шум поднимется, пойдут толки... Господи, что же мне делать? Сейчас самое главное — выпроводить его, — решила Салтанат. — Выпроводить во что бы то ни стало, хотя бы и обманом... Если бы в тот день, когда он заявился сюда, я прогнала его и во всем призналась Азизу, сейчас не было бы этой двусмысленной, глупой ситуации и совесть моя была бы чиста. Теперь же я одной ногой попала в трясину, теперь уже затянет меня, засосет...»

И тут только она заметила, что Юлдаш держит ее

руки в своих и гладит их, и притягивает ее к себе. Салтанат напряглась, чтобы не сдвинуться с места, но промолчала: «Господи, как бы мне его спровадить, чтобы никто его не заметил! Только бы мне не опозориться!»

Она молчала, вся сжавшись от страха, а Юлдаш становился все настойчивее. Он обнял ее властно, поцеловал в волосы. Салтанат вырвалась, но он опять схватил ее своими сильными руками, прижал к себе, шептал: «Салтанат, Салтанат!» Он совсем потерял голову. Горячими ладонями сжал ее лицо, наклонился и впился губами в ее губы. Салтанат что было силы ударила его по губам маленьким своим кулачком.

— Нахал! — глаза Салтанат метали молнии, ее переполняло возмущение.— Глупец и нахал! За кого ты меня принимаешь? Убирайся прочь!

Юлдаш, как слепой, двинулся к выходу. Он нащупал замок и хотел открыть его. Салтанат вообразила, что за дверью стоят соседи, привлеченные шумом, стоит Азиз... В отчаянии она схватила Юлдаша за локоть и потянула обратно,— казалось, всем своим существом она прислушивалась к звукам, доносившимся оттуда, извне. Нет, там было тихо, там никого не было. Только со двора доносились возгласы ребятишек, игравших в какую-то свою незамысловатую игру, и крик уличного торговца: «Жареная кукуруза, жареная кукуруза!..»

Салтанат непослушными пальцами машинально поправила Юлдашу воротник рубашки, выбившийся из пиджака, и нервно скривила губы. Задохнувшись, он снова обнял Салтанат и целовал, целовал ее лицо, волосы, плечи, губы.

— Прошу вас, умоляю, уходите. С минуты на минуту придет Азиз, умоляю,— бормотала она, слабея от объятий, от прикосновений Юлдаша.

— Когда мне прийти? Когда? — нетерпеливо спрашивал Юлдаш, гладя ее плечи, руки.

— Потом! Потом! — Салтанат не понимала, о чем он говорит, о чем шепчет.— Господи, да уходите же скорее!

Собрав все свои силы, Салтанат вытолкнула его на лестницу, приложила указательный палец к губам и закрыла дверь.

Только на улице Юлдаш пришел в себя, опомнился. Он ускорял шаги, будто за ним кто-то гнался. Он не за-

метил, как добрался до автобусной остановки, и только здесь набрался смелости и оглянулся — сзади никого не было. Он с облегчением вздохнул. Вдали засветился зеленый огонек такси, Юлдаш выскочил на середину улицы, подняв руку. Такси затормозило, Юлдаш сел на заднее сиденье.

Он чувствовал себя как человек, только что оказавшийся на свободе. Он пытался сосредоточиться, успокоиться: «Если бы я чуть задержался, мог ведь, и правда, натолкнуться на ее мужа. Какие неприятности я доставил бы ей. Хорошо, что этого не произошло...»

У Юлдаша и в мыслях не было так вот внезапно нагрянуть в дом Салтанат. Сегодня женился его коллега, и на работе весь день только и были разговоры об этом, строили планы, как они, приглашенные, посидят за праздничным свадебным столом. Все любили молодого инженера, который вступал, как мужчины шутили, в их «отряд женатиков». Юлдаш с утра оставил машину дома. С тех пор, как он работал за рубежом, он привык водить машину сам и теперь, кажется, шагу не делал без нее. Но свадьбы, как известно, без выпивки не обходятся.

Торжество было дружным, веселым, шумным. Шуткам, тостам, добрым пожеланиям, казалось, конца не будет. А Юлдаш сидел и думал: «И у нас с Салтанат могла бы быть такая же свадьба». Его потянуло к ней с такой силой, какой он и не предполагал в себе. Ему было и грустно, и приятно от мыслей, от этого чувства. Он обрадовался тому, что сердце его еще способно сладко замирать при одном лишь имени «Салтанат», что он влюблен, как мальчишка. Он попрощался с молодоженами, заскочил на работу, прихватил с собой подарок, купленный несколько дней назад, и помчался на Чиланзар. Полетел, как перелетная птица, устремляющаяся в теплые края. Мелькнула мысль: «Азиза не должно быть дома, еще рано, да и время такое, что он пропадает на своем поле... Э, знаю я этих ученых сухарей! Когда дело касается звания, из-за листка бумажки, именующейся кандидатским дипломом, они готовы круглые сутки надрываться!»

Сейчас, в машине, Юлдаша будто горячей волной обдало, так ему стало стыдно самого себя. «Повстречайся я с Азизом, не миновать бы Салтанат большого скандала. Опозорил бы ее, превратил ее семейную жизнь в ад. Недаром говорит Шорасул, что Азиз не

уважает даже моего дядю. Такого человека, как Мухиддин Джаббарович!.. Но я тоже хорош! Никак не угомонюсь! Не избавлюсь никак от привычки считаться со своими желаниями и капризами».

Юлдаш доехал до дома; шофер остановил машину у самых ворот, зажег свет в кабине, искоса на него посматривал. Юлдаш щедрой рукой достал деньги, рассчитался, вылез из машины, громко хлопнув дверцей. Водитель крикнул через открытое окно, уже трогая машину:

— Эй, парень, а у тебя все дома? Не боишься разориться?

* * *

Сколько она простояла у дверей, Салтанат не помнила. Она очнулась, услышав, что возвращается Азиз. Отошедшая слегка от подошвы металлическая подковка, касаясь бетонных приступок, издавала характерный звук. Недавно Салтанат отчитала Азиза: «Разве вас не раздражает этот звук? Неужели нельзя починить обувь?..» Знакомое это позвякивание вернуло Салтанат к реальности: «Проклятье, этот сумасшедший оставил сверток свой у меня!» Она схватила сверток и вихрем влетела в комнату, спрятала в нижний ящик шифоньера. В этот момент Азиз позвонил. Салтанат быстро поправила прическу, платье, остановилась, унимая сердце. «Если я даже тенью проскользну мимо двери, Азиз может заметить меня,— соображала она.— Лучше пройти через балкон на кухню!» Снова раздался звонок. Салтанат взяла скалку, убрала на полку, разгладила дрожащей рукой клеенку. В дверь уже дубасили кулаками. Салтанат, громко приговаривая: «Сейчас, сейчас!», отворила дверь...

Салтанат наполнила миску Азиза до краев, посыпала лагман зеленью, присела рядом. Она украдкой, робко поглядывала на мужа и думала: «Догадывается или испытывает меня?» Она прислушивалась, не раздастся ли на лестничной клетке какой-нибудь подозрительный шорох: «Вдруг Юлдаш вернется, ведь он совсем разума лишился!»

В полной растерянности, угнетаемая чувством вины, Салтанат вдруг, неожиданно для себя, выпалила:

— Будь она неладна, эта ваша работа! Нельзя без слез смотреть на вас! Осунулись, побледнели! Что же это такое? — Она замерла на миг.— Ей-богу, пожа-

луюсь на вас Махамату-ака. В прошлый раз он отнесся с сочувствием...

Азиз насторожился:

— Чего ты ему наговорила?

— «Наговорила»! Я ему правду выложила. Что ваш руководитель вас мытарит, не дает вам дорогу. Ненавидит вас, только это и сказала.

— Ты в своем уме? Ненавидит меня?!..— Азиз опешил.

В другое время Салтанат мигом бы оборвала мужа, упрекнула, что «голос повышает, что груб с ней». Сейчас она попридержала язык и опустила голову в знак признания своей вины.

Азиз смягчился:

— Я же тебе внушал не раз: не вмешивайся в мои дела. Зачем тебе лишние заботы? Не ломай голову над вещами, в которых не очень разбираешься. И потом... работа моя вроде бы удалась,— ласково потрепал Салтанат по голове.

После ужина он нырнул в мягкую постель и моментально уснул.

Салтанат долго возилась на кухне, стараясь не греметь посудой... Удостоверившись, что Азиз крепко спит, она на цыпочках пробралась в комнату, где спрятала сверток Юлдаша. Ее мучило любопытство. В целлофановом пакете красовалось женское белье — нежное, тонкое, в кружевах. Она быстренько завернула его и опять спрятала. Поцеловав сына, она тихонько улеглась рядом с Азизом, зажгла ночничок: ее так и тянуло рассмотреть, разглядеть лицо мужа, сравнить... Глубокие морщины, заострившийся нос, тени под глазами — и его ямочка на подбородке, она очень молодит его. Салтанат разглядывала Азиза долго, пристально: «Бедный, измотала его работа, жизнь измотала. Похудел, постарел. Устает, даже поговорить со мной у него сил не хватает, валится в постель и тут же засыпает».

Салтанат погасила ночничок и лежала без сна, осмысливая то, что у нее произошло сегодня с Юлдашем. Она сравнивала его с Азизом. Муж — чистый человек, у него и в помыслах нет бегать за чужими женами, смотреть на них с грешными намерениями. Он заслуживает и уважения, и честного отношения к себе. Юлдаш — красивый, самоуверенный, конечно же любит женщин, привык к вольным отношениям с ними, это по всему заметно. Салтанат вспомнила, как Юл-

даш целовал ее, вспомнила его губы, руки — и в ней пробудились незнакомые ей ощущения — вот-вот лишится сознания, голова сладко туманится, во всем теле истома... Азиз застенчив, даже в супружеских отношениях сдержан, целомудрен,— Салтанат подумала об этом с гордостью за своего мужа. Она посмотрела на стену, где висела их свадебная фотография; в темноте ничего нельзя было рассмотреть, но Салтанат легко представила ее: взволнованное счастливое лицо Азиза, лицо человека, окрыленного любовью, надеждами. «И зачем я только встретила этого щеголя? Зачем впустила его сегодня? В прошлый раз? Он становится для меня настоящим бедствием! — Салтанат зажмурилась.— Что у него на уме? Уж не насмехается ли он надо мной? Мужчина, который хоть капельку уважает и любит, так не поступает! А может быть, именно так и поступает?» — вдруг мелькнула мысль. Салтанат испугалась ее. Азиз застонал во сне и что-то невнятно пробормотал. Она осторожно натянула одеяло ему на плечи.

Салтанат никак не могла забыться сном. Мысли, словно отара овец, бродили в ее голове, лишали покоя и равновесия. Она невольно вспоминала жадные руки, жадные губы Юлдаша — они и сейчас волновали ее. Салтанат пощупала губы, ей казалось, что они и теперь горят, и теперь жесткие усы касаются ее щеки. Да, крепко она ударила его, аж головой стукнулся о стену; Салтанат прыснула от смеха. Все, все — каждое слово, каждое касание Юлдаша — перебирала в уме Салтанат с отчетливой последовательностью и снова почувствовала новые, тревожные, сладостные ощущения. «Неужели я допустила это?! А вдруг он насмехается надо мной?.. Надо было сразу же его выгнать и не бояться соседей. Теперь он будет приходить опять и опять. Надо было выгнать раз и навсегда... Нет, я опозорилась бы в глазах людей. Меня начали бы осуждать, сплетни поползли бы по всему Ташкенту... Нет, нет, я правильно поступила, что спровадила его потихоньку. Это лучше, чем жить опозоренной. Ничего, если явится, я справлюсь с ним как-нибудь,— успокаивала себя Салтанат.— Отважу его. Объясню, что у меня муж, сын, что я люблю их, а он мне вовсе не нужен...» И тут же, вслед, молоточком билась радостная мысль, что она свела с ума такого красивого, сильного, опытного мужчину.

Азиз не любил пиры и застолья, но на банкет к Шорасулу решил пойти. Решил после долгих колебаний.

Когда Азиз выполнил задание Расула Аллаяровича, они встретились, как всегда, в директорском кабинете. Азиз деликатно, но прямо сказал директору, что по его мнению, лишь треть материалов может быть признана стоящей, пригодной для монографии; остальные же устарели и могут быть спокойно выброшены. Расул Аллаярович сник, но поначалу не поверил Азизу. Он допоздна просидел над бумагами с пометками и комментариями Касымова и вынужден был признать, что тот прав. Его несколько удивило, насколько высоки научные познания Азиза, его эрудиция и интуиция, которую Расул Аллаярович считал признаком таланта. Он проникся к нему уважением с долей то ли зависти, то ли ревности.

Однако, когда на следующее утро он вызвал к себе Азиза, чтобы выразить ему признательность за помощь, он не стал тем не менее высказывать ему восторгов. Накануне Расул Аллаярович имел беседу с Джаббаровым относительно Азиза: «Надо бы нам поближе поинтересоваться работой Касымова; если нужно, то и помочь ему». Академик аж в лице переменился:

— Вы что, опять намекаете на мою предвзятость? Сколько раз я вам заявлял, Расул Аллаярович, какая может быть у меня предвзятость по отношению к этому горе-новатору? Как, однако, странно получается — виноват не он, а я, что работа его застопорилась!.. Между тем для воспитания упрямого человека необходима бывает и палка — я теперь это вижу! Он не понимает доброго отношения. Мою осторожность он выдает то за трусость, то за нежелание помочь ему.

То, что такой искушенный, влиятельный человек, как Джаббаров, при одном только упоминании имени Касымова побледнел, вспылил, дал волю гневу, удивило, даже заинтриговало Расула Аллаяровича. Как, почему?.. Он решил, что Касымов чем-то, о чем он, директор, не ведал пока, видимо, крепко уязвил, разобидел академика. И он с досадой подумал: «Допустимо ли, чтобы мальчишка обидел такого уважаемого человека? Чем? Каким образом? Вот я не умею, хотя иной раз и не прочь, «срезать» этого спесивца». Расул Аллаярович недолюбливал Мухиддина Джаббаровича, но

чем больше тот вызывал у него недобрые чувства, тем тщательнее он их скрывал...

— Надо, Азизджон, уметь ладить с людьми, с коллективом,— поблагодарив за работу, начал директор, поигрывая модными своими очками.— Вот, к примеру, закончил диссертацию ваш коллега и сосед Шорасул, на следующей неделе у него будет защита. Надо прийти, поболеть за товарища... Следующая очередь, если будем живы-здоровы, ваша.— Расул Аллаярович встал, прошелся по кабинету, остановился рядом.— Я не напрасно, Азизджон, говорю вам, чтобы вы не отрывались от коллектива. Один в поле не воин, не правда ли?.. Почему вы сторонитесь людей? Это ваши товарищи! На обсуждениях вы активны, а вот помимо работы ни с кем не знаетесь. Шорасул устроит банкет, надо, чтобы и вы пришли, я вас на таких мероприятиях никогда не вижу. Человек живет не сам по себе, а среди людей. Общение должно радовать, обогащать человека, вдохновлять! Вы молоды, говорят, жена у вас красавица, нельзя ее прятать от нас! Что вы сиднем сидите дома, запершись на все замки? — Расул Аллаярович улыбнулся: — Так у вас дела не пойдут. В коллективе любят общительных, веселых людей. Кто умеет хорошо отдыхать, тому и в работе бывает легче и проще. Всегда можно рассчитывать на поддержку окружающих. Короче — приходите вместе с женой, ладно? Обязательно приходите.

Азиз пробурчал: «Хоп». Он заподозрил: кто-то невесть что наплел о нем директору. Расул Аллаярович ничего не делает и не говорит просто так. За его нравоучениями и советами обязательно что-то кроется. Но что именно? Работу за него Азиз сделал добросовестно, оказал «товарищескую помощь», Расул Аллаярович явно ею доволен, от души поблагодарил. И вот — «оторвался от коллектива». В конце концов Азиз решил: «Прав Расул Аллаярович! Я веду себя как дикарь, как бука. Ничего и никого вокруг не замечаю, кроме семян, кустов, гибридов... Забыл, когда в последний раз надевал праздничный костюм, брился-одеколонился, выпивал рюмку водки, наконец. Салтанат тоже будет рада выйти на люди. Засадил ее дома, как старуху. Все-таки чурбан я, дубина, а не человек!»

Когда Шорасул пригласил его к себе на банкет, присовокупив при этом: «Приходи без капризов и обязательно с женой», Азиз даже обрадовался.

Он знал: в связи с тем, что банкеты теперь запрещались, гостей приглашали осторожно, «отбирали» тщательно, будто не на праздник созывали, а на обязательное, деловое мероприятие. Азиза все эти банкетные манипуляции когда потешали, когда злили. Иной раз бывало так: диссертация только-только выносится на обсуждение, а дружная попойка в ресторане уже тут как тут. Бывает, что людей куда больше занимает банкет, чем сама диссертация. Но самое смешное и досадное, что на этих застольях люди, подвыпив, провозглашали умные тосты и речи о науке, ее проблемах и конечно же о великом вкладе в науку «виновника торжества». Фимиам, мало сказать, курился — дым от него стоял сплошной, густой-густой. Когда похвалы и комплименты достигали апогея, Азиз говорил себе: «Ну, дым повалил! Отравляет окружающую среду! Пора уносить ноги!» Он не раз бывал свидетелем, как какой-нибудь разгулявшийся гость шепотком осведомлялся у соседа по столу, какова тема диссертации, по поводу которой они здесь пируют. И тут же просил слова для хвалебного тоста. И хотя это забавляло Азиза, он задавался вопросами: как людям не совестно? Где же их честность, моральные устои? И как же после этого можно верить ученым, которые, по существу, безразличны к основе основ — трудам друг друга! А сколько грустных и смешных историй было связано с этими пресловутыми банкетами. К примеру, три-четыре года назад один аспирант защищал, но не защитил диссертацию, получил много голосов «против». Он заранее заказал в ресторане все для пиршества. Однако все — его научный руководитель, аспирантская братия, не говоря уже об оппонентах,— на банкет к нему идти отказались. Он умолял: «Ладно, я не обижаюсь. В другой раз больше повезет, защищусь, пойдемте, выпьем по пиалушке чая». В ресторане за огромным обильным столом оказалась только кучка родственников. Посидели они, посидели, будто на поминках, и разбрелись. Бедный аспирант после этого пролежал в больнице три месяца. Об этом тогда много судачили.

Когда Азиз объявил Салтанат, что завтра они приглашены в ресторан, на банкет к Шорасулу, она ушам своим не поверила. Для нее этот выход был поистине великим событием, она не была знакома почти ни с кем из коллег Азиза, а год-два вообще нигде не быва-

ла, забыла, что такое праздник. Салтанат оживилась и забеспокоилась одновременно: «Вай, у меня никакого путного наряда нет, в чем же я пойду на банкет?»

Салтанат не упускала случая, чтобы упрекнуть мужа: «Держите меня взаперти, с вами я забыла, что такое развлечения, что такое светлый день». Она действительно забыла, что такое веселье в кругу людей, близких по интересам, профессии, просто — родных и друзей, как это бывало в родительском доме когда-то. Они жили с Азизом как в заколдованном царстве — никого вокруг, ничего нового, необычного, выходящего за рамки одних и тех же дел, забот, обязанностей.

Поэтому Салтанат очень взволновалась: будь ее воля, кажется, не пошла бы ни на какой банкет, осталась бы дома, занялась Бехзодом. Но Азиз настоял, и она отвела сына к матери. В назначенный час Салтанат была готова — помолодевшая, похорошевшая, принарядившаяся.

* * *

Около ресторана «Зерафшан» собрались приглашенные. Они стояли группками и вели дружеские беседы, ожидая, когда их пригласят к столу. Расула Аллаяровича и Мухиддина Джаббаровича еще не было, и распорядители банкета неотрывно следили за подходами к ресторану. В стеклянных стенах комфортабельного ресторана многократно отражалось заходящее солнце, будто где-то поодаль горели костры. Время от времени к окнам подходили официанты и выглядывали во двор — скоро ли гости пожалуют к накрытым столам.

Азиза шумно приветствовали мужчины. Салтанат робко осмотрелась. Около колонн, у входа в ресторан, сгрудились женщины средних лет. Они о чем-то оживленно болтали. Все они показались Салтанат уверенными в себе и очень важными — в золотых украшениях, дорогих платьях. Она разглядывала их краешком глаза — ухоженные, белолицые, умело подкрашенные, издалека их можно было принять за молодых. Отдельной стайкой держались пестро, модно одетые девушки, молодые женщины; они тоже чувствовали себя свободно и естественно, пересыпали разговор шутками-прибаутками. Мужчины, все в нове-

хоньких костюмах, при галстуках, бросали красноречивые взгляды на женщин.

Салтанат чувствовала себя скованно, неуютно в своем уже побывавшем в химчистке платье из хан-атласа, в вышедших из моды туфлях на гвоздиках. Приободряли ее лишь крупные, дорогие серьги — подарок отца. Она старалась запомнить новые линии платьев, форму туфель, потом с горечью подумала: «А что толку, смотри не смотри, с таким мужем всегда будешь ходить в старье! Я одета хуже всех и все это замечают! Да, видно, бог невзлюбил меня за что-то!..» Салтанат мерещилось, что все вокруг жалеют ее и недоумевают, откуда она такая взялась, провинциалка!

Между тем подкатила голубая «Волга». Из нее, не торопясь, вышли директор института, академик Джаббаров и полный коренастый человек.

Салтанат повернулась, как и все, ко вновь прибывшим, и сердце ее екнуло. Вслед за почетными гостями шел Юлдаш и вежливо раскланивался направо и налево. Он был в темном костюме, ярком галстуке, на манжетах его рубашки блестели крупные золотые запонки.

Мухиддин Джаббарович, торжественный и величавый, оглядывал с довольным видом гостей Шорасула. Когда его взгляд скользнул по Азизу, он слегка нахмурился и не ответил на его поклон. Затем громко, как хозяин, пробасил:

— Юлдаш, так где же ваш свояк? Все собрались, а счастливый виновник торжества отсутствует! Или у него уже голова закружилась и он заблудился где-нибудь, ха-ха-ха!

— Сейчас он прибудет, он отправился из дома сразу после нас.

Мухиддин Джаббарович любезно пожимал руки подходивших к нему по очереди людей. Расул Аллаярович как бы находился при нем, он держался осанисто, но скромно, сзади. Салтанат, растерявшаяся было при появлении Юлдаша, взяла себя в руки, успокоилась: «Пусть он волнуется, мне-то что!» Азиз ломал голову, где он мог видеть этого франтоватого красавца? Потом вспомнил: недавно он встретил его около дома, он очень спешил, будто бежал от преследований, Азиз еще подумал тогда: «А, небось спасается от мужа какой-нибудь молодки». Юлдаш невольно следил за каждым движением Салтанат, но, боясь выдать себя, перевел взгляд на Азиза: «Волком глядит на всех, стоит

отдельно, подальше от людей! Нашла себе сокровище, нечего сказать! Вот уж поистине — самую сладкую дыню ест собака».

Юлдашу стало стыдно: он привык составлять мнение о людях сам, а не со слов свояков да родичей. Потом он вспомнил, как обнимал Салтанат, и по нему будто огонь пробежал! «Слава аллаху, что мне это не приснилось! Мои руки касались этой женщины, чужой жены... Да, я не из тех, кто уступает свое. Уступчивые — они трусы. Даже мой дядя, хоть он и академик, и важничает, тоже не храбрец, во всяких видах я его видывал! Я своего не упущу и чужое сделаю своим! — Юлдаш даже замедлил шаг. — Что это я? Так думать о Салтанат, нет, о ней — нельзя!» Он двинулся навстречу машине, в которой подъехал Шорасул...

Все поднялись на второй этаж, в просторный, со вкусом оформленный зал. Этот зал мог вместить человек двести—триста. Отец Шорасула здорово расстарался, размахнулся для сына. Он, видно, от души рад был коллегам, товарищам Шорасула, пришедшим разделить их торжество. К тому же он был человеком щедрым и состоятельным — как-никак главный инженер крупнейшего треста.

Гостей ждали настоящие столы изобилия. После обычных, долгих препирательств и взаимных любезностей: «Вам открывать банкет... когда здесь вы, нам это делать неудобно» — и тому подобное, тамадой избрали Мухиддина Джаббаровича. Все наконец расселись по местам. Мухиддин Джаббарович окинул орлиным взором стол и обратился к хозяину:

— Шорасулджан! Где ваша супруга! Между тем что же получается? Вы восседаете за столом, да еще каким столом, а жена ваша пусть и здесь работает, так? Отец выдал нам вас!.. — Он укоризненно покачал головой.

Отец Шорасула сделал знак: иди приведи жену.

В эту минуту, вытирая руки полотенцем, откуда-то из глубины зала вышла полненькая невысокая женщина в платье из блестящей ткани. Следом за ней — другая. Женщины были так похожи друг на друга, что сразу можно было определить — это сестры. Салтанат вспомнила, что Юлдаш и Шорасул свояки, следовательно, они женаты на сестрах.

Глядя на двух этих женщин, одинаково причесанных, нарядных, мило, оживленно разговаривающих друг с другом и с гостями, Салтанат позавидовала им.

У нее тоже есть сестра, невестки, после свадьбы они еще изредка встречались, навещали друг друга, а теперь... Сколько уже времени минуло, как они забыли дорожку в дом друг друга! «Всему виной этот вот нелюдим! Не может ладить даже с родственниками. Из-за него я стала им чужой. Считает себя ангелом, а сам доброго слова жалеет для близких. Молчит, молчит, думает вечно о чем-то своем, все и считают, что он ими пренебрегает».

Салтанат очень понравились сестры, их платья из блестящей материи, переливающейся в свете люстр. Она глубоко вздохнула: «Кто удачлив в охоте, удачлив и в игре! Во всем удачлив! Юлдаш здесь самый красивый и видный». Салтанат почувствовала острую зависть и даже, пожалуй, ревность к жене Юлдаша. Салтанат быстрым жестом вынула поверх платья свое жемчужное ожерелье, о котором совсем было позабыла: пусть люди видят.

Тосты следовали один за другим, пышные, цветистые, замысловатые. Если бы Шорасул присутствовал на подобном застолье впервые, он мог бы голову потерять от восхвалений. Но он хорошо знал цену этому славословию «по поводу»...

Мухиддин Джаббарович, по общему мнению, был нынче в ударе. Цепко держал он хрустальный бокал — вот-вот раздавит его — и произносил одну речь за другой:

— Друзья! Мы не ошибемся, если заявим, что сюда, в этот великолепный зал, сегодня перекочевали наука и мудрость. Все, кто почтил Шорасула присутствием, между тем являются крупными учеными или таковыми обещают быть.— Вспыхнули аплодисменты. Тамада, повертев сверкающий бокал, сделал выразительную паузу.— Пользуясь столь замечательным случаем, ваш покорный слуга хотел бы обратиться к молодым. Возражений нет? — Все одобрительно зашумели.— Знайте же, слабовольным и ленивым успеха не видать! Особенно в науке! Однако воля, как утверждают философы, конкретное понятие. А вот упрямство — это еще не воля! Между тем, какими бы знаниями ты ни обладал, если имеешь мужество сказать себе, что ты невежда, всегда будешь в выигрыше! — Отец Шорасула, словно он слушал песню, качал плавно головой в знак согласия с этими мудрыми словами.— Между тем иные упрямые мальчики от науки бьют себя в грудь: мы-де

«не кабинетные ученые, мы за союз науки и практики». Это не что иное, как желание скрыть свое невежество, свою беспомощность! Не обещай достать луну с неба, а твори дела земные, если ты смел и отважен! Для этого надо трудиться. Трудиться! Вы, Шорасулджон, выбрали в науке правильный, я бы сказал, рациональный путь. К тому же над вами шефствует такой талантливый, добрый и великодушный человек, как Расул Аллаярович!

Отец Шорасула всем туловищем повернулся к Расулу Аллаяровичу, приподнялся и поклонился ему. Остальные, пожалуй, вовсе не слушали академика. Каждый был занят едой, соседями, все оживленно пересказывали друг другу удачные остроты, уловленные в общем веселом гвалте.

— Между тем наука требует последовательности и терпения. Простите меня, из тех, кто не обладает этими качествами, ничего путного не выйдет!..

Мухиддин Джаббарович, упиваясь собственной речью, казалось, вот-вот вынет сейчас из ножен саблю и начнет рубить ею... Расул Аллаярович многозначительно кашлянул. Мухиддин среагировал на это вполне мирно и поспешил закруглиться:

— Для чего я это говорю? Друзья! Вы еще молоды, ваше счастье, успехи впереди. Между тем добиться их и разумно воспользоваться — не так-то легко. Ошибки, которые в свое время допускали мы, да, да, допускали, не надо повторять вам! Избегайте ошибок — вот к чему я призываю и вижу в этом свой долг. Помните всегда: великие открытия являются плодами великих поисков. В науке нет другого пути, как трудиться в поте лица своего...

Джаббаров, закончив тост, победно обвел взором дальних и ближних соседей. И тут заметил, что все смотрят совсем в другую сторону. По лестнице, застеленной красной ковровой дорожкой, медленно поднимался Толмас Азимов. Этого резкого, неулыбчивого человека многие в институте побаивались. Даже Мухиддин Джаббарович, не говоря уже о директоре, не отваживался вступать с ним в полемику. Когда же она возникала, академик, случалось, и проигрывал, и пасовал... В институте было известно, что профессор Азимов знает Расула Аллаяровича с детских лет, вместе в одной махалле росли, вместе учились, потом вместе оказались на фронте: спали в одной землянке, лежали

рядом в окопах. Толмас Азимов навсегда запомнил взрыв того снаряда, что оставил его без ноги. Последнее, что он, теряя сознание, слышал, был крик Расула: «Толмас!» Они надолго расстались. После госпиталя Азимов вернулся в Ташкент. Работал в школе, преподавал в институте сельского хозяйства. Лет через десять защитил кандидатскую диссертацию и еще через десять лет — докторскую. Он не спешил приобретать звания, но до знаний был жаден. Азимов был блестящим преподавателем, педагогом и экспериментатором. Несмотря на внешнюю замкнутость, грубоватость даже, он был добрым и отзывчивым человеком, любил студентов, молодых ученых, много возился с ними. И молодежь платила ему уважением и преданностью...

Лишь немногие догадывались, что Толмас Азимов тяготит Расула Аллаяровича, мешает ему и что он был бы рад избавиться от его присутствия в институте! Азимов с его прямотой и резкостью суждений, точностью и логикой научного мышления, с его нелицеприятностью и нежеланием играть в «дипломатию», все сглаживать — постоянно раздражал Расула Аллаяровича, был ему живым укором.

Азимов не спеша, хромая, приблизился к Шорасулу, восседавшему между Расулом Аллаяровичем и Джаббаровым, поздравил его. Все принялись усаживать его на почетное место, но он, поблагодарив, поискал глазами свободный стул среди молодежи и сел напротив Азиза и Салтанат.

Через час, в тот самый момент, когда застолье достигло своего пика, Джаббаров и директор покинули зал с важным видом занятых, деловых людей. Отец Шорасула и человек пятнадцать гостей отправились провожать их до машины.

Азиз обратил внимание, что Расул Аллаярович был все время при академике, чуть-чуть поодаль, но «при», будто сопровождающее лицо. Азиз усмехнулся: директор связывает свои планы с Мухиддином Джаббаровичем, надеется на его помощь и великодушную поддержку. Очередные выборы в Академию наук на носу, и Расулу Аллаяровичу, как претенденту на звание члена-корреспондента, естественно, нужны голоса! Решить его судьбу в этом деле один Джаббаров не может, но важно, очень важно, чтобы среди недоброжелателей было на одного меньше! Тут уж можно и гордостью поступиться, и должность свою забыть, как

и неприязнь к Мухиддину Джаббаровичу. На время, разумеется!

Азиз невольно хмыкнул и тут же перехватил взгляд профессора Азимова — тот тоже еле заметно улыбался. Азиз был уверен, что они думают об одном и том же. Он в смущении прокашлялся и вдруг заметил, что в Салтанат вперился тот самый красивый парень, вперился, иначе не назовешь! Азиз, вскипев, покосился на жену. Салтанат, опустив голову, ковыряла вилкой в тарелке.

Азизу опять пришла на память та встреча недалеко от дома. «Почему он так нахально уставился на Салтанат? Рядом с ним — жена. Почему Салтанат опустила голову?..» Его легонько подтолкнула под локоть Салтанат.

— Азиз-ака, не пора ли нам домой? Уже поздно, нам долго добираться,— шепнула она и начала медленно подниматься из-за стола.

— Что за спешка? — резко спросил он, но потом, понизив голос, произнес: — Может, еще посидим? Или тебе почему-либо здесь не нравится? — не удержался и съязвил Азиз.

— Да нравится мне, нравится! Но отвыкла я от шума, устала, голова разболелась! Азиз-ака, поедемте домой! Хорошего понемножку,— настаивала Салтанат, вся трепеща от страха, как бы Азиз не заметил, что Юлдаш пожирал ее глазами, как бы не догадался.

Салтанат поспешно попрощалась и быстро направилась к выходу. Азиз последовал за ней. Она пересекла улицу и пошла по узкому переулку впереди, вобрав голову в плечи; он смерил ее сзади недобрым, подозрительным взглядом. Потом не сдержался и грубо, с вызовом бросил:

— Почему этот франт пялился на тебя?

Салтанат вздрогнула:

— Какой франт?

— Не притворяйся! И незрячий бы увидел, как этот красавчик пялился на тебя! Ничего себе сходили на банкет! — В Азизе проснулась ревность, и он бесился от этого еще больше.— Ничего себе скромница, опущенные глазки...

Салтанат громко всхлипнула, и Азиз прикусил язычок. Но в автобусе они сели на разные места.

Около дома Азиз резко схватил ее за руку и угрожающе прошипел:

— Почему все-таки этот пижон глаз с тебя не спускал?

Салтанат побледнела, по щекам ее покатились слезы.

— Вы ведете себя благородно, нечего сказать! В кои-то веки я возвращаюсь домой с банкета. Познакомилась с вашими коллегами, повеселилась, а вы? Ревнуете к неизвестному какому-то человеку, выдумываете!..

— Я не выдумываю! — перебил ее Азиз.— Не делай из меня дурака. У всех жены как жены, а на мою, видите ли, зырят без стыда и совести, не стыдясь окружающих, да и собственной жены тоже! Вот наглец!

— Ну, а я-то тут при чем? Азиз-ака, успокойтесь и меня не терзайте понапрасну. А еще хвастаетесь всегда своим спокойствием и выдержкой! — слукавила Салтанат.— Господи, неужели ревнуете? После стольких-то лет? Значит — любите? — Салтанат попыталась взять мужа под руку, но он отстранился.

Они молча вошли в пустую квартиру. Азиз улегся на диване — свидетеле их ссор и размолвок. Он проклинал свою ревность, она казалась ему теперь смешной и нелепой, но упрямство не позволяло ему подойти к жене и помириться с ней. Он поворочался-поворочался и уснул.

Салтанат терзали тревога и опасение, что Азизу все известно и он только почему-то притворяется незнающим. Она боялась, что утром он разоблачит ее или, во всяком случае, будет допытываться: почему да отчего? Она вынуждена будет опять лгать, изворачиваться... Перед Салтанат возникали лица Шорасула, Юлдаша, их жен: «Как они дружны, добры, внимательны друг к другу! Можно позавидовать! А у нас нет не только друзей, даже знакомых хороших нет! Все отвернулись от Азиза! Мухиддин Джаббарович ну будто все время в Азиза стрелы пускал!.. Как, оказывается, приятно, когда тебя любят, ревнуют! В общем, буду считать, что Азиз мне сегодня в любви объяснился!..»

### 9

Азиз проснулся, будто его кто-то сильно толкнул в бок. За окном — темень, в комнате — темень, он один, на диване. Азиз лежал, пытаясь понять, почему он здесь. А где Салтанат?..

Он на цыпочках прошмыгнул в соседнюю комнату — Салтанат разметалась в постели, белели ее руки и ноги. «Хорошо еще, что не ушла к матери, вчера она здорово на меня разобиделась». Азиз в деталях вспомнил вчерашнюю сцену и устыдился — впору сквозь землю провалиться. Он слонялся по тихой квартире, неприкаянный, полный раскаяния. Потом решил, что, как только рассветет, он уйдет потихоньку из дому, побудет наедине с собой, все хорошенько обдумает.

Хотя утренняя прогулка и вышла длительной, в институт он пришел рано. В коридоре его чуть не сбил с ног Расул Аллаярович, который приветливо кивнул ему: «А, Касымов, вы уже на посту! Молодец»,— и поспешно направился к выходу, к машине.

Азиз оказался в одиночестве, в пустой сумеречной комнате. «И чего я так мучаюсь? Никого я не ударил, вроде бы не оскорбил... Откуда это противное чувство вины, нечистой совести? Разве я сделал что-то постыдное? Ну, приревновал, чего в семье не случается? Хотя, конечно, вел я себя как последний глупец — сам вывел жену на люди и сразу же устроил ей сцену, а теперь вот маюсь... Нет, я действительно одичал, надо исправляться, иначе и себя, и Салтанат доведу черт знает до чего...»

Работа отвлекла Азиза от тягостных мыслей; он развеялся, приободрился, повеселел, услышав множество комплиментов и похвал его «красавице жене» от коллег.

Домой Азиз возвращался, приготовив целую покаянную речь. Он намеревался произнести ее сразу же, до того, как Салтанат начнет свои упреки и обвинения.

Салтанат поразила его: она встретила его с улыбкой, встретила так, будто ничегошеньки не произошло и он перед ней чист и совсем не провинился. По пути он предусмотрительно купил отменный полосатый арбуз — «арбуз мира», как он окрестил его про себя. Растерянный от миролюбия и кротости жены, Азиз молча протянул ей арбуз. Она взяла арбуз и понесла в кухню.

Азиз обрадовался и забеспокоился: а вдруг эта улыбка, это спокойствие, эта мягкость обманчивы, вдруг это только маска и Салтанат приготовила ему какой-нибудь «сюрпризец»! «Лучше бы она сразу бросила мне в лицо обвинение, хорошенько меня пропесочила — и ссоре конец! Когда совесть мучает, а этого никто не замечает, нарочно молчат...» Азиз потоптался-

потоптался в комнате, потом включил телевизор. Он смотрел на экран и ничего не видел, ничего не понимал.

Салтанат весело позвала его из кухни:

— Азиз-ака! Ужин готов, вы уже вымыли руки?

И опять — ни упрека, ни вздоха в течение всего ужина.

Только они отужинали, позвонили в дверь. Азиз и Салтанат перемигнулись.

— Кто бы это мог быть? Наверное, сестра привела Бехзода! — вымолвила Салтанат, а в мыслях молнией пронеслось: «А вдруг это он?» Она изменилась в лице, у нее отнялись руки-ноги. Азиз уже с кем-то разговаривал в прихожей. Не с ним.

Салтанат увидела парня лет двадцати с маленьким чемоданчиком в руках. «Наверно, электрик или слесарь», — решила она.

Парень объявил:

— Здравствуйте, я с городской телефонной станции.

Он прислонил к стене свой чемоданчик, выпрямился и посмотрел на удивленного Азиза.

— Я с телефонной станции, — повторил он, будто не был уверен, что Азиз понял его.

Азиз ответил ему:

— Вы, наверно, ошиблись. У нас телефона пока еще нет. Чинить, проверять нечего, когда поставят, тогда — добро пожаловать.

Парень, никак не отреагировав на его слова, начал не спеша рыться в своем чемоданчике; потом весело подмигнул Азизу:

— Тащите суюнчи, я пришел как раз устанавливать вам телефон. У нас точек пока маловато, в каждом доме ставим по два-три аппарата. Начальник велел идти в вашу квартиру, небось хлопотали, шум поднимали?

Парень деловито раскладывал инструменты, выпрямлял проводку, свернутую в бухту.

— Нет, шуметь не шумели, но хлопотали. Правда, это давно было, я уж перестал надеяться, забыл.

— А-а, вы забыли, а мы не забываем, ака. Раз попал в списки, значит, попал в точку, — хохотнул парень и осведомился: — Где будете ставить?

Ноги сами понесли Салтанат, она показала на тумбочку в комнате. Парень сначала с сомнением посмотрел на потолок в прихожей, затем на плинтуса, а потом на тумбочку, покачал отрицательно головой.

— Не хватит проводки,— обратился он к Азизу.— Да и резона нет устанавливать телефон в комнате. Вам еще надоедят люди, которые будут приходить и просить разрешения позвонить по вашему телефону. Советую приладить его вот здесь, в прихожей самое удобное место.

Предложение пришлось по душе и Азизу, и Салтанат. Решили, что новенький аппарат украсит всю прихожую. Через час все было готово. Парень с гордостью кивнул на красивый черный аппарат: импортный — и набрал какой-то номер.

— Алло, как слышите меня, как слышите? Я четвертый, установил... Звоните...

Телефон зазвонил звонко и весело, будто возвещал о празднике.

— Ну вот, ака, все в порядке! Теперь можете разговаривать сколько душе угодно,— парень начал собирать инструменты, валявшиеся на полу.

Салтанат молча направилась в комнату, быстро вернулась обратно и, светясь от радости, несколько раз повторила «рахмат». Она что-то сунула парню в карман куртки.

Салтанат проводила парня с таким сияющим видом, словно выиграла по лотерейному билету автомобиль.

— Я дала ему десять рублей,— прошептала она.— Ведь надо давать на чай, особенно когда так повезет!

Салтанат не могла оторвать взгляд от блестящего, приметного, сулящего столько удовольствий аппарата и тут же предложила:

— Вай, давайте позвоним маме!

Торопливо, будто не веря свалившемуся счастью, Салтанат набрала нужные цифры. Она даже язык высунула от усердия. Азиз невольно залюбовался ею.

— Мама! — крикнула она высоким звенящим голосом.— Это я, Салтанат! Все нормально! Не беспокойтесь! Я звоню из дома! Да, да, из дома! Только сейчас установили. Я позвонила вам самой первой. Номер? Сейчас! — Она сделала знак Азизу, чтобы он передал ей квитанцию, которую оставил парень на трюмо.— Что делает Бехзод? Уже спит, вот соня! В какой комнате? Да, хорошо, хорошо, только откройте форточку...

Все обиды и ссоры были забыты.

* * *

Утром, когда Азиз ушел на работу, Салтанат стала собираться к матери за Бехзодом. Она напевала, настроение у нее было приподнятое. Зазвонил телефон. Салтанат вздрогнула, будто вновь убедившись, что они обладатели такого богатства, живо подбежала к телефону и подняла трубку.

— Алло! — произнес сильный мужской голос.— Это вы, Салтанат? Здравствуйте!

Салтанат встревожилась и отозвалась:

— Да, я. Кто это?

— Не узнаете? Это Юлдаш. Поздравляю вас! Как, телефон хорошо работает? Вы довольны? — было похоже, что Юлдаш улыбается.

— Да... работает. Хорошо...

— В тот день... Простите меня... На банкете вы были такая красивая... правда, правда... знаете, просто не нахожу сравнений... вы как родник с живой водой. Я рад, что у вас теперь телефон есть — вы будто стали ближе... Я еще во многом перед вами в долгу... До свидания, будьте здоровы.

Салтанат услышала частые короткие гудки, немного подождала и осторожно положила трубку на рычаг. «Откуда же ему известен наш номер?! Удивительно! Везде этот человек! А что означает его фраза «я еще во многом перед вами в долгу»? Неужели телефон... неужели он устроил?»

Салтанат рассердилась было, а потом громко расхохоталась, закружилась по комнате. Ее развеселила озорная мысль, что влюбленный мужчина глупеет и теряет уверенность, заикается, как мальчишка. «Удивляюсь я на этих мужчин. Дома у Юлдаша прелестная жена, а он... Если хоть и однажды в шутку улыбнешься мужчине, даже самый святой и тот сходит с ума...— Салтанат подошла к зеркалу и скорчила смешную гримасу.— Влюбляются тут же... Господи! Неужели они не понимают, не догадываются, как они смешны, как нелепы! А какая настойчивость! В их представлении женщина это лакомый кусок, пока не получат — не успокоятся. И Юлдаш такой же!.. Хуже ребенка! Готов стать моим пленником, готов плясать под мою дудку... Интересно, очень даже любопытно, что он выкинет завтра? Что придумает?»

В этой завязавшейся любовной игре Салтанат чувствовала себя сильнее Юлдаша. И — почему-то — совсем, совершенно неуязвимой.

10

Едва только машина пересекла трамвайную линию, по многолетней привычке Мухиддин Джаббарович тотчас же вышел из нее. Остаток пути он любил проделывать пешком. Машина уже трогалась с места, когда он поспешно взглянул на часы и что-то крикнул вдогонку шоферу. Тот высунулся из окна и согласно кивнул.

Мухиддин Джаббарович направился к своему дому. Он не любил подкатывать к самым воротам, поднимать на всю улицу пыль. По дороге ему встречались соседи и знакомые, и ему нравилось отвечать на их почтительные приветствия. Когда у Мухиддина Джаббаровича бывало хорошее расположение духа, он останавливался на минуту-другую и беседовал с кем-нибудь.

Добротный двухэтажный особняк под сверкающей на солнце крышей сразу же привлекал к себе внимание каждого, кто сворачивал с улицы в переулок. Он стоял в глубине тенистого сада — солидный, из жженого кирпича, с большими светлыми окнами, на крепком, очень высоком фундаменте. Обширный двор был окружен бетонной стеной, карниз которой отделан то ли цветной плиткой, то ли камнем. В конце аллеи, посыпанной свежим песком, находилась ажурная беседка. По обеим сторонам особняка, словно стыдливо прячась от него в деревьях, белели еще два одноэтажных домика.

Жители махаллы гордились соседством с таким известным, уважаемым человеком, как академик Джаббаров. Те, кто бывал в его доме — починить ли чего, прибрать, наладить,— рассказывали любопытным, что «на второй этаж ведет винтовая лестница, резная, из дерева, весь верх отведен под библиотеку и бильярдную». Среди обитателей махаллы ходили слухи, что «этот двухэтажный дворец построен за счет государства, ни одной копейки Мухиддин Джаббарович из своего кармана не истратил».

Джаббаров спешил домой, его жена Назокатхон собиралась на свадьбу к родственнику, и он хотел застать ее дома.

Назокатхон — вторая жена Мухиддина Джаббаровича, первую свою жену он похоронил почти десять лет назад. Дети его, по примеру отца, стали учеными, сын — биологом, дочь — медиком. У обоих уже были свои семьи, жили они отдельно, самостоятельно. Однако друг друга не забывали. Каждый праздник проводили вместе, приезжали к отцу уже со своими детьми — к внукам Мухиддин Джаббарович питал слабость. Назокатхон была моложе своей невестки, дочери Мухиддина Джаббаровича, всего на год, но Улфатхон казалась значительно старше мачехи — не легко быть матерью троих детей. Назокатхон скорее походила на девушку, чем на женщину, — стройная, гибкая фигура, легкая походка, яркие наряды. Сын и дочь за спиной беззлобно посмеивались над отцом и его новым браком, однако величали мачеху не иначе как «опа-чи, опа», уважали Назокатхон за то, что она заботилась об их старике, как они между собой называли Мухиддина Джаббаровича.

Назокатхон когда-то была его аспиранткой, уже восемь лет они были вместе, нашли опору друг в друге. Джаббаров обожал жену, так и смотрел ей в рот — любое ее желание исполнялось тотчас же. Если радовалась Назокатхон — Мухиддин Джаббарович ликовал, ничего не жалел он для нее, все, что имел, принадлежало ей, он щедро одаривал ее.

Когда Назокатхон вошла в его дом как жена, здесь был произведен капитальный ремонт, во всех комнатах сменили мебель, люстры, холодильники, телевизор, — в общем, все стало здесь «с иголочки», лучшей марки, по самой последней моде. В дом к Джаббарову стали часто наведываться гости, — словом, с появлением молодой жены у академика началась новая жизнь.

Как только он перешагнул порог, к нему выпорхнула Назокатхон.

— Домладжон, пойдемте на свадьбу вместе, — певуче протянула она. — Все будут очень рады. Взгляните, я уже все подготовила.

На столе лежали перевязанные лентами подарки, сама Назокатхон благоухала французскими духами.

— Через пятнадцать минут вернется машина, шофер поехал на бензоколонку. Отправляйтесь сегодня без меня, душа моя, я смертельно устал — работы было сверх головы, — Мухиддин Джаббарович провел ладонью над головой.

— Жаль, очень жаль! У вас всегда так: работа, работа. Просто отговариваетесь, не хотите ходить вместе со мной в гости, к приятным людям. Не хотите отвлекаться, развлекаться, расслабляться — только бы работать,— Назокат шутливо погрозила мужу пальчиком. Она заметила, что он бледен, под глазами лиловые мешки.— Отдыхайте, я просто так болтаю, отдыхайте. На этот раз прощаю и удовольствуюсь вашей машиной.

С улицы донесся знакомый сигнал. Мухиддин Джаббарович проводил жену до машины, помог ей сесть, отдал шоферу необходимые распоряжения. Пока машина не скрылась за углом, он смотрел ей вслед.

Опустились сумерки. Мухиддин Джаббарович погулял по саду, подышал свежим воздухом, потом на кухне приготовил крепкий-крепкий кофе. Бережно держа в руках хрупкую чашку, вышел в комнату, обставленную темной стильной мебелью, зажег свет, расположился на диване. Он начал листать газеты, прихлебывая горячий кофе мелкими глотками.

На первой полосе республиканской партийной газеты было фото Азиза Касымова. Не веря своим глазам, Джаббаров поднялся с дивана и поднес газету поближе к свету. Он не ошибся: на снимке рядом с Касымовым какой-то незнакомый усач, фото сверстано внутри статьи. Статья «Первые результаты» начиналась на первой странице, заканчивалась — на третьей.

Мухиддина Джаббаровича будто током ударило. Бурча под нос: «Посмотрим, что здесь понаписано, что это за «первые результаты» такие!» — он уткнулся в газету.

— Ого-го! Ловко! Статья начинается с обращения к читателям, прямо-таки как важное воззвание в пользу мира! — Мухиддин Джаббарович не заметил, что заговорил вслух. Он отбросил газету, потом схватил ее снова и жадно приник к газетному листу.

«Уважаемые читатели! Несколько лет назад мы опубликовали статью выдающегося селекционера и популяризатора науки Сергея Матвеевича Иванова. В ней освещались проблемы, которые стоят перед нашим хлопководством и учеными, работающими в этой области науки. С. М. Иванов рассказал о специалистах, которые самоотверженно трудятся над выведением вилтоустойчивых сортов хлопчатника, о том, как слож-

на эта работа и какое большое государственное значение она имеет.

Редакция решила по многочисленным просьбам читателей вернуться к этим вопросам и провела своего рода рейд-беседу. Мы встретились с селекционером Азизом Касымовым, об экспериментах которого шла речь в упомянутой статье, а также с Героем Социалистического Труда Махаматом Турдыбаевым. Товарищ Турдыбаев бригадир в колхозе, на опытном поле которого ведутся исследования Касымова. Первое слово мы предоставляем знатному хлопкоробу, который помогал молодому одаренному ученому в его работе».

Мухиддин Джаббарович насупил брови: «Ох уж эти журналисты! Писаки! Лишь бы поднять шум — тащат по камням пустую арбу, громыхают! Сами ничего не смыслят в вопросе! Жертвуют правдой ради сенсации. Дерзают делать обобщение и учить нас, ученых! «Одаренный ученый» кричат! Нате, пожалуйста! Спасибо еще, «гениального» не прилепили! Даже знатного хлопкороба сбили с толку! Нужен его авторитет? Вот уж поистине — колоть орехи жемчужным перстнем!.. Между тем... так использовать партийную трибуну... не знаю, как это можно квалифицировать! А этот Касымов как развязно стоит, скалит зубы! Как будто свернул горы...— Мухиддин Джаббарович со злобой ткнул пальцем в снимок.— Ни слова об ученых, которые поставили хлопководство на ноги, просто безобразие! Этого болтуна поднимают, фотографируют... Хвалят этого бездельника, обманщика,— а он идет антинаучным путем! — в партийной газете хвалят. Нет! Я это не оставлю так! Надо будет — обращусь в инстанции, к товарищам из Центрального Комитета! Пусть напомнят газетчикам об их долге!.. Тавба! У кривого дерева и тень кривая!..»

Мухиддин Джаббарович опять взялся за чтение. «Когда я впервые встретил Азизджона,— начал свой рассказ Махамат-ака Турдыбаев,— сердце мое подкатило к самому горлу. Пусть он сам подтвердит. Тогда из-за Азизджона я изрядно повздорил с нашим председателем... Я человек прямой и скажу вам честно: сейчас я стыжусь того своего поступка! Помню, как я увещевал нашего раиса: «Вилт сидит у нас в печенках, каждая пядь земли дороже золота, а вы раздаете участки под какие-то опыты, удивляюсь!» Тогда раис твердил мне: «Не упрямься, лучше поклонись вот этим

парням за то, что они живут нашими заботами»... Я долго не унимался. Да и нас поймите: вилт — это настоящий дракон! Он возникает словно из-под земли, внезапно, губит зеленеющие посевы. Если издали мерцает воздух над полями и поднимается марево — все. Значит, там уже свирепствует вилт, сосет кровь растений, извлекает всю влагу из корней... Цветущее недавно растение, словно мертвое, падает, смотреть невозможно. Мы колдуем, трясемся над каждым кустом хлопчатника с того момента, когда семена заделываются в почву, и до того, когда завязи начинают формироваться в коробочки. С момента, когда появляются всходы, похожие на стебли люцерны, и пока хлопчатник не вырастет, как палван[1]... Да, пес отдыхает, отдыхает птица, а ты не отдыхаешь, выращиваешь его, не надышишься, будто на ладонях носишь... Человек чувствует себя так, как будто лишается близкого родственника, когда хлопчатник гибнет от вилта!.. «Неужто, думаю, этот паренек сможет победить дракона?»... Мы видели много раз: приходят к нам некоторые, засучив рукава, хвост распустив, как павлины, а вот как удирают, смазав пятки, — даже и не заметишь. Слава богу, что я ошибся, — Азиз Касымов не из таких...»

В словах Махамата Турдыбаева были и логика, и знание дела, и опыт — эти качества бригадира не оставляли места для сомнений. Джаббаров даже забыл про свой гнев, так увлекла его статья.

«К нам в колхоз и раньше прибывали ученые с целью уничтожить вилт. Удобряли землю навозом, употребляли различные ядовитые и неядовитые химические вещества... Ядовитых веществ, если откровенно говорить, мы уже боимся. Ученые делали много попыток обойтись без них, но мы не всегда ценили это. И в этом наш недостаток. Нам, дехканам, подай результат сию минуту, так сказать, покажи наличные. Наверное, оттого это, что наша жизнь вся проходит на хлопковом поле. Я, например, уже около сорока лет выращиваю хлопок. Забываем мы, что другая сторона стены всегда не видна, пока через нее не перелезешь... «Если ты ученый, так давай делай дело за год, выводи быстренько свой новый сорт!» — вот как иной раз мыслим! И для опытов им-де еще надо выделять участок! У нас же берут землю и нас же учат, как хлопок рас-

[1] Палван — богатырь.

тить! Я говорю это к тому, что мысли эти путаные, несовременные, невежественные мысли... Древние мудрецы говаривали: мол, если считаешь копейки, то не берись строить дом... А я жалел участок земли с ладонь для Азизджона...»

Эти слова Махамата-ака будто укололи Мухиддина Джаббаровича, пробудили смутное недовольство собой. Он подумал вдруг, что давным-давно не бывал в кишлаке, забыл, как пахнет пашня, как цветет хлопчатник. Одним глотком он допил свой уже успевший остыть кофе. «Раньше, когда я был таким же молодым, как этот несносный Касымов, я пропадал днями и ночами в поле. Скороспелые, с отличным волокном, сорта хлопчатника — это плод незабываемых тех лет. Благодаря этим сортам мое имя стало легендой не только для простых колхозников, но и для руководителей республики... А ныне я выезжаю за город лишь отдыхать — по субботам и воскресеньям. Оторвался я от почвы, оторвался... Что есть, то есть...»

Мухиддин Джаббарович оглядел мебель, дорогую хрупкую посуду в серванте и горке, поднял голову к хрустальной, исключительной игры люстре. Тяжело заныло сердце: «Неужели я выпал из кипящего потока жизни?!.. Как выросли люди! Только послушать рассуждения простого бригадира, простого дехканина, который не стыдится назвать себя невежественным, рассуждения о науке, ученых, о судьбах страны! Нет, это не газетчик придумал! Их нельзя, нет нужды выдумывать!.. Все лучшее — мудрость, новаторство, самоотверженность и бескорыстие — все это рождается в жизни теми, чьи руки в мозолях, а души чисты, как белоснежный хлопок! Не надо, грешно кичиться тем, что ты ученый... ибо ты не знаешь всего того, что знает множество других людей!.. Я и сейчас занимаюсь хлопком, а от хлопководов отдалился... Странно, почему я до сих пор не задумывался над этим?»

Эти мысли пронеслись в сознании Мухиддина Джаббаровича — словно свежий ветер проник в душное помещение. Проник, поносился, а потом натолкнулся на преграду. Слава, которую снискал и к которой привык, не отпускала от себя Мухиддина Джаббаровича, хватко держала его в коварных своих цепях. Он с неприязнью расправил газетный лист.

«Азизджон начал новое дело... В стране, по его словам, сейчас хранятся семена более шести тысяч сортов

хлопчатника. Шесть тысяч! Это большое достижение ученых. Азизджон отобрал — после долгих поисков — один из сортов и сейчас скрещивает его с сортом, который мы ныне культивируем... Я слышал, что некоторые нетерпеливые люди, даже видные ученые не дают Азизджону покоя из-за того, что исследования его затянулись. К чему скрывать, и ваш покорный слуга до прошлого года, вглядываясь в этого парня, огорчался: «Бедный, зачем он так старается... Вилт вместе с хлопком и его самого съест, проглотит...» Нет, раньше палваны не зря боялись борцов с тщедушным телом. Почему? Да потому, что у них богатырская воля и выдержка. Молодцов ростом с чинару они клали на лопатки, дождавшись удобного момента! По-моему, Азизджон из таких вот «щуплых» борцов. Беду, именуемую вилтом, он, кажется уложил на лопатки. Его хлопчатник в нынешнем году — изумрудно-зеленый, глаза радуются! Коробочки тяжелые, высота иных кустов — я измерял — доходит до 120 сантиметров. Ствол крепкий, не гнется к земле. Еще одно преимущество нового сорта: он на 6—8 дней созревает раньше, чем культивируемый нами сорт «Ф». В страду, надо сказать, не только день, но и час дорог... Я бы, будь моя воля, уже в следующем году на всех наших полях посеял выведенный Азизджоном сорт. Я знаю Азизджона, он не из тех, кто раньше стада поднимает пыль. Он хочет еще и еще проверить и перепроверить... Отдельные, боящиеся всего нового люди, его недоброжелатели, видимо, постараются помешать ему...»

Лоб Мухиддина Джаббаровича покрылся испариной: «Отдельные... недоброжелатели». Что он хочет этим сказать? Верно говорят, добрая лошадь лягается очень больно; вот вам и тихоня! Тихоня Касымов. Ходит опустив голову, между тем копает всем нам яму! У нас, людей науки, есть, так сказать, свой сор, который нельзя выносить за порог! А он — выносит, он распространяет среди людей слухи о наших сложностях, раскрывает нюансы отношений! Выставляет нас на посмешище! Академиков? Докторов?»

Мухиддин Джаббарович бросил газету на пол и зашагал по комнате. Под ложечкой предательски засосало: забеспокоишься, испугаешься тут! Партийная газета! «Этот усатый, видавший на своем веку немало, разболтался неспроста! Здесь что-то есть... За этим что-то кроется! Неужто и в самом деле есть резуль-

тат?! Неужели?! Нет, невозможно! Бесплодие дикого хлопчатника все равно перейдет к потомству, обязательно перейдет! Откуда тогда коробочки? Странно. Э, не надо обращать внимания на пустую похвальбу... Ну, год-два от силы этот хваленый «Новый сорт» даст урожай, допустим... А потом?.. Между тем бесплодие когда-то ведь должно проявиться, перейти к новому поколению? Отрицательные свойства в сердцевине растения не могут исчезнуть самостоятельно! Этот сорт станет бесплодным, это же ясно, как день... Год-два получим урожай, даже большой. Потом на тысячах и тысячах гектаров хлопчатник не даст ни грамма урожая, ну, тогда как?! На кого падет тогда грех? Спросил ли кто мое мнение, перед тем как печатать вот это? Ведь меня вроде еще не разжаловали из корифеев хлопководческой науки?»

Мухиддин Джаббарович нервно хрустнул пальцами, присел бочком на мягкий массивный стул. Ну ладно, они люди молодые, новые люди в науке, они могут и ошибиться. С них спрос не велик. Но меня могут обвинить: «Вы академик, куда вы глядели? Между тем, обладая такими знаниями, таким опытом, как могли вы равнодушно смотреть на все это? Неужто у вас не хватило сил противостоять одному шалопаю?» Между тем этот мальчишка в тысячу раз хуже, чем я предполагал. Надо его одернуть! В противном случае все это обернется бедой — бедой на мою голову!.. Между тем человек, поднявший факел, не ходит в арьергарде...»

Мухиддин Джаббарович нагнулся, взял газету за краешек:

— Ага, вот и сам «герой» заговорил,— процедил он сквозь зубы и почему-то начал читать вслух: — «Махамат-ака сказал здесь все,— продолжил нашу беседу селекционер Азиз Касымов.— Но, на мой взгляд, он несколько преувеличил успехи. Экспериментам, которые я веду, я не стал бы давать такую высокую оценку... На протяжении почти десяти лет я, к сожалению, глотал не только пыль хлопкового поля, но и пыль недоверия и сомнений. Поэтому меня очень радуют первые результаты... Всем известно, что сорт «Ф» в последние годы стал поражаться вилтом весьма интенсивно, в гораздо большей степени, чем в 1948—1949 годах. Причина этого, по-моему, в следующем: на всех площадях хлопчатника культивировался в основном один и тот же сорт; это создало благоприятные условия для

распространения вилта, можно сказать, для того, чтобы эта болезнь приобрела массовый характер. Особенно широко распространилась болезнь на полях Андижанской и Бухарской областей в шестидесятых годах... Не поймите меня превратно: на протяжении стольких лет ученые селекционеры сидели-де сложа руки и спокойно взирали на это бедствие. Работа шла непрерывно!.. По данным академика Джаббарова, на опытном участке Избасканского района в течение десяти лет были испытаны около 250 новых сортов хлопчатника, а на опытных участках Гиждувана, Андижана, Коканда и Чимбая испытывались свыше 150 сортов... Все они имели составной частью сорт «Ф», у которого иммунитет против вилта не срабатывал. И я решил культурный сорт скрестить с диким хлопчатником mexicanum, исключительно устойчивым против вилта... В последние годы моя вера в дело, которое я делаю, еще больше окрепла! Уже сейчас я имею веские доказательства... После тщательной проверки я и хочу их представить на суд научной общественности...»

Мухиддин Джаббарович глубоко задумался. Он отыскал и еще раз прочел строки о том, что «вилт, скорее всего, начал свое шествие из Мексики». Этот вывод показался ему неожиданным, таящим в себе много любопытного. Однако он не желал сдаваться и продолжал безмолвный спор: «Ну и что, пусть родиной вилта является Мексика, что из того?! Можно допустить такую мысль... Однако я веду речь о бесплодности сорта mexicanum. Разве она не нарушит генетический строй культурного сорта?!»

Мухиддин Джаббарович еще раз заглянул в газету, Вот он, вопрос корреспондента: «Товарищ Касымов, почему для своих экспериментов вы избрали земли именно этого колхоза?» И ответ: «Всему «виной» Сергей Матвеевич Иванов. Это его выбор. В нашей республике в основном континентальный климат. Сергей Матвеевич выбрал участок недалеко от гор: он мечтал о сортах, которые были бы устойчивыми в сложных природных условиях... Мой учитель был человеком, который умел предвидеть...»

Нет, Мухиддин Джаббарович никогда не сомневался в том, что Сергей Матвеевич Иванов большой ученый, выдающийся биолог... Он мысленно перенесся в годы, когда учился у Сергея Матвеевича... Да и пят-

надцать лет назад, когда его, Джаббарова, избрали в академики, он организовал у себя дома банкет и как поступил? Первый халат, который на него, новоизбранного, надели, он снял и, подойдя к Сергею Матвеевичу, накинул ему на плечи, обнял, поцеловал. При всех признал: «В том, что я стал ученым, огромная заслуга Сергея Матвеевича. Этот халат должен надеть этот большой человек». Он помнит слезы на глазах старика... Однако как беспощадно время: оно заставляет забыть многое, даже важное... Ведь он, который на каждом шагу называл Сергея Матвеевича «своим учителем», потом почувствовал свое собственное могущество, власть и сначала на узких совещаниях, а потом и в печати начал публично резко спорить с ним, несправедливо обвинять. Его подзуживали, подначивали, а он поддавался. Доходило до того, что он про себя называл Сергея Матвеевича преподавателем, просветителем, организатором науки, но не истинным исследователем... Возможно, если бы Иванов занимался только чистой наукой, он стал бы ученым с мировым именем. И даром предвидения он действительно обладал... Надо же, поверил Касымову, все предусмотрел, даже выбор участка.

Мухиддин Джаббарович особенно внимательно проштудировал последний столбец статьи, ибо усматривал в нем обидный для себя подтекст.

«Товарищ Касымов, еще один вопрос. После первой вашей публикации минуло пять лет — срок немалый; многие спорные вещи стали бесспорными. Что вы думаете по этому поводу?»

Как писал корреспондент, Касымов ответил на этот вопрос не сразу, задумался, смутился.

— Так, так, это все философия, пропустим,— ехидно усмехался Джаббаров,— общие фразочки, чтоб эрудицию показать, ага, вот оно!

«Что касается научных споров, то это вечный процесс! Раз есть жизнь, раз есть люди — будут и споры!»

Мухиддин Джаббарович вскинулся: «Что происходит в этом мире — или мне все это снится в дурном сне? Сам не может получить настоящую кандидатскую степенишку, а туда же, всех поучает! Э, мы сами виноваты, злой собаку делает хозяин! Не одернули его вовремя, не указали ему его место! Сами виноваты — расхлебываем! Теперь этот никудышный аспирантишка читает нам проповедь — и где, в партийной газете!

А мы молчим! Все его жалеют, опекают. Юлдаш и тот за него ходатайствует!»

После банкета у Шорасула Юлдаш завел разговор об Азизе:

— Дядя, у вас есть аспирант Азиз Касымов, поддержите его, пожалуйста, совсем замучился, бедный.

Мухиддин Джаббарович аж вздрогнул тогда от этих слов. Испытующе посмотрел на племянника:

— Вот как? Замучился, говоришь? А ты откуда его знаешь?

— От Шорасула,— лаконично ответил Юлдаш.

— Не таков Шорасул, чтобы кому-нибудь сочувствовать. Скажи-ка правду, племянник, откуда ты его знаешь? — настаивал Мухиддин Джаббарович.

— Он женат на нашей соседке, с которой мы вместе учились в одной школе, вы ее не знаете,— голос Юлдаша звучал тускло, равнодушно.— Недавно я встретил ее. Плохо они живут, бедствуют. Жаль мне ее стало.

— Да, жизнь нелегкая штука, племянник. Эй, погоди, погоди! Кажется, она была на банкете тоже! Красивая женщина! Смотри не заглядывайся на чужих жен! Ну и шайтан ты, настоящий шайтан! — Мухиддин Джаббарович улыбнулся и погрозил Юлдашу пальцем: — Не дури! У тебя семья, дети... Однако красотка попала впросак. У такого глупца дочь любых родителей может стать нищей...

Мухиддин Джаббарович дышал прерывисто, с трудом, словно человек, надрывающийся от непосильной ноши. Его будто обухом по голове ударила заключительная фраза корреспондента:

«Благодаря многолетним самоотверженным усилиям Азиза Касымова в нашем хлопководстве рождается важное открытие, удивительное чудо. Это открытие, это чудо несомненно будет связано с именем этого ученого».

Вихрь мыслей, смятение чувств — противоречивых, горьких, будто отравленных ядом — охватили, поглотили Мухиддина Джаббаровича. Безапелляционное, размашистое заявление корреспондента не давало ему покоя — «важное открытие... связано с именем...», — застигло его врасплох.

«Неужели я так безнадежно отстал? Устарел,— метался он по комнате с ощущением удушья, с болью головной и сердечной.— Из года в год занимаюсь теоре-

тической жвачкой, прописные истины вещаю, а этот тихоня всем нам дал сто очков вперед, всех обскакал! Не боялся заглянуть в завтрашний день, наперекор всем шел, шел — и вот она, победа! Вот оно — открытие, чудо, действительно чудо, если все это правда! Вопреки всем! Всем ли? Сергей Матвеевич его поддержал и этот усач — Герой. Колхозники — практики, люди, любящие, как он сам заявил, «наличные», им пустые обещания не нужны; их не проведешь. Значит, все правда, а я остался с носом. На обочине научного прогресса... Да, надо что-то срочно предпринимать. Для начала — вызову Касымова, порасспрошу, пусть покажет свои записи, ход работ — ведь я его научный руководитель. Да какой я научный руководитель? Все, все — помимо меня, без меня, вопреки... Нет, нет, это уж чересчур будет, сразу же вроде бы бросаться с повинной головой. Поручу Шорасулу. Хотя нет, Азиз человек скрытный и заносчивый, ничего-то он не откроет Шорасулу, да и с какой стати?..»

Мухиддин Джаббарович долго прикидывал разные варианты, тасовал-перетасовывал их, пока наконец не решил:

«Надо посмотреть своими глазами. В ближайшие дни съезжу в колхоз и взгляну на это чудо-юдо».

## 11

Накануне вечером позвонили родители Салтанат и сообщили, что их сын Мирвасил прибыл в отпуск из армии. По этому случаю они собирают родных и друзей и просят прийти дочь и зятя завтра, после работы, к ним в гости.

Азиз не удержался и утром, по пути в институт, заскочил поприветствовать своего шурина. Он любил Мирвасила, отзывчивого, смешливого, открытого юношу. Он, вместе со своими друзьями-мальчишками, кажется, совсем недавно играл на свадьбе у Азиза и Салтанат: пришли, прихватили с собой два кашгарских рубаба и дойру славные пареньки и сделали праздник еще праздничнее, еще красивее.

Мирвасил бросился к Азизу, как к брату; Азиз был растроган этим порывом. Ему было приятно обнять Мирвасила, ощутить крепкое и теплое пожатие его руки. Тем более приятно, что он чурался этого дома, сторонился этой семьи.

Родители Салтанат считали Азиза главным виновником того, что между ними не сложились добрые родственные отношения. Они редко общались, редко встречались, почти вовсе не знались с родственниками Азиза. Отца и мать Салтанат это угнетало: обычно после свадьбы семьи жены и мужа сближаются, обретают друг в друге надежную опору, друзей. Однако, будучи людьми достаточно деликатными, родители Салтанат старались не обнаруживать, что осуждают Азиза — раз душа его к ним не расположена, что ж — насильно мил не будешь.

Конечно же они переживали эту отчужденность, как переживали и то, что их любимица Салтанат, по всему видать, не ахти как счастлива с этим молчуном и нелюдимом...

Впрочем, огорчений и разочарований им выпало не мало. Самым удачливым и благополучным в семье был старший сын — Мирхасил. Он стал зятем «большого человека», как любила похвастать своим сыном Рахима-апа. Через три месяца после свадьбы он неожиданно распрощался с институтом, где успешно преподавал четыре года, и уехал на работу за границу (он был инженером-ирригатором). Возвратился оттуда с «Волгой», кучей разного добра, обиходил дом; потом, как он признавался, не выдержал «канцелярского сидения» в министерстве и опять отправился за рубеж — «интересная, живая и прибыльная работа». Родители гордились сыном, до небес его возносили — и находили благодарных слушателей в лице своих сватов, с которыми подолгу обсуждали успехи детей...

Самой несчастной была старшая сестра Салтанат — Махфират, истинная горемыка. Когда она была еще студенткой, ее соблазнил однокурсник, сын профессора. Родители надеялись, что дочь попадет в хорошую семью. Однако свадьбы добились со скандалом, парень не очень-то спешил «расстаться со свободой». Махфират, к ужасу своему, обнаружила, что муж ее человек ничтожный, легкомысленный, к тому же — сильно пьющий. Профессор, изрядно намучившийся со своим чадом, был рад поскорее его женить — авось остепенится, посерьезнеет... Не остепенился, не посерьезнел. Отец бросил свой семикомнатный дом и перебрался с женой в соседнюю махаллу, в маленькую квартирку. Жизнь Махфират превратилась в ад: скандалы, побои, пьяные оравы в доме. Она в слезах

прибегала к родителям. Рахима-апа сетовала: другие мужья, когда жены уходят от них, не дают им покоя, названивают, умоляют — «вернись, вернись», а у этого нет сердца: хоть ты сгинь, он не шелохнется. Махфират поживет-помается у родителей и опять бредет к мужу, на муки. Сколько раз обращались к ее свекру — помогите, примите меры, наставьте сына, приструните!.. Профессор, страдая сам, отнекивался: «От моего вмешательства все равно толку не будет. Они не маленькие, пусть сами тащат свою арбу...»

Рахима-апа решила, что, когда подойдет очередь Салтанат, она отдаст ее замуж пусть за простого, но достойного человека,— аллах с ним, с достатком да с положением родителей. Главное, чтобы ценил и уважал ее дочку. Салтанат полюбила Азиза. Рахима-апа порасспросила о нем, узнала, что он ученый, наиближайший ученик профессора Иванова — это была высшая похвала, своего рода гарантия счастья ее младшенькой.

Потом она вместе с мужем отправилась в кишлак к матери и отцу жениха. Те жили в ветхом доме, состоящем из трех низеньких комнатенок. Рахима-апа всполошилась, расстроилась, но вскоре ей стало известно, что Азиз останется работать в Ташкенте, в институте. Она сразу повеселела. Устроили свадьбу, не богатую, но вполне пристойную...

Когда мать видела, как подурнела и постарела Салтанат, она казнила себя за то, что так поспешила со свадьбой. А поспешила она потому, что нагляделась на мытарства Махфират и опасалась, как бы судьба Салтанат не сложилась подобным же образом. Азиз казался ей именно тем человеком, который отвечал ее желанию,— «простой, но достойный»; к тому же она находилась в страхе: не случилось бы греха, как с Махфират, девочки нынче созревают очень рано, да и относятся ко всему куда легкомысленнее... Словом, Рахима-апа спешила. Настолько, что семья Азиза не сумела подготовиться к свадьбе, внести в нее свой вклад, как оно и положено. «Пусть даст бог счастья! А то сегодня шумная свадьба, а завтра молодые — что кошка с собакой. Суждено — и богатство будет, и изобилие. Ой, да были бы они здоровыми, ладили между собой»,— размышляла и говорила всем мать Салтанат.

Но это — до и после свадьбы. А во время свадьбы родители невесты чуть сквозь землю от стыда не про-

валились... У старшей, Махфират, на свадьбе всего было полным-полно. К воротам дома был привязан гиссарский баран с огромным курдюком, который он и таскать-то не мог. А теперь около черешни блеяла тощая коза: глядите, гости, обозревайте.

Когда же Рахима-апа развязала большой узел жениха — она так и застыла на месте: там на самом дне лежал старый, выцветший шелк, галоши и чувяки!.. Она поспешно запрятала все и бросилась в чулан — дала волю слезам. Потом тихонько прокралась в свою комнату и принялась быстро-быстро рыться в шкафу; вынула несколько отрезов панбархата, шелка, платья из атласа, белье, обувь и, чтобы никто не заметил, лихорадочно засунула все в подарочный сверток Азиза. «Господи, если бы соседки увидели эти чувяки и галоши!» — дрожала она от нервного напряжения и стыда. И без того одна из соседок, не помышляя обидеть Рахиму-апа, полюбопытствовала: «Апа, зачем вы так торопитесь? Дочь ваша, слава аллаху, не перестарок, вон роза какая. Только что школу окончила. Или, может, уже до греха дошло?..» Рахима-апа вздрогнула всем телом, будто лягушки коснулась: «Вай, что вы такое сочиняете? Как можно! Моя Салтанат не такая...»

Обо всем догадалась, кажется, только жена Мирхасила. Невестка она и есть невестка! Когда принесли сундучок, она оскалила зубы и нарочито громко обратилась к Салтанат, в волнении не поднимавшей головы: «Салтанатбану, посмотрите-ка подарочки, которые припас для вас жених!» Салтанат почуяла какую-то недобрую фальшь в ее голосе...

Поначалу жена брата очень нравилась Салтанат. Ее наряды, отношения с людьми, умение вести беседу восхищали всю семью, Салтанат тоже. Постепенно она остыла к ней. И началось это с пустяка. Однажды невестка нарядилась в такое ослепительное атласное платье, что Салтанат дрогнула, поплакалась матери и выпросила у нее такой же отрез на платье. Скопировала фасон — и ног под собой не чуяла от радости. Невестка, увидев ее обряженной в новое платье, помрачнела, побледнела, поджала губы и подарила свое — сестре. Со временем Салтанат поняла, что невестка ее эгоистка, заботится только о себе, чурается «незнатных» людей...

Да, свадьба — большое испытание. Вся махалла, все родственники и знакомые, словно через рентген,

пропускают семьи жениха и невесты. И все-таки о простой, назамысловатой свадьбе Азиза и Салтанат у большинства остались светлые воспоминания — не пышная, зато веселая, сразу видно, что молодые любят друг друга.

Тем не менее отчуждение, холодность между семьями, вернее, между Азизом и родителями жены появились сразу же. Может быть, Азиз оскорбился, что его узел так волшебно наполнился шелками и бархатом? И он усмотрел в этом намек, что он для новой родни всего-навсего бедный зять? Азиз старался бывать у тестя лишь по самым важным поводам, когда не явиться вовсе невозможно. Оказываясь там, Азиз сидел молчаливый, неловкий, напряженный, старался побыстрее покинуть дом, где он чувствовал себя чужим.

Все это замечали и Салтанат, и ее родители. «Лучше бы он не приходил. Сам стесняется, других стесняет, портит всем настроение»,— Салтанат всегда казалось, что ее мать воспринимает Азиза так и только так. Однако Рахима-апа молчала и никогда слова худого об Азизе не вымолвила. И только когда Салтанат сама как-то пожаловалась на мужа и на их скудную жизнь, мать изрекла: «Дочка, умный человек и в десять лет мужчина, а глупый и в сорок лет все еще дитя...»

В этот вечер Азиз спешил к родителям жены: его ждала встреча с Мирвасилом, неторопливая беседа, приятное застолье с симпатичным ему человеком.

Мирвасил вышел Азизу навстречу еще во дворе, однако почему-то не приглашал его в дом, робко жался около порога — совсем другой Мирвасил, чем утром, будто его подменили. Из большой комнаты доносились оживленные голоса. Через мгновение во двор выбежала Салтанат, за ней следом — Шухрат, двоюродный брат Азиза. «Почему он здесь?» — насторожился Азиз и тут же услышал дрожащий голос Салтанат:

— Ваша матушка заболела.

— Что с ней? — Азиз испугался, сердце сжалось в недобром предчувствии.

— Утром все было нормально, здорова была,— пробасил Шухрат.— Я еще забросил им ящик помидоров на своем тракторе... Плохо ей, браток.

Из дома показались тесть, теща, еще какие-то люди, в комнатах стало тихо. Азиз бросился к воротам. Шухрат заводил машину. Тесть тихонько отозвал Азиза в сторону и протянул ему деньги.

— Зачем? — изумился Азиз.

— Берите, берите. Не понадобятся — вернете обратно! — И в первый раз за все годы по-отцовски положил руку на плечо зятя.

Этот подбадривающий жест тестя, мягкий его голос с какими-то необычными интонациями встревожили Азиза не на шутку. В машину рядом с ним села Салтанат. Азиз недоуменно спросил ее: «Зачем? Кто останется с Бехзодом?» Салтанат ласково и крепко сжала ему руку.

Шухрат не часто наезжал в город, поэтому двигался со скоростью черепахи, не осмеливаясь обогнать даже троллейбус. Будь его воля, он двигался бы еще медленнее. Он хотел оттянуть встречу с бедой и вместе с тем дрожал от нетерпения. Сердце и мозг его горели. Азиз будто раздвоился: один — рвался к матери: «Скорее, скорее, а вдруг без меня...»; другой — сжался от страха в комок боли и молил, сам не зная кого: «Только не сейчас, не теперь! Куда это мы так несемся, почему?» Губы его были сомкнуты в белую полоску. Салтанат внешне держалась спокойно, хотя внутри все у нее трепетало.

Город остался позади, и Шухрат нарушил молчание:

— Тавба! Еще сегодня утром тетя была здорова, совсем здорова. Подметала двор, приговаривала: «Что-то у меня дергается глаз, это к радости. Может, Азиз приедет, уже два месяца не видела сыночка!» Я поставил помидоры у дувала, выпил пиалушку чая и отправился в поле. В обед на полевой стан примчалась моя мать: «Тетушке плохо, мчись немедленно за Азизом».

— Что с ней? Какие симптомы? — Голос Азиза сорвался.

— Лежит,— односложно объяснил Шухрат, и это объяснение прозвучало так: «Конец близок».

Салтанат теснее прижалась к Азизу, робко коснулась щекой его плеча.

— Лежит, лишилась речи,— добавил Шухрат.

Больше до самого кишлака они не проронили ни слова.

Во дворе собралось много народу — отец, сестры, тетя, дядя, две-три соседки, еще кто-то... Через окно комнаты Азиз увидел людей в белых халатах: «Значит, мама там».

Мать лежала на высокой постели с открытыми гла-

зами. Руки ее были вытянуты вдоль тела, безжизненно покоились на белой постели. Она не шевелилась и только глазами следила за людьми.

Азиз хотел подбежать к матери, опуститься около нее на колени — и не смог. Он тихо встал у ее изголовья, губы его задрожали, глаза наполнились слезами. Салтанат кивком поздоровалась со свекровью, бережно положила ладонь ей на лоб. «Как вы, мама? Мы приехали!» — едва-едва прошелестел голос Салтанат. Мать еще шире открыла глаза, она силилась что-то сказать, но из уст ее вырвалось что-то нечленораздельное, она закашлялась; на губах показалась розовая пена. Азиз не выдержал и, натыкаясь на какие-то предметы, вышел. Он прислонился к стволу развесистого дерева, словно хотел спрятаться от людей, беззвучно заплакал.

«И зачем я живу на этом свете и зовусь человеком? — укорял он себя. — Я ни разу не поговорил с мамой ласково, ни разу! А вот теперь попробуй верни маму, верни, верни! Она не ведала, как я любил ее, я не показывал ей свою любовь, стеснялся, дурак! Будто прятал ее — от кого, от матери, родной матери! Что же я за человек такой? Кому я принес радость, ради чего, ради кого живу?..»

В доме хлопотали, суетились, тихонько перешептывались люди; Азиз не мог заставить себя вернуться туда, еще раз приблизиться к умирающей матери.

Ушли врач и медсестра, в темном дворе установилась жуткая тишина. Все сгрудились в единую печальную толпу, и кто-то, кажется, дядя, шепотом спросил:

— Где Азиз?

Он отыскал Азиза, усадил его. Сам примостился рядышком.

— От судьбы не уйдешь, брат, смерть не обманешь! — он почему-то назвал Азиза не «племянником», а «братом». — На земле ли ты, на небе ли, смерть все равно тебя настигнет. Живем, переживаем, страдаем, куда-то все бежим, несемся стремглав... Только в могиле, в земле сырой успокаиваемся... Крепись, брат. Терпи. Бедная твоя матушка!

Дядя быстро поднялся и отошел в сторонку, видно, не легко ему сейчас было утешать и подбадривать его. Азиз совершенно обессилел. «Что же делать теперь, без мамы? — билась мысль, причиняя почти физическое страдание. — Что делать? Прав дядя, что толку

в слезах. Я единственный мужчина в семье, первенец. На отца рассчитывать нельзя, он совсем согнулся от старости, еле двигается. Надо взять себя в руки! Устроить все, проводить маму достойно, бросить в могилу пригоршню земли — это мой долг сыновний! О чем я думаю? Хороню еще не умершую мать! Еще живую, что со мной?! Вдруг... болезнь болезнью, а смерть смертью... произойдет чудо, поправится... Прочь, прочь мысли о смерти! Прочь! Прочь! У меня одна-единственная мама! Единственная! Единственная! Не может она умереть! — Азиз опять заплакал. — Конец, конец, не будет больше мамы! Только в мечтах да во сне я увижу ее живой! Каждый раз, вспоминая о том, что нет больше мамы, я буду ощущать себя покинутым, одиноким и маленьким-маленьким, даже когда собственные мои дети станут взрослыми, а я сам — стариком! Стариком!.. Как коротка жизнь! Словно искра, блеснет человек и уходит в небытие! Народная мудрость гласит: этот мир только дважды делает человеку добро — когда человек рождается, мир дает ему чапан, а когда умирает, дает саван! А все остальное — и хорошее, и плохое — человек совершает сам... Ну, а что я совершил, зачем я пришел в этот мир?! Что я содеял такого, чтобы, когда наступит смерть, сказать: «Я могу быть доволен своей жизнью!.. Я сделал то-то и то-то! Когда кто-то падал, я служил ему опорой, когда кто-то спотыкался, я поддерживал его?.. О аллах, а что ж я сделал доброго для родной матери!..»

К ночи с Азизом попрощались тетя с дядей, соседки. Все старались утешить его, каждый на свой манер внушал ему: чему быть, того не миновать. Ты молод, тебе жить, поддерживать семью, любое горе можно перемочь. Ничего, зарубцуются твои раны, человек тверже камня...

Все разошлись, и Азиз медленно вошел к матери. Салтанат замерла в глубине комнаты, сестра сидела у постели, а мать, кажется, спала. Ему почудилось, что она уже не дышит. Он нагнулся к ней, она вдруг закашляла и снова утихла.

«Опять я раньше срока хороню мать», — упрекнул себя Азиз. Сестра поправила падавший со спины платок, взглянула покрасневшими глазами на Салтанат и предложила ей:

— Невестка, ложитесь, уже поздно, я же здесь. От-

того, что мы все будем бодрствовать, ей не станет легче. Ложитесь, отдохните.

Азиз воспринял эти слова как печальный намек, как горестное предсказание: впереди много забот и хлопот, дел всем хватит, так что — набирайтесь сил. Внутри у него что-то оборвалось.

Он внимательно взглянул на сестру. В детстве Сабохат была плаксой и ябедой, они часто ссорились, не ладили. Сейчас в ней, кажется, и следа молодости не осталось: типичная кишлачная женщина, из тех, что много повидали на своем веку, узнали почем фунт лиха и смирились, стали терпеливыми и спокойными... «Да, оторвался я от родных, оторвался,— судорожно вздохнул Азиз.— Я не знал как следует сестру, чем и как она живет, как не знаю зятя, Шухрата, других... Совсем бросил я кишлак, забросил свое гнездо, стал как чужой. Хуже чужого... А вот приходит беда — и сразу понимаешь, что такое родные. У них находишь успокоение и сочувствие. В радости и удачах мы часто о них забываем, около тебя будут другие люди, а в несчастьях... в горе — родные есть родные. Они первыми оказываются подле тебя, делят с тобой скорбь и одиночество!»

Наутро матери стало лучше... Она лежала по-прежнему без движения, но губы ее все время шевелились, она силилась что-то сказать. С ней неотлучно находилась Сабохат; она прикладывала ухо к ее губам. У Азиза воскресла надежда: а вдруг обойдется, как обошлось зимой, когда у матери случился сильный гипертонический криз. Ведь и тогда его тоже вызывали. Когда он примчался в кишлак, мать была совсем слабенькой, обессиленной, однако спокойной, умиротворенной. И, завидя сына, она прослезилась:

— Сынок, еще немножко — и ты остался бы сиротой,— гладила она его руку.

Азиз все это помнил так ясно, как будто все произошло только вчера.

Бледное, осунувшееся, но уже обретшее жизнь ее лицо принесло сейчас Азизу громадное облегчение: «Ах, есть все же справедливость на земле! Есть! Мама поправится! Поправится... Есть на свете справедливость!.. Она не должна умереть! Не должна умереть! Что она видела хорошего?! Вон какие у нее натруженные руки! Вся ее надежда была на меня, «ученого» сына, а что я сделал для нее?! Чем облегчил ее дни?

Нет, она не должна умереть! Она должна увидеть еще радость и покой! Пускай поправится... поправится... Повезу ее в разные города, покажу ей белый свет... Пусть радуется! Я еще встану на ноги, прославлюсь, хотя бы ради нее, пусть гордится. Успехи детей — главная гордость родителей!»

Мать надрывно закашлялась. Сестра подозвала Азиза: «Она спрашивает о вас». Он опустился на колени возле матери, прижался щекой к ее руке. И будто возвратился в детство, словно почувствовал материнскую ласку! Близость, которая может возникать только между матерью и сыном, ниточкой протянулась между ними и связала их так, что нельзя было различить, где начинается и где кончается каждый из них. Они стали единым существом, превратились в нерасторжимое целое. Нельзя было взвесить, определить меру страдания и сострадания каждого...

Мать опять зашевелила губами, Азиз весь обратился в слух. «Где Бехзод?» — выдохнула она, и он уловил ее вздох и легкий, едва ощутимый поцелуй. Азиз понял, что сейчас произойдет необратимое, что он в последний раз принимает ласку матери. Ее сердце, казалось ему, догорает и, догорая, светит, как затухающая свеча...

Дыхание матери становилось все более затрудненным, все более прерывистым. Будто ветерок, натолкнувшись на преграду, слабел, слабел, пока не сдался совсем.

## 12

Азиз растянулся на железной кровати, поставленной когда-то, в незапамятные времена, около виноградника в глубине двора. Он глядел на бесстрастно мерцающие звезды. Когда глаза уставали от напряжения и в них начиналась резь, Азиз закрывал их — но тут же усиливалась острая боль в висках, на веки наваливалась свинцовая тяжесть.

Кончился седьмой день после смерти матери. С утра до вечера приходили и приезжали люди, чтобы выразить семье покойной свое сочувствие. Среди них были и родители Салтанат, и Мирвасил. Азиз вспомнил, как тесть деликатно дал ему деньги, как сказал: «Если не понадобятся — вернете!..» «Понадобились!» — с обнаженным чувством утраты подумал Азиз.

Днем к Азизу в дом прибыли Мухиддин Джаббарович и Шорасул; их Азиз никак не ожидал увидеть здесь, в кишлачном своем дворике. Правда, ему очень подсобили, очень его поддержали в день похорон сотрудники института; они приехали в кишлак на большом автобусе во главе с секретарем парткома Бабакуловым. Товарищи выразили семье Азиза соболезнование от имени Расула Аллаяровича и всего коллектива. Они взяли на себя много забот, связанных с похоронами и поминками. Азиз, быть может, впервые так ясно ощутил силу коллектива, а себя — его частицей.

Однако он и представить себе не мог, что на седьмой день, как положено по традиции, пожалует Джаббаров, чтобы выразить соболезнование. С самого утра Азиз стоял во дворе у калитки и встречал всех, кто приходил или приезжал в этот день.

— Кажется, кто-то из начальства! Взгляни-ка,— потянул его за рукав дядя.

В десяти шагах от Азиза из «Волги» вылезали Мухиддин Джаббарович и Шорасул. Мухиддин Джаббарович хорошо знал обычаи и ритуалы, поэтому он не поднял к Азизу лицо, а только сунул ему кончики пальцев. Вместе со всеми он ждал, когда начнется и кончится поминальная молитва, после которой он, как правоверный мусульманин, провел ладонями по лицу. После чая, лепешек и плова он опять провел по лицу, встал, подошел к Азизу и обнял его.

— Жизнь человеческая, брат, не шутка. Между тем все мы равны перед лицом смерти,— вздохнул он.

Азиз всхлипнул от переполнявших его чувств горя и благодарности. Мухиддин Джаббарович погладил его по плечу:

— Держитесь, Азизджон, мужайтесь. Очень жаль, очень, что ваша матушка ушла так рано. Она умерла тогда, когда только и начинаешь по-настоящему ценить жизнь... Слезы не помогут. Вы еще много-много раз будете вспоминать свою мать. Между тем много-много раз... дерево, его высота, толщина его ствола, узнается лишь, когда оно валится... Будьте тверды, пусть живые живут хорошо...

Мухиддин Джаббарович сделал знак Шорасулу, который скромно стоял в сторонке. Потом они тепло распрощались и вышли на улицу. Азиз проводил их до самой машины, Мухиддин Джаббарович, взявшись за ручку передней дверцы, еще раз обернулся к нему:

— Азизджон, вы в трауре. Вам не положено провожать каждого приходящего... Ни о чем не беспокойтесь, я сам скажу Расулу Аллаяровичу... Да, кстати, чуть не забыл, у меня же к вам разговор...— Мухиддин Джаббарович взял Азиза под руку и отвел его в сторонку.— Азизджон, тут в одном месте интересовались вашей работой и вами.— Он понизил голос: — Я сказал, что вы одаренный, ищущий, эрудированный ученый. Об остальном — после расскажу.

На этом они и расстались.

Над головой Азиза простиралось черное небо, усыпанное крупными яркими звездами. Они мигали ему ободряюще и призывали: успокойся, острота горя сгладится — и оно сделает тебя мудрее, великодушнее. Научит тебя ценить людей, лучше распознать добро и зло, дорожить временем, отпущенным тебе... «Интересно, о каком разговоре толковал Мухиддин Джаббарович и почему вдруг он так изменился ко мне? Прежде, когда где-нибудь появлялась моя статья, он на полях делал пометки карандашом, потом казалось, будто статью мухи облепили... На совещаниях и партийных собраниях он тыкал меня носом в подчеркнутые места, разносил в пух и прах. Можно было подумать, что он специально ждет моих публикаций, чтобы потом при всех их раскритиковать. О последней статье он ни слова не сказал — ни ругательного, ни одобрительного. Очевидно, его молчание можно воспринять как благой признак...»

Азиза охватило предчувствие, что давешнее сообщение Мухиддина Джаббаровича самым непосредственным образом отзовется на его дальнейшей научной работе, возможно даже — на его будущем. Значит, кто-то обратил внимание на его исследования. И если этот кто-то осведомился о нем у Джаббарова и тот вынужден был дать столь лестную характеристику, значит, это человек влиятельный и академик решил отступить... Но от чего отступить? «Скорее всего я ошибался в весьма существенном пункте: Мухиддин Джаббарович, отрицая, не принимая мои гипотезы, исходил вовсе не из личной неприязни ко мне, как я считал, а из взглядов, которые он исповедует. В правильности которых убежден так же, как я в своих. И его война против меня — это, по его мнению, борьба за научную истину. Быть может, действительно, не я ему несимпатичен, а неприемлема моя концепция, ведь вот

приехал же он ко мне из города, выразил соболезнование, поддержал мой дух. Приехал, мудро отбросил все наши разногласия: «Молодость ошибается, старость прощает»? Если это так — во благо это или во вред моей работе, моему детищу?..»

Мало-помалу Азиза сморил сон. Во сне чья-то мощная рука властно вела его по нескончаемой светлой дороге. С каждым шагом в него вливалась живительная сила, которая поднимала и несла, несла его дальше, дальше. И он знал, что там впереди поворот, поворот к удаче, успеху и счастью.

* * *

Вопрос о том, что произошло, почему Мухиддин Джаббарович изменил свое отношение к Касымову, занимал и Расула Аллаяровича, и Шорасула, и всех, кто был осведомлен о разногласиях академика и аспиранта, кто не один год наблюдал их затяжную войну. В институтских кулуарах живо обсуждали публикацию в партийной газете, жарко спорили: неужели человек, который, как утес, возвышается надо всеми селекционерами в республике, кто является судьей и вершителем их судеб, может отступить перед лаборантом, сдать свои позиции? Кому не известно: если академик Джаббаров одобрял чью-нибудь идею, работу — для ее осуществления находились и средства, и рабочие руки. Не одобрял — она будто вода в песок уходила... Так почему «отец и вдохновитель» начинает отступать? В институте жили этими вопросами многие: кого радовало, что шансы Азиза возросли, кого обнадеживало, кого раздражало.

Среди последних был и Шорасул. Он всегда гордился родственными узами с Мухиддином Джаббаровичем и был иной раз не прочь намекнуть, что является его правой рукой. Теперь он чувствовал себя так, будто ему, лично ему, кто-то решил насолить, досадить, унизить его. «Да Мухиддин Джаббарович ли это? — злился Шорасул.— Он, который запросто может изъять из производства любую монографию, отвергнуть новый сорт хлопчатника, он ли это?.. Надо, надо повлиять на Мухиддина Джаббаровича! Конечно, кто же спорит, на устах аксакала может появляться иногда и улыбка, но с его камчи должна капать кровь!.. В противном слу-

чае нарушится порядок вещей. Если ослабить аркан, он может выскользнуть из рук».

Так думал Шорасул, маясь от зависти и неведения. Однако так думал не он один.

* * *

Итак, что же произошло с академиком Джаббаровым?

...В тот вечер, когда Азиз мчался в кишлак к умирающей матери, директор послал секретаршу за Мухиддином Джаббаровичем с просьбой срочно зайти к нему. Джаббаров посмотрел на нее поверх очков и задал вопрос: «Что еще за пожар?» Секретарша недоуменно, молча пожала плечами. Мухиддин Джаббарович начал прикидывать в уме: «С чем бы мне пойти к директору?» Многолетний опыт научил его, что к руководству нельзя ходить с «пустыми руками»! Ты можешь в душе и презирать начальника, считать его ниже себя, но с пустыми руками к нему не ходи! Пусть мелкие, незначительные, но несколько вопросов, требующих решения, ты должен принести с собой. Решить их или не решить — это дело руководителя, но ты обязан их поставить, выложить, так сказать, на стол.

Мухиддин Джаббарович чувствовал себя с директором вполне свободно, но — внешне — придерживался служебных правил. Он знал, что это гарантия того, что «не сгорят ни шампур, ни шашлык». Академик не ленился заниматься мелочами, которые будут приятны Расулу Аллаяровичу: цену хорошему настроению, доброму расположению директора он отлично знал. Поразмыслив, он приложил к двум-трем бумагам и газету, где было опубликовано интервью Азиза и Махамата Турдыбаева.

В приемной он бегло поздоровался с людьми, ожидавшими, когда их вызовет Расул Аллаярович. Директор разговаривал с кем-то по телефону. Увидев Мухиддина Джаббаровича, он в знак уважения поднялся с места и показал на кресло, стоявшее напротив. Закончив разговор, он крепко тряхнул руку Мухиддина Джаббаровича и приладил на носу очередные элегантные очки.

— Мухиддин Джаббарович,— он нервно перебрал кипу бумаг, лежавшую перед ним,— завтра в десять мы должны быть в обкоме. В отделе сельского хозяйства.

— По какому вопросу?

— Точно не сообщили... Однако, сдается мне, речь пойдет об Азизе.

— Это о каком Азизе? — притворился Мухиддин Джаббарович.

— О вашем аспиранте Азизе Касымове!

— А-а-а-а... — протянул Мухиддин Джаббарович и подал Расулу Аллаяровичу газету.— Там небось отреагировали на это!

— Наверняка. Я тоже проштудировал. А, каковы наши парни? Не лыком шиты, а! — произнес Расул Аллаярович с непонятной интонацией.

Джаббаров пока не распознал, радуется директор этой публикации или же она вызывает у него такую же тревогу, как у него самого.

Расул Аллаярович взял у него газету.

— Вы, я вижу, здесь камня на камне не оставили...— улыбнулся он.— Ну, а между нами, что-нибудь у него получается?

— Откуда мне знать?

— Если не знаете вы, его научный руководитель, то к кому же нам обращаться за сведениями? — Расул Аллаярович смягчил свой вопрос интонацией чуть-чуть игривой, чуть-чуть заискивающей.

— Я уже высказывал, и не раз, свое отрицательное отношение к этой работе! Сейчас, не скрою, я в восторге! Знаете от чего? От его упорства и пробивной силы! Этот мальчишка всех нас дурачит: не только нас с вами, но и всю научную общественность, более того, вот,— Мухиддин Джаббарович ткнул пальцем в газету,— всю республику он надувает! Между тем во всем институте не нашлось ни одного человека, кроме меня, кто предостерег бы его: «Эй, братец, остановись... Не растрачивай напрасно жизнь! Займись полезным делом! Забудь свои рискованные теории! Между тем не показывай дурного примера другим ученым, особенно молодым!» И вот вам результаты! Для него Расул Аллаярович не стоит ни копейки, и Мухиддин Джаббарович в придачу!.. Куда только смотрят эти журналисты? Ведь это же орган Центрального Комитета, поражаюсь! Слов нет!

На этот раз Расул Аллаярович не поддерживал академика своим обычным киванием головы. Он пристально вглядывался в статью, которая, как заметил теперь Мухиддин Джаббарович, также лежала перед

ним на столе с пометками всего в двух-трех местах.

— Мухиддин Джаббарович, будем откровенны.— Он посерьезнел, даже посуровел.— Мы твердо уверены в своей правоте? Как бы нам не промахнуться, не ошибиться? Наука, сами знаете, обладает широкими возможностями и направлениями... Вы сами отметили, в каком органе статья напечатана. Что за этим скрывается?

Мухиддин Джаббарович нетерпеливо махнул рукой:

— Не надо меня учить, я и сам ученый... Даже вас он сбил с пути, Расул Аллаярович!

— Нет, Мухиддин Джаббарович, я просто хочу разобраться в существе. И кроме того, у меня на всю эту ситуацию свой взгляд! Этот парень — член нашего коллектива. Столько лет он упорно занимается своим сортом, бьется над ним. Мы должны признать — не только не проявляли должного интереса к поискам этого молодого ученого, мы не помогали ему. Не помогали. Он бился, можно сказать, в одиночку и доказал: и один в поле воин...— Директор передохнул.— Есть и другая сторона вопроса, Мухиддин Джаббарович. Вилт держит за горло все наше хлопководство. Необходимо действовать, принимать меры — это наш первейший долг. Вы, разумеется, имеете право на сомнения относительно работы Азиза. Не вы один, другие ученые также разделяли ваше негативное мнение... Однако Касымов добился результата — это самое главное! Мы свои люди, а вот в обкоме...

Мухиддин Джаббарович сидел, упершись взглядом в пол, и хранил неодобрительное молчание.

— Надо учитывать обстановку, Мухиддин Джаббарович, и действовать в соответствии с моментом. Касымов сотрудник нашего института. Мнение бригадира авторитетно, это человек не с улицы, он признанный мастер хлопководства, он не будет никого, даже нас с вами, хвалить попусту... Ну, начнут нас в обкоме расспрашивать, а мы ничегошеньки не знаем, не ведаем, что творится у нас под носом? Как мы будем выглядеть? Представьте-ка на минутку!

— Да какой там новый сорт! Между тем вы называете его новым! — Джаббаров явно был не в своей тарелке.— Сколько раз я талдычил: покажите результаты, покажите! Он не только эгоист, он еще чересчур тщеславен! Покажу, мол, когда добьюсь чуть ли не ре-

кордных урожаев! Я что, по-вашему, должен умолять его, чтобы он снизошел до меня!.. Вы тоже хороши, сваливаете вину на меня!

Расул Аллаярович переменился в лице, уязвленный этим упреком.

— Я же хочу, чтобы вы поняли меня! Парень этот наш, институтский! — чуть ли не взмолился он.— Им интересуются в обкоме, республиканская газета выступает с пропагандой его метода. Нам нельзя вешать нос, наоборот — гордиться надо! Поддержать парня! А не то найдется какой-нибудь ловкач — и человека, выросшего у нас, выпестованного нашим институтом, переманит к себе. Да это еще ладно бы! Мы с вами окажемся консерваторами, догматиками, ретроградами... Понимаете? Вот о чем забывать нельзя!

Мухиддин Джаббарович взвился:

— Вы думаете прежде всего о себе, об институте, который возглавляете! А я, простите меня за нескромность, думаю обо всей республике, о хлопководстве в целом, о нашей стране! Я поставил хлопководство на научную основу. Как маленького ребенка! И потому никогда не отдам дело своей жизни на откуп случайным людям! Вот и весь мой сказ!

— Не горячитесь, Мухиддин Джаббарович, не горячитесь. Горячность сейчас неуместна. И извините, вы сейчас не самокритичны. Ну, что же вы как научный руководитель Касымова скажете в обкоме? Вы в глаза не видели его поле! Так что спокойнее! Не надо кипятиться.

Мухиддин Джаббарович отвернулся и вздохнул. Расул Аллаярович подождал-подождал и, видя растерянность Джаббарова, продолжил:

— Вы обиделись на меня, Мухиддин Джаббарович? Напрасно! Нас вызывают в обком не для того, чтобы побеседовать о житье-бытье. Там потребуют от нас информации, фактов и совета. Там люди деловые, они любят определенность, конкретность. Работа Касымова представляется им готовым блюдом. А нам с вами? Нет никакого резона упорствовать напрасно. Наоборот, надо действовать, действовать, в соответствии с ситуацией, а также с нашим возрастом и положением,— директор улыбнулся.— Давайте съездим на участок, который в свое время выбрал Сергей Матвеевич, и сами посмотрим, что и как. Все станет ясным как день. Зачем делать из мухи слона? Будет лучше, если

в обкоме начнут поддерживать Азиза. А мы будем соглашаться, но настаивать на дальнейших испытаниях и проверке. Тогда все, по-моему, будет в порядке.

— Расул Аллаярович! Я предупреждаю вас, с таким либерализмом вы, знаете ли, обязательно попадете когда-нибудь в неприятное положение... В науке идет подлинная борьба. Кто-то одерживает победу, кто-то терпит поражение! Между тем как только прекратится эта борьба, наука зарастет сорной травой! Эх, Расул Аллаярович! Всем угодить невозможно! Невозможно! Наука — это борьба мнений, идей! Если мы будем думать лишь о своей пользе, о своем кресле, тогда, что же будет тогда? Оставьте свой либерализм, друг мой! Метод Касымова не научен, повторяю, лженаучен! Ему надо дать отпор! Разоблачить!

Расул Аллаярович понял, что сейчас ему Мухиддина Джаббаровича не переубедить.

— Ваши мысли — теоретически — верны, Мухиддин Джаббарович. Однако в обкоме давайте будем действовать как я сказал. То, что вы называете либерализмом, я считаю разумным компромиссом. Не так ли? Да, эта статья может вызвать пожар. Может. Если его вовремя не погасить.

Мухиддин Джаббарович неожиданно для себя выпалил:

— Если говорить правду, то боюсь я этого Касымова, опасаюсь. Между тем от такого низкого, тщеславного человека можно ждать любой пакости. Тот бригадир, как его фамилия? Да, Турдыбаев! Посмотрите, что он говорит: «некоторые нетерпеливые люди», «противники нового»! Ну, и кто, по-вашему, эти «нетерпеливые люди», «противники нового», кто? Вы видите, куда он гнет? Это же все, со слов этого хвастуна, разойдется по всей республике! Еще не то будет! Мы с вашим либерализмом отмахнемся: «ладно, мол», сгладим разногласия без шума, а такие вот сядут нам на шею, заберутся на голову. Э, не смейтесь. Между тем вы еще помянете мои слова! Будет так, как я предрекаю, вот увидите...

Мухиддин Джаббарович и Расул Аллаярович в тот вечер засиделись допоздна, что, естественно, не прошло мимо внимания сотрудников.

* * *

Мухиддин Джаббарович издали заметил поджидавшего его у обкомовского скверика Расула Аллаяровича. Мухиддин Джаббарович был одет в строгий парадный костюм, тщательно отутюженный. Расул Аллаярович крепко пожал ему руку и слегка задержал в своей, как бы напоминая о чем-то существенном. Они поднялись на лифте на третий этаж и пошли по длинному коридору. Возле дверей с табличкой — «Кушмаков» они остановились на мгновение, потом вошли в приемную, отрекомендовались и сели в глубокие кожаные кресла. Секретарша скрылась в кабинете. Тотчас же дверь распахнулась настежь — и в приемную шагнул худощавый, миниатюрный человек в роговых очках. Это был Кушмаков, заведующий отделом сельского хозяйства обкома партии. Он тепло приветствовал ученых и повел их в свой кабинет.

Расул Аллаярович часто встречал Закира Кушмакова на совещаниях и собраниях, не раз беседовал с ним; Мухиддин Джаббарович не был знаком с ним лично, хотя, конечно, слышал, что Закир Кушмаков — член-корреспондент ВАСХНИЛ. Его несколько удивило, что заведующий отделом обкома так моложав и даже несолиден с его короткой, как ежик, стрижкой.

— Я не стал бы отнимать ваше драгоценное время, если бы в том не было нужды,— обратился Закир Кушмаков к своим посетителям после того, как они удобно расположились в его кабинете.— Мы пригласили вас по весьма важному вопросу. В обком поступили сведения из авторитетных источников — из передового колхоза, из прессы, а также от некоторых специалистов,— что ваш сотрудник работает, и результативно, над вилтоустойчивым сортом хлопчатника. Вчера нам звонили из Центрального Комитета, интересовались исследованиями товарища Касымова. Мне бы хотелось узнать ваше суждение об этом исследовании. В какой стадии оно находится, можем ли мы перейти от опытов к широкому внедрению их в практику? — Закир Кушмаков посмотрел выжидающе сначала на Расула Аллаяровича, затем на Мухиддина Джаббаровича. Директор повернулся к академику с молчаливым предостережением.

— Закир Кушмакович, мы предполагали, что разговор у нас пойдет именно об этой работе, ибо о ней

подробно писала газета как об одной из самых перспективных работ нашего института,— Расул Аллаярович сделал многозначительную паузу.— Это очень серьезная работа. Поэтому, чтобы с полной ответственностью ответить на ваш вопрос, нам нужна неделька-другая. Результаты только-только получены. Первые результаты после многолетних опытов, безуспешных опытов. Не грех и подождать, повременить с выводами.

Кушмаков не ожидал, что разговор будет столь коротким, он даже слегка стушевался.

— Так, так,— протянул он наконец и начал перелистывать свой календарь.— Сколько понадобится вам дней? Семь, десять?

— Нет! — выпалил Мухиддин Джаббарович.— Не хватит! Потому что это очень путаный, темный эксперимент. Под ним нет научной базы. Больше того, он вводит всех в заблуждение, вселяет пустые надежды.

Расул Аллаярович бросил на Мухиддина Джаббаровича откровенно неприязненный взгляд.

— Видите ли, Закир Кушмакович,— сказал он, играя очками, которые держал за дужки,— в словах Мухиддина Джаббаровича есть доля истины. Опыты Касымова дело рискованное... Такие методы никто еще до него не опробовал.

— Последовательности, логики научной нет! — вновь вмешался Мухиддин Джаббарович.— Культурный сорт можно скрещивать только с культурным. Между тем это даже не аксиома, а закон, закономерность! В культурный сорт, выверенный, отшлифованный, можно сказать, годами, он вводит кровь дикого хлопчатника. Дикий хлопок никогда не играл роль донора. Вот даже эту простейшую, элементарную истину не хочет понять Касымов! Это не что иное, как нарушение законов природы, игнорирование их!

— Простите, домла, я тоже специалист,— прервал Кушмаков, бросив зоркий взгляд на Мухиддина Джаббаровича.— И я позволю себе не согласиться с вами. Вы правы, во всем должна быть логика. Если поискать, можно найти эту логику и в ходе мыслей Касымова. Беда в том, что мы спешим, торопимся, иногда некогда нам бывает подумать, поискать рациональное зерно, легче взять и объявить, вернее, обвинить в «нелогичности», в нарушении законов и т. п., новое дело, начинание.

— Вы можете считать как угодно, воля ваша, но от этой работы не будет никакого толка. Бесплодие дикого хлопчатника непременно когда-нибудь проявится, обнаружит свою сокрушительную силу,— Мухиддин Джаббарович нервно заерзал на месте.

Закир Кушмаков будто не замечал взвинченности, гневливого настроения академика, он спокойно продолжал:

— Я немного в курсе исследований Касымова, дважды побывал на его опытном участке. Однако моя специализация — животноводство. Мне важно знать ваши компетентные соображения и оценки. Я не разбираюсь в нюансах этой работы. Однако, судя по результатам, сорт, выведенный Касымовым, вилтоустойчив, скороспел, имеет качественное волокно. Как нужен такой сорт, все мы прекрасно понимаем... Да, кстати, о логике. Многие вещи не имеют, кажется, логики и смысла, но это только на поверхностный взгляд. Вспомните мысль Фламмариона, что всеобщая жизнь — есть вечный девиз природы, что природа как бы довольствуется тем, что насытила жизнью все свои самые сокровенные уголки, стала насыщать ею живые существа, громоздя свои создания друг на друга, заставляя жизнь питаться жизнью... Вот так-то, природа сама допускает «нелогичность», и не так уж редко. Но и здесь в основе неопровержимая логика, которая рождает равновесие, устойчивость в природе. Боюсь, что дело в нас. Логика, свойственная несознательной природе, нас подчас не удовлетворяет! Мы сопоставляем ее в некоторых случаях с общественной логикой, приспосабливая ее к логике общественного развития... Э, простите, я, кажется, увлекся и отвлекся.— Кушмаков потеребил свою несолидную мальчишескую прическу.— В науке, по-моему, очень важно подвижничество! Подвиг! Риск! Даже простой пересмотр истин, уже ставших абсолютными, приводил к неожиданным открытиям! Вам это известно лучше, чем мне...

— Разница между подвигом и риском такая же, как между небом и землей, товарищ Кушмаков! — пробурчал Мухиддин Джаббарович, всем своим видом демонстрируя несогласие и обиду.

— По-моему, одно практически не бывает без другого. Но если даже встать на вашу позицию, уважаемый Мухиддин Джаббарович,— уверены ли вы, что опыты Касымова это пустой риск, а не подвиг? Мне

кажется, человек, идущий непроторенными путями, заслуживает похвалы, а не порицания! Вы сами знаете, домла, серьезное открытие — это, бывает, результат смелой, напористой мысли, мысли, полярно противоположной общепринятым представлениям. «Мои последователи должны опережать меня, противоречить мне, даже разрушать мой труд, в то же время продолжая его. Только из такой последовательности разрушаемой работы и создается прогресс». Эти слова принадлежат Мичурину. Подумайте только, какое благородство! Какое великодушие! И разве пример великих ученых не зовет к научному подвигу их учеников?

Расул Аллаярович слушал Кушмакова и думал о том, что он и эрудит, и умница, и дело знает, а потому его не легко провести. Он внутренне с ним согласился, когда тот произнес: «Раскрывать загадки природы, делать их достоянием науки — это не волос вытаскивать из теста... это трудная, требующая от человека всех его сил работа...» В то же время Расул Аллаярович подумал, что Кушмаков чересчур увлекается мудрыми изречениями великих, разными новейшими теориями и течениями, а так ли это необходимо ему, на его-то ответственном партийном посту?

Закир Кушмаков будто отгадал мысли Расула Аллаяровича:

— Ладно, оставим цитирование и рассмотрим конкретный вопрос. Мне кажется, что о работе Касымова вы, к сожалению, имеете пока лишь общее представление. Обком дает вам две недели для ознакомления с ней и выработки мнения и рекомендаций. Пригласите товарища Касымова, вместе «пройдитесь» по документации, съездите в колхоз. Посмотрите только, что говорит знатный хлопкороб Махамат Турдыбаев! — Кушмаков извлек из стопки аккуратно сложенных бумаг вырезку с газетной статьей.— Разумеется, вы читали? Бригадир себя критикует, не жалеет, а дело защищает! Объективность, заинтересованность, самокритика — это делает его интервью чрезвычайно полезным, важным. Статью читал первый секретарь обкома, он знает и глубоко уважает Махамата-ака, этого упрямого, но справедливого, принципиального человека, уж если во что верит — так верит! Он зря хвалить не станет! Первый секретарь заинтересовался работой Касымова, но и встревожился — как же так, мы ничего не знаем толком о таком важнейшем деле, это же государствен-

ного масштаба эксперимент, а поддержки, помощи, как видно, своевременно не получил. Надо разобраться... Вы, товарищи, должны дать нам четкий и научно аргументированный ответ. А всякие мелкие разногласия — в сторону. Договорились?

Расул Аллаярович ответил: «Договорились! Сделаем...»

Пока директор и академик шли по длинному, показавшемуся им бесконечным коридору и спустились на лифте, оба не проронили ни слова. Когда они оказались на улице, Мухиддин Джаббарович оглянулся назад, на светлое здание, с недоумением, недоверием к себе, будто спрашивал: «Неужели я услышал все это здесь? Я?»

Шофер директора, только-только храпевший, словно шестым чувством почуял приближение начальства, открыл глаза и уже, как всегда бодрый и энергичный, распахивал заднюю дверцу машины.

— Не ведает он, что такое страх! Он же ест свою собственную голову! — проскрипел в сердцах Мухиддин Джаббарович.

Расул Аллаярович не откликнулся на его реплику. Машина тронулась. Удрученный Расул Аллаярович сделал шоферу знак «выключи радио». Мухиддин Джаббарович пару раз делал попытку завести разговор, но его спутник упорно хранил молчание, погруженный в какие-то, скорее всего, не очень радующие его размышления.

Машина остановилась около института. Расул Аллаярович помедлил, что-то прикидывая в уме, потом обратился к Мухиддину Джаббаровичу тихо, но категорично:

— Минут через десять я приглашу к себе Азизджона. Заходите и вы, потолкуем вместе! — он удалился твердым шагом.

Директор на ходу заглянул через стеклянную дверь в кабинет Азиза. Саодат строчила на машинке; в приемной в ряд сидели несколько сотрудников, поджидавших по своим делам Расула Аллаяровича.

— Друзья, я очень занят, если у вас не очень горит, зайдите завтра! — он скрылся за дверью кабинета и через минуту вызвал к себе секретаршу.— Все тихо-спокойно? Никто мною не интересовался? — задал он обычные свои вопросы и, не дожидаясь ответа, коротко приказал: — Азиза Касымова ко мне. Немедленно.

Секретарша взволнованно доложила:

— Домла, только что звонил тесть Касымова. Мать Касымова скончалась.

— Да ну? — протянул директор.

— Вчера. Ночью. Касымов в кишлаке. Чтобы известить об этом, позвонил его тесть.

Расула Аллаяровича огорчила эта весть. Он снял одни очки, нацепил другие, снова снял.

— Жаль. Очень жаль. Пригласи ко мне быстренько Бабакулова и председателя месткома. Найди их. Да, скажи ученому секретарю, пусть пошлет соболезнование Касымову и его семье.— Директор снял трубку внутреннего телефона и сообщил Джаббарову печальную весть.

Через минуту в кабинете появился сам Мухиддин Джаббарович.

— Не легко будет парню. Не легко. Он старший сын в семье. Трудненько ему придется. Надо съездить. Расул Аллаярович, надо съездить в кишлак. В такую минуту для человека доброе слово, сочувствие дороже сокровищ. Надо, надо собраться и поехать, выразить соболезнование, может, какая помощь нужна. Ему сразу легче станет.

Для Мухиддина Джаббаровича смерть и вызванная ею скорбь близких — святая святых. Он сам пережил кончину родителей, жены и потому понимал горе тех, кто провожает дорогих людей в последний путь. Перед смертью меркнет все — ссоры, передряги, обиды твои и наносимые тобой, суета, даже вражда. Человек в такие дни поднимается как бы на высоту — на высоту страданий — и смотрит на все происходящее особым, прозорливым, мудрым оком; у человека, кажется, зрение становится иным — все видишь, все воспринимаешь в первозданной сущности, все мелкое меркнет, отступает. Все меришь меркой бытия и небытия, и добро, и зло, и благодеяния, и ошибки. Все воспринимаешь по-новому, по-крупному, с беспощадной ясностью.

Расул Аллаярович до ужаса боялся покойников. Ему становилось дурно, когда — какое там он сам! — когда другие на траурных церемониях тянулись, чтобы узреть покойника. Об этой особенности Расула Аллаяровича были осведомлены его близкие и потому не судили его строго за то, что он избегал похорон даже родственников. Те же, кто об этом не знал, считали его толстокожим и чересчур гордым человеком, а иные да-

же при этом присовокупляли: «Как ни задирай нос, и твой час настанет, и ты оставишь этот мир!»

Слушая взволнованного Мухиддина Джаббаровича, Расул Аллаярович лихорадочно искал повод, чтобы отказаться от поездки в кишлак. Так и не найдя его, он сказал, будто предложение Джаббарова к нему не относилось:

— Я пригласил Бабакулова и председателя месткома. Надо организовать помощь, послать людей. Если вы располагаете временем, съездите, будет очень хорошо, очень правильно, съездите...

Академик несколько поостыл и, поразмыслив, решил: отправлюсь-ка я в кишлак к Касымову на седьмой день, самостоятельно; сейчас всем скопом мне, пожалуй, даже не солидно будет ехать... А завтра, завтра я махну на опытный участок в колхоз.

## 13

Джаббаров с ловкостью юноши перепрыгнул через арык и огляделся. В поле — ни души. Небольшие квадратные дощечки с надписями тут и там. Он нагнулся к ним. Вот, значит, какой он, участок Касымова. Он показался академику совсем маленьким; бьем в колокола на всю республику об этакой заплатке! Чистейшее легкомыслие!

Мухиддин Джаббарович быстро переходил от карты к карте; его наметанный глаз, казалось, проникал в сердцевину растений. Его охватывало возбуждение все сильнее и сильнее, он метался от куста к кусту.

В сторонке под джидой стоял Юлдаш, который привез сюда дядю и с изумлением наблюдал за ним. Бегает, мечется, жестикулирует. Юлдашу стало смешно: ей-богу, странные они люди, ученые.

Мухиддин Джаббарович, не обращая внимания на зной и пыль, стоял в своем новеньком костюме на середине участка, подсчитывал открытые коробочки, тянул и вытаскивал волокно, а затем, словно занимался очень тонкой операцией, бережно, осторожно заталкивал его снова в коробочку. Он склонялся почти до самой земли, изучал куст хлопчатника снизу доверху, сантиметр за сантиметром. Все это он делал механически, привычно, споро. А мысли сменяли одна другую: Азиз утверждает, что родина вилта Мексика... Иммунитет появляется у растения в результате длительного

сосуществования растения рядом с болезнетворным микробом... Значит, тело растения приспособилось к болезни. Такой иммунитет есть у мексиканского сорта... Когда же родилось у Касымова это категорическое, твердое суждение — вот это интересно! Раньше он все твердил «дикий сорт, дикий сорт», но свою гипотезу теоретически он не мог обосновать. Его мысль действительно проста и... и сильна! В руках у него должно быть достаточно доказательств и оснований... Вот они — передо мной...

Мухиддин Джаббарович вырвал пару растений, измерил их. Правильно, все сходится. Как и говорил Турдыбаев. Неужто эти растения — потомство от дикого хлопчатника?! Поразительно!.. Нет, все же это рискованно, очень! Сорт несомненно будет испорчен... если не в этом, так в следующем году...

Он снова легко перепрыгнул через арык и начал рассматривать соседние карты. Основные площади бригады Махамата Турдыбаева находились, по-видимому, здесь, на них выращивали последний вариант сорта «Ф», его сорта. Мухиддин Джаббарович вывел его вместе со своими янгиюльскими учениками шесть лет назад для районов с умеренной температурой воздуха. Этот сорт был вилтоустойчивым. Но в какой-то степени он требовал химической обработки, с каждым годом все более интенсивной.

Мухиддин Джаббарович даже по внешнему виду растений определил, что здесь была проведена дефолиация, а, следовательно, чтобы не попасть на хлопчатник Азиза, окружающие карты обработали химическими препаратами вручную.

Мухиддин Джаббарович на мгновение остановился у самого края этого обработанного поля. Не удержался и оторвал от куста две коробочки, начал сравнивать «свои» коробочки с коробочками «того» участка. Эти коробочки были кругловатыми, как пиалы, пестики словно загоняли волокно внутрь. «Те» коробочки продолговатые, хлопок в них держался посвободнее, волокно было нежнее...

Он вспомнил с раздражением вчерашнюю беседу с Закиром Кушмаковым. «Все у него легко и просто получается! По его мнению, вилт можно победить запросто, чуть шевельнул пальцами — и нет его! Две недели — и давайте: «шелуху в одну сторону, зерно в другую»! Если бы можно было с этим бедствием так легко

бороться! Мы бы завоевали еще больший почет и уважение! Тяжко, ох как тяжко человеку, посвятившему свою жизнь науке! Начинаешь работу и не ведаешь, что получится завтра... а все вокруг тебя ждут, смотрят тебе в глаза — ну, когда же будет новый сорт?.. Чтобы разгадать одну-единственную загадку природы, встречаешься с тысячью загадок... Иной раз кажется, что ты во тьме заблудился, попал в бездну! Особенно тяжело большому, известному ученому... в сто раз, тысячу раз труднее, чем рядовому! От тебя требуют, чтобы каждая твоя работа была «шагом вперед»! Ты не имеешь права ошибиться... Это тебе твердят постоянно, по поводу и без!.. Этот выскочка задумал меня учить, засыпал меня цитатами — демонстрировал эрудицию!.. Я тоже умею цитировать! Этот мир настолько безграничен, что даже мы, видавшие виды ученые, похожи на младенцев, стоящих на его берегу и бросающих камни по поверхности. Между тем перед нами лежит океан великих тайн. Вот это мысль! Вот это слова! А мне какой-то несолидный, вихрастый человек жужжит: «Надо делать то-то и то-то»... Даже Ньютон и тот признал свою слабость перед этим таинственным, бесконечным миром. А ему подавай новые сорта и открытия — будто это лепешки: замесил тесто, бросил в тандыр — и готова, горяченькая! «В науке нужен подвиг!» — проповедует он. Ох эти... Все знают».

Джаббаров настолько увлекся спором с Кушмаковым, что забыл о Юлдаше и даже о коробочках, которые держал в руках. Потом поискал глазами в поле кого-нибудь: надо бы порасспросить, какой режим использовался для этих растений? Какие удобрения были внесены? Когда семена заделаны в почву? Когда проводились поливы? Между тем когда производилась чеканка?.. Он должен получить исчерпывающие ответы на все эти вопросы. Только после этого можно сказать что-то определенное! К тому же еще необходимо исследовать в лаборатории качество волокна. Впрочем, волокно неплохое. Пожалуй, даже хорошее. Неужели такой хлопок выращен без удобрений, без химической обработки? Неужели? Если это так... Это же открытие мирового значения!

Мухиддином Джаббаровичем овладела паника, настоящая паника. Почти сорок лет ушло у него на борьбу с вилтом... Между тем все, чего он достиг,— это разновидностей его первого — мощного! — сорта... Неуже-

ли он переоценил его? В мире нет ничего вечного, ничего! Разрушаются каменные замки, ржавеет железо, исчерпывают — тем более! — свои возможности и такие хрупкие вещи, как хлопчатник. Однако... почему он не искал, не пробовал вновь и вновь? Сам себя сковал, сам себя ограничил и тянул — назад!.. Почему это — не его опыт? Почему? Почему он не пошел на риск, как этот Касымов? Для него, академика, одна бесперспективная работа — ерунда, кто его осудил бы? Никто! Будет польза — прекрасно, не будет — не беда!.. Его глаза закрыла пелена, он перестал ощущать веяния времени! Мальчишка, о котором никто слыхом не слыхивал, без степени, без научного авторитета, отодвигает в сторону академика!.. Неужели он, Джаббаров, как ученый, кончился? Господи!..

Мухиддин Джаббарович начинал понимать: опыты Касымова победоносно преодолеют любые преграды, ибо они и есть то новое, неодолимое, чем сильна наука. В них все просто, изумительно просто; все имеет жизненно важный смысл и значение...

Мухиддин Джаббарович изнывал от жары. Он знал, что отправится сегодня в колхоз, но тем не менее обрядился в плотный костюм: он надеялся «в темпе» осмотреть участок Азиза,— ничего стоящего его, Джаббарова, внимания он, конечно, не обнаружит! — затем собирался завершить несколько своих, довольно приятных, необременительных дел. Однако все свои планы он начисто забыл. Он все думал и думал. «Ядовитые вещества конечно же приносят много вреда. Кто об этом не знает? Однако есть такие мудрецы и среди ученых, которые дальше своего носа не видят, им бы только критиковать, кричать: «Наше потомство, наши дети на себе испытают пагубные последствия наших ошибок... сейчас не хлопок служит человеку, а человек — хлопку...» Вот ведь какие разговорчики идут!.. Между тем разве легко одеть-накормить столько людей. В конце концов и пища наша, и благополучие наше зиждутся на хлопке... Разве можно что-либо изменить криками и причитаниями? Если человечество хоть на один день бросит работу, что с ним будет?.. Тот, кто ничего не делает, а только ест, лежа на боку, и гору может съесть!.. Между тем, когда осуществляются большие планы, громадные свершения, не может не быть и небольших просчетов... Нет, этих критиканов не убедишь! Распустились! Много им воли дали! Этот

Касымов из таких же! И Толмас Азимов тоже! «Позор науке, которая не направлена на улучшение жизни народа, как в настоящем, так и в будущем! Которая не облегчает, а отягощает труд людей!» — надо же такое заявить на открытом партийном собрании, при большом стечении партийных и беспартийных! Толмас Азимов горазд критиковать своих коллег! А Касымов и другие горячо ему рукоплещут... Ничего не боятся!»

Со стороны полевого стана, белевшего вдали, послышались голоса. Джаббаров обернулся. Юлдаш оживленно беседовал, по-видимому, со сторожем.

В одной руке Юлдаш держал пиалу, другой энергично жестикулировал.

Мухиддин Джаббарович нехотя поплелся к ним, понурый, пожилой, усталый человек. Под сломанной телегой дремал огромный пес, и Мухиддин Джаббарович сразу же замедлил шаги: на цепи или не на цепи? На стенах айвана висели тыквянки; время от времени они слегка покачивались, и тогда Юлдаш и сторож, замерев, смотрели на них. В тыквянках были перепела, они издавали с паузами резкие звуки «вавак, вавак». Оба любителя перепелов расплывались в улыбке до ушей, глаза их довольно жмурились, они испытывали такое удовольствие, словно пели не перепела, а они сами.

Приметив Мухиддина Джаббаровича, сторож тотчас оставил Юлдаша и, приложив ладонь к груди, побежал трусцой к важному гостю. Он поздоровался с ним и, как в молитве, провел по лицу руками.

В этот момент из-за тутовых деревьев, шурша сухими, пыльными ветками, вышел человек в синих галифе и выгоревшей добела рубахе. Мухиддин Джаббарович тотчас же узнал его по пушистым усам: Махамат Турдыбаев. В жизни он выглядел значительно старше, чем на газетном снимке.

Мухиддин Джаббарович смутился — этого еще недоставало! Попался я, влип, как несмышленыш какой-нибудь, забравшийся украдкой в чужой сад! Самолюбие ему не позволяло, чтобы кто-нибудь, даже Расул Аллаярович, мог подумать: «Ну и заплясал академик! Ну и прыть! Здорово, видно, струхнул!.. Погодите, еще не так запляшет под дудку Касымова!» Однако Джаббаров совладел со смущением и направился навстречу бригадиру уверенно и твердо.

— Если не ошибаюсь, знатный бригадир Махамат-ака Турдыбаев! — улыбнулся Джаббаров.

— Угадали. Я самый.

— Очень рад, очень рад, Махамат-ака! Наслышан о вас, наслышан! Мечтал познакомиться. И вот — свершилось. Ваш покорный слуга, Мухиддин Джаббаров.

— О, домла! Рад приветствовать вас, видеть в добром здравии. Счастья вам и благополучия. Как же так — вы здесь, а мы не ведаем об этом? Прошу пожаловать в мой дом на пиалушку чая... Мы рады вам, хорошо, что пожаловали. Я-то уж и правда наслышан о вас. Кто не знает в Узбекистане домлу Джаббарова?

Махамат-ака произнес эти слова, как показалось Джаббарову, с каким-то подтекстом. Он слегка смешался и стал торопливо объяснять:

— Да вот, я с Юлдашем возвращался нынче из Сырдарьи. Это мой племянник,— показал он на Юлдаша. Тот лукаво посмотрел на дядю и подумал про себя: «Да простит его бог за ложь» — и вежливо поклонился.— Вспомнил, что у моего ученика Азизджона где-то здесь должен быть участок, и вот решил наведаться.

— Хорошо, что вспомнили! А я смотрю и вижу след чужой машины. Дай, думаю, поинтересуюсь, кого нам прислал господь.

Махамат повел их на участок Азиза. Он остановился возле первой борозды.

— Вот она, работа Азиза! Молодец, сердце радуется!— сказал он с гордостью.— Сколько раз он приходил, складывал в конверты разные семена... и уходил. Уходил ни с чем, но приходил опять. А вот теперь полюбуйтесь! Посмотрите на рост, ну чем не стройные джигиты! У меня руки чешутся, хочется собрать здесь урожай! Азизджон обещал появиться, но вот уже неделя миновала, а его нет. Может, заболел...

Мухиддин Джаббарович и Юлдаш переглянулись: «Он еще не слышал о горе Азиза, о смерти его матери».

Махамат Упрямец ходил среди растений с изумрудными листьями, нежно поглаживал их своими загрубелыми ладонями, бережно показывал белоснежные коробочки, отливающие серебром.

— Полюбуйтесь, Мухиддин-ака! Верите ли, меня прямо преследует хлопчатник вон с той земли. Поднялся, зазеленел и вдруг, будто инфаркт его настиг, начал

падать — листья пожухли. За один день гибли растения, труд многих наших дней. Смотреть невозможно, сердце кровью обливается... К счастью, и у хлопчатника есть доктора. Та же земля, те же условия! А вон взгляните сами!.. Воистину, как говорит Азизджон, теперь слово за богами хлопководства, такими, как вы. Если вы одобрите, этот сорт обретет большую жизнь, пойдет во многие хозяйства... Хорошо, что есть ученые! А уж мы-то будем стараться! Сил не пожалеем. Как у нас говорят — подставим грудь ветру... Мы же совсем измучились с вилтом, измотал он нас, проклятый.

У Мухиддина Джаббаровича прямо-таки на кончике языка были вопросы, но самолюбие, ох уж это самолюбие! Оно сковало его уста! Он рассчитывал, что ему повезет и бригадир сам удовлетворит его жадное скрытое любопытство.

Юлдаш, поигрывая длинной веткой тала, притворялся, что внимательно слушает беседу дяди с Турдыбаевым, но мысли его были далеко. Он с грустью смотрел на свою машину, сплошь покрытую пылью, будто ее выкрасили в желто-ржавый цвет: даже вымыть ее некогда, превратили меня родичи в шофера, будто своих дел у меня нет. Юлдаш с досады закурил, немного успокоился и, услышав имя Азиза, вспомнил о Салтанат: где она теперь? Все еще в кишлаке с мужем или уже вернулась?..

* * *

Подобно тому, как брошенный мяч катится, не останавливаясь, пока не встретит на пути преграды, Юлдаш не мог остановить нахлынувших на него чувств. Рассудком он понимал, что поступает аморально, подло, преследуя Салтанат, но ничего не мог с собой поделать. Страсть, захватившая его, была сильнее его разума и воли. Душа и тело его тянулись к Салтанат, властно требовали ее и только ее. И Юлдаш знал: пока он не добьется Салтанат, пока она не станет его, не будет ему ни покоя, ни радости.

Махамат-ака все говорил и говорил, спеша выложить все доводы «за». Мухиддин Джаббарович сначала вяло, а потом все чаще и энергичнее кивал головой. Они медленно направились к полевому стану. Юлдаш облегченно вздохнул и последовал за ними...

На прощание Мухиддин Джаббарович сообщил бригадиру о горе, постигшем Азиза. Махамат Турдыбаев побелел как полотно и выдавил одно только слово:

— Когда?

— Завтра будет четвертый день... так ведь? — обернулся он к Юлдашу. Тот подтвердил слова дяди.

Поблагодарив за приглашение Махамата Упрямца «отведать чаю», дядя с племянником попрощались с хозяевами.

Подняв облако пыли, машина двинулась в город... В машине академик заметил, в каком плачевном состоянии его одежда: да, придется Назокат помучиться, чтобы привести костюм в порядок...

Он еще не решил, жалеть ему или радоваться, что он совершил эту поездку.

* * *

Прошло десять дней после кончины матери. Азиз возвратился в Ташкент, вышел на работу.

Среди дел, повседневной суеты он начал постепенно успокаиваться, забывать о своем горе, а боль его — притупляться. Он часто вспоминал мать, ее походку, жесты, лицо, улыбку, вспоминал с покаянной грустью и нежностью. Он был преисполнен благодарности к соседям, к товарищам за их чуткость и доброту, проявленные в те скорбные дни. Особенно тронул его Махамат-ака... Он тоже приехал в кишлак к Азизу, обнял его и, не скрывая слез, заплакал при людях. Сердце Азиза будто оттаяло, будто его отпустил ледяной обруч, и он с облегчением припал к груди Махамата-ака. Все, кто находился рядом, примолкли. Махамат-ака шептал ему слова утешения, — как он только находил такие исцеляющие слова!.. Двор стали заполнять люди — Махамат-ака, оказывается, привез из колхоза целую машину с людьми.

Вспоминая горестные свои дни в кишлаке, Азиз едва удерживал слезы. Они подступали к нему горячей, горькой волной. Стыдясь их, опасаясь, что кто-нибудь войдет невзначай и заметит их, Азиз украдкой вытирал глаза.

Он много и упорно работал — готовил научный отчет о ходе своего эксперимента: писал, переписывал, шлифовал. За этим занятием застал его Мухиддин

Джаббарович. Бросив беглый взгляд на стол Азиза, он промолвил: «Прошу вас, зайдите ко мне» — и быстро удалился, поскрипывая половицами.

Азиз сложил бумаги в папку и отправился в кабинет Джаббарова. Тот стоял у окна, явно его поджидая.

— Садитесь. Есть разговор. В тот печальный день я уже упоминал, что вами интересуются.— Будто желая поймать Азиза врасплох, он скороговоркой задал вопрос: — Расул Аллаярович вас еще не вызывал?

Азиз отрицательно мотнул головой и стал ждать, что за этим последует. Академик, кажется, удовлетворенный, несколько секунд сосредоточенно думал. Затем внезапно переменил тему:

— Ну, что, как все прошло? Я имею в виду похороны, поминки?

— Спасибо, домла,— Азиз опустил глаза.— Друзья, оказывается, познаются в беде.— Азиз сделал паузу и добавил: — Если я чем-нибудь вас обидел, домла, простите меня. Спасибо вам за внимание, за уважение ко мне, к нашей семье.

— Э, э, зачем вы так говорите? Между тем я что, должен получать от вас «спасибо» за то, что я побывал на поминках? Это простой человеческий долг и обязанность!

— Однако не все так считают, не все этим руководствуются.

— Вот это верно! Вот это мужской разговор! Между тем к этому я вполне присоединяюсь! Чего мы носимся со своей гордыней? И камыш тянется вверх, вытягивается и наконец превращается в циновку! Вы сказали: «Простите меня». Между тем, Азизджон, я давно уже вас простил, братец! Давно! Чего не бывает по молодости лет? Когда приходит время, сама жизнь переделывает человека. Однако не утаю, одна обида у меня на вас все же имеется: я вам желал всегда добра, исключительно добра, а вы этого не понимали. Между тем вот на это как раз я и обижен. А остальное, что ж, если никто никого не будет критиковать, не будет противоречить, отстаивать свою точку зрения, то какая же у нас будет наука? Спасибо, братец, за смелость вашу и великодушие!

— Спасибо, домла, тысячу раз спасибо.

— Это только начало, благодарить будете после, когда защитите кандидатскую и положите в карман диплом! Условились?

Джаббаров прошелся перед Азизом оживленный, помолодевший, бравый.

— Азизджон, — сказал он, — побывал я у вас в кишлаке, посмотрел я вокруг и вспомнил свою собственную молодость. Между тем я тоже вырос, познав трудности. Не было у меня никакой опоры! Между тем вы должны стать кандидатом наук! Я имею в виду материальную сторону вопроса. Отец ваш совсем старик. Вы глава семьи... Так продолжаться не должно. Быстрее защититься, защититься — вот задача номер один. Таким, как Шорасул, не обязательно, у них папы с толстым карманом, а вам обязательно. — Мухиддин Джаббарович скривился, сделал выразительную гримасу. — Да, так уж повелось: бездарным людям живется легче, они всегда находят какую-нибудь лазейку. Между тем таланту очень трудно...

Азизу пришли на ум хвалебные слова Мухиддина Джаббаровича на банкете: «Вы, Шорасулджон, нашли в науке правильную, рациональную дорогу». Он поежился. Мухиддин Джаббарович улыбнулся:

— Вы еще многого не понимаете, братец, многого. Жизнь — она посложнее науки. Я бы даже сформулировал это так: постичь науку жизни, ох, труднее, чем любую другую науку. Человек иногда должен идти и против своей воли, не скажу — против совести, но против воли, вопреки желанию — да, должен! — Он снова неожиданно переменил тему: — Ну, какое задание вы получили от Расула Аллаяровича?

— Все сведения, все результаты и все предложения, касающиеся нового сорта, изложить на бумаге.

— Гм-м... — Мухиддин Джаббарович потеребил правое ухо, посмотрел через окно на небо, помолчал. — Ну, что же, он директор института, — с едва уловимой иронией процедил он сквозь зубы. — Хотя бы в общих чертах он обязан знать, какие научные исследования ведутся в его институте... Ладно, хорошо, готовьте материал, посмотрим потом вместе. А сейчас вы свободны.

Азиз уже взялся за ручку двери, когда услышал вслед:

— Да, минуточку... чуть не забыл, вернитесь на минуту.

Порывшись в бумагах, он вынул сложенную газету. Показал Азизу на снимок, где Азиз и Махамат Упрямец стояли рядышком.

— На днях по пути из Сырдарьи я побывал на вашем опытном участке. Случайно встретился с Махаматом Турдыбаевым. Замечательный человек, умница, беседовать с ним одно удовольствие. Хлопчатник ваш хорош. Между тем, если все, что порассказал мне Махамат-ака, верно, если есть у вас научные обоснования и комментарии, тогда можете считать себя кандидатом и даже... Хлопок ваш хорош. Очень хорош! — Мухиддин Джаббарович сложил свои руки в приветственном пожатии и потряс ими в воздухе.— Свояк Шорасула приходится мне племянником, так что вместе с Юлдашем побывал на вашем участке. Вы очень нравитесь Юлдаш-баю... «Дядя, помогите по возможности Азизджону»,— просит он меня... Так что видите, сколько у вас ходатаев и почитателей. Уж о бригадире я и не говорю — он прямо-таки касыды слагает вам и вашему хлопчатнику.

Азиз был поражен — что же такое происходит, наконец?! Крепкий орешек Мухиддин Джаббарович, крепкий, добраться трудненько до его сути! Он не из тех людей, что легко отказываются от своих мнений! Тогда... почему он так переменился вдруг! «Авторитетнейший ученый почти льстит мне! Неужели его так перепугала газета? Или вызов в обком? Нет! Нет, тут что-то иное. Мухиддин Джаббарович за свою жизнь испытал и перевидал и не такое! Его последователи и ученики рассказывают, что он смел и последователен, не боится идти наперекор даже руководящим деятелям, твердо отстаивает свои принципы... Неужели он постиг подлинный смысл моей работы? Неужели поверил?»

Азиз вышел от Джаббарова в состоянии легкого шока...

## 14

Мухиддин Джаббарович никак не мог примириться и свыкнуться с тем, что у него под носом, но вопреки его предсказаниям, созрело и родилось такое открытие. Два дня назад вместе с директором он ознакомился с отчетом Азиза. Материалы были безукоризненны, блестящи.

Расул Аллаярович, обладающий способностью при любых обстоятельствах выходить сухим из воды, сохранял невозмутимость и спокойствие.

— Домла, мы начинаем стареть! — Когда директор иронизировал, он начинал разговор с уважительного обращения «домла».— Мы чуть-чуть не опозорились на всю республику, а то и за ее пределами. Я опасался, помните, и раньше: как бы у нас не увели этого ценного работника! Если бы не обком, то так бы оно и случилось!.. Молодцы наши джигиты, а? Я доволен! Горжусь! Молодежь оправдывает наши надежды. Не зря мы ее учим, наставляем, передаем ей свои знания и опыт!

Академик насупился: только о себе и думает, из всего извлечет выгоду!

— Вы — директор, в обкоме обо всем и докладывать вам, принимать поздравления тоже вам! — буркнул Джаббаров.

Расул Аллаярович, вопреки его ожиданию, согласился тотчас же:

— Ладно, хорошо! Вернусь, расскажу!..

Мухиддином Джаббаровичем овладела тревога: «Почему я не пошел с ним вместе? Ведь Расул Аллаярович не селекционер! Администратор! Между тем понимает ли он великое значение того, что содержится в материалах Касымова? Конечно, понимает, потому и не стал настаивать, чтобы я тоже пошел. Один хочет погреться в лучах чужой славы! Чужой, но — под его опекой добытой. Но ничего, ничего, им еще понадобится Мухиддин Джаббарович! И обо мне вспомнят, спохватятся! Хотят они того или не хотят, нравлюсь я им или не нравлюсь, все равно придут ко мне на поклон...»

Мухиддин Джаббарович потерял сон, аппетит. Его преследовали мысли одна другой неприятнее, тревожнее. Ему не давало покоя поведение директора. «Каким расторопным вдруг стал Расул Аллаярович, каким активным! Вот уж охотник до готового! Между тем было бы лучше, если бы я пошел с ним вместе. У меня есть законное право — Азиз мой аспирант. Каждое крупное открытие — это результат коллективных усилий. Между тем что может сделать человек в одиночку? Один в поле не воин.

В обкоме я должен был докладывать, я!.. Неужели всю эту глыбу поднял, своротил Касымов? Один, несмотря на все, без моей помощи! Невероятно! Этому нельзя поверить! Да никто и не поверит!»

Мухиддин Джаббарович крепко уцепился за эту

мысль, будто она открывала для него путь к чему-то чрезвычайно важному, будто сулила что-то. Сердце его забилось... Он в страшном возбуждении поднялся среди ночи с постели. Пробежал глазами по стеллажам с книгами, занимавшими всю стену. Наконец он нашел успевшую пожелтеть папку, развязал тесемки, начал спешно выкладывать на стол бумаги. Как только он подумал: «Неужели Азиз мог... один?..», его острый ум будто зацепился за что-то очень ценное, спасительное! Мухиддин Джаббарович еще не знал, что это, но как-то связал это вот с этой пожелтевшей папкой. Наконец он наткнулся на маленький листок, где было написано, что всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение, что он обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников. Мухиддин Джаббарович повертел в руках бумагу, но не нашел ссылки на источник, откуда была взята эта цитата. Он обругал себя. Всю жизнь он переписывает понравившиеся ему мысли и изречения, но забывает указать источник. Потом теряет время на поиски.

Он представил себе огромный объем работы, проделанной Касымовым, и неоценимое значение его открытия и с пронзительной грустью вспомнил годы, когда был таким же молодым, как Азиз. Какие только палки не ломались тогда о голову молодого Джаббарова! Каких только разносов и унижений он не испытал... Сегодня он недосягаем, его слово — закон, сегодня он разносит и ломает палки... Да, были, были у него и взлеты, и падения, но он не сдавался, не унывал, без опаски спорил с авторитетами. Совсем как этот несносный Касымов!..

Мухиддин Джаббарович задохнулся от гнева — неужели же я дошел до того, что ненавижу молодых, гашу их порывы, стремления? Был же я сам смельчаком, любил справедливость. Заявил же я в лицо одному «ученому»: «Особенно трудно терпеть дипломированную глупость! Самый жестокий и опасный враг развития — глупый, невежественный «ученый»!» Сколько потом пришлось мне давать всяческих объяснений! Меня чуть из партии не исключили!.. Мне тогда туго пришлось, ох туго! Я готов был бросить все, даже переменить специальность. Как говорится, чтобы отомстить блохе, готов был сжечь весь тулуп! Эх-хе-хе!.. Когда большинство людей чернит белое, а белое выдает за

черное, кому поведаешь свою беду! Кому?! Но муки и страдания начисто забыты! Они растаяли под солнцем славы, почета, уважения. Однако... почему мне именно теперь вспоминаются эти минувшие дни? Почему? Не потому ли, что я был жесток и несправедлив к Касымову? Жесток и несправедлив!.. Но принадлежит ли это открытие целиком Азизу? Он что, скрещивал этот хваленый mexicanum с сортом, который упал с неба?! Между тем он скрещивал свой дикий сорт с сортом «Ф», которому я, Джаббаров, посвятил всю свою жизнь! Нет, нет! Сорт не упал с неба! Никто не сочтет, что он упал с неба! Никто! Напрасно я тревожусь, извожу себя!.. Если бы Касымов не опирался на мои эксперименты, на мои достижения... Более того, он взял готовеньким мое! Еще не известно, что получилось бы у Касымова! Стало быть, вопрос здесь шире надо ставить, шире ставить, глубже смотреть! Найдутся много таких, что как мухи будут летать вокруг этого нового сорта, липнуть... Тот же Расул Аллаярович!.. Надо предупредить события... Если подойти к делу по большому счету, то это открытие — всего лишь продолжение того, что я начал сорок лет назад! Я! Продолжение развития! Оценку буду давать я перед научной общественностью и руководством! Я, и никто другой, и я произнесу это слово — «развитие». Пусть знают, что я помогаю молодежи, окрыляю ее, делюсь с ней своими достижениями и славой. Какая разница, как говорят наши старики, — «Али-ходжа, Ходжа-али»!

Муки совести, осознание собственной безнравственности сменялись у Мухиддина Джаббаровича надеждами, верой в свою причастность к открытию Касымова. Что бы в институте ни происходило, какое бы открытие ни осуществлялось — все происходило и осуществлялось под его эгидой! «Вперед, но только — вслед за мной!» — что ж, формула правильная и в применении к его трудам и заслугам — справедливая, праведная.

Мухиддин Джаббарович решил переменить свою позицию в «войне» против Касымова: из рядов противников он перешел в ряды единомышленников и помощников. И сам почувствовал от этого удовлетворение и облегчение. И стал удивляться: «Сколько времени мы мучили бедного парня. По недомыслию. По занятости вечной! Пока руки добрались до его опытов... Те-

перь все будет иначе, с нашей-то поддержкой! Касымову удалось то, чего не удавалось ни одному моему ученику. Он творчески продолжил мои исследования, развил их, двинул вперед. Теперь моя очередь — помогать ему и продвигать его открытие, наше открытие!»

Джаббаров уже почти верил в эту удобную, выгодную для него версию! Она открывала ему богатые перспективы, сулила немалые выгоды. Кто посмеет теперь вякнуть, что Джаббаров постарел, что уже долгие годы он пустоцвет в науке? Конечно, всегда найдутся людишки, которые будут распускать слухи, что-де я грею руки у чужого огня. Найдутся! Но ничего, мы заставим их прикусить язык... Ненавидел-де Касымова, преследовал, а потом примазался... В жизни все бывает — два человека могут ненавидеть друг друга, однако общий труд, благородная цель их примиряют и объединяют... У нас одна, общая цель с Касымовым в науке, он усвоил лучшие мои качества — талант, трудолюбие, дерзость, он к тому же мой аспирант... Стране нужен именно этот сорт. Пусть брехуны брешут, судят-рядят. Время покажет, кто прав, кто виноват! Время! Время воздает всем по заслугам, вот и мне воздало за мой сорт «Ф»: его, его выбрал Касымов!

Джаббаров укреплялся в этих суждениях, в своих намерениях все сильнее и сильнее. Тем тщательнее он таил их ото всех — Расула Аллаяровича и Азиза в первую очередь.

Никто не знал, не мог знать, что все это породит в недалеком будущем много новых событий, коллизий, вызовет тяжелые душевные потрясения.

## 15

Подобно тому, как под весенним солнцем начинает таять, трескаться, ломаться и приходить в движение лед, так и опыты Азиза, попав в поле зрения партийной газеты и партийного руководства, вдруг обрели интерес для многих и многих людей, а он сам стал привлекать к себе все больше и больше внимания.

Директор, никак до сих пор не выделявший Азиза среди других рядовых сотрудников, теперь вызывал его к себе по два-три раза на день, привлекал его к различным делам всего института. После того, как директор побывал с материалом Азиза в обкоме, он ос-

ведомился у него, состоит ли Азиз в комсомоле и не думает ли о вступлении в партию. Спустя некоторое время на собрании партийного актива он обратился к Бабакулову с вопросом, думает ли тот о приеме в партию молодых ученых?

Трудно бывает человеку, пока лед не тронулся, а потом только поспевай за событиями да смотри в оба, поспевай грести, чтобы не снесло течением.

В Москве во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук должно было состояться совещание селекционеров. Расул Аллаярович пригласил Азиза и объявил: «Поедете в Москву, быстро готовьтесь — и в путь!» Азиз был так ошарашен, что даже забыл спросить «зачем?». А директор выплыл из-за своего знаменитого стола на львиных лапах и доверительно взял Азиза под руку: «Подготовьтесь, могут дать слово и вам...» Опомнившийся наконец Азиз задал вопрос о цели его командировки.

— Разве мы пошлем вас с дурной целью? — сказал Расул Аллаярович, игриво посмеиваясь. — Будет совещание, всесоюзное совещание селекционеров, в ВАСХНИЛе. Нас будете представлять вы. Думаю, это будет полезно и для вас, и для вашей работы.

Азизу стало не по себе — на всесоюзные совещания собираются, он знал, крупнейшие ученые, академики, авторы известных открытий... что там делать ему, лаборанту? Начнут расспрашивать, интересоваться: над чем работаете, коллега, какие доблести у вас за плечами?.. Что он ответит?

— Благодарю за доверие, домла, но когда есть Мухиддин Джаббарович, другие уважаемые ученые в институте, то мне там делать нечего, неудобно мне туда ехать! Нескромно!

Брови Расула Аллаяровича поползли вверх, он взял в руки очки, подышал на стекла и начал протирать их кусочком замши.

— Отступать поздно, мы вас назвали, все согласовали. Мухиддин Джаббарович поддержал вашу кандидатуру. — Директор был явно недоволен. — Действуйте, действуйте. Оставьте ваши интеллигентские колебания. Послезавтра полетите первым рейсом, — произнес директор тоном приказа.

И, словно одобряя его слова, часы в приемной начали свой привычный, звонкий бой...

Расул Аллаярович долго ломал голову, прежде чем

принял решение отправить Касымова в Москву. Конечно, самое простое — послать на совещание Мухиддина Джаббаровича. Он был прямо-таки создан для серьезных, ответственных командировок, для представительных форумов: известен, умеет защитить интересы своего научного учреждения, поддержать — не посрамить! — авторитет республики... А Касымов — неопытный, никому не известный, неконтактный... Ему все надо разжевать, объяснить от «а» до «я»; да еще потом — сиди здесь и переживай, как бы чего не напортачил!.. Джаббаров — оратор всесоюзного значения, можно сказать, трибун; опыт, опыт у него огромный — еще бы, без конца в командировках, в поездках по стране, по заграницам. Недаром коллеги даже шутят порой: «Не мешало бы уважаемому домле и в Ташкенте иногда появляться...» И все-таки... все-таки имеет смысл остановиться на этот раз на кандидатуре Касымова. Есть на то особая причина, известная одному лишь Расулу Аллаяровичу.

Директор понимал, что обком и печать не просто так заинтересовались работой Касымова. Собственного мнения об этой работе он не имел. Не мог иметь. Потому что плохо, лишь по бумагам, был осведомлен о ней.

Расул Аллаярович оказался на перепутье двух дорог, и каждая из них, если уж признаваться откровенно, связана для него с ответственностью. Чтобы решительно поддержать Азиза, он не располагает должными основаниями. Отрицать работу... Вышестоящие организации не оставят его в покое. И к тому же для этого он тоже не располагает вескими данными, вовсе не располагает. Расул Аллаярович даже позвонил видному украинскому селекционеру, своему другу Науменко, и вкратце изложил ему суть дела. Директор познакомился с Науменко во время поездки в Канаду шесть лет назад, они подружились, навещали друг друга, сблизились семьями.

Науменко был прославленным ученым, создателем нового сорта пшеницы. Он коротко спросил:

— Новый сорт выведен или выводится?

Расул Аллаярович дал понять, что есть первые обнадеживающие результаты... только выводится...

— Чья работа, Мухиддина Джаббаровича?

Расул Аллаярович уклончиво ответил:

— Нет, нет, одного нашего молодого ученого.

Науменко долго молчал, размышлял:

—Во всяком случае, этот вопрос нельзя решать по телефону: конечно же надо посмотреть... Однако, по моему мнению, вы напрасно теряете время... дикий сорт обманывает человека...

«А здесь уже и руководители республики суют обе мои ноги в одни сапоги — давай, давай заключение, суждение, мнение. Быстрее, быстрее... Что делать человеку, который оказывается между двух огней?»

В это время подоспела телеграмма из Москвы с приглашением на совещание, и Расул Аллаярович решил разыграть интересную комбинацию. Однако, чтобы не обидеть Мухиддина Джаббаровича, поездку в Москву он сначала предложил ему.

Как и предвидел Расул Аллаярович, тот отказался. В самом деле, думал директор, с чем академику сейчас ехать в Москву? С пустыми руками? Самое поразительное, однако, заключалось в том, что Джаббаров сам предложил кандидатуру Касымова! Директор сделал вид, что уступает Мухиддину Джаббаровичу.

— Вы считаете, он справится? Впрочем, если рекомендуете вы, нам остается лишь соглашаться...

Мухиддин Джаббарович удивился в свою очередь, но ничем этого не обнаружил.

Расулу Аллаяровичу очень хотелось узнать, как отнесутся опытные ученые к работе Касымова, ведь он должен будет сделать о ней сообщение! Уж они-то, крупные селекционеры, молчать не станут: ни в том, ни в другом случае! Если они категорически отвергнут возможность подобного пути, то еще не поздно будет аргументированно убедить в этом руководство. Или, по крайней мере, настоять на том, что спешка в данном случае может привести к непоправимым ошибкам... Если же в Москве одобрят касымовский эксперимент, то и Расул Аллаярович не поскупится — представит его как самую выдающуюся работу института за последние годы. Уж чего-чего, а зависти к своим подопечным, к молодым ученым, он никогда не испытывал.

Чутье подсказывало Джаббарову, что директор столь охотно согласился послать Азиза на совещание неспроста. У него закралось подозрение.

«Наверно, директор хочет прибрать Касымова к рукам, обласкать его и стать, быть может, даже его соавтором...»

Академик не пожалел времени и долго и подробно

инструктировал Азиза: как вести себя на подобных совещаниях, что и с кем говорить, на что обратить особое внимание.

В назначенный день Азиз улетел в Москву.

* * *

Салтанат провожала Азиза в дальнюю дорогу с двояким чувством. Когда муж сообщил с гордостью и робостью одновременно, что его направляют от института в столицу, Салтанат обрадовалась так, будто это ее посылали в Москву. Однако она тут же опечалилась, приуныла: муж уедет далеко, да еще на целую неделю! Они ни разу не разлучались за все эти годы, она привыкла видеть Азиза рядом! Да и Азиз будет там скучать, чувствовать себя одиноким, нет у него в Москве ни друзей, ни знакомых... Салтанат снарядила его, как в кругосветное путешествие: испекла лепешек, положила в чемодан разных лакомств, даже проводила в аэропорт. Салтанат наблюдала за тем, как Азиз поднимается по трапу в самолет. Когда он скрылся, сердце ее заныло и она подумала: «Неужели я так сильно привязана к Азизу, люблю его? Буку моего и нелюдима? И дом, и я — будто осиротели враз. И ругаемся, и ссоримся, а как, оказывается, хорошо быть вместе! Воистину: муж и жена — это мясо и ноготь на одном пальце...»

Встретить Азиза она тоже намеревалась, как подобает хорошей жене: наготовить его любимые блюда, привести в идеальный порядок квартиру, принарядиться: не каждого мужа командируют на такое важное совещание — от всего института!

Рахима-апа не могла нарадоваться, наблюдая, как расторопно хозяйничает ее дочь: чистит, моет, шьет, часто упоминает по-доброму имя мужа. Жизнь Рахимы-апа, вся жизнь прошла, как у заботливой няньки, как у неусыпного стража в хлопотах о детях; страдали дети — и она страдала, радовались они — и она радовалась. Рахима-апа была из тех самоотверженных, нежных, слепо любящих матерей, что кружат вокруг детей, как ночная бабочка возле свечи. Она одобряла все их поступки, прощала недостатки и ошибки, была исполнена восхищения и преклонения перед ними, ее кровинушками.

Еще недавно, когда Салтанат ходила вечно раздра-

женная, нервная, растрепанная, неряшливая, Рахима-апа винила в этом Азиза. Во что превратилась ее рожденная в муках дочь! — сострадала она Салтанат. Она считала, что Азиз губит ее дочь из-за слепого упрямства, дурного нрава; все они такие, кто привык поступать наперекор; такого спроси: покажи, где рот, а он показывает ухо!.. Чем больше блекла, мрачнела Салтанат, тем большую неприязнь испытывала теща к зятю. Ее материнская любовь была эгоистична: Рахима-апа не признавала, что и другие люди, хотя бы тот же Азиз, — дети, милые и родные дети для других матерей и дороги им так же, как ей — несравненные ее, лучшие в мире дочери и сыновья...

Зато добрые перемены в настроении, в состоянии Салтанат мать замечала первой. Сейчас дочь стелет мягкую подстилку на тень зятя — так хочет угодить ему! — и мать радовалась, чувствовала себя растроганной и довольной. «Много ли, мало ли, голодно или сытно, больше, чем у других, или меньше имеет, мол, дочь, — размышляла Рахима-апа, — а ведь живет она спокойно. Дай бог никогда не видеть мне на ее глазах слезы. Разве в деньгах счастье? Вон моя старшая дочь все имеет, кроме счастья. В тридцать лет превратилась в старуху, высохла вся, бедняжка моя... Пусть родные мои не знают обид и страданий, тогда и я смогу спокойно закрыть глаза... Сколько всяких невзгод выпало на нашу долю! Странное создание человек — тянет, неодолимо тянет его богатство, мишура всякая, желание быть над другими, выделиться, возвыситься. Кичимся мы, кичимся, а о душе, о радости не думаем. Старший мой сын Мирхасил живет в полном достатке — как он к нему стремился! Однако доволен ли он, счастлив? Все есть, кажется, всего сверх головы, а ходит всегда хмурый, мрачный, невеселый, всегда чем-то озабочен. Спокойно, тихо побеседовать с родителями — и на это не находит времени. Плохо человеку, коли у него в сердце — пусто и темно, тут и дом — полная чаша — не веселит, не утешает!»

Заулыбалась, посветлела Салтанат, похорошела ее доченька, и Рахима-апа стала жалеть Азиза: бедняга, лишился матери, столько трудится! Как пчела — все в работе, в работе. Скромный, тихий! Не то что мой беспутный зятек — профессорский сынок, чтоб ему сгинуть! Такие только и умеют, что мучить других! Благодарю тебя, судьба, что моей Салтанат встретился

смирный и покладистый муж, который своими руками, в поте лица добывает все, что имеет... Правильно гласит пословица: на голодный желудок — спокойный сон. Живет Азиз тихо, замкнуто, что же поделаешь, коли средства не позволяют гостей созывать? Довольствуется тем, что имеет. В семье мир, ни шума, ни скандалов. Оно так и получается: каждому свое, а полного счастья все равно не бывает...

Мать решила позвонить Салтанат — так ей вдруг захотелось услышать ее голос!

— Доченька, как ты там? Приезжай к нам, вон сынок твой бегает по двору, шалит! Приезжай, хватит чистить дом, небось все блестит уже, ведь устала! Отдохнешь, подкормлю тебя, поухаживаю! Вот и отец недавно говорил — соскучился...

— Спасибо, мамочка, вот управлюсь тут и к вечеру приеду! — Салтанат была растрогана родительской лаской.

Радостная, легкая от сознания, что все у них с Азизом наладится, изменится к лучшему, повернется их жизнь к удаче, Салтанат не знала усталости. Работа так и кипела у нее в руках, Салтанат могла сейчас гору свернуть — и все с песней, ловко, без напряжения, играючи. Квартиру было не узнать; она, как и ее хозяйка, помолодела и засияла. Окна, зеркала, полы заблестели, мебель заулыбалась, шторы пахли свежестью, игрушки Бехзода и те, казалось, ожили и одобрительно поглядывали на Салтанат.

Принаряженная, красивая Салтанат будто на крыльях летела к автобусной остановке — скоро обнимет она сынишку, мамочку, поговорит с отцом, отведает маминой шурпы... И тут ее нагнала знакомая голубая «Волга». Юлдаш открыл переднюю дверцу и, поздоровавшись, предложил подвезти.

Салтанат стала озираться по сторонам, отвернулась от Юлдаша. Стоявшие на остановке люди кто с удивлением, кто с любопытством стали наблюдать за ними. Салтанат не выдержала этих взглядов и двинулась вниз по улице, кипя от негодования: нахал, не постеснялся людей, надо его проучить! Юлдаш медленно ехал следом. Салтанат шла, сжав зубы, готовая излить на него злость и ярость. Он почувствовал это, быстро проехал вперед и остановил машину.

Салтанат впервые обратила внимание на то, как безвкусно украшена «Волга» Юлдаша: к стеклу приле-

плены какие-то пестрые кружки и квадратики, сзади торчат две игрушечные собаки с беспрестанно качающимися мордами, резиновая рука с грозно поднятым пальцем...

«Разве порядочный мужчина позволит себе такое? — возмущалась Салтанат.— Вот так, на виду у всех преследовать меня?..»

Во время ее встреч с Юлдашем между ними, в сущности, ничего недозволенного не произошло. Впрочем, что-то все-таки произошло. Салтанат подозревала, что Юлдаш привык в своих отношениях с женщинами идти до конца, напролом. Она понимала, что вела себя с ним легкомысленно, непростительно давала ему повод на что-то надеяться, чего-то ждать. Однако со свойственной ей неопытностью и нежеланием заглядывать в будущее она полагала, что все само собой уладится, прекратится, душевная тревога исчезнет, Юлдаш охладеет к ней—и он и все, что связано с ним, останется для нее лестным, легким, тайным воспоминанием.

Салтанат обманывала себя. Ей до сладости, до замирания сердца приятны и влюбленность Юлдаша, и поиски встреч, и телефонные звонки. Ее обжигали, заставляли трепетать его сильные, смелые руки, а его поцелуи, запретные, насильственные, возвращали ей весну, оживляли все вокруг, превращали ее дни в праздник, яркий и влекущий. Она пыталась быть строгой с Юлдашем, умерить его порывы, но ничего не могла поделать — ни с ним, ни с собой! После встречи с ним Салтанат чувствовала, что в ней просыпаются и соседствуют два человека: один — чистый, целомудренный и слабый; второй — отчаянный, обуянный тайными желаниями, полный надежд на доселе неизведанное.

Каждый раз, после того как Салтанат видела Юлдаша, она корила себя и убеждала: теперь-то уже все, в последний раз, пусть себе идет восвояси, словечком больше не обмолвлюсь. Но тут же ей начинало казаться, что она вместе с ним потеряет что-то манящее, что-то такое, без чего жизнь ее лишится прелести. Салтанат сама себе напоминала вора, попавшего в западню: цепко держит в руках драгоценную вещь и не знает, что же с ней делать — выбросить, чтобы остаться на свободе, или как-нибудь половчее да похитрее упрятать ее подальше...

Сейчас проделка Юлдаша не доставила ей привыч-

ного удовольствия, и она шла по улице, разжигая в себе гнев! Взрослый человек, мужчина называется! Все кругом пялятся, развлечение ведь — гонки на машине за женщиной! Господи, как бы покончить с этой дурацкой сценой!

Салтанат с угрожающей решимостью перепрыгнула через арычок, рывком открыла дверцу машины и бросилась на переднее сиденье. В нос ей ударил смешанный запах одеколона, сигарет и бензина. Юлдаш смутился по-настоящему; он сидел, замерев, не осмеливаясь ни заговорить с Салтанат, ни тронуть с места машину. Потом упавшим голосом произнес: «Извините» — и дал сильный газ.

Они долго ехали молча, уставившись вперед на дорогу. Наступил вечер, люди возвращались с работы, машин было много, автобусы переполнены. Все как в тот вечер, когда он встретил ее недалеко от дома с бутылкой масла в руках. У Салтанат с губ рвались, но не срывались обвинения и упреки: «Вы что, считаете меня распутницей? Вы принимаете меня за кого-то другого, как видно, более привычного вам! Позорить меня, преследовать, превращать в посмешище!..» Ей хотелось испортить ему, самодовольному, непробиваемому, настроение, вывести его из себя! Однако...

Юлдаш бережным жестом опустил перед Салтанат козырек от солнца и робко, умоляюще улыбнулся ей. И ей вдруг стало жаль его: «Как мальчишка подкарауливал меня! Легче всего обвинять и бранить! А если он несчастлив? Что тогда? Он, как камень в перстне, вроде бы имеет подходящую для себя оправу — семью. Вот именно — вроде бы... Если у него не лежит душа к жене, пусть та и красива, и умна, и добра? Где достать от этого недуга целебное средство, где? Люди любят искать причины, почему да отчего между мужем и женой нет лада. Искать и находить — можно, а вот помочь — нельзя».

Юлдаш чувствовал себя так, будто его заморозили, лишили дара речи. «Что за наваждение такое? Какою цепью я прикован к этой женщине? — думал Юлдаш, нервно затягиваясь сигаретой. — Так и до беды, до скандала недалеко с этим моим ухарством».

Салтанат отрывисто сказала:

— Перестаньте курить, во-первых. И, во-вторых, не отвезете ли меня к матери?

Юлдаш обрадовался, что мучительное это, затянув-

шееся молчание наконец прервано. Он мгновенно выбросил в окошко окурок и с облегчением нежно произнес: «Хорошо, хорошо, сейчас».

Немного спустя Юлдаш повернул голову к Салтанат:

— Я хочу попросить вас кое о чем, Салтанат, не откажите мне, пожалуйста!

В голосе его звучало неподдельное волнение, и это растрогало Салтанат. Чтобы не поддаться слабости, не обнаружить ее перед Юлдашем, она ответила ему дерзко и развязно:

— Увидим, посмотрим. Если просьба ваша приемлема — подумаем; если неприемлема — вам же ее и вернем.

У Салтанат было сейчас такое состояние, будто подвели ее к самому краю глубокой пропасти, она смотрит вниз с ужасом — а вдруг сорвется, вдруг полетит! — и все же не верит в это! Она тайком бросила взгляд на Юлдаша: высокий, загорелый лоб, решительный подбородок, пышные усы над полными, плотно сомкнутыми губами. Нет, сейчас он совсем не был похож на того Юлдаша, который в день экзамена встретился ей на улице и разбил вазу с цветами. На виске пробилась седина, около губ обозначились резкие продольные складки, около глаз — морщинки. Салтанат подумала вдруг: «Ой, он уже начал стареть.— И тут же спохватилась.— А я? Я тоже небось изменилась, выгляжу старше Юлдаша». И Салтанат охватила такая сильная, такая властная тяга к нему, что она испугалась и сидела присмиревшая, обессиленная, беспомощная. Юлдашу будто передалось состояние Салтанат, он напрягся весь, крепко стиснул зубы.

Когда они доехали до махаллы, где жили родители Салтанат, Юлдаш испытующе поглядел на нее и решительно заявил:

— Салтанатхон, если вы скажете «хоп», я буду счастлив. Я хочу пригласить вас на прогулку за город, недалеко. В Бостанлык. Вам надо развеяться, отдохнуть, у вас была тяжелая пора.

Ее обдало горячей волной смущения и ожидания чего-то запретного; она попыталась все обратить в шутку:

— Э-э? Хорошо мне, нашелся человек, заботящийся о моем здоровье, о моем досуге! — Потом нахмурила брови:— Бросим эту игру, Юлдаш-ака. Не к лицу она нам, вспомните про наш возраст, и о семьях наших —

тоже не грех вспомнить! — Она сделала паузу и уже кокетливо, примирительно почти пропела:—Ух, какой, однако, вы отчаянный!

— Я все равно не отстану от вас, вы знаете меня! Завтра ворвусь к вам в дом и похищу вас.

— Прямо уж и ворветесь! — Салтанат испытывала одновременно смятение, страх, любопытство.

— Вот увидите! Ворвусь — и все! И похищу вас, увезу!.. Чтобы не переполошить ваших благопристойных соседей, назначаю вам свидание. Завтра утром, часов в восемь, буду ждать вас у кинотеатра. Ждать буду терпеливо, но если не дождусь...

Салтанат, кинув ему через плечо — «не городите чепуху!», вышла из машины и направилась к дому. Возле ворот не удержалась и обернулась. Машина стояла, но в сгустившихся сумерках Салтанат не разглядела лица Юлдаша. Она вошла в коридор, ведущий во двор, и тут остановилась, чтобы унять сильно колотившееся сердце.

В эту ночь Салтанат увидела странный сон и проснулась в испуге. Ей снилось, что она — в каком-то незнакомом месте: кишлак не кишлак, город не город; вокруг безлюдно, пусто. Внезапно знакомый голос, совсем рядом, позвал ее: «Салтанат!» С замирающим сердцем Салтанат увидела, как из черного тумана на нее надвигается Азиз и безудержно хохочет. Все ближе, ближе, потом остановился и показал пальцем назад, в туман — и спросил: «Если я пойду туда, я буду свободным?» Она прошептала: «От кого?» А он опять захохотал: «От Бехзода!» Потом добавил: «Я сейчас вернусь» — и скрылся во тьме, а потом появился опять, ведя за руку свою мать. Салтанат хотела крикнуть ему: «Мать умерла», но голос ей не повиновался... Из мглы вылетел огромный страшный беркут и навис, выпустив когти, над Азизом. Салтанат завопила что было мочи, и хищник, взмахнув крыльями, будто прощаясь с ней, исчез.

Сердце Салтанат было как в ледяном панцире. «Господи, не случилось ли чего с Азизом?» — была первая ее мысль. Она ворочалась с боку на бок встревоженная, мучимая смутным беспокойством. Утром она пересказала свой сон матери во всех деталях и подробностях. Мать тоже испугалась. «Боже мой, боже! Сохрани нас и помилуй!» — твердила она. Потом, заметив, как побледнела дочь, Рахима-апа махнула рукой:

— Что это мы как старые бабки! Оставь недобрые мысли, ничего не бойся! Ты переутомилась, сильно переутомилась. Отдохни. Забудь про свой дурацкий сон!..

Утром пришла телеграмма от Азиза, он извещал, что у него все благополучно, дела идут успешно. И Салтанат успокоилась, приободрилась, почувствовала себя вольной пташкой. Она решила рискнуть и пойти на свидание. Матери она сказала, что соседка выдает дочку замуж, и просила прийти и помочь по хозяйству.

— Конечно, конечно, свадьба это свадьба,— одобрила ее мать.— Что тебе сидеть одной, все будет повеселее среди людей. Бехзод у нас останется, погостит.

Салтанат чувствовала себя обманщицей и, как ни странно, радовалась этому; на миг мелькнула мысль: да, один обман влечет за собой другой, вот так выстраивается цепочка — ложь за ложью, а ты превращаешься в лицемерку и лгунью... Однако ее будто несло неодолимым течением, она с замиранием сердца, как захватывающего приключения, ждала свидания с Юлдашем. Ее захватывала головокружительная новизна и прелесть предстоящего, но она боялась признаться себе в этом. «Я не позволю Юлдашу ничего лишнего, уж что-что, а опозорить себя я никому не дам! — рассуждала сама с собой Салтанат.— Оно даже лучше будет, если я пойду. Азиза сейчас нет, воспользуюсь этим и спокойно поговорю с Юлдашем, внушу ему, чтобы он отстал от меня. Если не поговорю сейчас, когда еще представится подобный случай?»

Когда Салтанат уже приблизилась к кинотеатру, она вдруг почувствовала страшный стыд. Внезапно вспомнила свой сон. А что, если Юлдаш, как тот беркут, стоит в укромном месте, и наблюдает за мной, чтобы схватить! Вцепиться! И думает: «Жеманничает, скромницу из себя корчит, а сама явилась!.. Ох, что я натворила, зачем я здесь? Как я посмела, решилась на это, а?..»

Она повернула обратно, растерянная, испуганная, ноги едва держали ее, она еле-еле плелась. Она решила, что если встретит Юлдаша, то скажет ему — иду по делам... Ей стало легче, она ускорила шаг. И тут заметила идущего наперерез Юлдаша. Ноги ее стали совсем ватными, ладони похолодели, голова слегка закружилась — будто она впервые поднялась с постели

после долгой болезни. Юлдаш шел рядом с ней и тихонько шептал: «Салтанат, Салтанат». Она двигалась как во сне, недоумевая, чего хочет от нее этот красивый щеголеватый мужчина, почему он здесь, рядом...

Юлдаш не смог скрыть волнения.

— Спасибо, спасибо Салтанат, — твердил он.

— За что? За что вы благодарите меня? — наконец вымолвила она.

— Вы пришли, я сам себе не верю!

Салтанат остановилась, окинула Юлдаша взглядом, в котором были страх, смущение, призыв, мольба о помощи, и едва слышно, одними губами, произнесла:

— Я иду к подруге.

— Я могу доставить вас, Салтанатхон! — Он попытался легонько взять ее за локоть и повести к машине.

Салтанат продолжала стоять, глядя на него огромными испуганными глазами. Юлдаш забормотал невнятно, заикаясь:

— Знаете, э-э, мне надо кое-что передать вам, простите, но это у меня в машине, может быть, вы подойдете вместе со мной...

Салтанат ничего не понимала из его слов, а Юлдаш беспрестанно говорил, говорил о чем-то, а сам незаметно увлекал ее за собой. Когда они оказались около «Волги», Салтанат, будто отбросив прочь колебания и нерешительность, села рядом с ним.

К Салтанат вернулась уверенность. Уверенность в своей силе, твердости, неуязвимости, способности справиться с любым соблазном. Она решила, что будет вести себя с Юлдашем по принципу: «Отведу на водопой, но не дам утолить жажду, в последний миг поверну обратно».

Однако Салтанат переоценила себя и недооценила Юлдаша.

## 16

У Расула Аллаяровича была крепкая память. Свои указания он обычно не повторял, однако не забывал о них и был очень требователен к их выполнению. В последние годы, то ли память его начинала сдавать, то ли он хотел несколько облегчить себе работу, он стал увлекаться записями, уважать бумажки. Кому-нибудь даст поручение, человек только выйдет из кабинета, а директор уже берет на заметку задание и срок исполнения. Каждый день он являлся на работу рань-

ше всех, смотрел-перебирал эти свои бумажки, как игральные карты. Затем начинал по очереди вызывать сотрудников. Не посвященные в его незамысловатую тайну удивлялись, восхищались даже исключительной памятью Расула Аллаяровича.

Директор любил точность, но не любил торопливость. Как-то одному младшему научному сотруднику он дал четыре дня, чтобы тот составил какую-то справку. Тот, исполненный усердия и рвения — задание от директора он получал впервые,— сделал работу за два дня и прибежал в приемную. Расул Аллаярович передал ему через Саодат: «Пусть принесет в указанный срок».

И тем не менее этот пунктуальный, держащий в памяти все сроки человек после отъезда Азиза в Москву не раз и не два, а трижды интересовался у Саодат — нет ли вестей от Касымова, а спустя несколько дней распорядился: «Ну-ка узнайте, когда Касымов возвратится». Саодат, не имея под рукой домашнего телефона Азиза, решила разузнать о Касымове прямо у Мухиддина Джаббаровича. Тот очень удивился и недовольно, резко ответил, что-де чего не знает, того не знает. Удивившись в свою очередь такой реакции, девушка вернулась в приемную и стала разыскивать домашний телефон Азиза.

В спешке она опрокинула стоявший на краю стола стакан с водой, в котором красовался подаренный ей душистый цветок, и облила туфли и чулки.

— Неужели свет клином сошелся на этом Касымове... Из-за него одни неприятности! — ворчала она.

Саодат подтерла тряпкой пол, подняла цветок и укатившийся под батарею стакан, снова принялась рыться в своей пухлой телефонной книжке...

После трех-четырех гудков кто-то поднял трубку — и Саодат услышала мелодичный женский голос. Быстро представившись, спросила:

— Когда вернется Азиз Касымович? Расул Аллаярович им интересуется.

— Он вчера звонил! Послезавтра возвращается самолетом.

— Каким рейсом?

— Что?

— Рейс, спрашиваю, какой?

Салтанат на мгновение замолчала, затем виновато ответила:

— Вот об этом я как-то не догадалась спросить.

— Как же так! Если вы не знаете рейса, то не сможете встретить его? — В голосе Саодат была укоризна.

Она зашла к Расулу Аллаяровичу и доложила о результатах. Директор слушал ее рассеянно, погруженный в какие-то мысли. Потом задумчиво задал вопрос:

— Послезавтра какой день? — И сам себе ответил: — Пятница! Ладно, можете идти!

Еще больше Саодат удивил Мухиддин Джаббарович. После обеда он просунул голову в дверь приемной:

— Выяснили, когда вернется Касымов?

Она невольно задумалась: почему это все вдруг всполошились из-за этого молчаливого скромного парня? Раньше его никто здесь и за человека не считал. Ну и дела...

В самом деле, уж кто-кто, а Мухиддин Джаббарович в последние дни занимался исключительно сортом Азиза. Конечно, Мухиддин Джаббарович, да и никто вообще сегодня не мог точно предугадать, как поведет себя этот сорт через два-три года. Но сегодняшние результаты были ошеломляющими!..

Джаббаров порой и сам поражался волнению, в котором пребывал последние дни. Будто выдающееся достижение Азиза и ему сулило славу. Порой радость сменялась смятением, он снова и снова взвешивал, прикидывал, размышлял. Являлись беспощадные мысли: «Что заставляет меня притязать на соавторство? Чего мне не хватает? Авторитета? Материального благополучия? Что толкает меня, в моем возрасте, в моем положении, с таким упорством искать пути и лазейки, чтобы примкнуть?.. Что? — И отвечал себе: — Зависть. То, что я пользуюсь старым капиталом и многие это понимают? Что я как ученый кончился уже давно?.. — Но Джаббаров гнал эти мысли прочь. — Будь Азиз хоть чуточку смышленее и догадливее — сам бы предложил мне соавторство. Должен бы смекнуть, что мой авторитет и его работа — в союзе! — дали бы блестящие плоды!.. Да где уж ему... Для этого нужны ум, прозорливость... Ох, стоит ли мне вообще ввязываться в эти гонки? Пачкать свое имя? Сейчас все будут вертеться, увиваться вокруг новоявленного гения, и ему это, конечно, будет льстить. Мне же — умнее всего будет отойти в сторонку степенно и скромно... Или, может,

поддержать Касымова, помочь! Бескорыстно... Ну ладно, предположим, стану я соавтором, а потом что? Кто меня за это искренне, от сердца, поблагодарит, поздравит? Ведь такое будут за спиной жужжать! Боже, насытится ли когда-нибудь человек, успокоится ли, удовлетворится ли тем, что имеет?.. Не лучше ли мне выступить в роли защитника и покровителя молодого ученого? Дети мои устроены, у меня есть все, все есть! Что мне еще нужно, чего не хватает? А вдруг, вдруг Азиз сам предложит. Между тем это другой разговор! Тогда можно и нужно будет подумать».

Мухиддин Джаббарович принимал то одно решение, то другое, находился в смятении чувств. Решение ему подсказал Расул Аллаярович, подсказал, сам того не подозревая.

Мухиддин Джаббарович по давней своей привычке читал свежие газеты вечером. Ему сразу бросилось в глаза обширное интервью, данное Расулом Аллаяровичем республиканской газете, выходящей на русском языке. В нем шла речь о проведенных институтом за последние годы исследованиях. Основной разговор, однако, шел о сорте Азиза. Мухиддин Джаббарович вторично пробежал глазами статью. И тени намека здесь не было на то, что автор нового сорта Азиз Касымов. В интервью имя Азиза упомянуто дважды, но вскользь, в числе других. Человеку несведущему и в голову не могло бы прийти, что создателем нового сорта является Касымов. В заключительном абзаце интервью говорилось: «Новый сорт пока не получил названия. Если говорить откровенно, были товарищи, которые с недоверием относились к методике его выведения. Однако, несмотря на это, ученые института продолжали свои исследования. Уверены, что в скором времени селекционная наука и наше сельское хозяйство обогатятся еще одним ценным сортом...»

Чистые и добрые намерения, которые посещали временами Мухиддина Джаббаровича, улетучились в одно мгновение. «С недоверием относились... Кого имеет в виду этот невежда? Между тем а сам? В том, что Касымов измытарился, виноват в первую очередь он сам, руководитель научного учреждения! Как он ловко переметнулся на другую сторону. Верно, верно о нем люди судят: «Никому в лицо бранного слова не скажет, из любых потрясений и переделок выйдет невредимым. С новыми, старыми руководителями — со

всеми умеет найти общий язык, ко всем приладится!» Вот какая личность наш директор...

Джаббаров был так зол, так возмущен, что сам, как говорится, «надел шубу наизнанку», утвердился в решимости добиваться своей цели: он, академик Джаббаров, или соавтор, или руководитель, вдохновитель открытия Касымова. «Ну и беспринципность, ну изворотливость же у человека!..— негодовал он.— Если бы наш «обходительный» директор ничего не предпринимал, помалкивал, то и я бездействовал бы. Но если уж он метит в соавторы!.. Большего бесстыдства представить себе невозможно!.. Ходил бы себе и высчитывал, как влияет электрический свет на посевы хлопчатника... Нет, нельзя мне стоять в стороне. Ведь новый сорт выведен с помощью моего сорта. Я не соавтор, а он, видите ли, соавтор! Да он просто злоупотребляет своей должностью, положением! Он, о котором можно сказать: и на жатве его нет, и на сборе колосьев нет, а на току он тут как тут! Где, спрашивается, справедливость, где у него совесть? Нет, я не позволю директору разгуляться за чужой счет, пусть не строит воздушные замки, пусть не разевает рот на чужие пельмени».

* * *

Расул Аллаярович тоже потерял покой и сон.

Сколько лет отдал он проблеме — хлопчатник и электрическое освещение; изучил ее досконально, а научные рекомендации свои в данное время в практику внедрить не может. Дорого, не актуально, не реально... Его научные изыскания, Расул Аллаярович знает это, в глазах его коллег были утопическими и никому не нужными. «Хоть горы свороти, но если твой труд, научный труд, не облегчает работу людей сегодня, сию минуту, то цена тебе — три копейки!» — сетовал он наедине с собой. А публично он любил подробно, многословно разъяснять, разглагольствовать о значении электрического света на развитие хлопчатника. Он замечал: если он развивал эту тему среди дехкан, иные прямо в лицо ему смеялись: «Да, все может быть, все может быть, глядишь, в следующем столетии будем собирать по два урожая в год по вашему методу...»

Замыслы, идеи Расула Аллаяровича понимали, вернее, воспринимали — более или менее — лишь в тихих и прохладных конференц-залах научно-исследователь-

ских учреждений... Хотя внешне Расул Аллаярович держался на равных с крупными учеными, он был не уверен в себе.

Когда работа Касымова вдруг обрела зримые черты большого открытия, когда и хлопкоробы, и высокие инстанции отнеслись к ней как к достижению, имеющему большое, очень большое народно-хозяйственное значение, Расул Аллаярович и вовсе почувствовал себя не только ущемленным как ученый, но и вышибленным из седла как директор. Последнее его беспокоило больше всего.

«Что, если разразится скандал, дойдет до верха, что мы тормозили эту работу? — маялся он.— Касымов человек странный, не знаешь, чего ждать от него, возьмет да ляпнет, что все сам, в одиночку, вопреки... Мне доверили вон какой институт — один штат — двести человек! А директор, скажут, прохлопал эдакое дело! Как бы не лишиться того, что имею! Конечно, кое-кому возразить у меня сил хватит. Джаббарову? Нет, не смогу. Но самый опасный — Толмас Азимов, а я на работу его взял. Он способен забыть все мое доброе из-за «идеи», из-за «принципов!» Не раз уже жалил меня, как змея...

Да, мало, мало будет у меня союзников и защитников в случае, если... Вот разве наш почтенный корифей! Хотя кто его знает! В этом человеке нелегко разобраться. Не исключено, что Джаббаров метит на мое место, ненавидит меня. Он опасен, очень опасен! К тому же может примазаться к Азизу. С ним надо быть начеку вдвойне... Чуть-чуть не испортил все в обкоме! А что ему? Про таких в народе говорят — из рук ничего не выпустит. Если увильнет от ответственности, мне тяжеленько придется в одиночку. Надо все обдумать, взвесить. Лучше печенка в руках, чем целый курдюк — вприглядку... Уж если начнут разбираться да докапываться — «почему да отчего-де не способствовали, препятствовали, тормозили», — голову с плеч снесут... Конечно, с другой стороны, опыты эти осуществлял сотрудник института, который возглавляю я! Открытие не свалилось с неба! Мы давали возможность годами — годами! — заниматься им. Это плод, это результат творческих усилий Касымова, а он член коллектива, коллектива! Можно рассуждать и так: Касымова, в сущности, сберег, поддержал я, директор. Если бы я не пресекал Джаббарова, тот не пощадил бы Азиза,

сгрыз его до самых костей! Сколько раз на ученых советах я останавливал, утихомиривал академика — при свидетелях, да, да, при свидетелях... Убитого, можно сказать, аспиранта приглашал к себе в кабинет, подбадривал, утешал добрым словом... И все-таки выгоднее иметь Джаббарова союзником, чем врагом!»

Расул Аллаярович чувствовал себя как человек, неожиданно обнаруживший несметные сокровища и больше всего опасающийся, как бы их не заметил еще кто-нибудь... Ему нужно было имя! Научное имя! Оно было тем желаннее, тем необходимее, что на носу выборы в академию.

Директор поручил сотрудникам подготовить справку о том, сколько и какие именно научные рекомендации института были внедрены в практику, какова их эффективность; сколько диссертаций защищено, сколько научных работ опубликовано. За период, что он директорствует.

Расулу Аллаяровичу были нужны оправдательные аргументы на случай, если события примут крутой оборот. Он понимал также, что с него могут сурово спросить и за то, что Касымов до сих пор не защитил диссертацию, — мол, условий не создали и тому подобное. И правда, тут возразить — нечего! Увы, нечего! «Надо, надо, ускорить защиту Касымова! Помощь оказать! Поторопить Мухиддина Джаббаровича. Самому вмешаться. Кто только не ходит в кандидатах, а парень, который оставил позади и докторов наук, до сих пор ходит в лаборантах!.. Во всем виноват этот чванливый индюк — Джаббаров! Он мне голову задурил... Исправить, немедленно исправить положение».

Касымов, которому начало улыбаться счастье, и не подозревал, какое смятение вызвал он у «сильных науки сей», сколько это таило для него опасностей.

* * *

С первого же дня в Москве Азиз ощутил, что оказался в кругу людей подлинно больших знаний, среди настоящих ученых. Он оказался в секции, которую возглавлял биолог — академик Семен Федорович Александров. К Азизу относились с вниманием и уважением, как равные к равному. Его сообщение обсуждалось квалифицированно и живо, ему желали успехов — искренне, по-товарищески. На одном из заседаний сек-

ции его похвалили за смелость, с какой он отстаивал истину, за риск. Никого, с кем беседовал, с кем общался Азиз, не интересовали ни его должность, ни его научная степень — только его знания, его профессионализм, его работа. Это окрыляло его, помогало осознать себя как личность.

Азиз возвращался из Москвы воодушевленный, в прекрасном настроении. Салтанат ждала его в аэропорту. Когда она услышала голос диктора — «Внимание, внимание, совершил посадку рейс 655...», она подхватила на руки сына. Бехзод все время вертел головкой и спрашивал: «Где папа, где папа, покажите!» Азиз вышел из самолета чуть ли не последним. Азиз высоко поднял сына, затем, впервые при людях, обнял Салтанат и поцеловал ее в щеку.

— Вы что, с ума сошли? — невольно вырвалось у нее.— Мы с Бехзодом приезжали сюда и к утреннему рейсу тоже.— Она вглядывалась в мужа с опаской и ожиданием чего-то.

— Напрасно беспокоились! Если бы я знал, что вы будете меня встречать, я бы прилетел на самом-самом первом самолете.

— Вы шутите, а вот позавчера директор вами интересовался. Его секретарь звонила, очень она строгая у вас.

Азиз представил себе Саодат и усмехнулся. Он был приятно удивлен, что Расул Аллаярович наводил о нем справки у жены...

Веселые и оживленные прибыли они домой. Азиз заметил, что квартира вся блестит, как будто они только что сюда переехали, все благоухает свежестью и вкусными, аппетитными ароматами. Он привел себя в порядок, повозился с сыном, с отменным аппетитом воздал должное стряпне Салтанат. Потом зарылся в своих бумагах, просидел над ними до полуночи, детально подготовился к завтрашнему отчету.

Он потянулся и, довольный проделанной работой, замурлыкал себе под нос песню. Когда он на цыпочках вошел в комнату, то обнаружил, что Салтанат не спит, лежит и читает книгу. Он быстро приблизился к кровати и сел около нее прямо на пол. Жена сделала вид, что не замечает его, не шевельнулась даже, продолжала читать. Азиз догадался, что она обижена: еще бы! И после разлуки уткнулся опять в бумаги, а о жене, молодой, красивой жене, забыл. Он прижал ее голову

к груди и начал осторожно целовать шею, пушистые, мягкие завитки на лбу. Салтанат молча высвободилась из его объятий, чуть помедлила, глядя на него расширенными блестящими глазами, прильнула к нему и начала жадно целовать лицо Азиза, щеки, губы. Она целовала его так, будто боялась утратить, лишиться его навсегда. Целовала как-то иначе, чем раньше, как женщина, осознающая и утверждающая свою власть над мужчиной. Азиз растаял в страстных ласках Салтанат, подчинился ей — и забыл обо всем на свете, кроме ее молодого тела, в котором, казалось, трепетала каждая кровинка, каждая клеточка.

Азиз проснулся спозаранку. Рядом разметалась Салтанат. Он долго смотрел на нее, обновленный и благодарный.

Он как-то по-новому ощущал свое тело, свою мужскую сущность. Господи, какое же наслаждение я изведал, какое счастье дала мне Салтанат! Все, все у нас теперь будет иначе, хорошо будет! Работу одобрят! Денег будет много, и все их мы израсходуем на Салтанат! Если она даже будет отнекиваться — все равно я одену ее во все самое-самое модное. Пусть теща, которая хвастается вечно другими детьми, тогда посмотрит-полюбуется на свою младшую дочку! Пусть все знают, что честный труд никогда не пропадает даром, что он и только он приносит человеку счастье, которое никто у него не властен отнять!

* * *

Азизу казалось, что за десять дней в институте должны были произойти какие-то большие события, перемены. Он с замиранием сердца, пристально вглядывался в каждого, кто ему встречался, как в вестника благих новостей. Нет! Все по-прежнему; одни куда-то спешат; другие, как обычно, уже устроили перекур, примостившись прямо на подоконнике, вон те двое, сразу можно догадаться по их лицам, обмениваются пикантными анекдотами.

Словно никто и не знает, что Азиз побывал в Москве, на таком совещании! Словно всем это безразлично! Одни пробегали мимо, приветливо или равнодушно кивнув ему головой, другие — отводили глаза... В институте все и всё знали и друг о друге, и о том, кто, куда, зачем, из какой лаборатории, сектора, отдела уез-

жал; кто с кем в каких отношениях находился; над какими проблемами работал; сколько зарабатывал, сколько имел детей, то есть — всё и о всех. И хотя ученые советы, научные конференции, разного рода совещания и собрания внешне проходили в институте спокойно, даже вяло, а жизнь в кабинетах протекала мирно,— здесь, как и везде, где работают живые люди, обстановка была полна и сложностей, и драматизма, и страстей, и симпатий, и антипатий.

Азиз распахнул дверь, Шорасул мельком взглянул на него; на его лице не отразилось ничего, будто они только накануне расстались. Спустя несколько минут, которые показались Азизу часом, Шорасул сказал иронически, не поднимая головы от бумаг:

— Да будет благословенна богом ваша командировка! И начальством тоже!

Азиз надеялся, что он тут же добавит: «Расул Аллаярович распорядился, чтобы вы сразу же зашли к нему». Шорасул помедлил и холодно, равнодушно осведомился:

— Ну и как все прошло, успешно? Как там великие ученые, что предрекают, что обещают?

— Очень хорошо, очень! — Азиз не мог скрыть радости, ему хотелось поделиться ею, хотя бы даже со своим явным недоброжелателем. И мир, и люди вокруг — ему очень хотелось видеть их в розовом свете.

Шорасул сделал неопределенное движение головой и проговорил: «Ну, тогда порядок!» Он сидел насупленный, обиженный, точно после драки, и молчал, молчал упорно. Азиз не выдержал этого тяжелого молчания, этого вызывающего недоброжелательства и вышел в коридор. Навстречу ему неслась Саодат. Увидев его, просияла:

— Ой, Азиз-ака! Ожидая вас, мы все глаза проглядели. Быстро, быстро — к Расулу Аллаяровичу! — И Саодат так же стремительно повернула обратно.— Следуйте за мной, а то боюсь потерять вас по пути.

Расул Аллаярович ожидал Азиза почти у самых дверей. Он широко улыбался и вертел в руках очки.

Азиз коротко и четко доложил о своей поездке. Директор слушал его не просто с вниманием — с почтением даже; он подавал реплики, просил повторить отдельные высказывания, кое-что записал в толстый блокнот в кожаном переплете. Азиз увлекся, воодушевился, от его обычной скованности и стеснительности

и следа не осталось; впервые он почувствовал себя уверенно и спокойно в присутствии Расула Аллаяровича.

Директор все ждал, когда же Касымов передаст ему мнение, отзывы о его собственной, касымовской, работе, но тот на этот счет не проронил ни слова, все делился впечатлениями и восторгами по поводу совещания, речей, новостей в селекционной науке.

Тогда Расул Аллаярович решил спросить его прямо о том, что волновало его больше всего. Он сам еще не знал, какая информация будет ему приятнее — благоприятная или негативная.

— Ну хорошо, хорошо! Скромность тоже должна иметь пределы, Азизджон! Как ваша работа? Советовались с кем-нибудь, консультировались? Где-нибудь еще проводят аналогичные эксперименты?

Азиз рассказал Расулу Аллаяровичу о том, как тепло и заинтересованно было встречено его сообщение на совещании; о запомнившейся ему, наверно, на всю жизнь беседе с академиком Александровым. Тот горячо одобрил опыты, наказывал Азизу держать его в курсе дальнейших работ, сказал, что верит в успех дела... Расул Аллаярович внимал его рассказу жадно, он впитывал каждое его слово, он даже перестал вертеть в руках очки, потом вдруг выпалил:

— Ваш сорт решили испытать на больших площадях. Считайте, что государственная комиссия вашу работу приняла уже в этом году. Единогласно. Три года ваши семена будут проверяться на полях Избасканского, Гиждуванского, Кокандского и Акдарьинского районов. Потом, в зависимости от результатов,— на двадцати других участках, в различных почвенно-климатических зонах. Как, не страшно?!.

Директор хотел ошеломить Азиза этой новостью. И это ему удалось, Азиз действительно был ошеломлен. Расул Аллаярович решил тут же выложить Азизу и другую новость: пусть удача за удачей мчится к нему на всех парусах, сейчас ему, директору, нужен Касымов, вознесенный к небесам.

— Это еще не все. Теперь все ускорится, все упростится. Хватит вам столько лет сидеть в медресе! Пора вступать в «академию»,— он засмеялся.— Защита будет скоро. Готовьтесь. Необходимую помощь окажем. У вас практически все готово, остались мелочи, вам и нужен-то всего месячишко, чтобы подчистить, наве-

сти последний лоск. Я дал поручение Мухиддину Джаббаровичу, он отложит другие дела, вами займется. Если не возражаете, то в качестве первого оппонента предлагаю себя...

Азиз не знал, что подумать, что сказать, как выразить благодарность. Он совсем растерялся.

— Спасибо! — дрогнувшим голосом прошептал он.

Расул Аллаярович снисходительно ответил:

— Не стоит благодарности. Это мы должны вас благодарить... Ну что же, за дело. Вам известно, что по традиции после таких командировок у нас делается сообщение на очередном заседании ученого совета... Подготовьтесь, пусть все послушают, всем будет полезно. Да, Азиз, еще одно: в ваше отсутствие был корреспондент газеты. Интервью пришлось дать мне вместо вас. Как, ничего? Одобряете?

Азиз сейчас готов был даже польстить директору, сказать ему: «Разумеется, моими успехами я обязан вам», но, смутившись, прикусил язык — столь явная лесть может не понравиться директору. Он ограничился проникновенным: «Спасибо, домла».

У Расула Аллаяровича отлегло на душе.

— Молодец, браво, Азизджон! Живите да здравствуйте! Идите и займитесь неотложными делами! — Он проводил Азиза до самого порога. Прикрыв за ним дверь, задумался.— Начало неплохое! — приободрился Расул Аллаярович.

## 17

Салтанат не узнавала себя. Тайные встречи с Юлдашем, пьянящая, лишающая воли, сладкая их близость увлекали, поглощали ее все больше и больше. Она платила за это смятением, страхом, угрызениями совести. Салтанат будто потеряла себя ту, какой была все эти годы, всю жизнь. Она лишилась сна, покоя, способности здраво анализировать свои поступки. Разум взывал к ней: остановись, прекрати, порви!.. Но чувства, плоть ее бунтовали, восставали против этого. Нет, не могу, уже не могу без этих встреч, без этих губ, без этих рук. Одно только воспоминание о них сводило ее с ума, она готова была лететь им навстречу. В Салтанат пробудилась и зажила полной жизнью женщина.

И это после своего возвращения из Москвы почувствовал Азиз... Ее, как полагала Салтанат, спасала от

разоблачения лишь наивность Азиза и его погруженность в свой мир, в работу. Он не только не догадывался о ее поведении, о ее грехе, ему даже в голову не приходило анализировать, отчего Салтанат так прекрасно, так блаженно переменилась,— он был просто счастлив.

После возвращения Азиза из Москвы в их отношениях появилась та новизна, та дарящая ему наслаждение близость, которая помогла ему почувствовать, что они муж и жена, мужчина и женщина. Он впервые ощутил обжигающий жар и прелесть страсти, но, ослепленный ею, не замечал исступленности и отчаяния Салтанат. Он не видел, что глаза Салтанат полны слез, когда она целует его; что она вот-вот разрыдается, когда сжимает его в объятиях.

Салтанат проклинала себя самыми страшными проклятиями. Провожая утром на работу своего преданного, наивного, доверчивого мужа, она готова была открыть ему всю правду. Она давала себе клятву: «Если я хоть раз еще увижусь с Юлдашем, хоть раз изменю Азизу, пусть я умру!» — и опять нарушала ее. Чувства, желания, от которых она хотела избавиться, овладевали ею пуще прежнего, она опять вспоминала Юлдаша, их последнюю встречу и ту, другую... Он стал для нее наваждением. Салтанат снова и снова пыталась обуздать себя: «Семья, хороший муж, любимый сын — все есть у меня, о чем еще может мечтать женщина?.. Дела Азиза сдвинулись с мертвой точки, как это замечательно! Он заслужил этого. Он труженик. Конечно, мы долго ждали успеха, признания. Неудачи измотали меня, состарили. Я устала, забыла, что я молодая, что мне хочется любить и быть любимой. Теперь я будто в другом мире очутилась. Я почувствовала себя желанной. Не встреть я Юлдаша, мое сердце билось бы, как и прежде, спокойно и безмятежно... Но что лучше? Спокойствие, спячка души или... Коли измена мужу — самая страшная вина и позор, то почему все мое существо так и рвется, так и стремится к этому позору? И ведь уверена я, что это не любовь, нет, нет, не любовь! Иначе не было бы у меня к Юлдашу отвращения и брезгливости, которые находят на меня после самых пылких наших свиданий».

Салтанат понимала, что Юлдаш будто расколдовал ее, пробудил от скучного существования, сделал ее сердце богаче и привольнее. Он ворвался как шальной

горный ветер в ее жизнь и наполнил ее всеми ее ароматами, сладкими и горькими. Как ни старалась Салтанат очернить Юлдаша в собственных глазах, ей это никак не удавалось. Он был ей мил и дорог.

Поистине, сколько кипящий котел ни закрывай крышкой, все равно он выкипит — так и у Салтанат. Переполнилось ее сердце неудовлетворенными желаниями, жаждой любви, внимания, поклонения — и нашло все это выход в близости с Юлдашем.

## 18

Азиз не ожидал, что Расул Аллаярович способен на такое. Обрадованный добрыми новостями, он не придал особого значения словам директора об интервью. Он их и сказал-то как бы невзначай, мимоходом, будто вспомнил в последний момент.

Азиз даже вообразить не мог, что вокруг его открытия начнется такой ажиотаж. Что очевидное, выстраданное им дело будет так запутано, закамуфлировано. Однако факты — упрямая вещь.

Когда Азиз узнал от коллег о характере директорского интервью, он поначалу усомнился: неужели Расул Аллаярович мог этакое нагородить? Он решил, что товарищи его просто разыгрывают, шутят: «Ну и палван ты, Азиз! Сотворил такое чудо, что его можно приписать всему институту!»

Весь день он был в бегах — в райкоме на лекции по международному положению, на заседании месткома, отвечал на вопросы о Москве, о совещании,— товарищи, вопреки традиции, забегали к нему один за другим, все хотели расспросить, узнать, посоветовать, поздравить, посочувствовать.

Азиз убедился: в коллективе что-то сдвинулось с привычного места, как будто кто-то незримый подтолкнул, разбудил, растормошил людей.

Азиз даже не помнит, кто сунул ему газету, которую он развернул, уже сидя в автобусе, по дороге домой. Он пропустил общие места интервью, они были прелюдией к основным его положениям и фактам. А вот наконец и они: «Один из молодых наших сотрудников, опираясь на прежние данные известных биологов, выдвинул смелую гипотезу... Этот метод некоторые крупные специалисты и до сих пор считают глубоко ошибочным... Другие же ученые полагают, что эта ра-

бота своего рода революция в селекции... Какому из этих мнений надо отдать предпочтение? Какое из них верно? По-моему, здесь никакой революции нет. Да, молодой ученый проводил опыты никем до него не испытанными способами... Коллектив института, не упрекая его в том, что он рискует, напротив, поддержал его, оказывал молодому ученому всестороннюю помощь и поддержку. Похоже на то, что к сегодняшнему дню создан новый сорт, заслуживающий внимания практиков».

Азиз не стал обижаться: «Ну что ж, поддержали — так поддержали, пусть будет так». Однако почувствовал неясный, неприятный холодок в сердце. Еще утром он воображал, как его сорт сразу распространится на хлопковых полях республики, как всюду будет побежден вилт... Теперь он понял, что борьба еще предстоит, что она впереди, разговоров-споров будет множество — и еще не известно, победит ли он в этой борьбе.

«Непосредственное руководство работой молодого ученого осуществлял известный селекционер академик Джаббаров, — читал дальше Азиз. — Администрация института подготовила и осуществила материальную основу этого эксперимента... Таким образом, новый сорт хлопчатника, который ждут от нас хозяйства республики, — это значительное достижение нашего большого и дружного коллектива»...

Азиз непроизвольно скомкал газету и чуть не отшвырнул ее прочь.

Он шел к дому в глубоком тяжком раздумье. Он вспоминал Сергея Матвеевича, Махамата Упрямца, ему необходимо было убедить себя, что на свете порядочные, бескорыстные, чистые люди тоже есть. Азиз скользил невидящим взглядом по витринам, по прохожим, а сердце его ныло от обиды и горечи. Сколько перенес он мучений, сколько страдал оттого, что его не понимали, не желали помочь — не ему, его работе! Сколько еще и еще разочарований, понимал он теперь, принесет ему его успех — разочарований в людях, в их морали. Когда люди отказываются от своих личных пристрастий, взглядов на вещи несущественные, почти всегда можно найти объяснение этому. Можно отыскать причину того, почему вчера они считали так, а не иначе. И не судить их за это строго. Однако как же могут они так легко растоптать собственные прин-

ципы, научную свою веру! «Это же издевательство не столько надо мной, сколько над собой, над наукой: сначала годами отвергать, чинить препятствия, а потом — в день-два перевернуться на сто восемьдесят градусов и тянуть руки к чужому открытию...»

Возле дома Азиз увидел Салтанат. Она что-то говорила Бехзоду, присев перед ним на корточки. Он вмиг позабыл о своих невзгодах, успокоился. «Какое счастье, что они есть у меня, мои родные... мои любимые!»

Он порадовался тому, что все материалы сохранил у себя, в заветных своих папках. «Ничего, ничего, мы еще повоюем! Разразится скандал — еще не известно, чью голову снесут. Работа — моя, ее никто не сможет у меня отнять, никто не сможет! Я не сдамся, недаром я ученик Иванова, ваш ученик, Сергей Матвеевич! Это вы мне помогли, вы — и об этом я буду говорить вновь и вновь. Мы еще посмотрим... Если нужно закаляться в жизни, постигать ее, как и науку, бороться за ее чистоту,— я готов! Постигать нрав и особенности растений — это трудно, но все же легче, чем постигать человеческую натуру! Надо защищаться, уметь защищать себя, дело рук своих от вилта, разъедающего людей!»

## 19

Вот когда постиг по-настоящему Азиз, как тяжело одиночество. Не было у него человека, друга, у которого он мог бы испросить совета, раскрыть ему свои боли и сомнения. Тревожить Салтанат не хотелось: она только-только поверила в его успех, в его будущую славу. Отец стар, да и далек от всех этих сложностей городской жизни, для него ученые — святые люди, стоит ли его разочаровывать? Обратиться к Махаматуака — очень горяч он, скажет сразу: изобличить надо этих подлецов!.. Попробуй-ка так сразу их изобличи! «Если бы у меня были друзья на работе! А то... Есть у нас в институте ученые, как ревнивые женщины,— будут завидовать, ревновать тебя к твоему же собственному детищу! Взять того же Шорасула!.. Хотя нет, не прав я! Некоторые же с возмущением восприняли это пресловутое интервью и не скрывали этого! Я виноват в том, что не смог приобрести друзей, что людям не верю, и потому — один как перст. Вот где моя главная ошибка».

Работа у Азиза не клеилась, голова болела — после бессонной ночи. Он встал из-за стола и по расшатанным половицам прошел к небольшой заброшенной террасе. Когда-то здесь толпилось много народа, раздавались смех, шутки. Прежний директор института любил игру в бильярд, и эту террасу отвели под бильярдную. В обеденный перерыв, после работы сотрудники без устали гоняли шары. То было время, когда Азиз только-только вступил в этот «храм науки». Иногда он обижался, сердился на товарищей — мешают работать, стучат тут, гремят! Что здесь — институт или парк?.. «Господи, никогда, никогда я не понимал людей, их слабости, весь я начинен параграфами и правилами, аскет и ханжа! Потому они меня и сторонятся».

Азиз увидел на грязном полу чьи-то следы; великолепный бильярд был покрыт пылью, к нему уже давно никто не приближался, зеленое сукно кое-где вытерлось. Азизу казалось, что этот заброшенный красавец так же, как и он сам, тоскует без людей и смотрит на него с печалью и укоризной.

Скрипнула дверь. Азиз оглянулся. За его спиной стояла Саодат.

— Вот где вы прячетесь, а вас разыскивает Расул Аллаярович! Мне посчастливилось быстро вас найти, а не то получила бы я взбучку из-за вас!

Азиз шел и думал: «Что он мне скажет, интересно! И что я ему скажу?..»

Расул Аллаярович стоял, скрестив руки на груди, и сосредоточенно разглядывал развешенные в ряд на стене диаграммы. Он пригласил Азиза присесть, а сам сел не в свое рабочее кресло, а рядышком, на стул.

— Я пригласил вас, чтобы посоветоваться по одному вопросу. Совет ваш мне нужен. Но вам следует подумать. Хорошенько! Торопить с ответом не буду. Взвесьте как следует... Разговор, как вы догадались, наверно, пойдет о вашем сорте. У нас ведь другой темы пока быть не может, все кругом только об этом и говорят; богатую пищу для обсуждения вы всем дали, богатую! — Расул Аллаярович поменял очки, прокашлялся.

Азиз отметил про себя, что Расул Аллаярович держится с ним свободно, будто интервью — такого интервью! — вовсе не существовало или будто он считал его естественным, так сказать, в порядке вещей. Азиз молча ждал.

Директор тоже молчал, пытаясь, очевидно, уяснить для себя, что на уме у этого Касымова. Азиз упорно молчал, и Расул Аллаярович вдруг спросил в лоб:

— Ну, как, понравилось вам мое интервью?

Азиз отвел взгляд от директора и пожал плечами. Расул Аллаярович уперся пухлыми своими кулаками в колени.

— Ну, ясное дело, не понравилось,— сказал он улыбаясь, но в глазах его появилась настороженность.

Азиз поначалу был намерен сразу же оборвать его и все выложить начистоту. Сейчас он был в замешательстве, трудно бросить человеку в лицо его вину! Особенно если этот человек — твой директор, домла, к которому с большим почтением относится весь институт; домла, увидев которого, люди расступаются, дают ему дорогу. Азиз ощутил, насколько это трудно — взять и выложить горькую правду открыто и смело.

Расул Аллаярович заговорил вкрадчиво:

— Я из тех, кто никогда в жизни не верил журналистам. Стоит им, лихим молодцам, прослышать про что-нибудь новое, они тут как тут; однако в суть не вникают. Мало узнают, много напишут, нафантазируют. В этой статье гораздо больше не изреченных мною слов, чем изреченных. Прочитав интервью, я, наверняка, удивился больше вас. Автор, творец, так сказать, остался в стороне, а второстепенные в этом деле лица восхваляются. Не огорчайтесь из-за этого. Огорчаться не стоит...

Азиз пробормотал: «Я и не огорчаюсь, было бы из-за чего!»

— Молодец, вот так-то, вот это разговор! Итак, Азизджон, хочу кое о чем с вами посоветоваться.

— Слушаю вас, Расул Аллаярович...

— Вы начали поистине большое дело. Как мужчина мужчине скажу вам: мы сами долгое время не понимали всю значимость вашей работы. Было время, когда мы притесняли вас, обижали, ставили в тяжелое положение. Что было, то было. Однако скажите-ка честно и прямо: лично я, я вам когда-либо делал плохое? Небось не забыли, как на ученых советах трепали вас, а я, как мог, оказывал вам поддержку, сдерживая страсти. Не рыл вам яму, старался охранять от чересчур горячих и пристрастных людей, не так ли?

— Правда,— подтвердил Азиз и улыбнулся.

Директор повеселел:

— Ну, ладно, все плохое осталось позади. Забудем об этом. Я уже сказал давеча и хочу повторить — большое дело начали вы, Азизджон. Однако будем откровенны: дело только начато! Это — только начало, половина работы! Верно?..

— Верно, Расул Аллаярович! Теперь дело за практиками...

— Молодец! Вы будете продолжать в том же направлении, в том же духе. Мы создадим все условия, организационные и другие проблемы я возьму на себя. Если пожелаете, конечно. Материалы, касающиеся нового сорта, надо сдать государственной сортоиспытательной комиссии уже в этом году. С начала нового года начнем посевы на обширных площадях. И эту работу, решение которой связано с участием соответствующих учреждений, также возложите на вашего покорного слугу. Открыть новому сорту широкую дорогу — это уже моя обязанность, долг чести.

Азиз почувствовал облегчение оттого, что пропала надобность ссориться, конфликтовать с Расулом Аллаяровичем, выяснять отношения, обличать, защищаться. Оттого, что вера в людей вновь возвращалась к нему, вера в их чистые, добрые намерения, вера в их желание помочь, понять, по справедливости оценить тебя и твой труд. Азиз несколько раз повторил: «Спасибо, спасибо, домла!» И все же в глубине сознания жила мысль, что он обрадовался всему этому и не потому, что поверил Расулу Аллаяровичу, а из-за собственной мягкотелости, робости, нежелания ввязываться в борьбу и портить отношения с директором. А как-то оно будет потом?

— Может быть, нам стоит подключить и Мухиддина Джаббаровича? Как вы считаете? У него колоссальные связи и авторитет! — донеслось до Азиза. — Отвечать не спешите, подумайте, взвесьте все «за» и «против».

И еще долго-долго Расул Аллаярович развивал мысли о перспективах и планах, однако Азиз его уже не слушал.

Ноги сами опять привели Азиза в бильярдную, на заброшенную террасу. Здесь, оказавшись наедине с собой, он до конца постиг, в какую сладкую тину затянул его своими посулами Расул Аллаярович. «Затащил, усыпил, а потом получил мое согласие на его соавтор-

ство! Да, да, получил мое согласие взять его в компанию, и заодно — Мухиддина Джаббаровича! «Авторитет», «связи»! Он тебе нужен, тебе, чтобы попасть в академию! А черт с ними, пусть. Главное — довести все до конца, защитить диссертацию. А потом, потом... Уйду из этого «храма науки». В конце концов дехканину все равно, кто автор, — только я или трое «ученых»... О аллах, есть ли спасение от них, моих новоявленных «благодетелей»? Что же делать? Что предпринять?»

Азиза била нервная дрожь, его охватила гнетущая тоска, смертельная усталость, безразличие ко всему на свете — уйти бы куда-нибудь далеко-далеко, чтобы избавиться от всей этой мерзости, подлости, несправедливости, гадости. Пусть себе копошатся в поисках славы, званий... Уйти, бросить все!.. «Бросить? А почему я должен уйти, а не они? — Азиз встряхнул головой, полной грудью вдохнул свежий воздух. Он поднял голову, взглянул на чистое, синее небо. — Надо быть смелым, честным, терпеливым и выносливым на поле жизни, иначе оно зарастет сорняками. Я буду верен памяти Сергея Матвеевича, тому, что завещала мне всей своей нелегкой жизнью мама. В конце концов правда на моей стороне. Мораль, нравственность — не абстрактные понятия, они имеют очень конкретную оболочку и проявление. Хорошо, что я начинаю понимать это».

* * *

Джаббаров пытался разгадать ребус — почему это Расул Аллаярович хочет включить его в число соавторов, сколотить, так сказать, «святую троицу»?

А директор тысячу дум передумал, тысячу вариантов перебрал, прежде чем решился на это. «Азиз что, растяпа! Ему бы только экспериментами заниматься, от реальной жизни он далек! Да и какие у него возможности, шансы? Ни связей, ни «руки»! Если бы рядом с ним находился какой-нибудь влиятельный человек, да он же весь научный мир потряс бы — с его талантом, степени и глубины которого он и сам до конца не осознавал! В науке — силен, а вот в жизни — мямля, робок, непрактичен! Он и не пикнет у меня!.. Джаббаров — иное дело, это сильный человек! Ни от кого не зависит, как к нему подступиться? Ему это соавторство как

ученому вряд ли нужно, а если и нужно, то не так, как мне. Однако и Джаббарову, пожалуй, нужно — как наставнику, научному руководителю — а не «душителю» аспиранта, закрепленного за ним! И мне выгодно иметь Джаббарова в этой упряжке. Отношения хорошие с ним — необходимы мне позарез!»

Расул Аллаярович знал, что академик его втайне недолюбливает, да и сам не любил его, завидовал ему. Но их связывали взаимные интересы, выгоды; между ними давно существовал негласный молчаливый союз по принципу — ты мне, я тебе,— и они следовали ему. Они всегда были заодно в главном: в соблюдении собственных интересов, выгод, привилегий.

В момент, когда судьба подкинула ему жирный кусок, Расул Аллаярович считал благоразумным поделиться им с Джаббаровым, поделиться добровольно, чтобы избежать неприятностей. Разве будет человек, сосчитавший, сколько ног у блохи, сидеть спокойно и тихо, когда на его глазах кто-то разживается? При желании Джаббаров может один оказаться рядом с Касымовым. Что рядом — впереди него! Если взять формальную сторону, Джаббаров — научный руководитель Азиза! Хотя тут-то и есть загвоздочка: не понял, проглядел такое открытие! Вот вам и академик!..

После долгих размышлений Расул Аллаярович решил подступиться к Джаббарову с этим делом, использовав вроде бы незначащий повод. Он мимоходом упомянул, что ему звонили из издательства «Наука» и просили подготовить книгу, которая обобщила бы исследования и работы последних лет, осуществленные в институте. Мухиддин Джаббарович сразу же насторожился.

— Что вы думаете об этом предложении?

— Хорошее, почетное, интересное предложение, тут не может быть двух мнений. У нас много дельных работ, есть что пропагандировать.

— Я сказал издателям, что посоветуюсь с вами.— Расул Аллаярович замялся: Джаббаров наблюдал за ним со смешанным чувством любопытства и опасения.— Я предложил им — в предварительном порядке, разумеется,— монографию в десять — двенадцать листов. В качестве возможных и желательных авторов я назвал вас и Касымова.

Мухиддину Джаббаровичу еле удалось скрыть усмешку, усмешку довольную, хитрую.

— Включите и себя, в противном случае...— промолвил он многозначительно.

— Что значит — «в противном случае»?

— Соглашайтесь, Расул Аллаярович! Мы знаем, о чем ведем речь. Первое достойное имя в этом деле — ваше.

Директор замахал руками:

— Нет, нет! Вы научный руководитель Касымова, академик! А я...

Мухиддин Джаббарович впился глазами в собеседника. В его словах ему почудился то ли сарказм, то ли намек на что-то неприятное. И тем решительнее он заявил:

— Э-э, чрезмерная скромность между тем не есть скромность!

Он начал медленно прохаживаться по красной ковровой дорожке. Он точно забыл, что рядом сидит директор; он размышлял, то теребя пальцами седые свои волосы, то потирая волевой свой подбородок. Продолжая маячить по кабинету, он изрек:

— Недавно я прочитал мудрые слова. По поводу кооперации в науке... Расул Аллаярович, кто возглавляет наш институт, а? А между тем вспомните время, когда вас сюда направили! На что он был похож, наш институт? На фаэтон без лошади и без колес! Вы сдвинули с места его, хорошо, умело тянете его... И этот новый сорт — в этом тоже есть ваша заслуга. Если нужно будет, я скажу об этом где надо. В первую очередь — на ученом совете. Между тем я считаю, что Касымов сам должен бы сказать вам спасибо за вашу помощь и поддержку, за то, что воспитали его... А на меня положитесь, я свое мнение на этот счет скрывать не стану!

— Спасибо, домла, я тронут, очень тронут и взволнован! Если такой человек...

Спазм в горле помешал ему продолжить. Он приблизился к Мухиддину Джаббаровичу и протянул ему руку. Тот как под микроскопом видел, что творится, что происходит сейчас с директором. Он презрительно усмехнулся — про себя — и энергично потряс протянутую руку.

## 20

Наступила поздняя осень. Небо — сплошь в облаках и тучах, будто его покрыли занавесом тусклого, пепельного цвета. Всюду жгут листья, и горьковатый, едкий их дымок — запах осени — проникает всюду, напоминая людям о близящихся холодах, о том, что зима не за горами.

Возня вокруг открытия не давала Азизу покоя, постоянно травмировала его. Он все время находился в нервном, взвинченном состоянии, метался между отчаянием, полной безнадежностью, с одной стороны, и решимостью перевернуть все вверх дном в этом «храме науки», отстоять свои права — с другой. У него то появлялось желание бежать в родной кишлак и поработать там, чтобы не угодить в пасть к этим двум ученым акулам, чтобы обрести наконец покой и независимость, то в нем просыпалась ярость, жажда сопротивления. «Уступить,— думал он,— значит отказаться от себя, как от личности, предать себя».

Больше всего Азиза изнуряло сознание своего одиночества. Все кругом хранили молчание, будто никто ничего не замечал. Ему чудилось порой, что он обитает в пустом пространстве — никого рядом. Азиз понимал: глупо надеяться, что найдется какой-нибудь храбрец, который станет его защищать! И мир людей, которыми он был окружен, представлялся ему безнадежно замкнутым, лицемерным. Здесь все друг другу чем-то обязаны, все связаны незримыми нитями, все зависят друг от друга. Никто не вступится за него! И те, у кого есть совесть, тоже будут притворяться, что все идет нормально, как оно и положено. Да, здесь, в этом мире, каждый за себя, каждый руководствуется правилом: тише едешь — дальше будешь!

Азиз чувствовал себя загнанным в угол. Спасала его, как всегда, лишь работа, работа и работа. Азизу предстояло к прежним данным приобщить данные об урожае этого года, сопоставить, уточнить их еще и еще раз. Ему необходимо было завершить диссертацию, подготовить цифры, схемы, графики, составить библиографию.

В один из дней он собрался в колхоз. Он ждал встречи с Махаматом-ака, ждал как никогда. Он решил поделиться с ним своими бедами — не мог он больше в одиночку нести в себе такую боль.

Когда Азиз сошел в кишлаке с автобуса, разразился дождь. Дувший с гор ветер заплетал струи дождя в тонкие косички и хлестал ими прохожих. Азиз порадовался, что Салтанат заставила его взять с собою плащ, он обрядился в него и, перепрыгивая через лужицы, быстро побежал к навесу. Несмотря на сильный дождь, людей на оживленном перекрестке, где раскинулся базар, было множество — сразу видно, что горячая пора уборки урожая уже позади. Азиз перекинулся несколькими словами со знакомыми колхозниками, которые тоже прятались от дождя под навесом, а когда дождь утих, направился в контору. У порога он очистил о железный скребок прилипшую к ботинкам глину.

Кабинет председателя был открыт настежь, но пустовал; в соседней комнате сидел бухгалтер, человек с худым бледным лицом.

— Салом аллейкум! Вы не подскажете, где сейчас можно найти Махамата-ака? — обратился Азиз к бухгалтеру.

— Э, ваалайкум. Здравствуйте, Азизджон! Очень редко вы у нас появляетесь! — Он быстро вышел навстречу Азизу и взял его руку обеими руками.— Ваш Махамат-ака еле-еле уберегся от смерти, бедняга! Вот так-то! Сейчас дома лежит. Вы же знаете его упрямство! Заболел, а все твердил: «Какая тут больница, когда не сегодня завтра кончаем уборку». Хотя боли в животе его сильно донимали, совсем в дугу согнули! Взял, по чьему-то совету, и приложил нагретый камень, это надо же такое сотворить! У него внутри что-то прорвалось. Сколько наш председатель упреков в райкоме принял на свою головушку, ой-ей-ей! Вчера я навещал Махамата-ака, за поясницу хватается, но уже передвигается, правда, с трудом.

Азиз торопливо попрощался с бухгалтером и направился к выходу. Бухгалтер, кашлянув в кулак, вышел следом за ним и уже у порога полюбопытствовал:

— Газеты читаете, Азизджон? Чудо, которое теперь будут испытывать по всему Узбекистану, появилось-то у нас, в бригаде Махамата-ака! После стольких трудов! Мы все от радости, от гордости головой до неба достаем, браток. Пусть и дальше сопутствует вам удача!

Азиз растроганно поблагодарил бухгалтера и зашагал к дому Махамата-ака. Знакомые двустворчатые зеленые ворота, тополя у арыка, белый дом, около него

разгуливают куры, вот испугались Азиза, и, подняв хвостики, разбежались в разные стороны — все как всегда и оттого особенно ему дорого. Азиз не стал стучаться в ворота, прямо переступил порог; собака не шевельнулась, когда Азиз проходил мимо: видно, сразу признала его.

Во дворе Азиз увидел Муборак, среднюю дочь Махамата-ака. Ловко орудуя метлой, она подметала. Заметив Азиза, Муборак хотела скрыться, но потом передумала. Она подошла к нему и, опустив глаза, начала расспрашивать Азиза о его здоровье, о родных, о делах, расспрашивать с учтивостью и приветливостью, свойственной кишлачным женщинам. Получив ответы и в свою очередь ответив на приветствия Азиза, Муборак повела гостя в комнату, где находился отец.

Махамат-ака дремал, растянувшись на кипе одеял, постеленных возле стенной ниши. Заслышав шаги, он встрепенулся. Как только он увидел Азиза, лицо его засветилось, преобразилось. Он попытался приподняться на локте, но Азиз помешал ему, осторожно уложив обратно. Рядом с Махаматом-ака был расстелен большой дастархан; на подносе красовались фрукты, сладости, орехи. Хозяин задавал гостю традиционные вопросы о самочувствии его и его домашних и одновременно разламывал свежую, только что испеченную лепешку. Он налил чай из чайника, завернутого в полотенце, и протянул Азизу пиалу.

Бригадир выглядел совсем больным. Его усы, обычно торчащие, как боевые сабли, поникли, точно обессилели; на исхудавшем лице еще четче обозначились морщины.

— Ну, Махамат-ака? Твердили, что болеть вам некогда, а сами утопаете тут в одеялах и подушках, блаженствуете в безделье? У нас, у занятых людей, всегда так получается: экономим часы — теряем дни...

Махамат Упрямец вымученно улыбнулся.

— До сих пор не знал, что такое болезнь, ей-богу, ни разу не болел, сколько себя помню! — В его голосе зазвучала обида.— Если мне говорили: «Вы нездоровы, лечиться надо!», я злился. Оказывается, человек не волен в своих болезнях. Вот так-то, братец! — Махамат-ака понурил голову, усы его, кажется, совсем-совсем поникли.

— Ну, теперь-то вы молодец, уже, по всему видно, на поправку пошли! — Азизу хотелось его утешить.—

Скоро бегать будете, Махамат-ака! Не горюйте, все наладится!

Тот с досадой махнул рукой, надутый и угрюмый. Потом спросил:

— Со мной все ясно, а что у вас, что нового на белом свете? Поведайте старику, а то я с этой болезнью совсем закис, оторвался от мира.

Азиз ехал с намерением рассказать о последних событиях все как на духу. Но сейчас заколебался: человек только-только после операции, еще не стал на ноги, зачем портить ему настроение этими дрязгами...

— Все спокойно, Махамат-ака, мир стоит, никуда не переместился,— начал Азиз шутливо.— Я так заработался, что не только белого света не вижу, даже про аппендицит ваш ничего не ведал. Извините меня... А так все спокойно.— Азиз умолк и внутренне сжался от неловкости за свою невольную ложь.

Хозяин уставился в окно, за которым раскачивались голые бурые ветви деревьев.

— Значит, утверждаете, все спокойно? Может, скажете еще и — «все мирно»? — вдруг спросил он с иронией.— Выкладывайте все! Не стесняйтесь, ведь я в курсе дела.— Махамат-ака налил Азизу чай.— Как приковала меня болезнь к постели, другого развлечения, кроме газет, у меня нет... Так что не лукавьте, не хитрите, не пудрите мне мозги — так вроде бы, молодые, нынче выражаетесь, а?

Махамат Упрямец будто отыскал конец нити в запутанном клубке и протянул его Азизу. И теперь на, тяни, распутывай клубок! Азиз собирался с мыслями — с чего бы лучше начать?

Махамат-ака не утерпел и заговорил с жаром:

— Однако, здорово получается! Не ожидал я, что вы этакий скрытный и гордый! И вам не совестно? Я знаю вас почти десять лет! Так? Так! Болею за ваше дело, люблю вас, как сына! Объясните-ка мне, почему вы сидите сложа руки, как теленок беспомощный! Чего вы боитесь? Или у вас там, в науке, принято так: один поедает пищу другого? Да что пищу — друг друга поедаете!.. Да, помилуй бог, здесь этих людей никто никогда не видел, они палец о палец не ударили, чтобы посодействовать вам, а теперь лезут к вам в компанию, хотят вас ограбить! Это же грабеж среди белого дня, на виду у всех! Разоблачить их надо, выве-

сти на чистую воду! Нет у меня, жалко, сил отправиться сейчас в Ташкент, а то бы...

Азиз невольно улыбнулся, потому что именно так и рисовал в своем воображении реакцию Махамата-ака на «художества» Расула Аллаяровича и Джаббарова. Улыбка Азиза еще больше распалила Упрямца, он в сердцах выплеснул на край кошмы остывший чай.

— Ладно, были бы темные, невежественные люди, а то ведь интеллигенты, ученые!

— Не горячитесь, Махамат-ака! Вам вредно волноваться. И кроме того — все равно безнадежное это дело... Скажу вам честно — я против них ничто. Они сила, все в их руках, а я, я — никто, совсем один, без связей, без звания даже...

— Эй, да вы где живете? Где? — Махамат Упрямец приподнялся и сел, но боль напомнила ему о себе, лицо его покрылось испариной. — Я вас спрашиваю: где вы живете? В Стране Советов или, может, где еще? Я вам прямо заявляю — вы виноваты, вы, что терпите такое! Нужно быть правдивым и последовательным — всегда и во всем! Жульничество, обман, подлость, это что, по-вашему, простительно? Нет, так не пойдет! Как член партии заявляю — не допущу! Чего вы трусите? Если хлеб твой честно заработан — ешь его при всем народе; он твой!

Махамат-ака умолк и, увидев, какое несчастное лицо у Азиза, смягчился:

— Правда на вашей стороне, Азизджон, смелее, смелее надо быть. Если жить по законам, которые диктуют этакие вот проходимцы, что тогда будет? Какие беды, знаете, нагрянут?.. Честное от нечестного, доброе от недоброго разучимся отличать... Читал я газету и, верите ли, возмущен был до крайности! Эх, воистину, — «на жатве нет, на сборе колосьев — нет, а на току — тут как тут»! Это народ придумал в незапамятные времена о тех, кто зарился на чужое. Что же получается? Они, выходит по всему, подзабыли, где и в какое время живут! Я не дам вас в обиду. Правду не дам в обиду! Пусть только посмеют... Ну и дела!.. Чтоб им удачи не было, этим «палванам»! Где они, хотелось бы знать, прятались-скрывались до сего времени? Откуда налетели вдруг, как саранча?

Азиз слушал гневную речь Махамата-ака и думал: «А ведь ему не известно, что Джаббаров из года в год

твердил, твердил публично — из этой работы ничего путного не выйдет!..»

— В общем, вывод такой: ни на шаг не отступать! Надо будет, я до Цека дойду! Надо будет, призовем к порядку ваших «мудрецов». Заставим их кое-что понять, очухаться, заставим! Ну, что молчите, будто в рот воды набрали? Меня интересует и ваше отношение ко всему этому.

Тут уж Азиз поведал Махамату Упрямцу все — в подробностях, по порядку. Он кончил грустную свою исповедь. Махамат-ака долго молчал, он, очевидно, старался как-то переварить ее в своем сознании.

Азиз был счастлив, что есть человек, готовый разделить с ним тяготы, человек, способный понять его, проникнуться его заботами. Его умиляла душевная чистота и простодушие Махамата-ака; «Как этому честному и простому человеку разобраться во всех хитросплетениях, всех ухищрениях нашего «ученого мира»! Рядом с ним конечно же по-иному воспринимаешь жизнь, все кажется очевидным и ясным, даже поднять голос против моих могущественных шефов и то не страшно! Однако разве возможно потушить пожар водой, которая течет вдали? Попробуй-ка! В каждом монастыре свой устав, попробуй-ка его нарушить!.. В тот же миг получишь отлуп, да еще какой! Не заметишь, как снесут тебе голову...»

— Возьмем, к примеру, Мухиддина Джаббаровича,— Азиз начал размышлять вслух.— Как я могу выступить публично против него? Как? Взять и заявить: «Нет, вы не станете моим соавтором!» Ведь я один, меня все сторонятся! Верить будут конечно же академику Джаббарову. Он, как поводья от упряжки, держит в руках судьбы многих ученых. Если он разозлится — тогда конец! И кандидатская погорит, и желающих бросить камень из-за угла в меня, в мое детище, сколько отыщется, не сосчитать! Джаббарову стоит только мигнуть... Как я могу тягаться с таким человеком?

Азиз произнес наконец вслух то, о чем так мучительно думал наедине с собой. Хорошо, что Махамат-ака далек от этих отвратительных сторон реальной действительности. Ему легко живется оттого, что у него правда и ложь, добро и зло, запретное и дозволенное совершенно четко подразделяются, имеют определенные очертания и критерии. Они для него — незыблемы, несомненны. Человеческие отношения, поступки,

мораль он мерит большой и раз навсегда установленной мерой. Либо это — либо другое, либо хорошо — либо плохо, либо белое — либо черное. А они, эти понятия, совсем не так однозначны, как это представляется Махамату-ака.

— Знаю, вам нелегко схватиться с именитыми учеными. Вы еще молоды и чересчур скромны. Но если мы будем склонять голову перед чьим-то мнимым величием, чьим-то мнимым авторитетом, если будем выдавать белое за черное, а черное считать белым, то обязательно окажемся один на один с этим черным. Только с ним. От свалившегося на голову снега каждый сам очищается. Как бы ни была горька правда, смелый и мужественный человек обязан произнести ее вслух.

И, словно ставя точку, Махамат-ака поставил на дастархан пиалу.

— Не принимайте так близко к сердцу, Махамат-ака. Чему быть, того не миновать. Вы о себе сейчас думайте. Скорее поправляйтесь.

— Э, что я. Здоров, как конь. Хоть сейчас готов выйти в поле! Я о вас, даже не о вас — о справедливости думаю! С этим соглашательством, с этим всепрощением и мягкотелостью вы не раз будете биты — вот что меня беспокоит, братец! Если опасаться каждого дуновения ветерка, какой тогда смысл жить!.. Нет, я поступлю так, как подсказывает мне совесть! Вот это и есть мое последнее слово! — Махамат озорно подмигнул Азизу, распрямил плечи и, сжав руку в кулак, погрозил кому-то незримому.

Когда пришло время прощаться, Махамат-ака сказал:

— Азизджон, на следующий год урожай у нас тоже будет отменный, богатый. Смотрите, зима наступает суровая,— он указал пальцем на голые деревья, с веток которых стекала дождевая вода, и лукаво прищурился.— Если листья с деревьев опадают снизу — зима будет теплая, если же опадают сверху — холодная. Придет холодная зима — быть весной воде обильной.

Азиз увидел, что деревья сверху стоят оголенные, а на нижних ветках все еще трепещут редкие желтые листочки. Из соседней комнаты донеслись детские голоса, Махамат Упрямец просиял:

— Внуки играют в лошадки, это их любимая заба-

ва... А вы, сынок, не отчаивайтесь, я вас в обиду не дам!

Азиз ушел от бригадира окрыленным. Он не знал, что ждет его завтра, каких уступок и жертв будут домогаться у него Расул Аллаярович и Джаббаров. Но он предчувствовал, что поток, в который он попал, будет все больше увеличивать свое русло. Из него, из этого кипящего водоворота, самому, только своими силами, ему не выбраться; чтобы уцелеть, ему надо опереться на верную и надежную руку... И ему есть на кого опереться, есть у него надежные и преданные друзья. Не будь Махамата-ака, раиса, хлопкоробов, не увидел бы он просвета в сплошных тучах, его работа не получила бы признания, была бы осмеяна недругами и предана забвению. «Здесь, в колхозе, настоящие мои соавторы!.. Здесь, в колхозе, настоящие мои союзники и единомышленники...»

## 21

К годичному заседанию ученого совета в институте тщательно готовились все, начиная от директора, руководителей отделов и лабораторий и кончая младшими научными сотрудниками, аспирантами, лаборантами. Однако, пожалуй, никогда еще итогового заседания не ждали так, как теперь: все ждали от него чего-то чрезвычайного, необычного, чего-то такого, что изменит атмосферу, бытие института, работу каждого из них. Открытие Касымова, его значение мог оценить любой сотрудник института: предвзятый и объективный, симпатизирующий Азизу и не симпатизирующий ему. Оно было так ошеломляюще, так перспективно, что каждый невольно примеривал его к своей собственной деятельности, сравнивал, сопоставлял, понимал, что отныне отсчет успехов, достижений, недостатков, просчетов должен быть иным... С другой стороны, все знали, все помнили печальную историю открытия Касымова, историю, не делающую чести их коллективу, которую иначе и не назовешь: хождение по мукам. Никому, однако, не было известно, закончились ли для автора эти муки, не сменятся ли они другими. Манипуляции директора и академика — двух институтских столпов — не могли долго оставаться тайной для окружающих. Эти манипуляции породили много толков, кулуарных споров и шепотков; они

же могли потребовать от каждого выявления его позиции, его точки зрения, его вмешательства — «за» или «против».

В кабинете директора на длинном столе аккуратно разложены белая бумага, карандаши, стоят пепельницы, минеральная вода, стаканы. На заседание прибыл представитель президиума Академии наук республики — невзрачный человек лет шестидесяти.

Азиз основательно подготовился к выступлению. Расул Аллаярович заранее предупредил, что ему дадут слово. Условились, что Азиз кратко и четко доложит об основных характеристиках нового сорта. Значение его для народного хозяйства, для дальнейшего развития хлопководства раскроют, осветят директор и Джаббаров...

После встречи с Махаматом Упрямцем Азиз решил выждать, приглядеться, изучить обстановку, мнения, настроения. В минуты слабости колебался: «А стоит ли вообще вступать в схватку! Ну, разоблачу я их, а чего добьюсь? Все равно — я в их власти, в их руках... Усовестятся небось, оставят мне эдак процентов семьдесят от общей работы, остальное — заберут себе; пусть забирают, лишь бы не мешали впредь...»

Азиз, как всегда, уселся подальше. Ему пришло на ум — сколько в этом огромном директорском кабинете разгоралось жарких споров, творческих и нетворческих страстей, какая здесь шла борьба нервов, характеров, интересов — крупных и мелких. Да, эти стены были свидетелями и надежд и разочарований, и правды и кривды...

По заведенному порядку первоначально отчитались ведущие ученые института... Все шло солидно и неторопливо, по принципу — «ты меня не трогай, и я тебя не трону». Попотеть пришлось лишь отделу, занимающемуся исследованиями фактора времени в сельском хозяйстве.

Старший научный сотрудник отдела Константин Пак толково излагал общие законы экономии времени и его модификации в социалистическом обществе. Неожиданно и довольно резко его прервал Мухиддин Джаббарович:

— Не можете ли вы привести примеры, свидетельствующие о результативности ваших работ?

Расул Аллаярович и представитель президиума академии дружно закивали головами. Константин Пак,

будто ему подставили ножку, смешался, покраснел, начал нервно ворошить бумаги. Чувствуя на себе взгляды всего зала, смущенный этим, а более всего желчным тоном вопроса, он растерянно молчал.

Однако через одну-две минуты, которые, очевидно, показались Паку вечностью, он овладел собой и привел убедительные примеры и факты. Расул Аллаярович, теперь одобряя его, еще энергичнее закивал головой. Мухиддин Джаббарович сидел с непроницаемым видом. Устраивало его разъяснение Пака или нет — понять по его лицу было нельзя.

Азиза бросало то в жар, то в холод, точно это он был на месте Пака.

Он начал теребить исписанные бумажки, стараясь ничего не упустить из памяти. «Да, посмотрел бы на нас сейчас Махамат-ака! Эх, бесхитростный и святой он человек! Он про такие вот спектакли не знает! Одной лишь репликой Джаббаров свел на нет доклад ученого, который столько лет жизни посвятил своей теме, который известен в институте как хороший, квалифицированный специалист. Еще чуть-чуть — и симпатии всех присутствующих обернулись бы антипатиями! А кто я?.. Как я могу схватиться с ними?»

Азиз весь напрягся в ожидании вызова на этот опасный «ковер», но Расул Аллаярович слова ему пока не предоставлял, вернее, все еще не предоставлял, хотя, кажется, уже все запланированные речи были произнесены.

— Если больше нет желающих, если нет дополнительных вопросов и предложений, на этом расширенное заседание ученого совета мы закроем, товарищи,— произнес он торжественно и поменял на носу очки; потом посмотрел успокаивающе на Азиза.— У нас есть еще один вопрос. Его мы можем рассмотреть в узком составе. Просьба к членам совета не расходиться, остальные свободны.

Отмаявшись на скучном заурядном заседании, да еще в духоте, люди сразу повскакали со своих мест, кабинет в один миг заметно опустел. Расул Аллаярович оживленно беседовал то с представителем академии, то с Мухиддином Джаббаровичем, он поочередно тянулся к ним, крутил головой то направо, то налево.

Азиз не знал, уходить ему или оставаться, но в конце концов остался. Будто вспомнив о необходимости

продолжить дело, Расул Аллаярович постучал по столу карандашом.

— Уважаемые члены совета,— обратился он к аудитории тоном человека, попавшего в затруднительное положение.— Имеется еще один вопрос для обсуждения. Посоветовавшись с товарищами, мы намеренно оставили его лишь для вашего рассмотрения.— Расул Аллаярович с почтительным полупоклоном повернулся к представителю академии.— Речь пойдет об одной весьма интересной работе. Точнее, только начале ее. Поэтому нецелесообразно трубить о ней раньше времени, давайте сейчас в узком кругу обсудим, каковы суть и перспективы этой работы, этого начинания. Возражений нет?

Все отозвались: «Возражений нет!» Расул Аллаярович продолжил:

— Мы не должны упиваться нашими достижениями, упиваться большим, да, можно с уверенностью сказать, большим вкладом в народное хозяйство. Время учит нас не успокаиваться на достигнутом. Сегодняшние успехи, хорошая работа завтра должны стать еще лучше, надо смотреть на сделанное критическим оком. Этого мы не должны забывать. Вот только сейчас отчитались за год заведующие лабораториями и отделами, товарищи... Душа радуется! У нас есть кадры, которые могут гору растереть в порошок! В этом мы еще раз убедились, прослушав сегодня товарищей! Но я не об этом хотел сказать... В нашем институте начата одна крупная работа. Если результаты оправдают наши надежды, нам не стыдно будет смотреть в глаза народу, хлопкоробам, всему государству в целом!..

Расул Аллаярович остановился, перевел дух.

— Создаваемому нами новому сорту еще не дано названия. Исследования проведены пока лишь в лабораторных условиях и на маленьком опытном участке. Внедрение этого открытия в практику еще впереди. Однако полученные результаты нас радуют.— Он опять сделал паузу и вдруг будто нырнул с обрыва в воду: — Мы тут все люди ученые, свои люди, воздадим должное академику Джаббарову. Наши ученые под его руководством начали проводить один весьма смелый опыт. В общем, создан новый сорт, устойчивый против вилта, товарищи! Особенно весомым был вклад нашего молодого ученого Азиза Касымова. Он добросовестно трудился под руководством Мухиддина

Джаббаровича. Большой опыт академика Мухиддина Джаббаровича пригодился как нельзя лучше. Так ведь? — Расул Аллаярович поверх очков взглянул на Азиза, ожидая от него подтверждения.

Азиз в полном замешательстве мотнул головой и в следующее мгновение сообразил, что тут разыгрывается спектакль, в котором ему отведена роль статиста.

— Товарищи, в этом кругу можно говорить все. За спиной распускаются и такие слухи, будто этой большой, важной работе прежде кто-то чинил препятствия... что это открытие сделал не коллектив, а лишь один человек. Что-де чуть кто сделал открытие — вокруг сразу образуется толпа любителей погреть руки, так сказать, возле чужого таланта. И так далее и тому подобное. Мы должны давать отпор таким разговорам. Среди нас не должно быть места людям, которые не уважают коллектив, свои личные интересы противопоставляют коллективу. Любителей всяческих беспорядков надо предупредить: им поддержки не будет! У нашего здорового и дружного коллектива хватит сил, чтобы найти управу на одного-двух эгоистов и себялюбцев, болтунов и ворчунов, и унять их сил у нас хватит!

Мухиддин Джаббарович громко кашлянул. Раньше, когда раздражение против Азиза проявлял Мухиддин Джаббарович, директор своим предостерегающим кашлем унимал, останавливал академика. Теперь они поменялись ролями. Расул Аллаярович запнулся, покатал карандаш по столу.

— Конечно, сейчас трудно дать точную оценку новому сорту. Трудно. Вначале методика исследования вызывала у некоторых товарищей недоверие, удивительного здесь ничего нет. Это — естественно! — Расул Аллаярович постучал карандашом, будто призывал к порядку.— А что здесь удивительного, товарищи?! Если в науке прекратятся споры, борьба мнений — все, говорите прогрессу «прощай». Впрочем, я кончаю, пожалуй! Теперь нам коротко доложит о новом сорте, его качествах и особенностях молодой наш ученый, товарищ Касымов.— Расул Аллаярович выразительно посмотрел на часы.

Азиз начал говорить спокойно, не торопясь. Он сам себе удивлялся: только что сидел возмущенный до онемения, а теперь оперирует фактами, аргументами, изла-

гает вопрос уверенно и доказательно. Иногда его прерывали, бросали реплики.

Задавали вопросы. Мухиддин Джаббарович и Расул Аллаярович просили поочередно: «Осветите подробнее такой-то опыт», «Какие результаты получены после предложенного мной метода сравнительного анализа?» Азиз отвечал быстро.

Ему было мучительно стыдно за его «учителей». Однако он, как никогда прежде, ощущал, что один он их не одолеет.

Азиз был рад тому, что все слушают его сообщение с большим вниманием. Это прибавляло ему смелости. Ответив на все вопросы, Азиз сел на свое место. Тут же поднялся Расул Аллаярович и сказал:

— Мы решили сдать эту работу в следующем году на суд государственной комиссии.

В зале кто-то зааплодировал. Расул Аллаярович улыбнулся.

— Спасибо, друзья! Спасибо... Из издательства «Наука» поступила настоятельная просьба создать книгу о работах института за последние годы, о новых эффективных сортах хлопчатника. Один ум хорошо, два — лучше! Свадьба, сыгранная по доброму совету, не разладится, так ведь говорят в народе? Поскольку уж мы собрались здесь, давайте посоветуемся и по этому поводу. Мое мнение — утвердить авторами этой книги Мухиддина Джаббаровича и Азиза Касымова, молодого нашего товарища, коллегу.

Не успел Расул Аллаярович кончить, как поднял руку и попросил слова Мухиддин Джаббарович:

— Это ответственное и почетное дело! Конечно, предложение издательства надо принять. Оно лестно. Но у меня в свою очередь есть предложение. Это в самом деле очень серьезная тема, между тем такая тема будет украшать наш институт. А раз так, авторский коллектив, думаю, должен быть солидным авторитетным. Во главе всех наших достижений между тем стоит всем нам известный Расул Аллаярович. В состав авторов необходимо включить и нашего директора, нашего уважаемого коллегу.

— Нет, нет,— принялся возражать Расул Аллаярович; от волнения его лицо пошло пятнами.— Меня давайте отставим. Пусть дерзают те, чьи имена еще неизвестны, молодые, за которыми будущее...

Однако Мухиддин Джаббарович настоял на своем;

написать книгу было поручено Расулу Аллаяровичу, Мухиддину Джаббаровичу и Азизу Касымову... На этом заседание ученого совета закончилось.

Все разошлись, кроме директора, представителя академии, Мухиддина Джаббаровича и Азиза. Представителя академии интересовали детали, он обращался за разъяснениями к Азизу. Потом дал положительную оценку заседанию и собрался уходить. Расул Аллаярович проводил его до машины, наказал шоферу: «Отвезите домлу куда он скажет» — и любезно распрощался с ним. Затем он на ходу решил несколько вопросов, с которыми поджидали его сотрудники, и вернулся в кабинет. Мухиддин Джаббарович беседовал с Азизом. Расул Аллаярович окинул их ревнивым взглядом.

— Ну вот,— вымолвил Расул Аллаярович, довольно потирая руки,— прошел и годовой отчет. Теперь, домла, надо нам ускорить защиту диссертации Азизджона. Так поработал, такого наработал добрый наш молодец, что не иметь ему кандидатскую степень неловко, нелепо как-то.

Мухиддин Джаббарович слегка смешался:

— Ну, теперь, домла, кандидатская степень нам представляется с вами игрушкой, чем-то несерьезным, легким. А разве легко стать кандидатом? Вспомните ту пору, когда мы с вами были такими, как Азизджон. Все усилия и старания наши мы теперь позабыли и говорим с пренебрежением «хотя бы кандидатскую»!

Расул Аллаярович понял академика сразу: не льстите-де этому молокососу, не возносите его чересчур... Расул Аллаярович в который раз поразился предусмотрительности и осторожности Мухиддина Джаббаровича. Этот человек одинаково начеку и когда веселится, и когда злится.

Директор смекнул, что Мухиддин Джаббарович намерен держать-придерживать Азиза около себя как можно дольше.

В конце концов постановили освободить Азиза на месяц от работы в институте — пусть занимается только диссертацией.

Расул Аллаярович обещал даже достать ему на месяц путевку в Дом творчества писателей в Дурмене. Азиз, не зная, как отнесется к этому Салтанат, стал отнекиваться:

— Нет, спасибо, я могу и дома работать!

Но Расул Аллаярович обернул все в шутку:

— Это невозможно! Разве вы, молодые, усидите дома! — И, взглянув на Мухиддина Джаббаровича, подморгнул ему: — Не пойдет! Дома будете отвлекаться, жена молодая рядом... Работа не будет спориться дома. Вам сейчас нужно такое место, где бы никто не беспокоил вас, не мешал. Дом творчества писателей самое подходящее место — тихо, спокойно. Однако предупреждаю — не вздумайте писать диссертацию в стихах! — он непринужденно расхохотался.

## 22

Азиз и не подозревал, что на окраине Ташкента есть такой благодатный уголок. Первый день он долго гулял, бродил, любовался огромными чинарами, вслушивался в шум арыка, несущего свои воды где-то рядом. Азиз с любопытством разглядывал коттеджи, которые принадлежали писателям, чьи произведения он изучал еще в школе. «Разделаюсь с диссертацией — перечитаю все! Давно я не добирался до поэзии, прозы... Какая у меня может начаться замечательная жизнь — театры, кино, чтение. А то совсем оторвался от культуры, тоже мне ученый, интеллигент»,— размышлял Азиз в свободные минуты. Их было мало, работал он как проклятый, не замечал, как бегут часы и дни. Когда голова переставала соображать, он выходил на простор, наслаждался тишиной, сосредоточенным покоем, разлитым в природе. Только дважды побывал он дома, и то недолго.

В первый раз, не успел он войти, Салтанат воскликнула с сожалением:

— Вот досада! Всего на полчаса каких-нибудь опоздали. Приезжал Махамат-ака, попил чаю.

— Как у него со здоровьем? Совсем поправился? Каким ветром занесло его в Ташкент, к нам в дом?

— Все хорошо, он здоров и весел. Почему же вы мне не сказали, что его оперировали? — Салтанат обиженно надула губы.

Азиз засмеялся:

— Виноград съели, а теперь о винограднике спрашиваете?

— Так вон откуда был тот замечательный виноград! Я и в самом деле сластена и лакомка: увидела виноград — забыла поинтересоваться, откуда муж его привез.— Салтанат оживилась, заулыбалась, потом

сразу посерьезнела: — Знаете, выглядит он еще неважно, глаза ввалились, похудел. Жаль его, очень уж хороший человек! Беседовать с ним — одно удовольствие, заслушаешься его. Да, он сказал, что приехал на Праздник урожая. Прямо от нас он отправился на конные состязания... Я уведомила его, что вы заделались писателем, сочиняете диссертацию в Доме творчества...— Салтанат болтала без умолку.— Он все уговаривал, приглашал — собирайтесь к нам в гости, мы теперь отдыхаем после летней страды, после уборки. Давайте, в самом деле, съездим, Азиз-ака? Надоело сидеть в городе, в этом каменном мешке, на одном месте...

Азиз ласково посмотрел на жену, а сам подумал: вряд ли Махамат Упрямец просто так наведывался сюда.

— Он ничего не просил передать мне на словах?

— Прощаясь, сказал: пусть Азизджон ни о чем не беспокоится, все в порядке, пусть скорее завершает диссертацию. Мне неудобно было любопытничать: что, мол, он подразумевает...

Азиз задал следующий вопрос:

— А с работы мною никто не интересовался?

— Ой, ну и хитрый вы... Они же сами послали вас на этот курорт! Если будете нужны — разыщут тотчас же!..

Еще раз Азиз заехал домой, когда до возвращения из Дурменя оставалось четыре дня. Ему понадобились записи опытов за первый год работы над новым сортом. Он вспомнил, что оставил бумаги в маленькой тумбочке, на которой стоял телевизор. И хотя поругивал себя за забывчивость, радовался, что повидает жену и сына. Но дома их не оказалось, и Азиз решил, воспользовавшись случаем, отправиться на часок в институт: он соскучился и по своей рабочей комнате, и по его коридорам, и по звону часов, и по новостям, по институтской атмосфере, к которой он так привык и которая, оказывается, стала для него такой необходимой.

Азиз намеревался заглянуть к Расулу Аллаяровичу и поблагодарить его за путевку, за проявленную заботу. Поблагодарить от души. Ему очень нравился Дом творчества: тишина, покой, накормят тебя и напоят, никто не беспокоит, сиди себе в благодатном этом раю и твори.

Когда Азиз вошел в приемную директора, Саодат

прихорашивалась, заглядывая в зеркальце, прислоненное к пишущей машинке. Она засмущалась и начала поспешно совать в сумочку губную помаду, пудру, зеркальце, расческу. Потом поднялась и отправилась докладывать об Азизе. Через минуту она вернулась от Расула Аллаяровича растерянная, расстроенная. Пряча от Азиза глаза, Саодат пробормотала что-то неразборчиво и, словно его здесь не было, стала рыться в сумочке. Он почуял недоброе и приблизился к Саодат. Она взглянула на него и внятно, хотя и тихо, произнесла:

— Расул Аллаярович занят. Принять вас не может.

Над головой Азиза будто гром грянул; он выбрался в коридор и попытался себя успокоить: «Может, у директора люди, совещание; ведь на Расуле Аллаяровиче такой большой институт... зачем обижаться, тревожиться... Не он ко мне, а я к нему обязан приспосабливаться. Ведь раньше, еще какой-нибудь месяц-два назад, мне даже не всегда поздороваться с ним удавалось, не то что бывать у него в кабинете... Да, положение «любимчика» мне явно не пошло на пользу, вон какой я стал мнительный...»

Однако, как Азиз ни утешал себя, сердце подсказывало ему: что-то произошло, что-то случилось, что-то изменилось... «И солнце, и луна мне улыбались, ведь на дню чуть не десять раз сам директор вызывал меня. Да, что-то произошло за эти двадцать дней. Но что именно? — И вдруг возникла мысль: — А что, если мою работу признали негодной московские ученые, что, если дали ей плохую оценку? Расул Аллаярович не скрывал, что послал им кое-какие материалы на консультацию... Нет, нет, я не верю, чтобы работу могли забраковать серьезные ученые. Нечего мне опасаться! Доказательства — налицо, кто же может отрицать их, да и зачем? И Расул Аллаярович и Мухиддин Джаббарович тоже лица, заинтересованные в успехе. Не напрасно же они так быстро переметнулись на мою сторону».

Азиз уже дошел до выхода, когда вспомнил, что не заглянул к Мухиддину Джаббаровичу; внутреннее чутье подсказало ему: академик отнесется к нему точно так же. Он услышал сзади торопливый перестук каблучков, обернулся и увидел Саодат. Сердце его радостно заколотилось: «Напрасно я паникую, похоже, она меня догоняет».

Саодат подбежала к нему, запыхавшись:

— Расул Аллаярович просил передать вам — завтра вы обязаны явиться на работу. Накопилось очень много дел.

Саодат пожалела Азиза и не сказала, что директор при этом почти кричал: «Хватит ему прохлаждаться, пусть закругляет свою писанину». Она постояла молча, будто желая, но не решаясь добавить еще что-то.

Азиз тихонько спросил:

— Мухиддин Джаббарович у себя?

— Нет. Он уже четыре дня, как заболел. Что же мне передать Расулу Аллаяровичу? Вы будете завтра в институте?

— Буду. Если уж я такой незаменимый, то могу приступить хоть сегодня...

Азиз медленно направился в свою комнату, которая вроде бы и надоела ему за столько лет, и стала вместе с тем такой привычной, что он не променял бы ее ни на какое другое место в мире. На потолке все те же — два вентилятора, похожие на орлов с распластанными крыльями; его маленький стол, прибранный им накануне отъезда в Дурмень; рядом — старый шкаф с наваленными сверху рулонами бумаги. На столе Шорасула в беспорядке разбросаны журналы, папки.

В Азизе теплилась надежда, что Расул Аллаярович все-таки вызовет его — и тогда все прояснится: почему так необходимо, чтобы он бросил диссертацию, явился на работу. Почему он не принял его сразу же, почему Саодат ведет себя с ним как-то странно и неестественно?

Шорасул вернулся поздно; он, оказывается, ездил куда-то по специальному поручению Расула Аллаяровича. Он почему-то обрадовался Азизу и стал расспрашивать о делах, диссертации, Дурмене. Азиз ответил, что диссертация близка к завершению, осталось довести до ума заключительную ее часть, и вообще — глаза боятся, а руки делают: он избавился от страха, что никогда с ней не разделается. Потом в свою очередь поинтересовался Мухиддином Джаббаровичем, его здоровьем.

— Ничего я не знаю о нем. Слышал только, что четыре дня назад его и директора вызывали куда-то. С тех пор он не появлялся, заболел, простудился, говорят. — Шорасул отвечал отрывисто и неохотно.

«Значит, Мухиддин Джаббарович в курсе собы-

тий,— подумал Азиз.— И не только в курсе. Наверно, что-то его так огорошило, что он счел за благо заболеть».

— А куда же их вызывали? — спросил он самым невинным тоном.

Шорасул развел руками:

— Вам же известно, что я не вхож в высокие инстанции. Куда-то вызывали, небось туда.— Шорасул сделал красноречивый жест, потом приблизил губы к уху Азиза и быстро-быстро зашептал: — С тех пор у директора плохое настроение. Ходит туча тучей, а Мухиддин Джаббарович захворал.

«Сделай в жизни такое дело, которое по достоинству оценили бы люди! Которое принесло бы им пользу»,— Азиз неожиданно вспомнил слова Сергея Матвеевича. И вслед за этим — то, что недавно сказал ему Махамат Упрямец: «Твою работу может кто-то одобрить, кто-то отвергать, но красть ее не имеет права никто!»

Азиз приободрился, будто рядом с ним оказались два его преданных, верных друга. «Ну что ж, понравится это Расулу Аллаяровичу или не понравится, а я к нему все-таки прорвусь»,— решил Азиз и поспешил к директору. Саодат только и успела вымолвить: «Ой, вы до сих пор здесь?», как Азиз уже был у дверей кабинета.

— Я на одну минуту, мне надо туда всего на пару слов,— произнес он властно и шагнул в кабинет.

Там было пусто. Все свидетельствовало о том, что сегодня Расула Аллаяровича больше не будет,— чистый стол, опущенные шторы... Покрасневший от стыда и обиды Азиз упрекнул Саодат:

— Почему же вы не предупредили меня, что его нет?

— Вы же пулей влетели туда, я и рот не успела раскрыть! Его сегодня не будет! Уехал куда-то.

Самолюбие Азиза страдало, он был полон раскаяния, его поступок казался ему теперь глупым, мальчишеским. Он подошел к телефону, снял трубку и только тут, взглянув сквозь высокое, запыленное окно, обнаружил что наступил вечер.

— Где это вы пропадаете, курортник? — вместо приветствия закричала в трубку Салтанат.— Ой, вы слышите меня? Почему вы молчите? Я разыскивала вас, ездила в Дурмень. Измоталась, сил нет, только-только

вернулась. Столько денег зря истратила на такси, глупая!

Азиз ответил ворчливо:

— Я разве просил, чтобы ты приезжала? Сидела бы себе дома.

Салтанат смекнула, что у мужа что-то неладно, и решила выждать — пусть до конца выскажется! Но Азиз опять замолк, и она оживленно продолжала:

— Мама готовит манты, приезжайте сюда. Здесь и заночуем.

— Нет, приезжай домой сама. Срочно. Мне нужны бумаги,— нетерпеливо прервал Азиз.— Манты никуда не убегут!

— Всегда так! — всхлипнула Салтанат.— Заботу и внимание вы не способны оценить! Специально готовится блюдо, для вас, понимаете? И опять плохо, опять не так! Сколько лежали ваши бумаги, еще день могут подождать, кто их съест?

— Сейчас же возвращайся, хватит болтать! — приказал Азиз и бросил трубку.

Азиз не знал, что ему делать, куда деваться: домой ли ехать, к теще ли отправиться. Наконец решил: и там и там его ожидают объяснения с женой, ее упреки; чтобы не сыпать еще соль на свежую рану, он уехал в Дурмень. Он почти бежал мимо комнат, откуда доносились стук машинки, голос диктора, читающего последние известия, тихое пение.

У себя он, не снимая плаща, плюхнулся на диван. Кажется, он все бы отдал, чтобы сейчас оказался рядом с ним друг, сердечный собеседник, которому он мог бы излить душу!

Потом Азиз начал не спеша собирать бумаги, складывать вещи... Ночью он вышел в парк. Было холодно, воздух обжигал и освежал, небо, что черное зеркало, в россыпи блестящих звезд. Азиз бродил среди деревьев, прощаясь с ними; под ногами шуршали осенние хрусткие листья, будто жалуясь ему на что-то. Азиз останавливался, вглядывался в мерцающие далекие звезды, вслушивался в безмолвие природы, в неправдоподобную хрустальную тишину. Он пытался отогнать от себя тревогу, однако сердце его, еще вчера, еще сегодня утром звеневшее от радости, беспрестанно ныло, болело, плакало. С острым чувством тоски и утраты он думал, что кончаются, кончились, быть может,

самые счастливые дни в его жизни. Дни, наполненные творчеством и душевным согласием с миром и самим собой.

23

Среди ночи Азиз вдруг спохватился: «Вдруг Салтанат подхватила Бехзода и поспешила домой? Почему я был так груб и нетерпелив с нею? Ничего толком не объяснил, не известил, что завтра совсем возвращаюсь домой! Если бы она осталась ночевать у родителей, как было бы хорошо и спокойно и ей, и мне! Нет же! Мне нужно было огорчить ее, испортить ей настроение, обидеть: правильно Мухиддин Джаббарович както обозвал меня обидчиком... Салтанат примчалась домой, а меня там нет. Глаз до рассвета не сомкнет, будет прислушиваться, не иду ли я... Одного-единственного словечка, доброго, ласкового, не нашлось у меня для жены!»

Он встал рано и, попрощавшись со всеми, кого встретил, отправился в город. Сперва он намеревался заехать домой, оставить вещи, извиниться перед Салтанат. «Может быть, она все-таки осталась у матери,— начал колебаться он,— тогда мне придется зря мотаться по городу, терять драгоценное время. Целесообразнее будет сразу же двинуться в институт... Вот вчера мне не следовало ездить в город, появляться в институте. Не поехал бы, не было бы всех этих треволнений, нервотрепки! Сам напросился на неприятности. Впрочем, не исключено, что я просто-напросто фантазирую. Расул Аллаярович всего-то раз обошелся со мной холодно, а я уже бог знает что вообразил! Ночью не сплю, жену обидел! Ну и паникер же я, ну и дрянь! Да зачем мне вообще милость Расула Аллаяровича, что, я без нее не проживу, погибну? Что со мной происходит? Стыд и позор! Самое страшное, что директор может мне сделать, — затянуть мою защиту. Сколько лет и так тянул, еще год-два подожду, мне не привыкать. И все, хватит! Всю эту ерунду — вон из головы. Мужчина я или кто, в самом деле!»

Похоже, что у Расула Аллаяровича готовится совещание: около приемной в коридоре многолюдно, толпятся сотрудники, переговариваются, докуривают сигареты. Шорасул уже на месте, перед ним — груда газет и журналов. Подняв голову, он приветствовал Азиза словами:

— Так, так, явились в полной боевой готовности, с диссертацией в чемодане?

— Увы, ошибаетесь! Пока я стану кандидатом, вы будете уже академиком! — отпарировал Азиз.

Он не знал, чем ему заняться, ведь его вызвали досрочно для каких-то спешных, неотложных дел. Он хотел было пойти к директору и доложить, что прибыл, но потом решил: надо будет — пригласит! К тому же у него, очевидно, люди. «Возьмусь-ка я лучше за мою родную диссертацию!.. Чего я вчера понесся в город за таблицами и записями, мог бы запросто оставить место для них и потом их туда поместить, не схлопотал бы тогда этих ненужных волнений».

Азиз взял чистый лист бумаги и крупными буквами вывел на нем: «Выводы». Он поставил ниже римскую цифру «один», но дальше этого не сдвинулся: никак не мог сосредоточиться, мысли разбегались, рассыпались, как бусинки с порванной нитки бус.

Он поплелся к телефону, позвонил домой, долго ждал: «Неужели Салтанат не вернулась вчера?» К сердцу подкрался холодок ревности, недовольства тем, что жена его ослушалась. Тут же он оборвал себя: если человек занят, ему и помыслить-то некогда о мелочном, а когда ему нечем себя нагрузить, он только ищет повода для мелочных придирок и ссор, в скандальную женщину превращается. «Вот и я докатился, ничего себе!..»

Он вернулся в комнату, и вдруг, неожиданно, его точно озарило: «Салтанат изменилась, очень, очень изменилась в последнее время! Как это я до сих пор этого не замечал! Даже на грубость мою она не отвечает, все сносит молча...— Азиза кольнуло недоброе подозрение.— Да, да, что-то с нею творится! Она то весела, радостна, то угрюма и печальна — без причины, без видимого перехода... Ко мне стала добрее и ласковее, это правда; порой я не узнаю ее — неужели это моя скромная, стыдливая Салтанат?.. И принимаю все за любовь... Неужели... неужели... неужели Салтанат способна?.. Нет, нет!»

Ноги буквально вынесли Азиза в коридор, рука схватила телефонную трубку, палец помимо воли набрал номер тестя. Азиз услышал голос Салтанат и так испугался, что тут же нажал на рычаг. «Уф! Она у родителей!» — чуть не закричал он в голос. Но рассудок тотчас же подсказал ему: и все-таки с ней что-то про-

исходит. Какая-то другая стала Салтанат, не упрекает его, не устраивает сцен, терпеливая и даже кроткая жена... Это, разумеется, отлично, просто замечательно, но — отчего? «Отчего она так переменилась?.. Ведь еще не так давно я даже подумывал: надо занять ее какой-нибудь работой, может, ей необходимо быть среди людей, отвлекаться от домашних хлопот, а то совсем закиснет, превратится в злую, сварливую жену». Азиз вспомнил, что даже как-то пытался устроить ее в газетный киоск, поблизости от дома. Салтанат тогда пришла в негодование, подняла крик:

— Боже мой! Почему я такая несчастная! Добывать деньги продажей газет! Ах я несчастная!

Азиз тысячу раз каялся, что затеял этот разговор; когда они ссорились, Салтанат упрекала его: «Мне ничего, видно, иного на роду не написано, как только сидеть в киоске и газетами торговать!» Азиз выходил из себя: «Нет профессий хороших и плохих, достойных и недостойных! Есть плохое или хорошее отношение к ним!»

И вот, пожалуйста, факт: летом она сама заговорила о работе:

— На станции обслуживания легковых машин у нас, в Чиланзаре, требуется машинистка, не устроиться ли мне туда?

Азиз еще подумал тогда, что Салтанат над ним подтрунивает, но все-таки поинтересовался:

— Откуда тебе об этом известно?

— А я прочитала. На столбе было вывешено объявление.

Азиз усмехнулся и мягко возразил:

— Вряд ли тебя возьмут на эту должность. Надо уметь печатать.

— Можно научиться. Зарплата — сто двадцать рублей. Где найдешь еще такое место? И от дома в ста метрах, очень удобно.

Они тогда так ничего и не решили, и все само собой забылось. Сейчас змея подозрения поднимала голову в душе Азиза все выше. У него закололо в сердце. Азиз достал завалявшийся в дальнем углу стола резерпин и проглотил таблетку.

Шорасул отодвинул журнал в сторону.

— Что случилось, приятель? Почему сникли, схватились за лекарство? Ото всех болезней надо коньяком

исцеляться, а вы — за таблетками полезли. Не дело, не дело...

Азиз сконфузился:

— Голова что-то разболелась. Давление, наверное.

— Может, дать анальгинчик?

— Спасибо, не надо, я уже проглотил, сейчас пройдет.

* * *

Шорасул догадывался о том, почему Расул Аллаярович и Мухиддин Джаббарович так увивались вокруг Азиза, догадывался он и о том, почему они от него теперь отшатнулись.

Он сразу же повеселел, стал приветлив с Касымовым: Азиз теперь ему больше не соперник; одним конкурентом у него, как он считал, стало меньше.

Когда-то отец Шорасула оказал директору большую услугу. И Шорасул на этом основании пытался поначалу держаться с Расулом Аллаяровичем так, словно не отцу его, а ему самому тот был обязан. Расул Аллаярович чувствовал это и не упускал случая, чтобы осадить нахального своего подчиненного. Прекрасно разбираясь в людях, директор знал, как больнее всего уязвить того или иного человека. И потому был холоден с Шорасулом, близко к себе не подпускал, дела с ним вел через кого-нибудь, а не сам. Это бесило Шорасула.

Если бы не бремя благодарности, Расул Аллаярович вообще на порог института не пустил бы этого карьериста и задаваку. Логика директора была в данном случае проста: помогая этаким людишкам, роешь яму себе. Они ни перед чем не остановятся, чтобы добраться до выгодных должностей и почетных кресел. И для этого готовы мобилизовать все и вся, подключить влиятельных друзей и знакомых, творить подлости... Уж лучше оказывать помощь, выдвигать таких, у кого нет ни связей, ни сановных родичей, от них хоть благодарности дождешься...

Шорасул часто думал, что этот Азиз чертовски странный парень. С такими муками закончил работу — и какую работу! — а взял-таки в соавторы, в сотворцы, так сказать, этаких дармоедов! Был бы он, Шорасул, на его месте, уж он показал бы им, уж он бы все выжал из них, уж он сказал бы им: «А ну-ка

брысь, проваливайте!» Даже не дал бы им урвок[1]. А этот простофиля позволяет этим «почтенным домлам» вынимать кусок изо рта.

Еще в студенческую пору у Шорасула водились деньги, и немалые; их шелест, казалось, заменял ему все радости жизни. Он покупал сотнями лотерейные билеты. Его однокурсники, среди которых немало было сельских, поражались: ну ладно, отец Шорасула состоятельный человек, но зачем он позволяет сыну тратить такие деньги на лотерейные билеты?.. Но вот Шорасул выиграл «Волгу».

Потом довольно быстро машина куда-то исчезла, Шорасул стал лихо разъезжать на «Жигулях», так до сих пор и ездит на машинах этой марки, время от времени меняя старую — на новую.

Обзавелся Шорасул собственной семьей — сразу же резко ограничил себя в расходах! Отказался от мотовства. Прежде чем истратить копейку, десять раз прикинет да подсчитает. Жене денег не дает, хозяйство ведет сам. Чуть накопит денежки — кладет их на сберкнижку. Ему все кажется мало, он во всем урезает себя, все торопится, торопится: побольше бы отложить, побольше... Деньги стали его страстью, его болезнью; в них он видел единственное средство, единственное спасение от всех бед. Он никому не верил, мерил людей по собственному образу и подобию: «Если на голову свалится беда, никто не придет на выручку! Когда человеку приходится туго, если, как говорят старики, тюбетейка становится тесной, то и родная мать, и родные братья не захотят помочь. С деньгами — ничего не страшно, никогда не пропадешь... Не нужна мне веселая жизнь, праздники, застолья, как вон свояку Юлдашу, например. Он живет сегодняшним днем, о завтрашнем не помышляет. Хотя что ему — место у него прибыльное, главный инженер авторемонтной базы!»

Шорасул узнал о связи Юлдаша и Салтанат случайно; свояк как-то проговорился ему в минуту откровенности об этом, а может, ему просто необходимо было с кем-то поделиться в тот момент. Шорасул в душе злорадствовал: «Вот что приключается с «гениями». Новый сорт, новый сорт, сквозь землю видит и даже

---

[1] Урвок — мука, которую сыплют на доску, чтобы к ней не прилипало тесто.

глубже, а что под носом делается — не замечает! Змею на своей груди пригрел... Вот бабы!»

Когда Шорасул представлял себе свою жену на месте Салтанат, волосы у него поднимались дыбом.

* * *

Для Салтанат наступило похмелье после чувственного любовного опьянения. Ее начали терзать раскаяние, сознание того, что ее отношения с Юлдашем, дарящие ей минуты наслаждения, могут привести к годам горя, к драматическим последствиям для их семей. С острым чувством стыда она вспоминала, как бездумно, как легко опорочила она женское свое достоинство. «Что я натворила? Что натворила? Растоптала свою честь, себя! Чего добилась, к чему пришла? К смертельной душевной усталости, постоянной лжи, необходимости изворачиваться, хитрить»,— изводила, обличала себя Салтанат с каждым днем все яростнее и беспощаднее.

Она стала часто возвращаться мыслями к светлым дням, что были у нее с Азизом. И они, эти дни, были для нее еще большим обвинением, еще большим укором. «Как все это случилось со мной? Почему я так полетела, потянулась к Юлдашу? Что в нем нашла?.. Ох, Азиз, Азиз, где те денечки, когда мы жили пусть трудно, пусть небогато, но гордые, чистые, душа в душу, как две струны дутара? Где она — моя незапятнанная совесть, мое целомудрие? Ссорилась с тобой, Азиз, мучилась, но могла безбоязненно смотреть тебе прямо в глаза. А теперь...»

Она с умилением вспоминала, как в первый раз увидела Азиза. Стоял около ворот Сергея Матвеевича ладный, красивый парень, она, девчонка, влюбилась в него сразу же, затрепетала вся от внутреннего толчка: «Это Он»! Стройный, белолицый, подтянутый — как было не влюбиться в такого парня! Он так искренне, сердечно улыбнулся ей тогда, что у нее и сейчас к горлу подступают слезы. «Да что же это такое — любовь? Настоящая любовь? Ведь я любила и люблю Азиза! А Юлдаша? Нет, нет, и моя ошибка в том и состоит, что я приняла за любовь свое влечение к нему. Я ошиблась... Настоящая любовь это и муки, и наслаждение, и радость, и горе, и страдание, и дружба, и мужество, и терпение... И главное, наверное,— это готов-

ность разделить с любимым жизнь, помыслы, устремления. В любую — счастливую и несчастливую — минуту быть рядом...»

Особенно боялась теперь Салтанат вечерних часов, того момента, когда Азиз возвращался с работы. Она вся сжималась, холодела от напряжения: только бы он не догадался, только бы не узнал — сегодня, сейчас.

Она так извелась, что в конце концов решила положиться на судьбу: что будет, то будет! Нести наказание — так понесу! Встречи с Юлдашем надо прекратить! Прекратить.

* * *

Когда Саодат сообщила Азизу, что директор приглашает его к себе, он засуетился, замешкался, почему-то начал проверять, на месте ли у него расческа, носовой платок, хорошо ли повязан галстук... Он осторожно приоткрыл дверь, сунул голову в кабинет.

— Смелее, смелее, проходите! — Расул Аллаярович восседал за своим живописным громоздким столом, как божок.

В его тоне было нечто неуловимое, что тем не менее убедило Азиза: надо ждать перемен, перемен к худшему. Расул Аллаярович едва заметно кивнул и повелительно указал на стул.

— Чем занимаетесь в настоящее время?

— Заканчиваю диссертацию.

— Диссертация — это ваше личное дело, после стольких лет просрочки... Потворствуя вам, мы освободили вас от всего, все условия создали. А вы все тянете, тянете, когда же конец? Вы что, гору лопатой роете или диссертацию защищать собираетесь? — Расул Аллаярович будто упивался своим брюзжанием.

Азиз осведомился сдержанно:

— В чем дело, Расул Аллаярович? Я что-то не понимаю!

— А что тут понимать? Все ясно как день! Работать нужно, да, работать! Вот, из райкома людей просят. В соседнем районе завтра-послезавтра снег выпадет, заморозки ожидаются. Не поспевают колхозники собирать овощи. Отправитесь туда на неделю. Еще кого-нибудь найдем, поедете, надышитесь вволю свежим воздухом. Это пойдет вам на пользу... Сами знаете,

мало у нас людей, послать некого, кто болен, кто стар, кто, наоборот, в декрете.

Азиз хотел возразить: «В сентябре и октябре я чуть не каждое воскресенье выезжал на хлопок, почему бы Шорасула не привлечь...» Однако раздумал: все равно ничего сейчас не добьешься; директор явно ополчился против него. Но почему?

Расул Аллаярович порывисто поднялся и нервно зашагал по кабинету.

— Когда это вы научились хитрить и обманывать, братец вы мой?

К Азизу точно прикоснулись раскаленным углем.

— Вы о чем, Расул Аллаярович? Я ничего не понимаю. Объясните!

— Кого вы обманываете? Зачем хитрите? Поражаюсь, ей-богу! — Расул Аллаярович дрожащей рукой поднес спичку к сигарете.— Не понимает он! Смотрите у меня! И запомните, что я сейчас скажу,— произнес он угрожающе.— Хватит валить с больной головы на здоровую! Мне тут распинаться в одном, другому — в другом! Просчитаетесь! Упадете, да так, что до самой смерти не сможете подняться!

— В чем вы меня обвиняете? Что такое? — Азиз повысил голос.— Клянусь хлебом, я ничего не понимаю.

— Клятвы вы давайте в другом месте! И не совестно вам врать мне прямо в глаза? Я не идиот, ясно вам?.. Вот выйдет на работу Мухиддин Джаббарович, мы вас через сито пропустим, до всего докопаемся!.. Возмечтали о славе, стать героем захотели? Не выйдет! Вы ответите за то, что вводите в заблуждение высокие инстанции! — Расул Аллаярович бушевал. Таким взбешенным Азиз не видел его еще ни разу.— Наше доброе имя черните! А теперь ступайте, видеть вас не могу!

У себя в комнате Азиз вплотную подошел к столу Шорасула и спросил, властно отчеканивая каждое слово:

— Куда вызывали директора и академика?

Шорасул смекнул, что произошло нечто из ряда вон выходящее; он медленно налил из графина воды и протянул Азизу стакан. Тот машинально выпил воду.

— Успокойтесь, Азизджон. В чем дело?

Азиз, выпив воды, и правда несколько успокоился; он посмотрел на Шорасула, будто полоснул его чем-то острым.

— Вы говорили, что их вызывали куда-то наверх, в инстанции. Куда? Кто? Зачем?

— Об этом никто точно не знает, но ходят слухи, что им нагорело где-то — то ли в обкоме, то ли еще где! За что, почему нагорело — не знаю. Можно предположить, что это как-то связано с вашим новым сортом.

Гнев, смятение Азиза внезапно улеглись. «Да пропадите вы пропадом, «благодетели» вы мои!.. Угрожать, запугивать! Да как он смеет! — Азиз отошел от Шорасула, вынул из шкафа папки со своими материалами, запихал их в портфель.— Вот они, мои благодетели и защитники! Вот мой десятилетний труд! Мой, и ничей больше!.. А если директор остался в дураках — это же здорово! Жаль только, что без моей помощи! Тут он мне польстил!..»

Азиз легко поднялся по лестнице, будто в руках его не было тяжеленного портфеля, неслышно открыл дверь. Салтанат бросилась ему на шею, крепко вцепилась в него, прижалась всем телом. Она дрожала и все крепче обнимала Азиза. Он попытался освободиться; Салтанат заплакала в голос. Азиз с силой расцепил ее руки.

— Что? Случилось что? На кого ты похожа! Да скажи же, что с тобой! Не томи! Что еще свалилось на мою голову?

Салтанат упала на колени и, обхватив ноги Азиза, запричитала:

— Азиз-ака, убейте меня, убейте! Меня, подлую, мало убить, мало! Я изменила вам, я подлая...

Он наклонился над Салтанат:

— Что? Что ты наговариваешь на себя?

Салтанат, как слепая, тыкалась лицом в его ноги, гладила их.

— Кто он? — взревел Азиз.— Говори, отвечай! Дрянь! Дрянь! Подлюга!

Салтанат тряслась как в лихорадке. Азиз пнул ее коленом в плечо, она покачнулась, припала спиной к стене, судорожно всхлипывая. Кровь бросилась в голову Азиза, сердце, казалось, разорвется, не выдержит невыносимой боли. Он схватил жену за волосы и грубо, резко повернул лицом к себе.

— Кто? Кто он? — прошептал он сдавленно.

Салтанат свернулась в комок и опять обхватила его за ноги. Все завертелось у него в глазах, поехало, сердце пронзила острая боль, Азиз стал задыхаться.

Перешагнув через Салтанат, неуклюже покачиваясь, он подошел к дивану. Время для Азиза остановилось, сколько он пролежал недвижимо, он не помнил. Узнал лишь, что груз скорби, печали, несчастья тяжелее самых высоких гор!

Утром, случайно взглянув в зеркало, Азиз не узнал себя: перед ним был мужчина с землистым лицом, скорбными складками у губ.

Он собрал свои вещи и прокрался на лестницу.

Салтанат ждала Азиза день, два, три дня, ждала неделю. Трепеща от страха, она позвонила в институт. Саодат удивленно протянула: «Как, вы не знаете? Он уже неделю на уборке овощей!»

— Спасибо тебе, господи, что он жив! — с облегчением выдохнула Салтанат.

## 24

На следующий день после возвращения Азиза из района было назначено заседание ученого совета.

Прошедшая неделя показалась Азизу годом. Годом сплошного кошмара. Он был потрясен признанием Салтанат и — как ни пытался оправдать ее — оправдать не мог. Он сознавал, что был невнимателен, сух, отстранен от семьи. Не интересовался, чем живет Салтанат, есть ли у нее собственные, независимые от него, склонности и устремления. Это скорее всего и толкнуло ее...

Однако простить жену он был не в силах. За всю жизнь он не испытывал обиды горше, боли пронзительнее, ревности страшнее. Его извела, истерзала ревность, догадки о том, кто же он, тот, кого Салтанат так и не назвала. Хотя, думал он, какая разница, кто он? Ужасно то, какой оказалась она, Салтанат.

Когда Азиз был на уборке в районе и теперь, когда он шел по улицам города, ему каждую минуту мерещилось, что все глазеют на него, глазеют с жалостью, с насмешкой. Всем все известно, и все потешаются над ним. Ему хотелось бросить все — и скандальную свою научную работу, и диссертацию, которую он сможет защитить лишь «когда рак свистнет», и людей, притворяющихся добрыми. Бросить все и бежать из этого неуютного города, где изменяют, не ценят любовь и порядочность. Податься в кишлак, к отцу или в любое другое отдаленное место, где его никто не знает. От

этого решительного крутого поворота в жизни Азиза удерживало лишь упрямство — почему он должен убираться из института, а не «они»? И еще сознание, что в незнакомом кишлаке тоже не сыщешь добренького дяденьку, который встретит тебя с распростертыми объятиями — «пожалуйста, получай место агронома!». А как покажешься среди земляков? С какими глазами? Земляки гордились тем, что он, их человек, работает в важном научном учреждении. Они гордились им и говаривали: «Этот парень прославит наш кишлак, он с детства был смышленым...» Попробуй-ка тут объявись в родном кишлаке на жительство!..

Азиз искал и никак не мог найти выход из создавшегося положения. Он вспоминал о сыне, тосковал о нем, ему постоянно чудился его плач.

Из района Азиз отправился к отцу. Старик поначалу очень ему обрадовался, стал расспрашивать о Салтанат, о Бехзоде. Однако Азиз отвечал на его вопросы так странно, что отец заподозрил неладное. Когда же он пригляделся к сыну повнимательнее, то его подозрение переросло в уверенность: у Азиза стряслась беда.

* * *

Шорасул сообщил Азизу, как только он явился на работу после недельного отсутствия, что на завтра назначен ученый совет и что Азиз на него приглашается. До Шорасула доходили разговоры, что на совете опять будет рассматриваться работа Касымова, но в ином аспекте, чем месяц назад. В институте поговаривали, что назревает грандиозный скандал.

«Вчера — ты, а завтра, глядишь, и я похожу в любимчиках,— злорадствовал Шорасул.— А то уж задаваться начал, еще бы, только и слышно — Касымов, Касымов... Я не хуже — и уж во всяком случае свое не упущу!»

Азиз припомнил угрозы Расула Аллаяровича. Завтра опять начнется! Посыплются шишки, обвинения! Не остановятся ни перед чем! Ну и черт с ними!..

...До заседания оставалось минут десять—пятнадцать. Дверь в приемную директора широко распахнута, люди подтягиваются один за другим, обмениваются негромко приветствиями, курят сигареты. Азиз присоединился к группе, где стояли его молодые коллеги; они заулыбались ему, стали расспрашивать о его «рекор-

дах» на уборке овощей. Раздался бой часов — своеобразный дуэт часов в кабинете и приемной Расула Аллаяровича,— и все дружно начали гасить сигареты, один за другим протискиваться в кабинет. На ученый совет были созваны все научные сотрудники института — и старшие, и младшие, кабинет вскоре был набит людьми до отказа.

Расул Аллаярович и ученый секретарь института, щуплый желтолицый человек, перебирали какие-то бумаги, тихонько обменивались репликами. Перед директором лежали приготовленные им заранее две пары очков.

Мухиддин Джаббарович был одет, как всегда, с иголочки; единственная вольность, которую он себе позволил,— расстегнутая верхняя пуговица на рубашке и слабо повязанный галстук. Он сел не на обычное свое место — в кресле у директорского стола, а на «рядовом» стуле, что выстроились вдоль стены. Азиз заметил, что академик нервничает, машинально поглаживает широкую свою щеку, будто старается унять зубную боль, снимает и надевает очки, совсем как Расул Аллаярович, сует их в нагрудный карман и никак не может в него попасть. С его колен соскользнули на пол листки бумаги, он хотел нагнуться, но расположившийся с ним рядом Шорахмедов, его ученик из Бухары, быстро поднял их. Мухиддин Джаббарович поблагодарил и начал шушукаться со своим аспирантом Баратовым, также занимавшим место рядышком с академиком. Это был уже пожилой человек, бывший агроном; на протяжении многих лет он работал на Чиназском опытном участке, о нем шла молва как о человеке знающем. Мухиддин Джаббарович был многим обязан Баратову. Тот на практике, на опытном поле наблюдал за новыми модификациями сорта «Ф», так сказать, опекал их.

Азизу было известно, что диссертация Баратова уже готова к защите. Глядя на его лицо, на то, как доверительно шушукается с Баратовым академик, Азиз подумал: «Этот защитится скоро». Баратов почувствовал на себе взгляд Азиза, смешался и отпрянул от Джаббарова.

Расул Аллаярович, закончив наконец переговариваться с ученым секретарем, заметил, что кабинет его буквально набит людьми. Он обвел вокруг внимательным своим оком: молодежь теснится по двое на

стуле, даже в приемной кое-как притулились люди. Вдоль же длинного стола, расположенного перпендикулярно к директорскому, пустовато; заведующие отделами, руководители лабораторий и те устроились поодаль. Расул Аллаярович укоризненно покачал головой:

— Пожалуйста, друзья, есть свободные места, зачем тесниться? — он показал на пустые стулья.

Взоры многих устремились на Мухиддина Джаббаровича, они как бы говорили: «Если он сидит в сторонке, то нам сам бог велел...»

— Мухиддин Джаббарович, прошу вас занять ваше место, а то джигиты, по вашему примеру, скромничают.

Джаббаров слегка помедлил, поколебался, потом нехотя перебрался на свое обычное — почетное — место. Вслед за ним зашумели, задвигали стульями, расположились повольготнее и остальные.

Как только все разместились, Расул Аллаярович спросил:

— Товарищ Касымов здесь?

Азиз поднялся. Расул Аллаярович увидел рядом с Азизом профессора Толмаса Азимова. «И эта каналья, оказывается, здесь, а я и не знал, что он вернулся из отпуска. Может, специально?..» — отметил он про себя и нахмурился.

— Товарищи, сегодня на повестку дня мы выносим один вопрос, только один. — Он умолк, наступила напряженная тишина. — Это наше заседание можно считать и открытым собранием, и ученым советом, и производственным совещанием — суть не в названии. Мы предлагаем рассмотреть очень важный вопрос. Вопрос о морально-нравственном воспитании в нашем институте.

Теперь Азиз понял, почему Мухиддин Джаббарович сел поначалу вместе со всеми в сторонке. Он заранее был осведомлен о повестке дня, скорее всего вдвоем с Расулом Аллаяровичем ее изобрел. Ему было нужно продемонстрировать свою демократичность и скромность.

— Разговор сегодня пойдет о моральном облике ученого. Люди науки в нашей стране пользуются большим и заслуженным уважением и привилегиями. Для нас, ученых, созданы все условия. Если заслужили трудом — и премии, и ордена, и грамоты, и звания, пожалуйста! К примеру, есть ли в нашем с вами коллек-

тиве, насчитывающем около двухсот человек, хоть один не обеспеченный квартирой? Нет! Только за эту пятилетку мы получили двадцать три новых квартиры. Где еще есть такие условия, товарищи? Где? А если это так, то каждый работник умственного труда — должник. Он должник нашего общества и обязан всем своему народу. Ведь он не сам по себе свалился с неба ученым! Его сделали ученым вот это гнездо, вот эти люди, вот эта среда...— Расул Аллаярович прочертил в воздухе большой полукруг.— Вот этот коллектив! Кто об этом позабудет — тот матерый, прожженный эгоист! Почему я говорю об этом, товарищи?

Стало совсем тихо, все затаили дыхание. Азиз сидел не шелохнувшись, ожидая, когда же на него падут громы и молнии. «Все к лучшему, пусть будет скандал! Мне терять нечего, страшнее того, что я пережил за эту неделю, ничего быть не может. Печаль и скорбь моя из-за Салтанат будто тупой иглой колет сердце. Я не только Салтанат, но и всю жизнь свою, все свои надежды потерял. Все рухнуло, все пропало... Чем ближе человек приближается к своей заветной цели, тем больше встает перед ним трудностей,— вдруг подумал он.— Неужели зрелость, достижения, успех должны оплачиваться такой дорогой ценой, непомерно дорогой... Ладно, пусть болтает! Сколько хочет пусть болтает. Интересно, что еще эдакое изречет!.. И все! Кончено! Хватит! Хватит мне молчать! Надеялся, что все будет по совести, потому и ждал, и уступал им. Вот что оно значит: «Жизнь — это борьба!» Вступил в борьбу — не дай себя победить! Побежден,— значит, ты не прав! На этом собрании должна окончательно определиться моя судьба как ученого, судьба открытия».

И Азиз последним усилием напряг волю, взял себя в руки, приготовился к схватке.

— ...Я одному удивляюсь, товарищи! Как может человек, ученый дойти до такого?! Пренебрегать коллективом, который сделал его человеком. Это же неблагодарность, более того — подлость! — Расул Аллаярович, казалось, был так возмущен, что не находил слов, которые в полной мере передали бы его возмущение.— Работу, сделанную под крылом многих, усилиями многих, с их помощью, благодаря их заботе, назвать своей и только своей! Правильно, немалую ее часть выполнил ты. Ты стоял во главе! У тебя ведь этого никто и не отнимает! Однако положи перед собой тюбетей-

ку, сядь, подумай, посмотри-ка в корень — без коллектива, без помощи и знаний других что ты есть такое? Ничто! Ничто!

Мухиддин Джаббарович поднял руку и сразу же поднялся:

— Расул Аллаярович, извините, что перебиваю вас.— Он достал из кипы бумаг, которые держал в руках, листок.— Хочу поддержать вас одной интересной мыслью, в которой говорится, что всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение, что он обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников. Эта мысль принадлежит Карлу Марксу! Между тем...— Мухиддин Джаббарович не добавил больше ничего и сел.

— Вот! Вот! Именно! — подхватил Расул Аллаярович. Он говорил и говорил — раздраженно, бичующе, горячо, однако не называл имен «прожженных эгоистов», будто имел задачей только поучать и наставлять.

Азиз ждал, когда же произнесут его имя и «понесут» его самого. Он совсем успокоился и приготовился к отпору. То, что Расул Аллаярович все еще не решался перейти в открытую атаку, а все поучал и наставлял, придавало Азизу уверенность: да, нелегко, невозможно даже более или менее здравомыслящему человеку взять и публично приписать ему, Азизу, все эти нелепые, вздорные обвинения.

— Итак,— Расул Аллаярович точно решил дать себе передышку и остыть от возбуждения и гнева,— в нашем институте создан новый, имеющий большое значение для народного хозяйства, сорт хлопчатника. Это заслуга, прежде всего, почтенного и уважаемого нашего профессора, академика Мухиддина Джаббаровича.

Тот сидел, не поднимая глаз от бумаг, скромно и тихо, с совершенно отрешенным видом, будто не о нем и не о его подвиге шла речь.

— Азиз Касымов под его непосредственным руководством проводил исследовательские и опытные работы,— продолжал директор.— Результаты получились хорошие. Теперь вы можете подумать: «Хорошо, если все это так, то зачем весь этот разговор и надо ли было обязательно выносить его на обсуждение собрания?» Мы говорим: «Обязательно надо! Надо!» Я объясню почему. Товарищ Касымов, скажите-ка нам

всем: неужели такое важное, такое солидное открытие сделали вы и только вы один? А где ж коллектив, по-вашему, был? Что другие делали, по-вашему?.. Бездельничали?

Расул Аллаярович обратил гневный и остерегающий взгляд на Азиза. Теперь все повернулись в сторону Азиза и ждали, что он ответит.

— Мы создали для вас все условия: только работайте! И этот участок земли, который взят в колхозе, не ваш, а института. Вы понимаете это? В Москву вас послали. Потом в Дурмень. Что еще нужно? Да об этом только мечтать можно!

Азиз сдержанно пожал плечами. Расул Аллаярович простер руки к сотрудникам, всем своим обликом выражая недоумение.

— Вот видите, он не знает! Однако, сойдя с лошади, вы не желаете слезать с седла. Вспомните изречение Сократа: я знаю, что еще ничего не знаю... Надо быть скромнее, братец! Вы еще молоды!

Тут Азиз поднял руку, попросил слова. Расул Аллаярович, набычившись, уставился на него. Азиз не спеша поднялся, откашлялся:

— Расул Аллаярович, изречение Сократа вы вспомнили кстати. Многим из нас действительно полезно это изречение постоянно помнить. Я не понимаю, Расул Аллаярович, какого ответа вы от меня ждете? Месяцем раньше вы вместе с Мухиддином Джаббаровичем совершенно иначе трактовали историю этой работы. Если заглянуть еще раньше, то...

Расул Аллаярович перебил Азиза:

— Мы, члены ученого совета, продумали этот вопрос. Это успех, достигнутый всем институтом! Пожалуйста, Мухиддин Джаббарович, слово вам! А вы, Касымов, повремените!

— Лично я к словам Расула Аллаяровича полностью присоединяюсь,— изрек академик веско.— Полностью присоединяюсь! Расул Аллаярович не все сказал в своем выступлении. Между тем деяния Касымова этими грехами не ограничиваются. И самое плохое состоит в том, что своими пустыми и вздорными претензиями он вводит в заблуждение вышестоящие организации, партийные органы. Видите ли, всю работу сделал он! Братец, у вас ведь нет даже ученой степени, вы всего-навсего агроном! Если бы вы были кандидатом или доктором, тогда... тогда, навер-

ное, всех нас съели бы,— неожиданно заключил Джаббаров.

— Я горжусь тем, что я агроном! — выкрикнул Азиз с места. Расул Аллаярович постучал по столу карандашом. Джаббаров продолжал:

— Не перебивайте! Касымов ничего бы не смог сделать помимо коллектива, будь он хоть семи пядей во лбу, будь он хоть святым! Между тем если мы расширим состав авторов открытий, то мы только восстановим справедливость. В этот состав я прежде всего хочу ввести Расула Аллаяровича, вернувшего за годы своего руководства былую славу института. Всем известно — еще совсем недавно институт между тем, и я не устану это повторять, был как телега без лошади и без своих четырех колес.— Послышались смешки.— Тянуть такую телегу, сдвинуть ее с места нелегко между тем.

Расул Аллаярович жестом остановил Мухиддина Джаббаровича и, слегка оторвавшись от кресла, сказал:

— Не надо, Мухиддин Джаббарович, не надо, я против. Негоже за мой пост выдвигать в соавторы и меня. Единственно, чего я хочу: пусть восторжествует правда. Я только хочу, чтобы не остались в стороне заслужившие право на соавторство. Что же касается меня, то я непосредственного участия в этой работе не принимал. Мухиддин Джаббарович, за уважение — спасибо. Я отказываюсь,— заключил он непреклонно.

До начала заседания Расул Аллаярович заявил, что он отказывается от соавторства, и Мухиддин Джаббарович подумал: «Ох и хитрый плут, сам спит и видит быть «в числе», но хочет на глазах у людей поломаться, поскромничать». И потому он решил подыграть директору. Сейчас, после категорического его отказа, в голове академика промелькнула мысль: «Неужели он так здорово напуган тем разговором в Центральном Комитете?»

— Мы проанализировали работы института за последние годы, и в частности работы возглавляемой вашим покорным слугой лаборатории, работы по научным изысканиям, отбору и размножению семян элиты и нашли нужным включить в число авторов нового сорта товарищей Баратова и Шорахмедова,— заявил Мухиддин Джаббарович.

Баратов и Шорахмедов не отрывали глаз от пола.

— Почему мы включаем их в состав авторов? Между тем, кстати, было бы правильней товарища Касымова присоединить к ним. Потому что этот опыт — а именно: скрещивание культурного сорта с диким мексиканским сортом хлопчатника с целью получить более устойчивое поколение — между тем уже десять лет назад начал проводить на Чиназском участке Баратов. Кто создал коллекцию семян хлопчатника, которой как-то хвалился в газете Касымов? Названные ученые. Семена эти есть в их коллекции.

Мухиддин Джаббаров нашел в бумагах какой-то фотоснимок и, потрясая им в воздухе, провозгласил:

— Вот этот хлопчатник! Так ведь, товарищ Баратов?..

«Если и дальше молчать, они разденут меня до нитки»,— подумал Азиз и спросил Мухиддина Джаббаровича:

— У Баратова есть материалы?

Академик обернулся к Азизу:

— Эй, когда говорите, извольте вставать с места, если даже станете властелином! — Он побелел.— Материалы? Почему бы им не быть?! Сколько вам надо?!

— Ровно столько, чтобы проверить, убедиться, поверить,— Азиз привстал с места.

— Что, вы хотите меня допрашивать? Между тем кто вы такой? Кто вы?

Расул Аллаярович вновь постучал карандашом по столу.

— Здесь не место для допросов и сличения материалов! — Мухиддин Джаббарович перешел на крик.— Если мне перестали верить, если я утратил доверие, если... Мы покажем вам материалы!

В этот момент попросил слова Толмас Азимов. Директор притворился, что не слышит. Мухиддин Джаббарович, дрожа от негодования, обратился к директору:

— Между тем и год, и два, и три назад я вам внушал, твердил, долбил, что это за человек! Предупреждал, предостерегал, на что способен этот человек! Оскорбляет старших, не уважает старших! — Мухиддин Джаббарович уже не кричал, а верещал.

— Разрешите? — громко сказал Азиз.— У меня и в мыслях не было оскорблять вас, уважаемый домла,

высказывать недоверие. У меня есть один вопрос к вам, Мухиддин Джаббарович, если разрешите.

По кабинету волнами пронеслись шумки-шепотки — осуждающие, поощряющие. Кто-то считал: «Когда мышь хочет погибнуть, она играет с кошкой», и жалеючи смотрели на Азиза. У иных он вызывал досаду и опасение: «Ну, если уж такие авторитеты для него ничто, куда мы зайдем?» Однако были здесь люди, которые радовались и с надеждой ждали: «Пора, давно пора, сколько можно терпеть, вот молодец, выложи им всю правду в глаза!»

Азиз сказал вежливо и уверенно:

— Прошу не счесть это за допрос, домла. Я вовсе не исключаю, что свою работу товарищ Баратов начал десять лет назад. Однако не повторите ли вы нам то, что заявляли здесь неоднократно — и четыре, и три, и два года назад? Вот здесь, в этом кабинете, при всех, сидя на этом самом месте.

Мухиддин Джаббарович побелел как стена; он, кажется, готов был испепелить Азиза взглядом, который красноречиво выражал: «Ах ты, змея! И ты хочешь тягаться со мной?» Решив игнорировать Азиза, Джаббаров обратился прямо к Расулу Аллаяровичу:

— Я считаю ниже своего достоинства препираться здесь с этим невежей и неучем! Я в другом месте буду беседовать о нем и с ним! — Однако угрожать-то академик угрожал, а выглядел — жалко.

Азиз не стерпел, его понесло, подобно камню, летящему вниз с высокой горы и увлекающему за собой все, что попадалось на пути.

— Я напомню, я сделаю это вместо вас. Кстати, личные оскорбления, которые вы себе позволили, говорят не в вашу пользу. Не делают вам чести... — Азиз достал маленький блокнот и перелистал его. — Вот что вы тогда говорили...

Расул Аллаярович опять, уже грозно, забарабанил карандашом по столу, будто из пулемета застрочил:

— Не переходите дозволенного, Касымов! Это храм науки, а не балаган для шуточек!..

— А я и не шучу! Я очень серьезно хочу выяснить принципиальные вопросы. В храме науки больше всего должны ценить истину, научную истину! Факты! Я хочу воссоздать только факты. Сделать мне это нетрудно — свидетелей, к счастью или, вернее, к несчастью, здесь находится множество! Очевидцев этих фактов!

— Вы осознаете, что мелете, Касымов? Опомнитесь! Не забывайте, где вы находитесь! — трудно было разобраться, устрашает Расул Аллаярович Азиза или умоляет.

— Я все осознаю! Я нахожусь в советском учреждении, среди советских людей. В Советском Союзе нахожусь я. А вы об этом не забыли? — произнес Азиз тихо, но так выразительно, что его услышал каждый. — Поэтому не мешайте мне говорить. Сказать то, что я считаю необходимым в кругу моих товарищей и коллег.

Расул Аллаярович был ошарашен, обращаясь к собранию, он залепетал:

— Вы, уважаемые, вы слышите! Разве я душу его голос?..

Его никто не слушал, все были точно прикованы к Азизу, загипнотизированы им.

— Я хочу понять, где, по-вашему, находитесь вы, Мухиддин Джаббарович, и вы, Расул Аллаярович! В советском институте или на торжище, где делят славу, где благим словом «коллектив» хотят прикрыть неблаговидные поступки, попытку, аморальную, безнравственную попытку присвоить себе чужое. Сделать чужое своим, да еще чужое, которому не давали дороги годы, чинили препятствия, публично порицали, отвергали! Где же здесь, помимо всего прочего, научная принципиальность? — Азиз умолк, будто собирался с силами для очередного шага в этом сражении. — Я долго молчал, долго терпел. Вижу теперь, что напрасно. Нельзя терпеть подобное! Нельзя! Терпеть и бояться нельзя! Нельзя допускать надругательства над наукой, над принципами, над собой, наконец! Давайте взглянем истине в лицо — ведь все или почти все, кто здесь находится, были очевидцами того, как мне из месяца в месяц, из года в год твердили: «Ты на ложном, антинаучном пути, методология твоя порочна, ты зря тратишь жизнь на бесперспективное дело...» А теперь, оказывается, академик Джаббаров хочет отдать пальму первенства за подобную же работу своему подопечному Баратову и воздает ему похвалы за аналогичную работу. На мой взгляд, вы, Мухиддин Джаббарович, занимаетесь знаете чем? Разделываете баранью тушу... Вы упрекаете меня высокими учреждениями. Скажите, что вы имеете в виду? Где и кому я жаловался, может, подскажете мне адрес и я и вправду воспользуюсь им?

Мухиддин Джаббарович не издал ни звука, Расул

Аллаярович бесцельно передвигал с места на место очки. Все сидели взволнованные, стараясь осмыслить происходящее.

— Хой, Расул, открой глаза! Что ты творишь! — раздался голос Толмаса Азимова. Громыхая стулом, он поднялся во весь рост. — Ты ведь, в сущности, неплохой человек! На опасный путь сбиваешься! Ты, Расул, как и этот, — он кивнул на Джаббарова, — ты будешь еще академиком! Не торопись, будешь!.. Ведь это же позор, бесстыдство — видеть безобразия, несправедливость и делать вид, что ничего не видишь? Знать цену подлости и притворяться, что не знаешь! Мне стыдно за тебя!.. Если ты потерял совесть и честь, то мы, коллектив, тебе о них напомним.

Душный кабинет сейчас, после первой тишины, казалось взорвется, не выдержит напряжения.

— Расул Аллаярович! Вы можете сказать: «Какое твое дело, Азимов, сиди и помалкивай, знай свое место!» Боюсь, что кое-кто именно так и думает в данный момент. Я отвечу: если бы мы все не помалкивали годами, если бы говорили открыто и честно, Касымов не обливался бы сейчас кровавыми слезами. Неужели же вы их не замечаете, товарищи! Его сердце кровоточит! До каких пор мы будем топтать, попирать честь, защищать алчность, спекулировать своими званиями и былыми — да, былыми! — заслугами... А вы, Мухиддин Джаббарович... да будет вам известно: в инстанции можете обращаться не только вы. Мы не зря носим партийные билеты. И оставлять подобные безобразия без последствий не позволим никому. — Азимов остановился, поискал глазами парторга Бабакулова и, найдя его, сказал: — Я как член партии, как член нашего коллектива требую разобрать поведение коммунистов Аллаярова и Джаббарова, а о результатах доложить партийной организации!.. Прав товарищ Касымов! Эти люди забыли, что они члены нашего советского общества. Такие же, как миллионы других. И что общество, которое возвысило их и дало им так много, вправе с них и спросить, и потребовать отчета.

В кабинете поднялся несусветный шум. Все разом заговорили, многие потянули руки вверх, желая высказаться. Обстановка складывалась не в пользу директора и академика. И тогда Расул Аллаярович поспешил закрыть заседание:

— Товарищи! Тише, спокойнее, тише! Думаю, сей-

час нет смысла продолжать разговор. Он пошел по неправильному руслу. Мы все излишне горячимся, допускаем перехлесты. Давайте успокоимся, обдумаем, подготовимся, а потом соберемся еще разок и потолкуем.

Присутствующие растерялись, потом зароптали. Однако Расул Аллаярович уже скрылся, за ним без промедления последовал и Мухиддин Джаббарович.

Толмас Азимов произнес громко:

— Противник в панике ретировался.

Раздался дружный смех. Около профессора Азимова и Азиза начали собираться люди.

## 25

Каждый день Азиз ездил в кишлак. Дом отца стал его пристанищем. Наблюдая, как мается, не спит по ночам, тает на глазах сын, Курбанбай-ата вознамерился отправиться к невестке. Азиз резко воспротивился и заявил ультимативно: «Поедете — обижусь!» Курбанбай-ата пытался убедить сына: «Помиритесь, чего не бывает в семье! Дай мне хоть спокойно умереть, сынок, сколько мне еще осталось... Не мучай меня напрасно!» Азиз твердил одно и то же: «Не вмешивайтесь в наши семейные распри. Сами, придет время, разберемся». Курбанбаю-ата ничего не оставалось, как примириться: «Поступайте как знаете! Нынешняя молодежь не очень-то считается со стариками».

Азиз был несчастен от сознания, что лишился собственного очага, который грел его и светил ему. Хороша или плоха была его жена, но она по-своему делила с ним его боли и неудачи, сопереживала ему. Он очень скучал по сыну; Бехзод снился ему почти каждую ночь — он звал отца.

Однако возвращаться домой, к Салтанат, Азиз не хотел и не мог.

Через три дня после заседания ученого совета Азиза вызвал к себе ученый секретарь института. У Азиза екнуло сердце: «Ой, неспроста захотел он меня лицезреть, неспроста!»

Ученый секретарь сразу приступил к делу:

— Азиз Касымович! Когда вы будете защищать диссертацию?

— Когда завершу ее,— ответил Азиз.

— Хм-м-м,— протянул ученый секретарь, исподлобья посмотрев на Азиза.— Понятно. Надо поспешить,

дорогой. Вот из академии пришла бумага: скоро начнется переаттестация. Мы пересматриваем штаты. В отделе, где вы работаете, все должны быть кандидатами наук.

— Но ведь я не первый год лаборант этого отдела? — занервничал Азиз.

— Правильно, так было. Я здесь новый человек, только четыре месяца как работаю, но уже кое в чем разобрался. Вашему отделу эта ставка была передана из другого отдела. Это непорядок. Придет ревизия, будет нас упрекать. Могут возникнуть крупные неприятности.

— Какую отсрочку вы мне даете? — спросил Азиз, подавляя в себе злобу.

— Отсрочку? У вас еще два месяца есть. Если за два месяца не защититесь, придется в другом месте искать работу.

— А если не уложусь в срок? — Азиз вскочил и подался вперед.

— Тогда, я сказал уже, повторяю еще раз — придется вам подыскать себе работу в другом месте. Если вы не удовлетворены нашим разговором, пожалуйста, зайдите, побеседуйте к Расулу Аллаяровичу.

У Азиза закружилась голова, закололо сердце, но от ученого секретаря он вышел внешне спокойный. После работы он направился к Махамату-ака.

В этом доме, он знал, ему будет легче, потому что это его второй родной дом и здесь живут родные, близкие люди. Махамат-ака от души обрадовался Азизу:

— Ие-ие, посмотрите-ка на палвана! Азизджон, женушка моя вас, оказывается, жалует, прямо к плову подоспели! Я утром заказал ей плов, Иклимхон большая мастерица. Хорошо, что пожаловали...

Услышав, что муж с кем-то громко разговаривает, из кухни появилась Иклимхон. Она подошла к Азизу, поздоровалась с ним, как с сыном, ласково похлопав его по плечу. «Опять вы один, без невестки», — мягко пожурила она Азиза и тотчас прикусила язычок: ей бросились в глаза несвежая рубашка, помятые брюки и загнанный, совсем измученный вид Азиза.

Когда Иклимхон коснулась его плеча маленькой сильной рукой, Азиз вспомнил мать и к ужасу своему почувствовал: еще миг — и он расплачется навзрыд. Он поспешно отвернулся и притворился, что наблюдает, как во дворе внуки и Муборак задают корм ов-

цам. Он невольно отметил про себя, что в прошлый раз дочь Махамата-ака тоже была у родителей; бедняжка, посочувствовал он, видно, плохо у нее сложилась собственная семейная жизнь.

Азиз последовал за хозяином в комнату, украшенную нарядными коврами. Махамат-ака усадил Азиза на самое почетное место.

— Веришь ли, сердце будто обещало мне, что будет у меня сегодня радость,— оживленный, веселый Махамат Упрямец лихо подкручивал свои усы. Он выглядел намного здоровее и бодрее, хотя запавшие глаза свидетельствовали о недавно перенесенной тяжелой болезни.

— Вон, у матушки вашей полюбопытствуйте, если, конечно, мне не верите, утром пью я чай, в моей пиале, гляжу, плавает чаинка, такая же тонкая и сухая, как вы.

— Да, да, Азизджон,— подтвердила Иклимхон, расстилая дастархан.— Он несколько раз повторил: «Будет у нас гость, будет».

Пока хозяин и гость угощались, Азиз молчал о главном, что его привело сюда: «Что я буду с порога жаловаться и стенать, погожу немного». Они беседовали о том о сем, пили чай, ели плов, опять пили чай... Когда Иклимхон собрала дастархан и вышла, в комнате на минуту установилась тишина. И тут Махамат Упрямец, как человек, спохватившийся, что забыл сообщить о чем-то важном, скороговоркой произнес:

— Ну как, теперь-то вас больше не трогают? Не терзают? Я ведь все рассказал секретарю.

— Какому секретарю? — Азиз похолодел, будто приблизился к долгожданной разгадке.

— Какой же может быть секретарь? Секретарь ЦК! Вот такой человек! — и Махамат-ака поднял вверх большой палец.— На Празднике урожая его видел. Рассказывать о вас и в мыслях не было; он сам начал расспрашивать: «Ну как, Махамат-ака, вас что-то не слышно! Обещали во второй раз стать Героем. Или забыли про свое обещание, или и вас вилт подкосил? — пошутил он. Потом пожал мне руку:— Махамат-ака, подождите еще немного, появился новый сорт, который обрадует, согреет вашу душу, через год-два дойдет он и до вас, вот тогда и станете Героем.— А потом вдруг спохватился:— Постойте, постойте! Да что это я! Этот сорт в вашем колхозе создан!..» Тут я не выдержал, все ему выложил, все как есть. Он

очень рассердился, возмутился: «И товарищи из обкома мне тоже говорили о чем-то подобном». Вытащил секретарь из кармана маленькую книжечку и что-то в ней начертал. Вот и все!

До Азиза доходили слухи, что его сортом интересуются руководители обкома, однако ни Расул Аллаярович, ни Мухиддин Джаббарович сами ему ничего не сообщали об этом, даже в лучшие времена. Азиз подумал: «Почему тогда оба домлы встали против меня на дыбы? Почему устроили это судилище? Как это тогда понимать?»

Махамат-ака ни о чем не подозревал, живо продолжал:

— Дай бог ему здоровья и благоденствия, замечательный человек! Звезду Героя вручал мне этот самый секретарь, давно это было, время-то как летит! Гуманный, вдумчивый руководитель. Партия знает, кого на такой пост ставить! — Махамат-ака с удовольствием погладил свои усы. — Ну и что, произошли благие перемены?

— Произошли, — подтвердил Азиз и горько усмехнулся.

Махамат-ака понял, что-то стряслось опять. Он налил Азизу чаю, протянул ему пиалу и после паузы скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес:

— У вас неприятности...

Азиз поведал Махамату-ака о последних событиях и добавил:

— Махамат-ака, помните, я просил вас не связываться с ними, я-то знаю их, этих людей, они уже не могут быть иными. Меня они теперь выживают из института.

— Подлецы! — отчеканил Махамат Упрямец. — Ничего, успокойтесь, Азизджон. Я стремился сделать добро. Получилось наоборот, плохо получилось. Как будто под их кулаки вас подставил. Но не зря зовусь я «Упрямец»!.. Поднялись эти «уважаемые» домлы наверх, забыли совесть, распоясались...

— Помыслы, намерения ваши, Махамат-ака, правильны и чисты. Но в научной среде все гораздо сложнее... Не так, как у вас...

— «У нас, у вас» — что это еще за слова?! — вспылил Махамат-ака. — В сущности в том, что процветают этакие подлецы, виноваты вот такие люди, как вы и ваши коллеги, которые боятся даже своей тени! «Ес-

ли истец слабый и вялый, то и судья становится жуликом», это вам знакомо? Так оно и получается: ходите, услужливо кланяетесь даже им в спину, подаете им калоши, обуваете, а как стукнут вас по голове, вы сразу сникаете. Пока вас не трогают, вы спокойно проходите мимо их безобразий: мол, и видеть не видел, и слышать не слышал! Человек живет на свете один раз! Если в этой единственной своей жизни он не будет говорить правду, когда же он будет говорить ее — потом, в могиле, что ли?!.. Нет, я не нападаю на вас, наоборот, хвалю. Вы молодец, и профессор ваш Азимов — тоже. Это, конечно, здорово, по-нашему, что вы все им высказали. Молодцы! Но надо доводить начатое до конца. От слов — к делу, вот что важно! Не вешать нос! Действовать!

Матушка Иклимхон знала характер мужа и, услышав его возбужденный голос, зашла потихоньку в комнату, вроде бы заменить остывший чай. Махамат-ака сердито посмотрел на жену, потом сказал уже более спокойно:

— Братец, если мы не будем бороться за правду, то нельзя и требовать справедливости, правды. Запомните: у мерзавцев ноги быстрее, чем у честных людей, локти крепче, языки речистее. У них железная хватка, они все время готовы к бою. Чтобы уцелеть. Однако правдивому слову — нет погибели.

Махамат Упрямец замолчал, потом опять начал горячиться:

— Ну и гусь этот Мухиддин Джаббарович! Морочил вам голову: мол, пустяками занимаетесь! Э, господи! А теперь он хозяин открытия? Еще навязывает вам других... Очень хорошо, что вы мне об этом рассказали. Хорошо, что рассказали. Ну, и дела!.. Я официально обращусь в ЦК. Теперь нельзя поступить иначе.

Махамат-ака обратился к жене, принесшей горячий чай:

— Каналхон! Чай это хорошо, но почему ты жадничаешь? Не подаешь нам дыни-пыни! А еще говоришь, что соскучилась по Азизу,— он засмеялся, обнажив крепкие зубы.

Матушка Иклимхон и не стала укорять мужа за то, что он при госте стыдит ее. Она весело заохала — «ой, ой, что вы, всей душой».

— Вы не посчитайте, братец, что мне неведомы хорошие, добрые слова и что дела я решаю только с ру-

ганью, со скандалом,— обратился Махамат-ака к Азизу.— Я знаю, что доброе слово и верблюда может усадить наземь. Однако доброе слово — оно годится для человека понятливого. А если он не таков, его надо и ругать, и бить его надо, при необходимости. Правда, человека, которого не проймешь словами, не убедишь и кулаками.

В комнату проворно вошла матушка Иклимхон, держа в руках большой поднос. Азиз быстро вскочил, взял у нее поднос с дыней и поставил его на вновь расстеленную скатерть. Махамат Упрямец вытащил из-за голенища ножик с ручкой из слоновой кости, полюбовался им, затем стал разрезать дыню на куски.

Спустя час на пороге комнаты показалась матушка Иклимхон и сказала мужу:

— Вы немного подвиньтесь в сторонку, я приготовлю здесь постель гостю.

Она ловко расстелила на ковре две мягкие постели, одну из них накрыла атласным одеялом: «Вот эта ваша»,— показала она Азизу и пожелала им доброй ночи.

Когда Азиз улегся в постель, Махамат-ака потушил свет и спросил:

— Ну, как, хорошо устроились? Если не хочется спать, то зажгите ночник, почитайте чего-нибудь.

Азиз щелкнул выключателем. Комната показалась ему особенно уютной и красивой — посуда в нишах, мебель, ковры. Азиз раньше как-то не обращал внимания на портрет старой женщины, висящий на стене. У нее было благородное, волевое лицо. Азиз оторвал голову от подушки, приподнялся на локтях и поинтересовался:

— Это ваша матушка?

Махамат-ака посмотрел на портрет и кивнул:

— Это моя теща, вот уже десять лет, как ее нет. Очень хорошая была женщина, очень хорошая.

Азиз не раз собирался расспросить Махамата-ака о его детстве, о молодых годах, да все некогда было. И вдруг Махамат-ака спросил сам:

— Азизджон, я вам рассказывал, что повидал, что испытал на своем веку?

— Нет, не рассказывали, а хотелось бы узнать,— ответил Азиз в приятном предвкушении чего-то значительного.

Махамат-ака сел на постели, сложил руки на согнутых коленях.

— Вот вы спросили о покойной моей теще — и мне многое сразу пришло на память, братец... Когда мне было четыре года, я в один несчастный день потерял сразу всех своих близких — и мать, и отца, и старшую сестру. В один день. Вот что выпало мне на долю, Азизджон! На эту вот голову сколько сыпалось всего — и забот, и неприятностей, и настоящего, лютого горя!.. Потому-то я так злюсь, когда вижу пресытившихся людей! Есть такие, что с жиру бесятся, от сытой жизни, от достатка. Всего-то таким людишкам мало, чего-то еще им подавай! Конечно, против одного негодяя можно выставить сто хороших людей, это верно, но и тунеядцев в науке хватает. И откуда они берутся? Советской власти больше шести десятков лет. Наша партия, наше государство делают для людей много святых дел. Потому особенно обидно, что есть людишки как сорняк — сосут чужие соки... Бесполезные, никчемные, только для себя живущие, вернее, существующие. Вы не примите мои слова так, что вот, мол, старый брюзга, вырос без отцовской и материнской ласки, в нужде, и потому, мол, питает неприязнь к людям, живущим в достатке! Нет! Расти без отца и матери — участь очень тяжелая, это может понять только человек, который сам ее испытал! К людям добропорядочным, поверьте, у меня и зернышка зависти и злости нет, только уважение. Есть, однако, у меня печаль и обида, братец, есть обида — на людей, которые, вместо того чтобы честно трудиться для государства, для страны, для народа, быть тысячу раз им благодарными, жульничают. Этот самый Мухиддин Джаббарович! Чего ему недостает? Денег, богатства? Всего, всего полным-полно! Если даже и не полно,— какое он право имеет зариться на чужое? Был бы он безграмотным, непонимающим, темным человеком, тогда и спрос другой, простить нельзя, но объяснить еще как-то можно. А ведь он известный человек! Вот эти мозоли на моих руках от семян хлопка, которые он создал. Такой почитаемый человек на старости лет ведет себя так недостойно. Вот что меня печалит, друг мой!

Махамат Упрямец повздыхал, беспокойно ерзая на месте:

— Видно, отвык человек трудиться честно. Верно говорят, если в рот попал кусок, заработанный нечестно, легко превратиться в лакомку...

Вдруг Махамат-ака умолк, потом засмеялся:

— Э-э, когда человек стареет, он снова в ребенка превращается, ей-богу. Вот состаритесь, вспомните мои слова. Стал забывать, терять нить разговора. Мысли будто ветром сдувает, никак их не ухватишь... Но не могу успокоиться, кровь закипает, когда думаю об этих ваших «мудрецах», братец... Меня прозвали «Упрямец» не зря, прозвали люди, они напрасно прозвище не дадут... Вообще-то предки мои из Намангана, есть там кишлак Ташкурган. Бывали в тех краях, Азизджон? Нет? Я покинул Ташкурган мальчонкой четырехлетним. Там и сейчас живут мои дяди и другие родственники, но с детства я рос отдельно от них, далеко, потому особой родственной привязанности друг к другу мы не питаем, редко навещаем друг друга... Опять я отвлекся. Одним словом, мне четыре года; как сейчас вижу наш крохотный дворик... Отца чуточку помню — усищи как мечи; энергичный, высокого роста. Мать не помню совсем. Бедняжка... Я и сестру не помню. Она была на два года старше меня. Отец мой был человек суровый, может, поэтому и остался в памяти? Да, Азизджон, события той ночи никогда не изгладятся из моего сердца, их будто пригвоздил кто. Зима еще толком и не наступила, ночевали мы на айване. Лампа на полке в углу была потушена. Я не понимал, конечно, кем был мой отец, но он был весь перетянут кожаными ремнями — и на груди, и на поясе ремни, ездил он на большом белом коне. Было у него и оружие... В ту ночь я проснулся от громких голосов и топота, оттого, что кто-то громко вскрикнул. Я испугался, сердце бьется: тук-тук-тук; высунул я потихоньку голову из-под одеяла, вижу, кого-то душат, слышится хрип. Я еще больше испугался. Кто-то вздохнул «ох» — страшно так, будто со светом белым прощался. Слышались обрывки разговоров, шепот, короткие команды. Затем шаги удалились, кругом опустилась тишина. Сердце мое трепетало, как у воробушка.

Махамат-ака, чтобы не выдать волнения, остановился, набрал воздух. Азиз лежал, не шелохнувшись.

— Сколько прошло времени, я не знаю. Неожиданно на айване кто-то жалобно застонал. И сейчас этот стон у меня в ушах раздается. Я быстро вылез из своего укрытия. На айване у порога горела маленькая свечка, бросала неясный свет вокруг. Гляжу, и отец, и мать, и сестра лежат в лужах крови. Мать как будто заснула, свернувшись калачиком. Я бросился на тело

отца и громко заплакал. Потом люди говорили, что мать еще была жива и скончалась по дороге к врачу. И стонала, оказывается, она...

Азизу стало так жаль этого человека, так жаль!.. Человека, с которым он временами и спорил, и ругался, с которым дружил и который стал ему так нужен, так необходим! Он непроизвольно всхлипнул.

— Не надо, не надо, Азизджон. Все это — в прошлом. Порой и у меня сжимается сердце, хочется в голос реветь и хотя бы немного облегчить душу слезами. Однако креплюсь. Даже перед памятью отца не хочу быть слабым. Мне кажется, что если я буду плакать, то враги мои будут смеяться... Скоро наш дворик был до отказа набит народом. Кто-то взял меня на руки, прижал к себе, целовал мои заплаканные глаза и лицо. Кругом плач, рыдания. На другой же день меня отправили в Ташкент в детский дом. Новые люди кругом, все новое, но я постепенно привык.

Махамат Упрямец раскладывал свои мысли как бы в ряд не спеша.

— В ту ночь кроме моего отца, матери и сестры басмачи убили еще четырех комсомольцев. Поначалу их избили до полусмерти, потом поволокли на окраину кладбища, разожгли там огонь и сожгли их заживо. Э-э-эх, Азизджон, я лишился в четыре года родителей, детства... Тысячу, тысячу раз спасибо советской власти, которая не дала испытать мне сиротскую долю, проявила большую ласку, вывела в люди. Я дал клятву, пока жива во мне хоть одна клеточка, служить ей честно и верно. Советская власть для меня и отец и мать... Братец, ей-богу, меня не напрасно называют «Упрямец». Одни зовут меня так в шутку, по-доброму,— на них я не обижаюсь. Однако есть и такие, которые меня недолюбливают: я для них что лишняя соль в каше! Невзирая на лица, прямо и открыто говорю, если вижу непорядок. Бывший председатель наш был тот еще типчик, ему палец в рот не клади! Ох, не любил критику. Не знаю, где он сейчас пристроился, но мы его сняли. Э-э, братец, горькая пилюля кому по вкусу? Вор или развратная женщина и те считают себя чище ишана. Скажешь правду — не нравится! Ну, а я буду говорить все равно!

Если бы Азиз не постеснялся, он обнял бы Махамата Упрямца и крепко его расцеловал. Человек вынес такие испытания! Такие несчастья пронес с достоин-

ством, через всю свою жизнь! И никогда не подавал виду, не жаловался! Азиз сравнил себя с Махаматом-ака и поморщился от брезгливости к себе.

— Махамат-ака, а потом что? Что было потом?

— Потом? Что же может быть? Рос в детдоме. Участвовал в строительстве Большого Ферганского канала. Тогда я был сильным джигитом. Прямо тигр! Да, вот еще послушайте! — глаза Махамата-ака озорно блеснули.— Я и тогда был бригадиром. Мы вызвали на соревнование бригаду кетменщиков, с соседнего участка. Подумать только: канал построили вручную — кетмени да тачки, вот и вся техника — за сорок пять дней. Вот что такое энтузиазм! Как раз в тот день, когда мы победили — бывают же совпадения! — к нам приехал Усман-ата. Хорошо помню: кепка на голове, белая рубашка с короткими рукавами, брюки галифе. Спина и плечи в пыли, совсем как у кетменщика. Видно, он прослышал о нашем соревновании, поэтому и спросил у нас с ходу: «Хорошо, молодцы, ну а кто победил?» Все хором назвали мое имя. Он остановился возле меня, я, видимо, показался ему очень молодым, и раз — обхватил меня за пояс, приподнял и покружил, потом поставил на землю, похлопал меня вот по этому плечу,— Махамат-ака показал на левое плечо,— и сказал: «Спасибо, браток! Спасибо! Отцу твоему спасибо! Сын должен быть достоин отца». И Усман-ата быстрым шагом, тяжело ступая, направился на другой участок. До сих пор не ведаю, знал ли Усман Юсупов что-либо о моем отце, о его гибели от рук басмачей или эта фраза просто так к слову пришлась, однако до сих пор она согревает меня. Вот уже около тридцати лет я в этом колхозе. Да, ведь и матушку Иклимхон я встретил на канале. Поэтому и называю ее иногда Каналхон. У нее тогда были длинные волосы, почти до колен; она была заправская повариха. Сколько, сколько увивалось около нее молодцов! Однако ее суженым я оказался! Я! — Махамат Упрямец гордо выпятил грудь.— Вот так-то! Я счастлив этим! Я доволен своей семьей, браток, жена у меня золотая. Благодаря ей, жене, я и авторитет завоевал, и людей стал больше понимать и ценить... Азизджон, на всем белом свете лишь один человек мне всю правду говорит — это моя жена. Не часто, конечно, но даже родственники или близкий приятель может сказать мне, глядя в глаза, неправду. Слукавить. Однако матушка Иклимхон гово-

рит мне только правду, какая бы горькая она ни была. Иногда даже, вспылив, я ее обижу, скажу резкость, а потом начинаю жалеть, подумаю-подумаю и прихожу к ней с повинной. Сын мой пошел в деда, очень на него похож. Офицер, служит в Берлине, женился на немке. Имеет уже сына. Каждый год приезжает в отпуск, берет с собой жену и сына. Такой у меня славный внук! От смешанных браков дети особенно красивые, как ваш вилтоустойчивый сорт. Старшая дочь агроном-шелковод, у нее все благополучно. А вот Муборак, вы ее хорошо знаете...

Махамат Упрямец сник, пригорюнился. Азиз догадался, что сбываются его опасения относительно Муборак, Махамат-ака, по своей привычке ничего на полпути не оставлять, продолжал:

— Заводить семью иногда — словно играть в азартную игру: выиграешь ли, проиграешь ли — неизвестно. Как увижу свою Мубор — сердце сжимается. Муж оказался никудышным. А ведь сын приличных родителей. Пьет, негодяй. Помните, разве такой была моя дочь, когда провожали ее в дом мужа? Какая была веселая, пышущая здоровьем. Лицо как ясный месяц, глаза как ясный день. А теперь и узнать нельзя. Этот подлый, оказывается, даже бил мою дочь! Раз вмешался его отец, заступился, так сын и его поколотил. Дочь скрывала от меня. Однажды попала в сельскую больницу, будто желтуха у нее. Явился я к ней, вижу — у нее лицо все в синяках... И тогда смолчала, не пожаловалась. А я глупец! Выпроваживал, бывало, ее из своего дома, когда она, заплаканная, приходила к нам. Говорил ей: «Ты, мол, свои скандалы сюда не носи, иди и утрясай их в своей семье!» Я был так взбешен, увидя дочку мою в синяках, что бросился к ним домой. Нет негодяя, ох, попался бы он мне тогда под горячую руку!.. Отец со слезами на глазах мне все и выложил, а я свою злость на старике и сорвал. «Чем теперь слезы лить, лучше бы раньше думали! Надо было раньше его воспитывать да приструнивать!» Раскричался, это я умею! Потом решил: разве может моя дочь, нежная, как цветок, быть женой подлеца! Кто может быть недостойнее человека, поднимающего руку на отца родного! Вот и привел ее обратно к нам в дом. Я ее растил, воспитывал, ночей не спал, если хворала, лелеял. Вырастил хорошим человеком, труженицей, доверил ее мужчине, а он мою кровинушку... — Махамат-ака засто-

нал.— Как мы все это только выдерживаем? Мать убивается! Ребенок — это кусочек твоего сердца! Глядя на детей, я всегда помню, что сам лишился родителей, рос один. В заботах о детях, печалях и тревогах о них сердце мое покрылось мозолями. Не могу переносить, если они плачут. Заявился к нам ее муженек, каялся, бил себя в грудь. Мы его не простили. Вернуться-то она к нам вернулась, но разве избавилась от сердечной боли? Где уж там! Скроется в уголке и плачет. А чем ей помочь, что сказать, что сделать? Верно говорят в народе: малое дитя спать не дает, большое дитя — сам не уснешь...

Слушая Махамата-ака, глядя на него, Азиз устыдился, что с таким запозданием открыл для себя этого человека, его характер, его беды и нелегкое его житье. Все нам некогда, все спешим, проходим мимо самого главного... Он осуждал себя за невнимание к людям, за то, что привык рассматривать-изучать семена, но не привык заглядывать в самую глубь человеческих сердец и человеческих глаз. И вот потому-то и свою Салтанат проглядел...

Азиз не решался нарушить установившуюся тишину. Махамат-ака будто уменьшился на глазах. Он зябко повел плечами и укрылся одеялом.

— По-моему, уже поздно, пора спать. Раскрыл вам душу, как сыну. Вот так-то, Азизджон, жизнь — непростая штука. А вы... Ничего не опасайтесь, никого не бойтесь, правда на вашей стороне. И с работы выгнать не посмеют, и ученость вашу у вас не отнимут. Ну, давайте спать.

Когда Азиз проснулся, где-то рядом раздался победный клич петуха. Он взглянул в окно,— было еще довольно темно; за окном едва-едва синел рассвет. Он потихоньку протянул руку к лампе, включил ее, посмотрел на часы: начало шестого. Он оделся, открыл дверь и вышел. На дворе было холодно, влажно, неуютно. Накинув на плечи пиджак, он направился в глубину сада. Его легкие башмаки сразу промокли. Он с тоской подумал: не сегодня завтра выпадет снег, в чем же я буду ходить? Все вещи остались дома. Кого-то надо за ними послать. Может быть, отца... Сам — хоть умру, не пойду. Азиз осторожно шагал по меже и глубоко вдыхал запах сена, у него опять возникла мысль: «Хорошо бы возвратиться в кишлак. Правда, покоя здесь тоже нет...» Замычала корова, за низким

дувалом в соседнем дворе послышался звон выпавшего из чьих-то рук ведра. Женский голос произнес: «Спокойно, спокойно». За садом, там, где стоял дом под железной крышей, начали раздаваться удары топорика.

Голые ветки деревьев осветились утренней зарей, и Азиз через небольшую дверцу перешел из сада во двор. Махамат-ака, накинув на плечи длинный халат, раздувал на айване самовар...

## 26

Махамат Турдыбаев вышел из Центрального Комитета в приподнятом настроении. Несмотря на то что время было вечернее и ему еще надо было добираться до дома, он решил направиться в Чиланзар и повидать Азиза...

Секретарь Центрального Комитета еще после встречи с бригадиром на Празднике урожая вызвал к себе заведующего отделом сельского хозяйства Машарипова и поручил ему хорошенько изучить вопрос с сортом Касымова и о результатах доложить. Машарипов обратился за помощью и материалами к Закиру Кушмакову, и они вдвоем приступили к делу.

Узнав теперь от Махамата Упрямца о последних событиях в институте, о том, что Аллаяров и Джаббаров не унимаются, секретарь ЦК поначалу усомнился, правда ли это. Потом связался по телефону с Машариповым; выслушал его, потом сказал:

— Я вас прошу, товарищ Машарипов, пригласите ко мне директора института, товарища Джаббарова, секретаря партийной организации, кого еще вызвать?.. Да, правильно, товарища Кушмакова — завтра, нет, послезавтра, второго декабря, в одиннадцать часов. Вы заходите вместе со всеми, разумеется.

Секретарь посмотрел на Махамата Упрямца, задумался, точно размышляя вслух, проговорил:

— Это дело мы проверим, Махамат-ака, разберемся досконально. Увы, правда выявляется иной раз с большим опозданием. Трудно выявляется... Сейчас у нас работа у всех напряженная, подводим итоги, выполняем взятые на себя обязательства. У вас гора с плеч, поздравляю, смотрел, смотрел сводку, ваш район первый в области по всем показателям завершил уже и зяблевую пахоту. Спасибо. Молодцы. Однако в Каракалпакии и в Хорезме этот год был очень тяжелым. В неко-

торых местах пересевали семена по четыре, по пять раз. Хлопка там уродилось достаточно, да и осень была не капризная, вот и надо помочь товарищам наверстать упущенное весной, оказать им всяческую поддержку. Сегодня все члены бюро разъезжаются по областям. И я тоже, встречусь с вашими домла и сразу вылечу в Каракалпакию. А освобожусь немного, приглашу к себе Азиза Касымова и потолкую с ним сам... Товарищи отправили, кстати, данные о новом сорте в Москву. Будущее у этого молодого ученого — светлое. Жаль, что того же нельзя сказать о сегодняшней его жизни, жаль! Думаю, Махамат-ака, объяснять вам не требуется, как я возмущен ситуацией, которая сложилась. Безобразие! Ну, что еще, какие поручения вы мне еще дадите? — Каждый раз, когда секретарь был особенно занят, он этим вопросом давал понять Махамату Упрямцу, что дел у него невпроворот.

Махамат-ака поблагодарил секретаря ЦК и тепло распрощался с ним. Рабочий день уже окончился, но в приемной было много народа...

Бригадир залез на заднее сиденье колхозного газика и бодро бросил шоферу: «В Чиланзар, адрес тебе известен!» Махамат-ака ликовал: он верил — секретарь своих слов на ветер не бросает и, как человек решительный и строгий, сурово взыщет с этих мошенников.

Махамат-ака очнулся от своих мыслей, когда шофер лихо подрулил к дому Азиза. Он коротко сообщил шоферу: «Долго не задержусь, скоро отправимся в кишлак!» На улице было темным-темно.

Салтанат открыла дверь, как только Махамат-ака позвонил, и сразу же посмотрела за его спину, словно желая удостовериться, нет ли там еще кого-нибудь. Махамату-ака это показалось странным. Хозяйка упавшим голосом пригласила Махамата-ака: «Салам аллейкум, Махамат-ака, проходите, проходите, пожалуйста». Гость расплылся в улыбке, ему приятно было видеть Салтанат, еще приятнее было явиться в роли доброго вестника. Он тщательно, по укоренившейся привычке, вытер обувь и шагнул через порог. Он пошарил по карманам, подозвал к себе Бехзода, подглядывавшего за гостем одним глазком из комнаты, протянул ему шоколад в красочной обертке. Мальчик взял его молча.

— Ой, Безходжон, не стыдно тебе! Что нужно сказать дядюшке?

— Спасибо...

— Эй, сынок, будь здоров, будь здоров! Расти джигитом! — Махамат-ака огляделся вокруг. — Что, и на этот раз Азиза нет дома? Когда же его можно застать? Невестушка, вы ему много воли даете.

У Салтанат защемило сердце. Она так обрадовалась приходу Махамата-ака: и потому, что встретила близкого человека, человека, который любил и знал Азиза, и потому, что надеялась: наверное, приехал мирить нас!

— Азиз-ака ушел из дому... Я не знаю, где он, что с ним... Уже давно, — она потупилась.

— Э-э, невестка, да не ослышался ли я? Что вы такое сказали?! Это что еще за новости такие? — Махамат Упрямец ушам собственным не верил: — Когда?

— Вот уже скоро двадцать дней будет...

Махамат-ака опустил голову и пробормотал: «Вот как!» Он посчитал неловким допытываться у женщины, почему так оно случилось, пожалел о том, что не вовремя зашел. Он погладил по головке Бехзода, продолжавшего жаться около двери, и хотя Салтанат настойчиво приглашала: «Входите, входите, посидите с нами, отдохните», он мягко отказался и стал прощаться. Уже на пороге сказал:

— Невестка, в семье все бывает, не мучайтесь, все станет на свое место, не горюйте. Я поговорю с Азизом.

У Салтанат задрожали губы, на глазах выступили слезы, она прикрыла лицо руками. Перед глазами Махамата Упрямца словно предстала его дочь Муборак.

— Я сам вразумлю этого глупца! — он сверкнул глазами. — Не переживайте, не убивайтесь, доченька. Он не стоит ваших слез! Не плачьте, дочка. Где он сейчас, интересно, шатается?

Салтанат пожала плечами... Махамат Упрямец повернулся и стал спускаться по ступенькам, сердито стуча сапогами. Салтанат разрыдалась еще горше: Махамат-ака такой простодушный, такой доверчивый человек, что и на минуту не подумал, что всему виной она.

Махамат-ака отрывисто бросил шоферу:

— Поезжай!

«Вот проходимец, — ругал он Азиза. — Такой смиренник, кажется, что и травинку из рта овцы не вынет, а на самом деле вон что вытворяет! — Потом Махамат-ака немного успокоился: — Неужели этот парень спосо-

бен на жестокость!.. Сын есть у него, малое дитя, жена красивая, хозяйка проворная. Однако отношения у них вроде бы натянутые, какие-то не такие, как положено быть у молодых людей. Это я заметил, еще когда в первый раз посетил их дом. Еще тогда удивился, отчего бы это, чего они не поделили? Как бы там ни было, Азиз не прав. Виноват в любом случае Азиз. Он мужчина. Однако где же болтается этот бедолага, уж больно не везет ему, кругом плохо! Наверное, у отца... А я хотел рассказать ему про встречу с секретарем, поднять его настроение, и вдруг на тебе!.. Никак не улыбнется ему удача, никак. Надо найти Азиза и дать ему добрый совет. Добрый совет, а не взбучку».

* * *

Когда Расул Аллаярович узнал, что его вызывает к себе секретарь Центрального Комитета, он здорово струхнул: «Я-то надеялся, что у этого паршивца не хватит сил и смелости тягаться с нами, побарахтается и сдастся, прибежит просить прощения и пощады, а оказалось, что я ошибся. Голова моя никак не освободится от забот и неприятностей... Каким хитрецом оказался! Ходит, помалкивает себе, а сам! Ну ладно, поскандалили бы здесь, в институте! Теперь придется краснеть в Центральном Комитете...— Коли земля твердая, то во время пахоты в этом бык винит быка, так и Расул Аллаярович начал искать виноватых да неправых.— И зачем мне надо было слушать советов Мухиддина Джаббаровича?! А этот мой «приятель», мой «друг детства» сколько тут всего напортачил-наговорил мне! Подобного я за всю свою жизнь не слыхивал! Превратил меня, мой авторитет — в ничто, в нуль! Но мы, положа руку на сердце,— перестарались. Видно, поклеп, несправедливость в самом деле даже немого сделают оратором. Получилось нехорошо. А тут еще эта проклятая переаттестация, небось и ученый секретарь переборщил тоже. Касымов наверняка пожаловался, что его-де преследуют, сводят счеты, мстят за критику. Напрасно я перепоручил такой щекотливый разговор... А Джаббаров, наша гордость и краса! Очень уж он неуживчивый, спесивый человек, все пыжится, пыжится! Ну зачем лезть на рожон? Э-э, ему-то все дозволено!

Теперь скажут: ты был необъективен, беспринци-

пен, не сумел четко и правильно проводить политику партии в работе с кадрами! А сами решат: что же этакого человека мы держим на столь ответственном участке? Да, этот скандал заденет меня, только меня. Да, я чересчур увлекся. Меня и раньше предупреждали — остерегайтесь этого человека! Несчастного Касымова мы просто затюкали, вот он и взвился — а что ему делать, на лягушку наступишь — и она заквакает... Нехорошо получилось, запутанная ситуация создалась, опасная, чреватая многими бедами — на мою голову. Однако кому этот тихоня мог нажаловаться на нас? Хорош себе тихоня, правильно Джаббаров называет его «несносный Касымов». Наверно, своему дружку Герою, а может, прямо в ЦК? Да, есть в этом парне что-то скрытное, неуловимое, не поддающееся нашему влиянию... Аж до секретаря добрался... Вдруг и того уже — Азимов вмешался, пожаловался? Да еще вкупе с кем-нибудь?»

Расул Аллаярович решил сам поставить в известность Мухиддина Джаббаровича о вызове в ЦК.

— Что еще стряслось? — воскликнул академик, завидев расстроенное лицо директора.

— Вызывают в ЦК. К секретарю.

Мухиддин Джаббарович побагровел.

— Ну что ж, вызывает, так пойдем! — процедил он сквозь зубы.

Это еще больше обеспокоило Расула Аллаяровича: «Как бы он еще больше дров не наломал!»

— Мухиддин Джаббарович! Давайте потише, поспокойнее, поскромнее. Если разобраться, кто мы с вами такие? — сказал он.

Лицо Мухиддина Джаббаровича приобрело свекольный оттенок, но он промолчал. Потом удобно расположился в «своем» кресле и, посмотрев на носок своего ботинка, усмехнулся:

— Вы, возможно, и не знаете, кто вы такой, однако, кто я такой, я себе даю отчет!

Эта явная грубость больно задела Расула Аллаяровича.

— Э, домла! Да бросьте вы заноситься! Если говорить начистоту, то в работе Касымова ни вы, ни я и никто другой участия не принимал, разве лишь мешали ей! Так что уж на эту-то работу мы не имеем права притязать, ни малейшего права! — Он со злостью показал на кончик ногтя.— Даже вот такого! Понятно?!

— Тогда зачем же вы стали соавтором монографии?

— Будьте покойны! Я уже известил издательство, что книга выйдет только под одной фамилией — Азиза Касымова.

Мухиддин Джаббарович рассвирепел.

— Вы беспринципный человек! — крикнул он и, сшибая на ходу стулья, ринулся вон из кабинета.

«Ничего, ничего, пусть из тебя пар выйдет, — подумал Расул Аллаярович. — Э, где есть работа, там есть и ошибки, жизнь сложная штука, будь человек хоть мудрецом, нет-нет да и споткнется. Это неизбежно. Все дело в том, чтобы признать вовремя свои ошибки. С умом признать, покаяться, повиниться. Власти у нас добрые, простят. К чему это нам обязательно отрицать свои ошибки? Что мы — ангелы безгрешные?.. Ошибок не надо бояться. Хотим мы этого или не хотим, а в жизни без ошибок не обойдешься, Ум человека в том и заключается, чтобы вовремя признать эти ошибки. Академик пусть покипит. Покипит, попенится, глядишь — и остынет. В норму придет».

* * *

Вопреки ожиданиям Расула Аллаяровича, секретарь Центрального Комитета встретил их тепло. Он вышел им навстречу, с каждым поздоровался за руку. Ему было лет шестьдесят. Он был выше среднего роста, у него были спокойные, неторопливые движения, веселые, внимательные глаза. После приветствий и обмена вежливыми вопросами и ответами общего порядка секретарь показал на макет гидростанции, установленный на его столе, и этим, собственно, начал разговор о будущем хлопководства в республике. Он рассказал о планах освоения Каршинской степи; о том, что там укладываются для подачи воды такие широкие трубы, что по ним может свободно проехать самосвал; что в ближайшее десятилетие целинные земли, страдающие ныне от испепеляющего зноя, превратятся в зеленые цветущие сады, поля хлопчатника. Он говорил о том, что там самоотверженно, не щадя себя, трудятся тысячи и тысячи людей, замечательных специалистов, что им помогает техника и оборудование — самое современное и мощное.

Секретарь при этом приводил поразительные по

своей значимости и одновременно — конкретности цифры, факты, называл фамилии людей. Его слова звучали как увлекательная, захватывающая сказка-быль, в которой ему известно все до мелочей, до деталей, в которой он ориентируется как в родном, до деталей знакомом ему доме.

Расул Аллаярович не знал, куда ему деваться от стыда и страха: ей-богу, лучше бы провалиться сквозь землю! «Ведь это он нам намекает: «Такие масштабы, такие дела! И все это происходит рядом с вами, а вы! Вы чем занимаетесь! Сначала черните, топчете открытие молодого ученого, потом набрасываетесь на него... И меня, мол, от дела отрываете, а время мое расписано по минутам...» Ох, несдобровать мне, несдобровать!»

И возня, которую они затеяли вокруг Касымова, казалась сейчас Расулу Аллаяровичу непристойной, неприличной, а главное — грозящей неминуемыми карами. «Мы заставляем разбираться в скандальных наших интригах человека, озабоченного важнейшими проблемами всей республики. Куда было бы проще и безопаснее, если бы я сам все решил. По совести, по справедливости... Морочим тут голову! Ох и нагорит нам! Секретарь вправе спросить: «Какой же вы директор, если не в состоянии развязать даже такой мелкий клубок. Больше того — сами с головой влезли в него, запутались в нем, потеряли достоинство?..» Остается уповать на то, что время сейчас доброе, руководители — гуманные, терпение у них — безграничное. Может, не выгонят, не снимут все-таки?..»

Секретарь подошел к карте Узбекистана:

— Мощь и богатство нашего края огромны, однако самое редкостное, самое неоценимое богатство наше — хлопок. Хлопок — это честь и слава нашей республики, наш главный интернациональный вклад во всесоюзное хозяйство. Вам известно: ежегодно расширяются посевные площади под хлопчатник, осваиваются новые земли, и в связи с этим у нас истощаются водные ресурсы. Скоро мы будем получать воду из сибирских рек. Видите, в какое богатое событиями, интереснейшее, великое время мы с вами живем! Что могут творить талант и руки наших современников, мы с вами, товарищи!

Секретарь взглянул на Машарипова и Кушмакова, потом обратился к академику:

— Мухиддин Джаббарович, один из ваших учеников создал новый вилтоустойчивый сорт хлопчатника. Так?

На Мухиддина Джаббаровича, кажется, не произвело впечатление услышанное, он весь был сосредоточен на том, чтобы поточнее ударить Азиза Касымова, изобличить, унизить его: «Из-за этого подлеца теперь меня таскают, читают мне лекции, мне, на плечах которого уже сорок лет держится все хлопководство... Когда до меня дойдет очередь, я все выскажу, а потом уйду, хлопну дверью. Им без меня туго придется».

И он ответил:

— Да, вот уже десять лет подряд мы возимся и возимся с одним никчемным делом. Оно в конце концов все-таки сбило нас всех с толку, породило трудности и слухи разного рода. Десять лет, ни много ни мало! Десять лет, на что уходят годы?

— Десять лет, говорите? Но результаты получены?

Мухиддин Джаббарович приготовился было уже возразить, но секретарь опередил его:

— Хочу предупредить, нам полезнее обсуждать здесь не сроки, не в них дело, не правда ли? — Все молча кивнули, все, кроме Мухиддина Джаббаровича.— Самое главное — создан новый сорт, товарищи! Я вам только что рассказал о ближайшем будущем республики, о самоотверженном труде нашего народа. И к вам, ученым, требования тоже возрастают. Нужны новые сорта. Вилтоустойчивые сорта. В том, что вилт распространился в таких масштабах, безусловно, есть и объективные, и субъективные причины. Большая вина на вас, селекционерах. Это мы должны признать открыто. Кто никого, кроме себя, не признает, кто занимается самолюбованием, тот, в конце концов, отстает от жизни. Если даже и обладает редкостным талантом.— Секретарь перевел дыхание.— У каждого времени есть свои герои. Как и свои задачи и проблемы. В науке нет универсального, на все времена и случаи рецепта для решения этих задач. И в хлопководстве, в селекции хлопчатника также нет универсальных сортов, вечных сортов. Исследования не должны прекращаться, не должны ослабевать ни на день. Мы оказались бессильными против вилта — этого природного бедствия. Увы, это так. Сколько тратится труда, сколько проливается пота нашими дехканами по нашей, по вашей вине, товарищи. В научном учрежде-

нии, где следует заниматься народнохозяйственными проблемами, где руководители должны мыслить и действовать масштабно, об этом как будто забыли. Зато мелкое интриганство, недостойные поступки цветут пышным цветом. Увязнуть в них — для науки, для морали — очень опасно. По имеющимся у нас сведениям, сорт Касымова устойчив против вилта, высокоурожаен, скороспел.— Секретарь посмотрел на Расула Аллаяровича и Мухиддина Джаббаровича. Расул Аллаярович тут же подтвердил громко:

— Да, это так.

Мухиддин Джаббарович забубнил:

— Это не новый сорт, вот что я хочу особо подчеркнуть. Это не новый сорт! При скрещивании наш «новатор» использовал выведенный мною сорт «Ф». Кроме того, эта работа проводилась и в Чиназаре. Мы тоже испытывали подобный сорт. Этот сорт, который вы именуете «касымовским», несколько видоизмененный вариант существующих уже более сорока лет семян, только и всего... Ведь в науке есть закон о кооперации.

Секретарь улыбнулся:

— Знаем, знаем, вы хотите привести мысль великого Маркса. Однако тогда у меня к вам есть вопрос, Мухиддин Джаббарович. Созданный вами и распространенный повсюду — за это вам и сейчас мы говорим тысячу раз спасибо! — сорт «Ф». Чтобы его получить, вы использовали разные сорта по отцовской и материнской линиям, не так ли? Почему тогда вы ни разу не назвали вашими соавторами Ячевского и Зайцева? Ведь и вы воспользовались выведенными ими культурными сортами?

Мухиддин Джаббарович был сражен, но все-таки продолжал упорствовать по инерции:

— Это совсем другой вопрос.

— Отчего же другой?.. Мы могли ожидать от кого угодно, только не от вас, Мухиддин Джаббарович! — Секретарь сел за стол. Было видно, что он взволнован.— От вас такого не ожидали! Не следует вводить в заблуждение — ни себя, ни других. Вы сначала чините препятствия, потом необоснованно претендуете на соавторство, а теперь ставите преграды уже законченной работе! — Секретарь снова поднялся со своего места и прошелся по кабинету, пытаясь успокоиться, но, видимо, решил говорить начистоту до конца:— У нас

есть все сведения, мы детально изучили этот вопрос. И вы, и вы,— он обратился сначала к Мухиддину Джаббаровичу, затем к Расулу Аллаяровичу,— мешали, стояли поперек пути Касымова. Вместо того чтобы поддержать молодого ученого, вселить в него уверенность, оказать помощь. А теперь, оказывается, вы соавторы! Нет, у нас никто не может, не имеет права присваивать себе то, что ему не принадлежит! Мы этого не допустим! Прежние заслуги — это прежние заслуги! Если заслуженный человек мешает движению вперед, это особенно прискорбно и обидно. Первейший наш долг — честный труд! Кто забывает об этом — того сама жизнь наказывает, он на обочине оказывается, а не на светлой дороге.

Мухиддин Джаббарович сидел туча тучей; Расул Аллаярович не смел поднять глаза.

— В общем, так,— секретарь заговорил спокойно и ровно.— Возвращайтесь и хорошенько обо всем подумайте. Наша точка зрения вам известна. Да, вот еще что: работу Касымова мы отправляли в Москву, в ВАСХНИЛ, для детального ознакомления. Там проявляют большой интерес к ней, к ее результатам. Есть мнение, что она достойна Государственной премии СССР.— Секретарь чуть заметно улыбнулся: — Других вопросов нет? — Не услышав ничего в ответ, он сказал: — На сегодня все. До свидания.

Мухиддин Джаббарович, вставая с места, пробурчал:

— Все равно я остаюсь при своем мнении.

— Пожалуйста,— сдержанно произнес секретарь.— Мы выполнили свой долг, предупредили вас. Теперь все будет зависеть от коммунистов коллектива, в котором вы работаете. Да, Расул Аллаярович, почему на нашей встрече нет секретаря партийной организации?

— Товарищ Бабакулов лежит больной. С температурой тридцать девять.

Секретарь попросил остаться Машарипова и Кушмакова.

— Болен, стало быть. Они сделали секретарем партийной организации человека, который идет у них на поводу. Вы чувствуете, товарищи, там ослаблена партийная работа! Прошу серьезно в этом разобраться тоже... Да, что-то мы важное, очень важное проглядели. Творится безобразие, беззаконие, если хотите, и где?

В научно-исследовательском институте, на глазах у сотрудников, у нас на глазах, а мы реагируем еле-еле, с запозданием, да еще и узнаем обо всем случайно, со стороны! Да, друзья, это наше упущение... А товарищу академику надо дать понять — высокое звание дает народ, общество, но и снимает тоже народ.

## 27

Свое одиночество Азиз особенно остро почувствовал накануне Нового года. Все кругом суетились, готовились к празднику, оживленные и радостные, а он ходил неприкаянный. К тому же вчера в институт приходил Махамат-ака и немало попортил ему нервов... Махамат Упрямец вошел в комнату в рабочей одежде — поношенный халат, брюки, заправленные в старые брезентовые сапоги.

— Эй, Махамат-ака, проходите, проходите,— Азиз протянул ему обе руки.

Однако Махамат-ака бросил на него косой взгляд. Азиз истолковал его по-своему: «Наверное, в ЦК у него ничего не получилось». Махамат-ака поздоровался с Шорасулом и осторожно присел на краешек стула.

— Ну, как дела? — спросил он, сердито посмотрев на Азиза, и тут же добавил: — Если можете, выйдем на минутку. Мне поговорить с вами нужно.— Не дожидаясь ни «да», ни «нет», Махамат-ака повернулся к Азизу спиной и зашагал размашистым своим шагом.

Они очутились в институтском сквере. Азиз ломал голову над тем, чем вызваны странные, какие-то необычные повадки Махамата-ака: смотрит колюче, неодобрительно, одет — будто прямо с поля, нетерпелив и раздражен чем-то. Но чем?

— Я-то держал вас за золотого парня! А вы, оказывается, вон что удумали, вон что вытворяете! — Махамат Упрямец горько усмехнулся.— Сколько дров наломали, а мне не признались, не намекнули даже. Хитрите со мной, так выходит? Я-то, старый глупец, думал, что мы с вами как отец и сын.

— О чем вы, Махамат-ака? Убейте, не уразумею никак!

— Не стройте из себя простачка! Зачем невестку обидели, бросили? Сбежали из дому?

Азиз облегченно вздохнул:

— Ах, вот вы о чем?

Махамат Упрямец набросился на него:

— Вам что, этого мало?.. Вы, что, не ведаете разве — в доме, где всего один день был скандал, не оберешься хлопот потом целых сорок дней? Человек, обидевший женщину, — нечестный человек! Забывший о мужском своем достоинстве! Она, бедняжка, сидит одна-одинешенька дома, горюет, слезами обливается, а вы где-то пропадаете, да еще спрашиваете с невинным видом: «Ах, вот вы о чем?» Небось веселитесь, развлекаетесь с дружками, а она...

Азиз отлично понимал, почему так гневается Махамат Упрямец. У него конечно же сердце болело из-за несчастной его дочери, и потому он особенно остро сострадал женщинам, которые нуждались в участии. У Азиза язык не поворачивался раскрыть ему всю правду — разве можно признаться в эдаком? Не только ему — родному, дорогому Махамату-ака, Азиз вообще никогда никому в этом не признается, не откроет постыдной этой тайны. Если даже пытать будут, и тогда смолчит! Лучше сгинуть! Даже если мы будем с Салтанат разводиться, всю вину возьму на себя, но не опозорю себя, ее!

Махамат-ака немножко поутих, заметив, какие страдание и борьба отразились на лице Азиза. «Может, бедняга и не виноват совсем, может, я напрасно его черню? — спохватился он. — Намеревался наставить его по-хорошему, а сам взбучку устроил. Эх, что я за человек!..»

— Вы навестили меня только по этому поводу, Махамат-ака, из-за моих семейных неурядиц? — осведомился Азиз.

«Привязанность, любовь в семье, — думал Махамат-ака, — это самое редкое на свете счастье, не каждому оно выпадает. Не каждая семья владеет этим богатством. Любовь, близость, взаимопонимание — дар судьбы, который надо хранить и лелеять. А если Азизу нечего хранить? Нет, что-то тут не так! Опять я напортачил, видно...»

— Чего не случается между мужем и женой, сынок! Сами небось знаете, не маленький! Неделю назад заезжал к вам домой, хотел проведать, потолковать. Явился, а вас нет. Невестка плачет, убивается, аж

сердце у меня перевернулось. Что же у вас произошло?

— Э, разве передашь все в двух словах... Не утруждайте себя, мы сами разберемся,— голос Азиза звучал печально.

— Как это так? Я вам что — чужой, посторонний! Судьба вашей семьи, вашего ребенка очень даже меня касается, близко затрагивает! Ничего, ничего, когда все у вас уладится, я еще припомню эти ваши — «не утруждайте», «не утруждайте»...

Как Махамат-ака ни допытывался о причине его ухода из дому, Азиз ему не открылся.

— Хватит, братец. Вы не дитя малое, неразумное. Я вам как сыну наказываю: возвращайтесь домой, к семье,— отрезал он.— Послушайте моего совета, послушайте старика! Сколько я на своем веку поизносил рубашек — имею право давать советы и делать наставления.— Махамат-ака вдруг молодо, широко улыбнулся.— Или мне самому вас домой доставить?

Азиз отрицательно замотал головой:

— Нет, Махамат-ака, нет! Все сложнее, чем вы полагаете. Спасибо вам, но тут мне никто не помощник. Никто.

Чтобы сгладить впечатление от своих наскоков и отвлечь Азиза от удручающих мыслей, Махамат-ака начал расспрашивать его о делах. Азиз чуть-чуть оживился, легкий румянец окрасил его бледные щеки. Он поведал другу о своих планах: сразу после Нового года сдать диссертацию Мухиддину Джаббаровичу, потом приступить к работе над монографией... Махамат-ака выслушал Азиза внимательно, однако о том, что был в Центральном Комитете и встречался с секретарем ЦК, говорить не стал — не хотел выглядеть «спасителем», да и неловко как-то сейчас, когда в главной беде он помочь не может.

На этом они и расстались. Азиз, будто ему рану разбередили, не мог обрести душевного равновесия. Жестокие и несправедливые упреки Махамата-ака глубоко уязвили его. Эх, как трудно бывает человеку понять человека! Как невозможно бывает открыть даже и другу всю правду, не станешь же стенать, что жена растоптала твою честь и мужское достоинство, изменила тебе!

До встречи с Махаматом-ака Азиз еще не верил

окончательно, что его семейная жизнь сломалась, порушилась навсегда. Теперь он полностью осознал: так оно и есть и деваться от беспощадной правды — некуда. Все, все пошло у него наперекосяк — и на работе, и в семье. Какие он ощущал в себе необъятные силы, когда днем и ночью работал в Дурмене! Ведь с той поры прошло совсем немного времени — и что же? Где оно, счастье, силы, надежды на будущее? Как судьба человеческая капризна, привередлива и переменчива! Теперь, казалось Азизу, он ничего не желает! Ничего! Из-за жены горит он в огне страданий и вместе с тем душой от нее отлепиться, оторваться не может. Он жалостливый, бесхарактерный человек и потому ничего не может довести до конца, решить бесповоротно и твердо. Сердце его тянется к Салтанат, тоскует о ней. Он вспомнил, как уже после их разрыва, в первое же воскресенье, он отправился на Бешагач, к Комсомольскому озеру. Он чуть не плакал, когда бродил по парку, около озера. Все здесь было как десять лет назад, только словно немножко уменьшилось — и деревья, и скамейки, и аллеи. На дорожках опавшие листья, их собирают граблями рабочие; гуляющих не видно совсем. На перекрестке, между двумя аллеями, взгляд Азиза выловил скамейку под большой акацией. Сердце его затрепетало: «Неужели это та самая скамейка? — он приблизился к ней, потрогал, погладил рукой.— Да, похожа на ту. Все здесь то же и не то же». Тогда была весна, пора расцвета всего живого и прекрасного... Азиз пригласил Салтанат в кино, потом до позднего вечера катал ее на лодке; под тенью этой акации он впервые поцеловал Салтанат и она ответила на его поцелуй. Вот оно — это дерево, вот эта скамья — они были свидетелями их любви. Все здесь на месте, словно за это время ничего не произошло, а в его судьбе сломалось, переменилось все.

Азиза знобило, ему было холодно и грустно в этом опустевшем, торжественно безлюдном парке. «Все миновало. Все позади. Все предается забвению. Да, да, тогда была пора цветения, все дышало жизнью, надеждами, мечтами. А теперь вот поздняя осень. Неужели это и есть итог нашей с Салтанат любви?..» Воспоминания нахлынули на Азиза с такой пронзительной болью, что он повернулся и чуть не бегом удалился из парка.

Сколько дней миновало, Азиз полагал, что он уже разучился горевать, страдать из-за Салтанат, а вот оказалось нет, не разучился. И раны его болят, едва до них дотронешься.

Вечером Азиз в автобусе ехал к отцу в кишлак. Мысли, одна неутешительнее другой, одолевали его. Он глядел в темноту, глядел, как на стеклах, словно слезы, струятся капельки дождя. Внезапно Азиз почувствовал сильное головокружение, резкую, режущую боль под левой лопаткой. Он схватился за сердце и громко вскрикнул. Пассажиры автобуса поднялись, захлопотали, кто-то сунул ему в рот горькую пилюлю, сказал «сосите, сосите, положите под язык», кто-то придерживал его за плечи. Боль в сердце постепенно утихла. Высокая белолицая старая женщина вытерла ему испарину на лбу.

— Сынок, у вас это в первый раз или уже случалось?

— В первый раз,— Азиз глядел на нее с благодарностью и смущением.

— Обязательно обратитесь к врачу. Лучше сегодня, в крайнем случае — завтра. Не откладывайте, поверьте мне. Вы еще молоды и, конечно, надеетесь на свои силы. Но с сердцем шутить нельзя — ни молодым, ни старым.

Доброта постороннего человека растрогала Азиза. Он шел домой и все думал об этой милой, славной старушке.

* * *

Завтра Новый год. Все пребывают в предвкушении праздника, носятся по институтским коридорам туда-сюда, суетятся, шутят, получают в профкоме билеты на елку для детей, договариваются о встрече Нового года, решают, кто к кому придет, кто что принесет к столу.

Расул Аллаярович собрал сотрудников в зале заседаний и поздравил с наступающим Новым годом, пожелал им, а также их семьям крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и отпустил всех по домам на час раньше.

Азиз уже попрощался с Шорасулом и выходил в ко-

ридор, когда нос к носу столкнулся с Саодат. Она пригласила его зайти к директору; лицо ее выражало симпатию, улыбкой она старалась приободрить его.

Расул Аллаярович рылся в своем сейфе, искал там что-то. Пригласив Азиза присесть, он вдруг напустился на него:

— Освободимся мы от вас когда-нибудь или нет?! Скажите-ка, братец, дадите вы нам покой или нет?! Теперь хоть выходи на улицу и вопи-кричи там!

— Что еще я натворил? Любопытно было бы узнать!

— Читайте! — Расул Аллаярович бросил Азизу листы, отпечатанные на машинке; к ним был пришпилен конверт. Азиз собрался было читать, но Расул Аллаярович опять закричал в бессильном гневе: — Отдайте сюда! Это ваш новогодний подарок мне! Удостоился, ничего себе! Потом решим, что делать с этим! — Он ловко выхватил у Азиза листки, подбежал к сейфу и снова сунул их туда.

Азиз возмутился:

— В чем дело, Расул Аллаярович?! Я вам не мальчик, и нечего устраивать тут детские игры — «на», «отдай»! Я требую...

— Требуете, да?! До ЦК добрались! Ничего, ничего. Есть ли у вас совесть, братец?! Вот там написано, что вы — плагиатор, что хотите быть единоличным хозяином открытия, которое сделали раньше вас другие. Вот о чем в этих листочках написано. Пишут, что категорически против вашего выдвижения на Государственную премию. Пишут, что вам не то что премию надо давать, а наказать вас следует, поняли?! — Расул Аллаярович захлебывался словами.

— Какая премия? — рассмеялся Азиз.

Расул Аллаярович оперся обеими руками о край широкого своего стола, отчеканил:

— Э, не знаете! Вы? Не понимаете, да?! Да вам известно даже, как змея шевелится под землей! В общем, не буду ходить вокруг да около! Я от вас ничего не добиваюсь, добиваются другие! Оставьте меня в покое! Оставьте институт в покое! Прошу вас, братец, прошу! Из-за вас нас лихорадит, все время происходят скандалы! Вы, извините, братец, терпите неудачи по своей вине. Вы не можете работать спокойно, вам бурю подавай! Идите, ступайте! Вы испортили мне даже ново-

годний праздник! Уходите! — Расул Аллаярович был близок к истерике.

— Когда вы придете в себя, мы поговорим. Я не желаю больше терпеть ваш тон и вашу истерику,— отрезал Азиз и вышел. Только он вернулся к себе в комнату, как сердце его пронзила страшная боль. Он потерял сознание.

* * *

Приоткрыв глаза, Азиз увидел потолок, на нем полоску света; над головой — какие-то провода, слева и справа — блестящие приборы, стеклянные сосуды. Над ним кто-то склонился. Он решил, что ему снится сон, и только из дальнего уголка сознания кралось воспоминание о чем-то неприятном, прискорбном, холодящем сердце. Азиз широко раскрыл глаза и силился понять: где он, что с ним? Он увидел, что рядом с ним Салтанат. Она глотала слезы и тихонько приговаривала: «Хорошо, хорошо! Спокойно! Не волнуйтесь!» Он сделал резкое протестующее движение, хотел отстранить ее, в глазах у него потемнело. До него донесся шепот: «Пожалуйста, выйдите, больному плохо, ему вредно волноваться».

Когда к нему вновь вернулось сознание и он опять открыл глаза, то в изголовье обнаружил женщину в белом халате. Ее лицо расплывалось перед ним, как отражение в воде.

— Ну, как вы себя чувствуете? — женщина улыбнулась, блеснув золотым зубом.

У Азиза запершило в горле, он кашлянул и опять от слабости прикрыл глаза. Он слышал осторожные шаги, мужские и женские голоса — они проникали к нему как сквозь вату. Он начал воссоздавать в памяти, что же с ним произошло,— предновогодний институт, крик директора, возвращение в комнату. Был там Шорасул или нет?.. А Салтанат — наяву она была или пригрезилась во сне?.. Нет, она была здесь, рядом, кто-то с ней разговаривал.

— Пожалуйста, больной, лежите спокойно, не двигайтесь,— раздался совсем близко ласковый голос.— Вы молодчина, вы преодолели кризис. У меня к вам только одна просьба: не двигайтесь. И не думайте о плохом; старайтесь сосредоточиться на хорошем, на

приятном. Это важно для полного выздоровления. Ну как, условились?

«Не думайте о плохом!» — как будто это так просто!

28

Рахима-апа догадалась, что между дочерью и Азизом опять пробежала черная кошка. Она совсем сникла; ее надежды на счастье Салтанат оказались тщетными, а зять... За столько-то лет прибавил к ее нарядам всего-навсего одно платьишко, а такое, видно, вытворяет, такое себе позволяет, что она, бедная ее доченька, глаз не осушает. Рахима-апа про себя ругательски ругала зятя: «Горбатого могила исправит; уж коли человек низкого происхождения, деревенщина, чего же ждать от него? Каса из обыкновенной глины никогда не станет драгоценным фарфором. Пусть у осла хоть рога вырастут, все равно останется ослом...»

Рахима-апа не вытерпела и однажды спросила у дочери:

— Салтанат, почему ты такая грустная? Случилось что? Пойди сюда, доченька, поделись своими печалями.

Салтанат медленно поднялась на террасу, приблизилась к матери, взяла из ее рук пиалу с чаем. «Неужели мама заподозрила что-то?..» Она улыбнулась через силу, отпила глоток чая, отодвинула пиалу на край дастархана.

— Вы намекаете на Азиза? Он сейчас в районе, на уборке овощей, послали на недельку.

Мать пристально, будто изучая дочь, посмотрела на нее и покачала в сомнении головой.

— Ну, тебе виднее, коли так — ладно. Ты случайно не обидела его чем-нибудь? Надо придерживать язык, много неприятностей от него идет, от нашей несдержанности.

Прошла неделя, не успела Салтанат и глазом моргнуть — пролетела вторая. Салтанат похудела, лицо ее стало желтым, обескровленным, она еле-еле передвигала ноги.

Рахима-апа не находила себе места от тревоги, от дурных предчувствий. Она собрала как-то в узелок гостинцы для внука и отправилась на Чиланзар.

Она поцеловала дочь в обе щеки, в покраснев-

шие, воспаленные глаза и тут же, у порога, выпалила:

— Муж обидел? Плохо тебе с ним?

Салтанат взяла узелок из рук матери и понесла его на кухню. Зажгла газ, поставила чайник.

Рахима-апа присела на старенький диван, стала успокаивать себя: «Жива-здорова, это главное! Ну поплакала, ну поцапались, ничего, обойдется!»

Когда дочь вошла с дастарханом в комнату, Рахима-апа стала допытываться:

— Как Азиз, у него все нормально? Почему ты пропала? Не звонишь, не навещаешь нас?

У Салтанат стали мелко-мелко дрожать губы, плечи ее поникли, затряслись.

— Господи, что стряслось? Ну говори же! Не томи ты мою душу! — мать положила горячую ладонь на голову Салтанат.

— Пропащая я, мама! Пропащая, подлая! — Салтанат вытирала слезы, а они все лились и лились. Она уткнулась матери в плечо.

— Вай, почему ты так говоришь? Почему ты пропащая?! Побойся бога, доченька. Он тебя, чтоб ему перевернуться, обидел?

Салтанат так и не смогла во всем признаться матери, однако твердила, что это она, она виновата, а муж ее — хороший, честный...

Когда же Салтанат известили, что Азиз в больнице, Рахима-апа велела дочери немедленно навестить его.

— В горе и беде жена обязана быть рядом с мужем, — сказала она тоном, не терпящим возражений.

* * *

Мухиддин Джаббарович не вставал с постели. Вроде ничего не болит, но вялость, слабость одолели. На душе кошки скребут, такое ощущение, будто кто-то тебя изрядно поколотил.

Мухиддина Джаббаровича изводила, отравляла его существование обида на людей. В один день, сразу же, он стал никому не нужным. «Все твои достижения, все успехи обесцениваются в одно-единственное мгновение, будто и не было их вовсе», — сетовал он наедине с собой. Он преисполнился жалостью к себе, готов был

плакать и стонать. Споткнуться на этом несносном, этом ненавистном Касымове — разве мог он когда-нибудь вообразить себе такое!.. «Все заслуги забыты, я для них ничто!..»

Джаббаров забился в своем огромном доме, как раненый зверь, никого не желал видеть, ни с кем не хотел разговаривать. «Все проходит, время всех тянет на плаху, всех»,— непрерывно повторял он. Его посещала порой мысль, что много лет он растратил впустую, пустил по ветру; что жил не так, как надо бы, не так... Чтобы понимать человека, разобраться в нем, надо знать его, хотеть знать. «А что я? Дальше собственного носа не видел! Проглядел Касымова! Надо же такому приключиться! Самого талантливого из своих учеников прозевал-проморгал. С неожиданным, оригинальным мышлением человек! Он не стандартен и как ученый, и как личность, потому и странными кажутся — сам он, его дела, поступки... Почему, я не помог ему? Ведь это только бы возвеличило меня!»

Этот дом, с его блеском, с его богатством и комфортом, казался Джаббарову в минуты просветления чужим, постылым, и он вновь и вновь пытался отыскать в своей памяти, когда же он погряз в барахле, чрезмерной сытости? Когда? Мухиддин Джаббарович утыкался долгим неприязненным взглядом в какой-нибудь предмет, будто от него ждал ответа. Он не раз со злой решимостью давал себе обет: «Все, больше не думаю об этом! Все! Годы я жил припеваючи оттого, что не терзался, не казнился пустыми, ненужными укорами совести... Но человек, боящийся думать, боящийся мысли — разве это ученый? Однако, однако... дела-то у меня шли успешно, в гору! Попал в большое, широкое русло, даже был в числе тех, кто прокладывал его. Одним из первопроходцев был. Был! Потом плыл по воле волн — не задумывался, не сосредоточивался на серьезном, важном — плыл по инерции. Из года в год, изо дня в день. Не заметил, как и мысли, и взгляды, и знания мои притупились, становились ординарными, гладенькими, как камешки, отполированные водой.— Джаббаров корил себя вопреки обету, вопреки воле и желанию.— Дожил до седых волос, а друзей настоящих не нажил, не научился выбирать! Тех, кто каждое мое слово ловил на лету, в рот смотрел, я за друзей принимал. Они-то и оказались отступниками, никто го-

лос не поднял в мою защиту! Соглашались во всем, всегда поддакивали, лебезили, а где они сейчас? Как ветром их сдуло!..»

Стоило, однако, Мухиддину Джаббаровичу вспомнить слова секретаря ЦК о том, что работа Касымова достойна Государственной премии, как его благие мысли бесследно исчезали. Он воспринимал слова как пощечину, он изнывал от зависти. И вновь оказывался во власти злобы, упрямства, обиды на всех и вся. Его несколько утешало, что он организовал на Касымова анонимное письмо, оставалось только ждать, когда и какие последствия оно даст.

Джаббаров приходил также к выводу, что пора напомнить ему о себе, хватит скрываться дома, пора выйти на службу, на люди. Он еще покажет себя, он еще повоюет! Докажет, что он прав!.. Но только — как? Каким образом? «Что, если после всех громов и молний пойти на поклон к Касымову, промямлить всего-то несколько словечек: «Вы были правы, простите меня»? Нет, не-е-е-т! Я еще не умер, есть у меня силенки, есть! Такие, как я, не сдаются. Какой-то сопляк, чуть-чуть видоизменил, преобразовал мой — мой! — сорт, и столько шума поднялось. Я себе цену знаю. Поборюсь...»

Подсознательно Мухиддин Джаббарович чувствовал, что из всего этого — писем, кляуз, клеветы, злобы — пользы он не извлечет. Ничего он не добьется — не только потому, что Касымов чист и прав во всех отношениях. А потому еще, что работа Азиза, дело его нужны, насущно необходимы для народа, для всей республики, для всей страны. Потому что он неуязвим, безупречен в главном — в труде своем. Работал не ради славы, какая там слава у рядового лаборанта! Он себя не щадил ради светлой идеи, один на один с трудностями и загадками природы.

Смотреть правде в лицо для Мухиддина Джаббаровича было нестерпимо больно. Потому что самая-самая истинная правда заключалась в том, что на нем, академике Джаббарове, пора ставить крест. Был ученый и кончился, иссяк.

* * *

Через три недели Азиза перевели из реанимации в обычную палату. К нему стали допускать посетите-

лей. Самочувствие его стало получше, хотя сердце по временам давало о себе знать. Азиза тяготили вынужденное безделье, больничная обстановка; хмурое зимнее небо за окном нагоняло тоску.

В один пасмурный день, когда Азиз особенно маялся и грустил, его пришел проведать Махамат-ака. Он появился в палате в белом халате, кое-как накинутом на плечи. Поискав взглядом Азиза и найдя его, он поспешил к нему, на ходу протестующе махая руками: не вставайте, не поднимайтесь! Его смуглое до черноты лицо выражало сострадание и что-то похожее на вину.

— Ну как, сынок, поправляетесь? Все знаю, слышал в подробностях, Азизджон... Главное — болезнь позади, одолели ее, как вилт! — он погладил шершавой ладонью руку Азиза.

— Спасибо, Махамат-ака! Спасибо! Здесь-то вы меня отыскали-обнаружили сразу же, это не Чиланзар! — пошутил он.

— Э-э, а что я вам внушаю столько лет подряд! Что по-вашему, зря меня величают «Упрямцем»? Я вам вот гостинцы принес, тут у вас другой работы, кроме как есть и поглощать витамины, нет... — Он раскрыл сумку и начал извлекать из нее гранаты, яблоки, виноград, лепешки со свежими выжарками.— Матушка Иклимхон старалась, специально для вас пекла, просила передать привет и пожелание богатырского здоровья!

Махамат-ака с удовлетворением разглядывал всю эту снедь; как по мановению волшебной палочки больничная тумбочка превратилась в скатерть-самобранку. Потом он запустил руку во внутренний карман пиджака и вынул оттуда газету. Только теперь Азиз заметил, что на груди Махамат-ака сияет Звезда Героя и что сам он как-то по-особому наряден сегодня.

— Вот, полюбуйтесь! Полюбуйтесь, братец! Я говорил вам, что правда восторжествует? А? Вот вам правда! — Махамат Упрямец зашуршал газетой, торопливо развернул ее и ткнул в нее пальцем.

Азиз пробежал глазами по газетным строчкам, не поверил, еще раз прочитал... Среди людей, выдвинутых на соискание Государственной премии СССР, он обнаружил свою фамилию, а рядом с ней слова — «за выведение нового, вилтоустойчивого сорта хлопчатника».

Азиз перевернул газетный лист: «Известия»... Ему казалось, что удары его сердца слышит не только Махамат-ака, но и все, кто находится в палате.

— Правда, справедливость — они есть, братец! — Махамат-ака сиял от радостного возбуждения. — Люди, отрицающие это, ей-богу, несчастные, опустошенные люди. Те, кто не верит...

Азиз был в состоянии полной, расслабляющей растерянности, он пытался осмыслить новость — и не мог. «Неужели? Неужели?» — неотступно стучало у него в мозгу, стучало все громче, все радостнее, все с большей надеждой на то, что это происходит с ним в реальности.

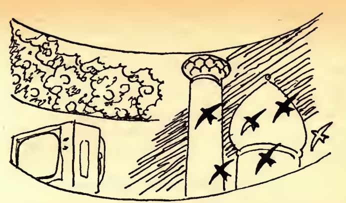
— Оказывается, эта ваша «плохая жена» нужна была вам, когда вы тут дни и ночи лежали без сознания? — донесся до него напористый голос его друга. — Она не отходила от вас ни на шаг. Послушайте меня, сынок! Умный человек — на то он и умный, что, побывав между жизнью и смертью, начинает понимать, различать начинает: что важно, что нет, что следует забыть и простить, что нельзя. Подход, мерка у вас отныне должны быть особые. Умудренному испытаниями, — Махамат-ака опять погладил руку Азиза, — дорожить надо близкими, ой как дорожить! И бояться потерять их, лишиться! На этом свете следует жить с добрыми чувствами к хорошим людям. Беды, которые вы благополучно перенесли, уже не беды. Будьте милосердным, великодушным будьте. Не испытавший страданий не познает цену счастья... Возьмите, сынок, дерево: пока оно зеленое, пока шелестит листвой, сколько людей тянется к нему, чтобы насладиться его тенью, его прохладой. Высохнет оно, опадут его листья — и сырость, и плесень к нему не пристанут! Не то что человек — все его обходят стороной... А вот жена... Внемлите моему совету: придет к вам жена, я теперь Салтанат не просто называю невесткой, но и считаю дочкой, не отвергайте ее. Не отворачивайтесь... Господи, да женщина она и есть женщина. Они, женщины, тоже не ангелы. Как и мы с вами, — Махамат-ака слегка похлопал Азиза по плечу и по-отцовски улыбнулся ему на прощание.

Радость, счастливое волнение переполняли Азиза. Он снова и снова раскрывал газету, искал ту волшебную, неправдоподобно прекрасную строчку. «Одна

строчка,— думал Азиз,— всего одна строчка подводит итог жизни, прожитой мной в науке, пройденного мною пути... Эта строчка — она венчает мою работу, мою борьбу, мои муки».

— Касымов! Касымов! — окликнула Азиза медицинская сестра.— К вам гости дорогие пожаловали, встречайте жену и сыночка.

Азиз поднялся с постели, в смятенном ожидании глядя на дверь. Он не знал, какое ему принять решение. В дверях показалась Салтанат. Она вела за ручку Бехзода, с любопытством и робостью озирающегося по сторонам.



# РАССКАЗЫ



## ЗАСЕДАНИЕ БЮРО РАЙКОМА

За три дня до сдачи годового отчета председателя колхоза «Победа» Рахима Бекмирзаева вызвали в райком. Председатель, только что возвратившийся с дальнего пастбища, получив эту весть, задумался. «Собирать внеочередное заседание райкома, когда до отчета остались считанные дни? Тут что-то не то... К тому же приглашен секретарь парторганизации, все двенадцать бригадиров и еще несколько человек из актива. Кажется, новый секретарь приступает к реформам...»

Бекмирзаев вновь пробежал глазами телефонограмму.

В жарко натопленной комнате было душно — из-за рано наступившей зимы уже с начала ноября затопили большую черную голландскую печь в кабинете председателя. Бекмирзаев стянул с шеи шарф, скинул полушубок с белым меховым воротником и бросил их на стул в углу комнаты. Вошла секретарша, поставила перед ним чайник и пиалу.

— Всех приглашенных мы уже оповестили. Заседание бюро в одиннадцать. Наши соберутся здесь к девяти,— доложила она. Постояла минуту, ожидая, что Бекмирзаев отдаст какое-нибудь распоряжение. Но председатель молчал. Она вышла и тихонько притворила за собой дверь.

Бекмирзаев сейчас вместо чая с удовольствием бы выпил холодной воды, но, остерегаясь простуды — что-то побаливало горло,— он налил в пиалу до краев зеленого чая.

«Странно,— размышлял он.— Новый секретарь райкома Хайдар Халиков на прошлой неделе дважды побывал в нашем колхозе, объехал все бригады и ничего

не сказал, хотя план мы не выполнили. И неожиданно — заседание бюро... Да еще с участием колхозных активистов. Такого я что-то не припоминаю. Видно, дело серьезное».

Бекмирзаев сел за стол и задумался. Вот уже сорок с лишним лет он в районных активистах. Сейчас ему шел шестьдесят первый. Был он когда-то из тех парней, про которых говорили, что они горы свернут. А за полгода до начала войны работал чабаном в колхозе; заблудившись с отарой в степи, застудил себе легкие. Врачам показываться было некогда, кое-как поправил здоровье, но болезнь уже перешла в хроническую. До сих пор нет-нет и дает о себе знать. Немного подлечится — вроде бы снова здоров и вид цветущий. О его болезни знал прежний секретарь райкома Касымов. Не каждый год, но раз в два года, это точно, устраивал он ему путевку в Крым.

Бекмирзаев взял пиалу и отпил еще глоток. Телефонограмма не выходила у него из головы. Восемнадцать лет он председательствует в этом колхозе. И каких только телефонограмм, распоряжений и указаний он не видел за эти годы! Но сегодняшняя, почему-то он чувствовал, была необычной. До этого дня куда бы его ни направляла партия, шел и работал, как солдат, беспрекословно выполнявший приказ. Ни разу не сказал «нет». И когда на пути попадались молодые, неопытные руководители, он не кичился перед ними своим авторитетом, знаниями, а принимал их слова и указания как мнение абсолютного большинства. Не говорил как многие: «Эх, в наше время все было по-иному!» Напротив, презирал тех, кто любил это повторять, считал, что с тех пор много воды утекло и многое изменилось не только вокруг, но и в их сознании и старыми мерками сегодняшнюю жизнь мерить невозможно. И вероятно, в кишлаке не нашлось бы человека, кто бы лучше его знал, что сегодняшний день — логическое продолжение долгой и упорной борьбы и трудных побед наших дедов и отцов.

Внезапно промелькнула мысль: «Я постарел, силы уже сдают... Не зря говорят: если б молодость знала, если б старость могла... Неужели вызывают из-за этого?» Отпивая по глотку чай из пиалы, он глядел в окно. На улице смеркалось, но от лежавшего на земле густым белым покрывалом снега струился ясный свет, и от этого, казалось, светлело все вокруг. Зажглись фо-

нари, и при свете ламп медленно кружившие снежинки навевали на Бекмирзаева грустные мысли.

Услышав доносившиеся из приемной голоса шофера и секретарши, подумал: «Пора домой. Если завтра утром ехать в район, пусть и Ахмаджан отдохнет». Он надел полушубок, завязал шарф и вышел из кабинета. Ахмаджан, прислонившись к печке, с шумом отхлебывая, пил горячий чай. Увидев «хозяина», вскочил и, ни слова не говоря, направился к выходу. Бросив секретарше: «Вы тоже можете идти!» — Бекмирзаев быстро спустился с крыльца и сел в ожидавший его припорошенный снегом газик.

Дом председателя находился в старой части кишлака, за базарчиком, в отличие от домов колхозников, которые строили на новых участках. Дорога туда пролегала через колхозные сады. В машине было холодно, и Бекмирзаев, вышедший из жарко натопленной комнаты, почувствовав озноб, поежился и плотнее закутался в тулуп. Глядя на белоснежные сады и поля, он погрузился в размышления. Ему казалось, что деревья, покрытые снегом, как белым пуховым платком, дрожа от холода, тянутся друг к другу ветвями.

Когда они доехали до дома, оттуда, заслышав звук машины, высыпали люди. Оказалось, приехал из города сын с семьей. Бекмирзаев обрадовался. «Вот и с сыном поделюсь своими заботами»,— подумал он. Зафар, сын Бекмирзаева, без малого десять лет работал в Ташкенте. Сначала он учился там в институте, потом женился, защитил кандидатскую диссертацию и остался работать в Научно-исследовательском институте химии, где разрабатывал тему по минеральным удобрениям.

Поздоровавшись с сыном и невесткой, Бекмирзаев подбросил на руках пятилетнего внука Бахрама, устремившегося к деду, и, чмокнув в щеки, опустил на землю. Взявшись за руки, они веселой гурьбой поспешили в дом. Забыв про свои заботы, Бекмирзаев заметно оживился в семейном кругу. После ужина посмотрели всей семьей телевизор. Потом ему вместе с сыном постелили в гостиной, женщины и дети легли в соседней комнате.

Оставшись наедине с сыном, Бекмирзаев спросил:

— Зафарджан, как дела, сынок?

Сын ответил, что все в порядке, и замолчал. Бекмирзаев чувствовал, что Зафар чего-то не договари-

вает, но выспрашивать не стал. Ждал, когда он сам заговорит. Зафар после недолгого раздумья повернулся к отцу.

— В общем неплохо, отец...— начал он как-то неуверенно, вроде бы раздумывая, говорить или нет.— Я приехал посоветоваться с вами об одном деле. Хочу перейти работать в другой институт...

— Во-первых, куда? А во-вторых, должны быть причины...

— В пединститут,— ответил Зафар и снова замолчал. Но отец не торопил.— Все те же, как говорится, старый таз, старая баня,— продолжал он.— Вам-то хорошо, все только о вас и говорят. Все вас прославляют. И дела идут хорошо. А у нас все не так. Попробуй сдвинь с места стариков, облаченных знаниями и степенями! И того лишат, что у тебя есть!

Бекмирзаеву не понравился взятый Зафаром тон. Он понимал, что сын очень обижен и, естественно, гиперболизирует проблему, и потому невольно встал на защиту «стариков».

— Говорить так о своих учителях грешно, сынок. Можно подумать, что ты с неба свалился со своими знаниями и званием? Ты мне сказал — я забыл. Другому не смей и рта об этом раскрывать, стыдно!

— Вы неверно меня поняли! — обиделся Зафар.— Может быть, я не так выразился. Никто не собирается зачеркивать их заслуг. Действительно, они внесли большой вклад в развитие науки. Но и молодым тоже надо уступать дорогу. Ведь науку двигают молодые! Все великие ученые, даже вот эти самые наши старики, совершили свои открытия и добились успехов в науке в молодые годы, до тридцати — сорока лет.

— И что ты этим хочешь сказать? Ты считаешь, что им, с их богатым опытом и знаниями, надо отходить в сторону, не так ли? — Задав сыну вопрос, Бекмирзаев сам старался найти убедительный ответ на него.

— Я уже сказал, что мы не умаляем их достоинств. Наоборот! Мы их превозносим! Но существуют законы жизни! На смену старому приходит новое, идет обновление! Как бы ты ни старался, но наступает день, когда ты вынужден уступить место человеку, который моложе, сильнее и энергичнее тебя. И вот почувствовать, когда наступил этот час, и вовремя с почетом уйти, чтобы не быть преградой, а может быть, даже

обузой на пути сильного,— об этом идет сейчас речь.

Бекмирзаев почувствовал, как что-то нежное, хрупкое треснуло у него внутри. Что молодость — сила, стал он понимать теперь, с годами!

— Э, сынок, человек подобен семени. Старый ли, молодой — все равно... Куда бы ни упало семя, оно тянется вверх, только к свету. Ты это поймешь, когда достигнешь определенного возрастного рубежа...

Зафар даже не подумал, что сказанные им сгоряча слова заденут также и отца, и, чтобы как-то разрядить создавшуюся обстановку, поинтересовался:

— Вы, кажется, завтра собирались в район, папа? Какое-нибудь совещание?

Бекмирзаев собирался откровенно поговорить, он собирался сказать: «Я уже не молод. Сколько лет еще проработаю, не знаю... Да и вы, дети, каждый встал на ноги, и потому я спокоен... И вот надумал я потихоньку уйти на заслуженный отдых, чтобы на старости лет нянчить внуков. Думаю, вы не оставите нас со старухой одних». Но сказанные Зафаром слова насторожили его. Вероятно, сын ответит: «Да вы не сможете без работы, отец. Быстро заскучаете. Работайте, пока можется». Но это будет сказано им не искренне, так, для успокоения сердца. Поэтому Бекмирзаев сказал:

— Да, видимо, перед отчетом что-нибудь важное есть у них для нас...— И после недолгого молчания добавил: — А насчет того, что лучше вовремя уйти, чем быть обузой, ты прав.

Бекмирзаев как-то раньше не замечал, что жизнь не жалеет стариков. Может быть, он это почувствовал с возрастом. Даже слова, сказанные сыном безотносительно к нему, задели его за живое. Зафар уже спал, сладко посапывая во сне, а к Бекмирзаеву сон не шел. Не от переживаний, что снимут с должности. Слава богу, дети живут все в достатке. А его пенсии на него и старуху хватит. Да и приусадебный участок есть. Изберут молодого, энергичного председателя, и избавится он от лишних хлопот.

Приезжая в район на совещания, Бекмирзаев замечал, что среди других руководителей колхозов он самый старший по возрасту, чувствовал, что пора подавать в отставку, но недоделанные дела и неосуществимые планы каждый раз отсрочивали это его намерение. За должность свою он не держался, не

добивался ее окольными путями. Просто жил и работал, и люди поверили в него, избрав на этот почетный и ответственный пост. Он ощущал, как нужен людям, и теперь... На пенсию? Подрубить его под корень, как старое, трухлявое дерево, и отбросить в сторону? Но ведь он живой человек!.. Думая об этом, он невольно вспоминал свою молодость, друзей, с которыми работал бок о бок в трудные и радостные дни. До войны секретарем райкома был некто Туяков. Это он рекомендовал тогда еще молодого чабана Бекмирзаева на должность председателя колхоза. С ним он проработал четыре года. Потом Туяков ушел на фронт, а на его место прислали другого, пожилого человека. Туяков был решительным, требовательным, порой даже грубоватым. Он любил повторять: «Лучше сказать горькую правду, чем сладкую ложь».

Вспоминая с теплым чувством об этой поре, он вдруг подметил удивительную закономерность: со сменой руководителя района менялся и сам Бекмирзаев. Незаметно, постепенно, но приноравливался. Чего скрывать: во времена Туякова Бекмирзаев тоже бывал порою груб с колхозниками, строго наказывал не выполнявших его указания людей. А потом, в войну, секретарем стал Буран Бойсунов. По профессии агроном, он многие годы проработал в колхозе. Был он человеком мягким, спокойным. Удивительно, но в трудное военное время он ни на кого не давил. Никогда не повышал голоса, разговаривал тихо и назидательно. В те годы в колхозе были лишь женщины да старики. Может, этим и объяснялось, что он не грубил и не повышал голоса. Хоть Бойсунов и не кричал ни на кого, планы все равно выполнялись. Скорее всего потому, что война приучила всех к железной дисциплине.

Э-эх-х! Подумать — сколько хороших и удивительных людей, настоящих коммунистов повидал он в жизни! Где, интересно, теперь этот Бойсунов? Жив ли? Так уж человеческая жизнь устроена — приходит он в этот мир, поживет, поработает и уходит. И остаются от него в конце концов только доброе имя и добрые дела. А потом Бекмирзаев вспомнил Алимардана Исмаилова. В его времена дела в районе шли из рук вон плохо. Он внес такую сумятицу и беспорядок, что ничего нельзя было понять. Сколько неуместных дел натворили тогдашние руководители хозяйств, боявшиеся его окрика: «Если плана не выполнишь,

вмиг с тобой разделаюсь!» Однажды осенью он заставил людей работать дни и ночи напролет, без отдыха, чтобы в темпе собрать урожай овощей, но труд оказался напрасным: консервный завод был не в состоянии переработать весь урожай сразу — и большая часть овощей сгнила. Бекмирзаев тогда чуть не полетел с должности. А между тем овощи можно было убрать за месяц, рационально используя технику и людей. За многие годы своей трудовой деятельности Бекмирзаев почти ко всем руководителям привыкал и даже подражал им.

А с Рахимом Касымовым связывала крепкая мужская дружба. Это он перетащил Бекмирзаева из отдаленного колхоза в свой родной кишлак. Человек добрый и мягкий, Касымов за дело строго спрашивал. Пользовался авторитетом у колхозников. Много хорошего он сделал Бекмирзаеву. Да и в том, что Бекмирзаев сохранил свое здоровье и до сих пор работал, была немалая заслуга Касымова.

Вот так лежал, растревоженный воспоминаниями, Бекмирзаев и думал о прожитой жизни, словно подводил ей итог. Свет от фонаря, пробивавшийся через окно, ярко освещал комнату. Бекмирзаев взглянул на спящего рядом сына и тихонько вздохнул.

«Внеочередное заседание бюро... Если бы дело касалось не только нас, не пригласили бы столько людей из колхоза. В прошлом году плана не выполнили. Да и в этом помешали погодные условия — внезапные заморозки сгноили на грядках половину овощей. Вот это, наверное, и называется невезением. Ладно, в этом году были неблагоприятные погодные условия. Ну, а в прошлом? Почему не выполнили в прошлом году? Не хватило воды. Да и как могло быть иначе, если вся надежда на маленькую горную речушку, которая в жару, в самый разгар лета, пересыхает? А нет воды — нет урожая! Нет урожая — откуда прибыль?»

Уже давно Бекмирзаева мучила одна мысль. Особенно в те минуты, когда у него портилось настроение, она, эта мысль, преследовала его, пока он не переключался на что-нибудь. Как будто нарочно, каждый вечер по телевизору показывают передовые хозяйства! Теперь почти в каждой области таких кишлаков немало, с которыми иные города не сравнятся. Заместо клубов — Дворцы культуры, многоэтажные жилые дома, новые чайханы, пекарни, больницы, детские сады

и ясли, природный газ... Разве можно сравнивать кишлак Бекмирзаева с теми, что показывают по телевизору? Если разобраться, то его колхозники трудятся не меньше тех, что живут в хороших бытовых условиях. Но вот не везет с производительностью труда. Ну так кто в этом виновен?

Эта мысль гложет его который год и не дает покоя. Неужели она не приходит в голову никому из руководителей района?.. Сколько раз он обращался в районные планирующие организации. А те: «Кишлак ваш бесперспективен, вам все равно отсюда переезжать». Сказали — и точка. Вроде бы ясно. А выше идти он не решается. Расположенный в ущелье между горами, кишлак страдает от недостатка воды, нехватки пахотной земли, от неровностей рельефа. И пастбища тут скудные, приходится колхозные отары перегонять за несколько десятков километров, в Майдантал. Да, недостатки не скроешь. А кто в них виноват?..

Во всех недостатках Бекмирзаев винил прежде всего себя и по этой причине уже не раз собирался попроситься на пенсию: председатель должен быть помоложе и поэнергичнее, но, как обычно загруженный повседневными заботами, это свое намерение отодвигал на более поздний срок. Была еще в этом деле и оборотная сторона. Ну, хорошо, допустим, он тихонько уйдет на пенсию, а разве народ не скажет ему: что ж ты-де столько лет водил людей за нос? Пусть и небольшой кишлак, но раз ты поставлен ответственным за его судьбу, пожалуйста, думай о его будущем! Конечно, ты не сидишь сложа руки, но твоя забота думать не только о сегодняшнем дне. Но о завтрашнем, о последующих! Ты должен закладывать фундамент будущего.

Да, непросто быть руководителем. Райком, видно, решил освободить его от председательства, а он завтра сам подаст заявление!

...Бекмирзаев теперь смотрел на своих попутчиков в машине совершенно иными глазами. Все они, как солдаты, крепкие, мужественные парни. И зависть, и удовлетворение были в его взгляде...

Разговаривая о том о сем с секретарем парткома Фатхуддином, Бекмирзаев обдумывал, что ответит, если его спросят на бюро, кого он рекомендует на свое место. Взять, к примеру, хотя бы Фатхуддина. Образованный, трудолюбивый парень, но работать с людьми

еще не научился, мало опыта. Два года назад окончил сельхозинститут и приехал в колхоз. Хороший специалист, да и в секретари его выдвинул сам Бекмирзаев. И все же опыта работы с людьми ему не хватает...

Думая о секретаре парткома, Бекмирзаев поймал себя на мысли о том, что вроде как бы не доверяет молодым. А между тем вспомнил бы себя! Ему самому, двадцатитрехлетнему, Туяков целый колхоз доверил. А разве у него был хоть какой-нибудь опыт? Просто он не ждал, когда научат. Бывало, что ошибался, а потом — пришло время — всех удивлял...

Или вот этот Булатбек. Бригадир четвертой садоводческой бригады. Вся жизнь в поле, в саду! Вот его и предложить! Этот справится, хотя очень строг с людьми.

Ну вот, опять замечает недостатки!

Бекмирзаев нащупал во внутреннем кармане пиджака заявление и посмотрел в окно. Бескрайние поля лежали укрытые белым пушистым ковром. И эта бескрайность зимнего пейзажа навевала какую-то безысходную тоску. Бекмирзаев тяжело вздохнул.

В райком добрались в половине десятого. Секретарша, увидев Бекмирзаева, улыбнулась, поздоровалась и пошла докладывать первому секретарю. Спустя минуту она пригласила Бекмирзаева в его кабинет.

Председатель колхоза грустно, словно прощаясь, оглядел своих попутчиков и направился к двери. Увидев входящего Бекмирзаева, секретарь вышел к нему навстречу, крепко пожал руку и, предложив гостю сесть в кресло, сам сел напротив.

— Как здоровье, Махмуд-ака?

Бекмирзаев сглотнул слюну.

— Спасибо! — ответил он, а про себя подумал: «Это у него вступление. Мягко стелет... Не хочет обидеть!»

А секретарь Халиков продолжал:

— Думаю, ваши товарищи немного подождут. Хочу сначала с вами посоветоваться...— Он задумался.— Наслышан о вас как об опытном аксакале. Мне рассказали, сколько сил и труда вы отдали этому краю. Сами понимаете, район ваш я знаю плохо, человек я новый. Успел только в двух колхозах побывать. В том числе и в вашем. Не зря в народе говорят: лучше раз увидеть, чем сто раз услышать! — Халиков улыбнулся.— Словом, дел у нас много. Видел я ваш колхоз.

Положение удручающее. До этого я работал в Сырдарьинской области, а колхозы там очень богатые, и жизнь у колхозников иная...

— Там хлопок сеют,— прервал его Бекмирзаев, как бы оправдываясь.— А у нас скот, зерно, овощи...

— Так, так! — Халиков внимательно посмотрел на Бекмирзаева.— Продолжайте, продолжайте!

— А что тут скрывать: по сравнению с хлопком овощи требуют большего вложения, большего труда, а отдачи у них меньше.

— В ваших словах есть истина,— согласился Халиков.— Я вас слушаю.

Бекмирзаев вновь нащупал заявление, лежавшее в кармане.

— От этого, вероятно, и зависят условия жизни колхозников...

— Так что же вы предлагаете?..

Бекмирзаев пожал плечами, Халиков, видно не решаясь прерывать серьезный разговор, ответил сам:

— Это верно, что овощи требуют большего вложения. А разве за хлопком нужно меньше ухода? Просто овощеводство не так механизировано, как хлопководство. Отсюда и низкая производительность. Тут я могу с вами согласиться. Вот вы мне ответьте честно: как по-вашему, все ли внутренние ресурсы вы использовали? Помимо погодных условий есть, вероятно, и другие объективные причины, зависящие от нас. Нам нужно найти какой-то выход из создавшегося положения. К примеру, возьмем ваш колхоз... В чем главная трудность? Вы сами сказали — нехватка воды. А какие меры были приняты на этот счет? Разве нельзя из Чирчика поднять к вам воду, выделив средства из неделимого фонда на один мощный насос? Потом... в кишлаке у вас более пятисот семей, говорили вы, а почему-то в бригадах у вас работает по три-четыре человека?

Бекмирзаев молчал. Возразить Халикову ему было нечем.

— Два года подряд не можете выполнить плана! Почему?! Сейчас уже не остается хозяйств, которые бы обязательств не выполняли.

У Бекмирзаева вновь растревожилась старая рана, и он опять подумал: «Вся жизнь моя прошла в этом районе. Наверно, трудно будет пересчитать деревья, которые я посадил, дома, которые я построил, людей, которым я сделал много хорошего. Но что поделать,

постарел, а когда стареешь, никто уже всерьез не воспринимает тебя, на все смотрят так, будто все само собой произошло. И этот вот симпатичный молодой человек только вчера пришел на руководящий пост, а уже сегодня обрушивается на меня с упреками. Да что у меня, десять жизней, что ли?» Бекмирзаев полез в карман за заявлением. Халиков встал.

— Конечно, все не так просто, я понимаю,— сказал он.— Но менять все необходимо коренным образом. Все добрые, хорошие начинания даются нелегко. Нет надобности объяснять вам это. Словом, мы пригласили вас всех на сегодняшнее заседание бюро, чтобы вместе обсудить, посоветоваться и решить, как нам быть дальше. Хотим послушать товарищей. Вам известно, что через три дня состоится совещание по итогам года. А вы тем временем доведете мнение райкома до колхозников. Махмуд-ака! Мы тут посовещались и решили на заседании бюро обсудить такие проблемы, актуальность которых диктовалась бы самой жизнью. И вот одной из таких проблем, по-моему, является всестороннее, глубокое изучение дел в отстающих хозяйствах. Я повторяю: всестороннее, глубокое изучение и помощь. Эти вопросы мы хотим обсуждать по-партийному, принципиально, не боясь вскрывать недостатки.

И спустя полчаса в кабинете секретаря райкома началось заседание бюро.

Когда стемнело, две машины выехали из района и двинулись в сторону колхоза «Победа». В первой ехали Бекмирзаев, секретарь парткома Хуснутдинов и три бригадира. Они все еще были под впечатлением прошедшего обсуждения и продолжали спорить друг с другом. Бекмирзаев вначале тоже участвовал в споре, а потом, увлеченный мыслями, замолчал и задумался. «Весь вчерашний вечер и бессонную ночь я думал только о себе, о своем положении и должности... Хорошо, что я ни дома, ни в правлении никому ничего не сказал! И чего это я стал таким тщеславным?! Что, мне в наследство, что ли, эта должность досталась?! Мне ее доверил народ. Захочет народ — лишит меня этого высокого доверия! А я только о себе и подумал. За три часа, пока шло заседание, никто ни разу не затронул мою личность. Речь шла только о том, как поднять колхоз, чтобы люди зажили лучше. А я всю ночь толь-

ко и думал о том, как спасти свой авторитет, точнее — свою шкуру. Да, теперь можно поверить в то, что я постарел. А этот Халиков молодец! Думаю, что дела теперь наши пойдут на лад. Нет, на колхозном совещании по итогам года я поставлю ребром этот вопрос. Откровенно скажу народу. Скажу: райком обещал помочь, воду подведем, мы должны зажить в достатке и счастливо, и это целиком теперь зависит от нас!»

Бекмирзаев вдруг улыбнулся. Он почувствовал себя помолодевшим. Чтобы работать наравне с молодыми, надо быть сердцем и душой молодым. А иначе...

Он бросил взгляд за окно, в темноту, медленно спускающуюся с гор в долину. Вдали, в ущелье, засверкали огоньки, и от их света на душе у Бекмирзаева становилось теплее, он еще больше почувствовал великую ответственность перед каждым из этих домов, в которых горит свет...

## ОЖИДАНИЕ

Рассвет уже чуть брезжил, но слабовидящим глазам старухи окно показалось черным, будто завешенным черной занавеской. Где-то далеко-далеко слабо мигают звезды. Со двора слышно монотонное журчание водопроводного крана, который забыли закрыть. Старуха, поняв, что уже скоро утро, подумала: «Не пора ли вставать?» Потом тяжело вздохнула. В последние годы ей кажется, что ночи стали длиннее. Просыпаясь ночью, она, не глядя на будильник, знает, сколько времени. До полного рассвета еще довольно далеко, и это ее страшит. Этот страх продолжается вот уже три года, с тех пор как умер ее старик. Все, даже сама старуха Холпаша, говорили, что она умрет раньше мужа. Но поглядите на дела этого света: Холпаша-ая все еще жива, а ее здоровенный старик вдруг, за одну ночь, отдал богу душу.

Старуха только хотела встать, как прежняя страшная мысль вновь пришла в голову, и она похолодела: «Неужели в таком большом доме я останусь одна и помру?! Пока сообщат Батырджану, пройдет несколько дней. Не дай бог, чтобы мой бедный сын опозорился перед людьми! Ох, создатель всевышний, дай помереть мне так же, как мой старик, возле родных! Это моя единственная просьба! Постарела я теперь. Одной

ногой здесь, а другой — в могиле. Слава тебе, аллах! Все, что должна была видеть, — увидела, вкусно поела, сладко попила и красивые одежды поносить успела. Теперь хочу только одного: чтобы сын мой не мучился ни до моей смерти, ни после нее. А поэтому прошу тебя, всевышний: пошли мне хорошую смерть!»

Холпаша-ая вдруг представила себя умершей, представила, как после обеда Батырджан, сноха и внуки с плачем прибегут в ее дом, когда узнают, что она умерла. Старуха заплакала: «Бедный мой сын с самого детства такой мягкосердечный...»

Холпаша-ая, глядя в окно, вспомнила сына. Иногда она не может представить его и сама этому удивляется. Как женщина может не представлять своего сына, которого родила?

Кряхтя, поднялась, включила свет. Зажмурившись, снова села на кровать. Немного посидев, вышла на веранду, осмотрела прохладный двор. Лампа на веранде освещала только одну половину двора. Другая всегда оставалась темной и таинственной.

В глубине двора чернел навес для коровы и кур. Часть его была отгорожена досками под сеновал.

Корова под навесом переминалась с ноги на ногу. При этом шаткий пол жалобно скрипел под ее ногами.

Старуха подумала, что все-таки зря она не посмотрела на часы. Вокруг тихо. Только ветки старого тополя шумят на холодном осеннем ветру. Куры, сидящие на длинном насесте, могут показаться в темноте развешенным бельем.

«Зачем мне оставаться одной в этом доме? Если Батырджан приедет, скажу, что перееду к нему. Попрошу, чтобы продал дом, и тогда успокоюсь. Тяжело мне уже присматривать за ним... Нет, скажу, что хочу к внукам».

Старуха спустилась по ступенькам веранды во двор, сделала несколько шагов, как вдруг иные мысли охватили ее: «А стоит ли ехать туда? Только буду бельмом в глазу у снохи. Если бы не было у меня крыши над головой, тогда другое дело. А тут сама себе царица, сама себе хозяйка. Что мне еще надо? Ни от кого независима. Что хочу, то и делаю. Зачем мне в старости скитаться по чужим углам? Если никто из них не приезжает, значит, у всех много работы. Вспомнят обо мне — приедут, а не вспомнят — пусть это будет на их совести».

Старуха посмотрела вдаль, прошептала: «Светает». Свой двор показался ей родным и близким. Бодрыми шажками она подошла к водопроводу и, благодаря бога за то, что помог ей увидеть еще раз рассвет, умыла руки и лицо, попила из крана. Расшатанные поредевшие зубы заныли от холодной воды.

С тех пор как умер ее старик, Холпаша встает ни свет ни заря и начинает хлопотать по хозяйству. Вот и сейчас она возвратилась на веранду, взяла большое старое ведро и осторожно спустилась в подвал. Вечером она положила в миску с водой куски засохшего хлеба, чтобы они размокли. Теперь перелила их в ведро, с трудом вылезла из подвала и вернулась во двор. Едва она включила лампу под навесом, пятнистая корова поднялась с пола, замычала, тыча мордой в ведро.

— Проголодалась? Ешь, хорошая моя. Куда так торопишься? Ведь никто у тебя не отнимает.

Холпаша погладила ее по шее. Корова благодарно потянулась к старухе и наступила ей на ногу.

— Вай, вай, вай! Чтоб ты сдохла, ненасытная!

Прихрамывая и ругаясь, Холпаша вышла во двор. Нога сильно болела. Старуха взглянула на нее. «Господи, кровь появилась. Надо бы смазать. Где-то был йод».

Она нашла в комнате в старой аптечке йод, смазала посиневший окровавленный палец и обвязала ступню белым платком.

Надев калоши, принялась подметать двор. Корова выпила пойло и замычала. Холпаша, сердясь на нее, продолжала работать. Корова опять замычала, теперь беспокойно. Бросив метлу, прихрамывая, старуха направилась под навес.

— Ну, что тебе, обжора? — сказала она уже не так сердито.

Увидев пустое ведро, принесла воды. Корова смотрела на хозяйку, будто просила прощения. Злость прошла, и Холпаша отчитала себя: «Не можешь ужиться с коровой, а хочешь ехать к снохе, сварливая ты старуха». Она успокоилась, погладила корову и, вернувшись во двор, взяла метлу, но подметать не смогла, потому что нога разболелась так сильно, что рябило в глазах. Холпаша доковыляла до веранды, присела на стул. Боль в ноге поутихла. Старуха решила было прилечь, но раздумала. Стала ругать себя: «Что

случилось, если бы эти работы я сделала бы чуть позже? О боже! Все делаю ночью, как летучая мышь...»

Холпаша-ая хорошо знает причину того, почему она чаще всего работает по хозяйству в предрассветные часы, но сознаться в этом не хочет.

«Сейчас люди стали очень говорливыми. Если дать им волю, они будут ходить не на ногах, а на языке»,— ворчит она про себя.

И, не желая быть предметом их разговоров, всю основную работу по хозяйству выполняет, когда все еще спят. Так спокойнее.

Иногда ей хочется выйти к соседям, поболтать с ними, поучить их уму-разуму, да как представит их пересуды: единственный ведь сын... в старости оставил ее одну... уж очень редко приезжает... — так и пропадает всякое желание выходить из дома. Да, людей не заставишь держать язык за зубами. Странные они: все плохое видят, а добрые его дела видеть не хотят. Ведь он хороший сын: и в жару, и в холод приезжает проведать ее. Правда, редко. А если сам не может приехать, посылает тех, кто у него под рукой В каждый свой приезд привозит в подарок шелк. И сноха никогда не пустит ее сына с пустыми руками: то картошку, то лук, то рис заставит взять с собой.

Обо всем этом старуха Холпаша тысячу раз хвастливо говорила каждому соседу. Но они этого не понимают! А сколько раз она угощала их всем тем, что присылал Батырджан. И делала это ведь от чистого сердца. Соседи же, наевшись, начинали осуждать его. Что за люди! Только огорчают тебя, напоминая о самом неприятном.

Старуха вспомнила, что в этом году сын приезжал всего два раза, и то — ночью. И уехал ночью, жалуясь на срочность работы.

— Что, кроме тебя, некому работать? — с обидой спрашивала она сына.— Работа, работа, работа. Работа — это повод, чтобы реже приезжать. Все зависит от человека. От тебя зависит.

Сейчас ночные приезды и отъезды сына показались ей особенно обидными. «Почему бы ему не приехать, как другие: всей семьей, шумно? — думала она.— Пожил бы несколько дней здесь, показался бы людям. Ладно, приезжай в год хоть один раз, но побудь немного в доме, поживи с матерью, чтобы потом я могла ходить с поднятой головой и смело смотреть людям

в глаза. Вместе с тобой я бы... Эх, сын, неужели не понимаешь этого?»

Нога стала ныть еще сильнее. Холпаша про себя выругала корову. Во дворе светало. Верхняя часть окна приобрела розовый оттенок. Вокруг заметны признаки пробуждения. На улице кто-то кого-то окликнул. Затем послышались мужские голоса. Заскрипели ворота колхозного сада. По центральной улице проехал на мотороллере сосед, который работал в ближайшем поселке на консервном заводе. Со стороны железной дороги из громкоговорителя донесся хриплый голос. Ветер относил его в сторону.

Чуть прихрамывая, старуха опять спустилась во двор. Утро было холодное. На траве и кустах выпала холодная роса. Но оттого что воздух был чист и прозрачен, Холпаша не чувствовала холода. Обида постепенно уходила. Холпаша-ая остановилась у порога, задумалась. Откуда-то появилась кошка.

— Ну, Мурка, как выспалась? — обратилась она к ней.

По-видимому, кошка поняла это по-своему. Подбежав, стала тереться о ноги старухи. Холпаша-ая, посмотрев на кошку, подумала: «Удивительно, как все живое на земле связано друг с другом самыми разными видимыми и невидимыми нитями. Все в природе зависит друг от друга».

Она пошла под навес к корове. Та лениво взглянула на нее и отвернулась к кормушке.

— Ну, ты, наверное, сыта.

Старуха опять взялась за уборку двора и сарая. Село проснулось. Прежней тишины не было. Видимо, поэтому Холпаша-ая поначалу не расслышала, как постучали в ворота. А услышав, заторопилась к калитке. Кто-то, просунув руку через дыру в воротах, пытался отодвинуть засов. Старуха сняла подпорку и прислонила ее к забору.

Девочка лет десяти с черными, как спелая вишня, глазами, держа в руках двухлитровую банку, переступила порог, поздоровалась.

— Папа уехал на работу, попросил меня купить у вас молока,— улыбаясь сказала она.

— Здравствуй, здравствуй, миленькая,— ласково ответила старуха и обняла Зульхумар.

Так, обнявшись, они прошли на веранду, где стоял целый ряд мисок с молоком. Холпаша-ая выбрала одну

из них, открыла крышку и осторожно сняла соринки, попавшие в молоко. Зульхумар, хотя была у старухи Холпаши уже не раз, рассматривала привязанные к столбам веранды сухие букетики синеголовника, оберегающие, как утверждали старики, от сглаза.

«Как эти простые колючки могут охранять людей? И как можно сглазить вообще?» — размышляла про себя девочка. Взгляд ее упал на перевязанную ногу бабушки, но спросить, что случилось, она не решилась.

«Приду домой и расскажу про болезнь бабушки маме. Мама сумеет помочь ей чем-нибудь»,— сказала она себе.

Старуха налила молоко в банку, остатки вылила в кружку, протянула ее девочке и добавила:

— Пей на здоровье, расти большая и красивая.

Зульхумар вынула из кармана платья пять рублей и положила их на стол.

— Это наш долг за молоко. Мама просила сказать вам спасибо.

Старуха Холпаша имела в своем хозяйстве хорошую корову. Молока от нее для одной Холпаши было слишком много, и она стала раздавать его соседям. Брать с них деньги за молоко было как-то неудобно. Но соседи и слушать не хотели ее протестов. Они сами вели учет взятого молока и оставляли деньги на столе, когда это было им удобно. В конце концов старуха примирилась с этим. Потом оказалось, что вместе с пенсией эти деньги составляют значительную сумму. Однажды она попробовала их пересчитать, но после трехсот сбилась и больше не возобновляла попыток учесть свой доход. Холпаша завязала деньги в платочек и сунула их под подушку, лежащую на сундуке.

После ухода Зульхумар один за другим стали приходить за молоком соседи. Вскоре все миски были разобраны. Последнюю Холпаша хотела оставить себе, но, увидев огорчение колхозного агронома, которая пришла последней, отдала и ее. Распродав молоко, поставила самовар. С позапрошлого года в доме имелся газ, но Холпаша-ая не любила чай, вскипяченный на газе: в эту воду хоть пригоршнями клади индийский чай, все равно он будет пахнуть веником.

Старуха вошла в кухню, вынесла оттуда оставшуюся с вечера еду и положила ее в небольшую алюминиевую миску для кошки, потом спустилась в подвал, наполнила крупой глиняную миску. Охая, она

с трудом вылезла из подвала и направилась к курам, которые все еще сидели на насесте, разбросала крупу. Куры с петухом, будто кто-то вспугнул их, слетели с насеста.

Основная работа была сделана, и старуха решила позавтракать. Будто ожидая гостей, приготовила обильный завтрак. На столе разложила много вкусных вещей: сливки, масло, тутовое варенье, мед. В одной вазочке — джем, в другой — конфеты. После завтрака ей захотелось выйти на улицу. Она взглянула на небо: все оно затянуто тучами. Старуха опять загрустила. Как было бы хорошо, если бы все родные жили близко. Она села бы в автобус, до обеда съездила к Батырджану, наведала своих внуков, потом, успокоенная, вернулась бы домой. Иногда ей хочется съездить туда на несколько дней. Особенно сильно это желание возникает, когда приезжает Батырджан или тот, кого он присылает проведать старуху. Тогда ей хочется поехать вместе с ними, но она не может оставить свое хозяйство и скотину. Ведь все животные — тоже божьи существа. И притом зависящие от человека. Как можно оставить их? Лучше всего, молясь богу, сидеть здесь да работать, пока есть силы. Она снова пошла в коровник — надо было почистить под коровой пол, сердито толкнула лежащую корову лопатой, заставила ее встать и вывела во двор, чтобы не мешала работать. Та встала около навеса, наблюдая за хозяйкой.

Вдруг старуха решила сходить к почтальону: может быть, у него лежит письмо, которое он не спешит принести. Бросив лопату и отряхнувшись, она направилась на улицу. На полпути как-то охладела, засомневалась: удобно ли будет, если с раннего утра придет к нему за письмом? Холпаша остановилась и пошла обратно. Входя во двор, почувствовала огромную усталость, будто выполнила какую-то непосильную работу. В левой части груди что-то оборвалось. Резкая боль была как удар хлыста, и, шагнув, она закачалась. Ноги стали как ватные, захотелось тут же присесть. Холпаша-ая очень испугалась. Мучившая ее ночью мысль теперь, днем, была не менее страшной. Жизнь человека как вода в пиалушке: чуть закачается — и выплеснулась. Вот так ходишь-ходишь — и однажды тебя не станет...

— Нет, пока я в своем уме, надо переехать к сыну.

Видимо, оттого что старуха передохнула, боль ста-

ла меньше, усталость немного прошла. Коря себя за то, что так испугалась, она вошла в коровник и продолжила незаконченную работу. Наконец, вытирая со лба липкий пот, бросилась на курпачу, глубоко вздохнула. Почему-то вспомнила сначала про деньги под подушкой, затем с обидой — сноху.

— Старшую внучку Халиму сосватали, а бабушке сообщить забыли. Да разве нужна им теперь бабушка?! А ведь они не сразу родились такими. Надо было стирать пеленки с утра до позднего вечера, убирать, присматривать за ними. Вот тогда бабушка была нужна им. К тому же о свадьбе сообщили, никого не стыдясь, через чужого человека.

Приезжий и сам чувствовал себя неловко, рассказывая о свадьбе Халимы. «Нынешняя молодежь... Просили передать, что все ждут вас на свадьбу... а там, бог даст, и детишки пойдут, будете растить внуков»,— пытался он успокоить Холпашу.

Сначала она решила, что во всем виновата сноха.

— Батырджан — мужчина, он может и забыть о том, кто должен быть на свадьбе дочери. Но она ведь — женщина! Неужели сама не могла приехать?

Старуха еще более огорчилась, вспомнив, как боялась быть в тягость снохе, стать обузой в ее семье. Теперь обида рождала другие мысли: «Не так надо вести себя. Надо приехать к ней и заставить все делать так, как я считаю нужным». Но вдруг ей стало стыдно за такие мысли.

«Нет, я не права,— сказала она себе.— Жена сына всегда относилась ко мне хорошо. И если бы я приехала, сноха не позволила бы мне уехать обратно. Нет, во всем виноват Батырджан! Если бы он был хороший сын, разве не сказал бы жене: «Эй, жена, у меня одна мать — и она не знает о свадьбе моей дочери! Поезжай и пригласи ее в гости!» Мужчина должен быть мужчиной. Если женщина проявила слабость, он должен отчитать ее как следует! Почему он не мог стукнуть кулаком по столу? Почему позволил ей водить себя за нос?»

Холпаша-ая вспомнила соседей. Ей захотелось похвастаться перед ними, что скоро у нее будет еще один правнук. Но это желание сразу пропало, едва она вспомнила, каким образом ее пригласили на свадьбу. Ведь обязательно начнутся досужие вопросы.

— И чего люди вмешиваются в чужие дела? — раз-

драженно проворчала старуха.— Я ведь на их свадьбах не обсуждала никого. Сидела себе в сторонке да радовалась, глядя на молодых. «Пропади пропадом и деньги, и продукты, которые мне присылают,— продолжала она ворчать уже в адрес Батырджана и снохи.— Я и без них всегда сыта. Или они думают, что я такая же, как они,— раба своего желудка? Как жалко, что многие думают лишь о желудке, забыв о душе!»

Старуха вытерла концом рукава слезы, выступившие от обиды, и, хотя приближалось обеденное время, легла в постель. Есть ей не хотелось. Усталость и безразличие ко всему охватили ее. Она попыталась заснуть, но это ей не удалось. Через некоторое время пришла мысль, что она зря обижается на всех, как ребенок, что люди чаще были с ней добрыми.

Успокоившись, старуха встала с постели. На душе стало как-то легче. Почему-то вспомнилось время, когда она качала люльку со своей первой внучкой. Ей захотелось снова увидеть Гульбахор, такую ласковую и красивую. Холпаша-ая даже сделала несколько шагов по направлению к воротам, но потом отказалась от этой мысли. «Увижусь с ней попозже, нечего торопиться,— решила она.— Лучше займусь по хозяйству». Сначала поставила самовар. Затем принесла воды и еще раз напоила корову. Из угла коровника натаскала в кормушку сена. Увидев пустую миску для кошки, налила в нее молока. Разбросала курам крупу. Все это старуха делала почти машинально. В глазах опять потемнело. Обессилев, опустилась на ступеньки лестницы. А когда надо было снять трубу с сильно кипящего самовара, еле поднялась с места. Заварила чай. «Если попью горячего чая, может быть, станет лучше»,— подумала она. Действительно, чай согрел и немного успокоил ее. Но тревога не проходила. Случалось, она и раньше иногда чувствовала себя неважно, но, отдохнув, продолжала заниматься хозяйством. Сегодня же старуха чувствовала себя особенно плохо.

«Что это? Или дни мои сочтены? Может быть, сообщить Батырджану? Нет, не надо паниковать. Просто устала чуть сильнее обычного. К тому же к месту и не к месту думаю о каких-то наветах соседей. Зачем мучить себя?»

Старуха Холпаша, превозмогая себя, убрала скатерть, но постель стелить не стала, легла прямо на по-

крывало, набросив на ноги старый халат своего старика. Ей стало казаться, что лицо у нее вытягивается.

— Может быть, пойти к доктору? Нет, пройдет.

Когда старуха встала с постели, уже смеркалось. Шум на улице еще более усилился — люди возвращались с работы. Холпаша-ая вышла во двор, вспомнив, что надо подоить корову, накормить кошку и кур.

Она закончила работу, когда уже стемнело. Оставаться одной в доме было страшно. Холпаша-ая подумала, не позвать ли ей ночевать Зульхумар. В минувшую зиму, когда она простудилась и лежала в горячке, соседи пришли ей на помощь. Маленькая Зульхумар три ночи спала у нее, ухаживала за ней. После долгих колебаний старуха решила сегодня не беспокоить девочку. Если и завтра будет так же плохо, тогда она обязательно позовет Зульхумар и сообщит Батырджану о своей болезни. Попросит, чтобы он забрал ее к себе.

Настала ночь. Старуха не спеша постелила себе постель. Поцеловав кусок хлеба, положила его под подушку — чтобы быть здоровой. Лежа в постели, почувствовала себя даже бодрой и с удовольствием потянулась. Ее сразу стало клонить ко сну.

Была беспросветная ночь, когда старуха проснулась от ощущения, будто над ней кто-то стоит. Сердце встрепенулось от страха. Она испуганно огляделась вокруг — никого. Одиноко горела включенная на ночь лампа. Холпаша-ая почувствовала страшную боль в левой части груди, еще более сильную, чем утром. Она пыталась закричать, но не смогла издать ни звука. Холодный пот покрыл ее лоб и все тело. «Почему я так сторонюсь людей? Если не приезжает сын, значит, он занят государственным делом. Почему я боюсь об этом сказать открыто? Если доживу до утра, зайду к соседям. Что в этом стыдного? Государственная служба такая... Скажу детям: я постарела, навещайте меня... Если вот так скажу Батырджану, что тут обидного?.. Если бы он не был занят... «Будьте внимательны друг к другу,— скажу соседям.— Будьте внимательны, дорогие мои! Сегодня мы живы, а завтра... бог его знает... Если потом будем раскаиваться, разве этим оживим мертвых?.. Будьте внимательны друг к другу, дорогие мои... Что в этом зазорного?..»

## БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Уставшая после работы, в плохом настроении Райхон Самадовна по пути домой забежала в детский сад. И тут еще шестилетняя дочь окончательно расстроила ее, неожиданно заявив: «А ты, оказывается, обманщица!» Слова эти так больно ранили Райхон Самадовну, что она чуть не заплакала от обиды, но вовремя сдержалась и, строго взглянув на дочь, дрожащим голосом спросила:

— Что с тобой, доченька? Когда я тебя обманывала?

Зульхумар обиженно скривила губки и заплакала.

— Оказывается, наш папа не в армии. Он бросил нас! — плача сказала девочка, вытирая кулачками заплаканные глаза.

— Кто тебе это сказал?! — то ли удивляясь, то ли возмущаясь, выкрикнула Райхон Самадовна.

А Зульхумар, ничуть не испугавшись, уставилась на мать круглыми блестящими глазенками, словно спрашивала: «Это правда, мамочка?»

— Кто тебе сказал?

— Рано.

— Какая Рано?

— Ну та, у которой есть большая кукла.

Райхон Самадовна кивнула, вспомнив маленькую черноглазую девчушку. «О боже, и откуда эта пигалица узнала об этом? Эх, люди, люди, и чего им неможется, ходили бы спокойно, занимались бы своими делами! И чего это я такая несчастная!»

Райхон Самадовна строго посмотрела на дочь.

— Рано говорит неправду! Неужели ты не веришь мне, а поверила какой-то маленькой вздорной девчонке?! Ничего она не знает. Папа твой в Москве, служит в армии, скоро должен вернуться — и ты сама обо всем его расспросишь!

Успокаивая дочь, Райхон Самадовна еще больше расстраивалась. Девочка не впервые задает этот вопрос. Раньше, когда Зульхумар была совсем маленькой, Райхон старалась отвлечь от этого разговора. Дочка заиграется, забудет. А теперь Зульхумар все чаще спрашивает об отце и, видя, как мать теряется, становится все настойчивее. Райхон Самадовна каждый раз придумывала ответ, хотя понимала, что рано или позд-

но ребенок узнает это от других, и еще больше переживала обман, но ничего не могла с собой поделать.

Повседневные заботы по дому, работа, снова домашние хлопоты, вся эта однообразная жизнь раздражали Райхон, порой она злилась сама на себя, особенно вечерами, когда, придя поздно с работы, заставала дочь спящей и не знала, куда себя деть в большой квартире, слонялась из комнаты в комнату, и потом, устроившись в мягком кресле, могла часами вспоминать прошлое и в конце концов, выплакав свою боль, успокаивалась.

Вот и сейчас она ведет Зульхумар из сада, а из головы не выходит то, что сказала ей дочь при встрече. Зульхумар же, обиженная на мать, пыталась вырвать руку, но мать крепко держала ее. Райхон Самадовна чувствовала, что дочь скучает по отцу. А тут еще услышанное от девочки... Она не знала, как успокоить дочь, и молча вела ее домой.

Когда, открыв дверь, они вошли в квартиру, Райхон Самадовна от обиды готова была отшлепать дочку, но, вконец ослабев и расстроившись, тут же в прихожей присела на корточки и, крепко прижав Зульхумар к груди, долго не отпускала. Девочка нежно обхватила ее ручонками. Потом они разделись, повесили на вешалку верхнюю одежду и прошли в гостиную. Райхон Самадовна со вздохом присела на диван и по привычке посмотрела на сервант, стоящий напротив. Она увидела свое отражение в зеркале — увядшее, печальное лицо. Подбежала Зульхумар — прильнула к матери...

Райхон Самадовна поцеловала дочь в щеку и, отправив ее гулять во двор, прошла на кухню приготовить что-нибудь на ужин. Готовя еду, она снова предалась воспоминаниям. Райхон часто вспоминала Набиджана. С тех пор как она развелась с ним, они не встречались. Только однажды, кажется, прошлой осенью, она увидела мужа по телевизору. Райхон заметила тогда, что виски мужа посеребрила седина и он стал выглядеть более солидным несмотря на свой молодой возраст. В тот вечер она лежала в спальне, листая какой-то журнал, как вдруг услышала по телевизору знакомый голос. У нее екнуло сердце,— вскочив с кровати, выбежала в соседнюю комнату — на экране ее Набиджан. Он рассказывал что-то о социалистическом обязательстве, взятом его бригадой. Видно было, что он волнуется: Набиджан то и дело заглядывал

в листок, лежащий перед ним. Райхон слушала его, прислонившись к косяку, и вдруг почувствовала в ногах и руках слабость. Казалось, вот-вот подкосятся ноги. Сама не заметила, как решительно подошла и выключила телевизор. Затем, чтобы успокоиться, вышла на балкон. Но состояние не улучшалось — сердце колотилось как бешеное. А когда она вошла и снова включила телевизор, на экране Набиджана не было.

В тот вечер Набиджан совершенно не выходил у нее из головы. Ладно бы только сам вспоминался, но он всколыхнул в ее памяти воспоминания, которые были как соль на открытую рану. Райхон вспомнила, как все у них начиналось. Вышла она замуж по любви. И хотя она встречалась со своим будущим мужем целый год и в общем немного узнала Набиджана, но его родные так и остались для нее загадкой.

Родители мужа жили в другом городе, о своей будущей свекрови и свекре знала только по рассказам Набиджана... Потом сыграли свадьбу. Ах, какие приятные и нежные то были мгновения, когда, подойдя к ним, незнакомая ей еще свекровь поцеловала ее в лоб и пожелала им обоим счастья. Райхон лучше, чем другие, потом поняла, что такие прекрасные, такие счастливые часы выпадают человеку раз в жизни. Тогда Набиджан стоял рядом с ней, склонив голову. К ним подходили родные и близкие и, по обычаю, поочередно целовали ее в лоб и желали в жизни счастья... Райхон тогда от радости чуть не расплакалась.

А потом пошли будни супружеской жизни со своими радостями и огорчениями. Через полтора года после свадьбы Райхон стала главврачом районной поликлиники. А еще через полгода ее назначили заместителем начальника райздравотдела. И все стали величать Райхон Самадовной. А потом, потом... Райхон до сих пор сама толком не знает, с чего начался скандал. Нет! Конечно, все началось с мелочей... Как она ни пыталась вспомнить, когда у нее начались разногласия с Набиджаном, так и не вспомнила. Тогда они этого не замечали или не придавали значения. Это теперь со стороны видно, как незаметно холодели их отношения, подобно тому как рушится здание, не имеющее прочного фундамента. Да хоть была бы серьезная причина для размолвки! Так нет!

Как-то Набиджан пришел домой сильно подвыпив-

ший. Райхон хотела простить ему этот поступок, бывают в молодости ошибки, но чувство справедливости, так она считала тогда, не дало ей этого не заметить. «Если с самого начала не возьму его в руки, это войдет у него в привычку»,— решила она и встретила его суровее, чем сама ожидала.

— На продукты каждый раз все до копейки отсчитываете, ничего бы с вами не случилось, если бы не пили!

Она сама понимала, что зря так корит и отчитывает мужа, очень скромного и симпатичного парня, вызывающего восхищение ее подруг, но остановиться уже не могла, гордость не позволила. Только успокаивала себя тем, что, вероятно, если она будет с ним строже, больше этого не повторится. Набиджан, так как он был под хмельком, тоже в долгу не остался. В ту ночь они спали в разных комнатах. Утром Набиджан переживал за вчерашнее, прятал от нее глаза, не зная, как искупить свою вину. Но Райхон это расценила по-своему и опять начала корить мужа. А так как он молчал, разгорячившись, сказала:

— Если еще раз это повторится, уеду к матери!

Набиджан от стыда не знал, куда себя деть. Так и не допив чая, поспешил на работу. Вечером разговор у них совершенно не клеился, в их отношениях наметился холодок. Так продолжалось целую неделю. А потом, кажется, этот инцидент стал забываться.

Все началось с такой вот мелочи!

Теперь Райхон одна-одинешенька. И в такие минуты, когда Зульхумар спрашивала об отце, а это чаще случалось в субботу или воскресенье, она еще сильнее ощущала одиночество. В первые дни после развода с Набиджаном она по-прежнему поддерживала отношения с общими друзьями. Но спустя какое-то время и тут она почувствовала себя ущемленной. Гуляя на праздниках у своих подруг, она стала замечать, что гости, немного подвыпив, уединялись парами, забыв про Райхон. И тогда она еще острее переживала, что рядом нет мужа. А потом дошло до того, что многие близкие ее подруги стали ревновать своих мужей к ней. И — что самое обидное — первой от нее отвернулась подруга, которая учила ее быть построже с мужем. Она первой засомневалась в Райхон. Вот теперь они все сидят по норам, как мыши, занятые своими проблемами. Мало того, даже перестали замечать ее на ули-

це... Райхон тоже старалась реже с ними встречаться, сторонилась их, а потом и вовсе перестала к ним заглядывать. Теперь она искала утешения в своей работе. Чтобы скоротать время, вечерами допоздна задерживалась на службе. Теперь она жила воспоминаниями о прошлой жизни и любимой работой.

Но воспоминания порой становились ее злейшим врагом. Человек, живущий воспоминаниями, может вконец истерзать себя, что часто с ней и случалось. Иногда, задумываясь над тем, что ее молодые годы проходят безрадостно, у нее портилось настроение — и весь мир для нее казался мрачным. В такие минуты у нее рождалось непонятное чувство мести.

«Так с чего же все началось?» — в который раз задавала себе вопрос Райхон. Однако, как и прежде, ясного ответа не находила. Потом она стала вспоминать подробности ссоры, которая произошла три года назад в день ее рождения. В тот злополучный день Набиджан встал рано утром и первым делом поздравил жену. Райхон была очень тронута вниманием, так как накануне дня рождения зареклась не напоминать мужу об этом и, в случае, если он забудет, со злорадством напомнить ему. «Ну что я такая бессердечная и вредная! — возмутилась она.— Могла бы между прочим в шутку сказать: Набиджан-ака, вы не забыли, завтра день моего рождения, что вы мне приготовили в подарок?! Ведь как-никак не чужой мне человек... Словом, сама со своим дурацким характером виновата».

Так вот, когда Набиджан проснулся и первым делом поздравил жену, она, вместо того чтобы поблагодарить мужа, улыбнуться ему, возьми да и съязви. Черт ее дернул за язык, что ли, словно он у нее чесался. «Что это бог смилостивился, из глины искру высек!» Заметив на лице Набиджана растерянность и обиду, она разошлась еще больше. «Надо же,— возмущалась она.— Что за мужчины пошли — нельзя и слова им сказать. От обиды готовы с крыши спрыгнуть».

Да, в тот день они крупно повздорили. Кончилось все тем, что муж ушел на работу с испорченным настроением. Набиджан зря, конечно, на нее обиделся и, чтоб отомстить обидчице, пришел домой поздно. Ведь как-никак он мужчина, сильный человек, и мог бы сдержать себя и простить все, что она наговорила, хотя бы ради нее. Такой его шаг она бы еще больше оценила.

Райхон, правда, сама целый день ходила расстроенная тем, что ни за что обидела мужа. Даже раза два звонила ему на работу, чтобы извиниться, но никто не брал трубку. Потом, пораньше отпросившись с работы, по пути домой она забежала на базар купить чего-нибудь к столу. Разложив продукты в кухне, занялась приготовлением еды. Сервированный стол получился такой красивый, что даже крошка Зульхумар от удовольствия захлопала в ладоши. Она тоже помогала маме, а точнее — больше мешала, потому что каждый раз, проходя мимо Зульхумар, Райхон приходилось наклоняться к дочери, чтоб та чмокнула ее в щечку, приговаривая при этом: «Поздъявляю!..»

Какое у них было чудесное настроение...

Но на часах пробило девять, потом десять, а Набиджана все не было. Райхон, отчаявшись, попробовала даже позвонить мужу на работу (время позднее, вряд ли он там!), но никто не отвечал. Настроение было вконец испорчено — она взяла девочку на руки и, присев на диван, обняв Зульхумар, пригорюнилась. Сколько она так просидела, Райхон не знала. Девочка давно заснула у нее на руках. В конце концов, не выдержав, разрыдалась. «И что это я такая несчастная!» — запричитала она, горько плача. От ее рыданий проснулась дочурка и спросонья тоже заплакала, потом, крепко обвив шею матери ручонками, снова заснула. Райхон осторожно, чтобы не разбудить, уложила ее в постель. А сама присела на диван и задумалась.

Райхон прождала мужа до полуночи, но он так и не явился. С негодованием и досадой она стала убирать все со стола. Голодная и усталая — вот тебе и день рождения! — Райхон легла спать.

Ночью, — кажется, Райхон уже задремала — в дверь позвонили. Она вскочила с постели, готовая обрушить весь свой гнев на того, кто ее так сильно обидел, и, подойдя к двери, сердито спросила:

— Кто там?

За дверью долго молчали, а потом незнакомый голос сказал:

— Мы!

— Кто «мы»?

— Райхон, это я — Касым-ака. Мы пришли.

— Здравствуйте, Касым-ака! Кто же это все-таки «мы»?

— Кто же может быть?! Набиджан, я, Ашурали... Немного задержались на свадьбе...

Райхон, ничего не ответив, вдруг всхлипнула. За дверью, кажется, услышали ее плач, и Касым-ака робко произнес:

— Сегодня, оказывается, день вашего рождения. Приносим свои извинения! Набиджан сказал нам. Это мы виноваты, что задержали его на свадьбе.

Райхон резко открыла дверь и зло крикнула:

— Убирайтесь, откуда пришли! Идите! Идите!

С грохотом захлопнув дверь, она убежала в спальню и с рыданием бросилась на кровать.

Она слышала, как ее умолял впустить Набиджан. А Райхон, разревевшись, никак не могла остановиться. За дверью долго о чем-то совещались и потом стало тихо. Райхон вышла, открыла дверь и выглянула на лестничную площадку — никого. Посмотрела по сторонам — а вдруг они спрятались выше этажом. Убедившись, что никого поблизости нет, спустилась вниз и даже прошлась до автобусной остановки, но никого не обнаружила.

С того вечера Набиджан не появлялся дома почти месяц. Днем он забегал несколько раз в садик проведать Зульхумар, приносил ей подарки, но с женой так ни разу и не столкнулся.

«Как я не поняла тогда, что черная туча нависла над головой?! Странно! Ведь Набиджан, боясь, что я начну ругать его, привел с собой дружков. Ясно, вместо того чтобы, как многие женщины, смолчать и сделать вид, что ничего не произошло, ласково встретить, я еще и не впустила его в дом! Рассуждая, что у нас ребенок и никуда муж от меня не денется!»

...В дверь постучали. «Мама! Мама! Открой!» — услышала она голос Зульхумар. Райхон открыла дочери дверь, проводила ее на кухню, накормила ужином. Есть самой не хотелось, и она включила телевизор, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Что удивительно: вот уже больше трех лет прошло с тех пор, как расстались с Набиджаном, а она никак не может избавиться от мысли, что его в доме нет. Все в квартире напоминало о нем. Вот и этот телевизор «Горизонт» они покупали вместе в торговом центре. Внося телевизор в квартиру (Набиджан нес его по лестнице один), он чуть его не уронил. Кто знает, может, и разбился бы телевизор у порога, не окажись она тогда рядом. Когда

поставили телевизор в углу гостиной на тумбочку. Набиджан вытер пот с лица и, устало улыбнувшись, сказал: «А ты молодец! Ловкая! Я уж думал, что уроню, хорошо, что подхватила с другой стороны!» Теперь Райхон вспоминает об этом эпизоде с нежной грустью и тоской. Или вот этот ковер, что висит над диваном! Когда купили, долго спорили — где лучше повесить — и потом решили, что ковер украсит гостиную. Райхон пришивала петли, а Набиджан прибивал гвозди. А эта кровать? Райхон кажется, что до сих пор от нее исходит родной запах. А в этом шифоньере на стенке висели его галстуки. Между прочим, там до сих пор остался один его галстук. Набиджан привез его из Москвы незадолго до развода...

Зульхумар, видно, здорово намаялась за день, заснула сидя на стуле, уронив голову на грудь. Райхон осторожно, чтобы не разбудить, взяла дочь на руки и перенесла в постель. Сама пристроилась рядом и снова погрузилась в думы.

...Месяца три назад Райхон, встретив одну из своих студенческих подруг, которая по делам оказалась в Ташкенте, жила она в другом городе, пригласила ее к себе. За чашкой чая разговорились, вспоминали студенческие годы, Райхон поделилась с подругой тем, что семейная жизнь ее не удалась. Та посочувствовала ей и попросила показать фотографию мужа. Райхон принесла из другой комнаты альбом с фотографиями — каких только снимков там не было: сделанные в детстве и во время учебы в институте. Разглядывая снимок, на котором она была с Набиджаном, это, кажется, они фотографировались после свадьбы: рядом с Райхон стоял высокий, стройный парень, подружка сочувственно покачала головой: «И с таким красавцем ты развелась?!» И, заметив, как Райхон расстроилась, успокаивающе добавила: «Да, жизнь сложная штука, со стороны советовать легко». А спустя месяц Райхон неожиданно получила от той подруги письмо. Подруга писала, что собирается к ней специально приехать, и просила ее быть в это время дома. И действительно: в обещанный день подруга появилась у нее. Райхон радушно встретила гостью. Спросить у подруги причину ее приезда Райхон сразу не решилась. А та почему-то молчала. И только поздно вечером, когда они уложили Зульхумар, подруга как-то многозначительно и лукаво спросила:

— Не догадываешься, зачем я к тебе приехала?

— Не-ет!..— ответила Райхон, подумав, что у подруги, вероятно, есть какая-нибудь просьба.

— Я приехала сватать!

Райхон даже растерялась от неожиданности. Подруга расценила это по-своему и тут же перешла к делу:

— Один из уважаемых в области людей, ты не подумай, что какой-нибудь там... У бедняжки умерла жена, и он остался вдовцом с двумя детьми. Тебе они не будут обузой — они уже выросли.

Райхон вспыхнула, придя в себя, хотела было нагрубить подруге, сказать, что она не просила ее вмешиваться в личную жизнь, но, решив, что с гостьей, да еще подругой, так не поступают, сдержалась, промолчала. Райхон смущенно опустила глаза. А подруга это снова поняла на свой лад.

— Слушай моего совета, Райхон, не раздумывая, выходи за него замуж. Набиджан ведь твой женился. Был бы холостой, можно было бы на что-то надеяться. Не прогадаешь: и сыта, и обута будешь, что пожелаешь, все получишь, поверь мне...

— Говорят, настоящее чувство любви можно испытать только раз. Устраивать свою жизнь я не собираюсь. Мне нужно о дочери подумать. Она уже не маленькая и все понимает. Не заметишь, как ей уже приданое надо будет готовить, какое тут замужество...— через силу улыбнулась Райхон.

— Что ты говоришь! — не отступала подруга.— Пойми, человек только раз живет в жизни,— и зачем тебе губить свою молодую жизнь? Так, наоборот, даже лучше, что ты выйдешь замуж,— и у Зульхумар будет отец. Вот ты говоришь, что человек только однажды может полюбить, а ведь женился же твой Набиджан?!

— Да, женился. Он, бедняга, два года ждал, надеясь, что я смирю свою гордыню. А теперь жалею, что упрямилась. Больше всего страдаю оттого, что дочь живой сиротой оставила.

— Ты-то при чем? Что ты себя казнишь? Он больше виноват!

Райхон с удивлением взглянула на подругу. Очень странным показалось ей то, что подруга, которая в прошлый свой приезд корила ее за то, что она ушла от такого красавца, сейчас говорит обратное.

— Словом, сама решай. Я хотела как лучше,— ска-

зала она, пожимая плечами.— Ты еще молода. А постареешь, поймешь, что человеку нужна опора...

На другой день подруга собралась уезжать, сказав при этом, что, если Райхон надумает, пусть напишет. Начиная с того дня, Райхон не находила себе места: какие-то непонятные мысли лезли в голову. Чем сильнее она пыталась отогнать мысль о замужестве, тем сильнее она тревожила ее душу. Хотя она прекрасно понимала, что не выйдет замуж за человека, приславшего свата, любопытство разбирало ее. Правда, при этом она ни на минуту не забывала о муже.

Как-то Райхон спросила дочь, которая играла на диване в куклы: «Зульхумар, хочешь папу?» С криком: «Ура! Скоро папа придет!» — девочка радостно захлопала в ладоши. Райхон подсела к дочери, пересадила ее к себе на колени и тихо сказала: «Я хочу привести тебе другого папу!» Зульхумар испуганно посмотрела на мать и, толкнув ее в грудь, соскочила с колен: «Не нужен мне другой папа. Мой папа хороший!» Райхон тогда с трудом успокоила дочь...

Райхон стала замечать, что мысль о незнакомом мужчине не выходит у нее из головы и она часто вспоминает слова подруги о том, что, если она надумает, пусть напишет. И надо же случиться такому, как будто кто специально сделал: Райхон предложили командировку от министерства в ту самую область, где жила ее подруга. Райхон вначале даже расстроилась, думая, что все это опять подстроено. Но какое-то непонятное тайное желание увидеть того человека сыграло свою роль, и Райхон согласилась.

Оставив дочь у матери, она уехала в командировку. Подруге Райхон ничего не сообщила: еще подумает, что приехала по ее приглашению. Неделя пролетела в делах, незаметно, и накануне отъезда она все-таки решилась позвонить подруге, чтоб та не обиделась, если узнает о том, что Райхон была у них в городе и не дала знать. Подруга сразу же по голосу узнала Райхон и очень обрадовалась.

— Звоню из гостиницы, я здесь в командировке уже неделю. Закончила все дела и завтра улетаю домой. Подумала: еще обидешься, если узнаешь, что я была здесь.

— А я на тебя и так обижена,— сказала подруга с упреком.— Немедленно приезжай. У тебя есть мой адрес? Я одна в доме. Дети у бабушки. Приезжай сей-

час же, а не то действительно обижусь. Ну как то, о чем мы говорили?

— Ты о чем?

— О твоем замужестве! Я как-то намекнула Шухрату Бакоевичу про тебя. Так он теперь каждый раз, как увидит меня, только о тебе и спрашивает. Ты не пожалеешь, подруга. Ты хоть взгляни на него, не понравится — другое дело. Так жду.

Райхон от смущения и растерянности вовсе не знала, что ответить.

— Хотя постой! Мы сами к тебе приедем. Этот человек наш сосед. Друг моего Кадырджана. Мы втроем и приедем. Ты в каком номере?

У Райхон от волнения сильно заколотилось сердце.

— Нет, нет! Не надо! — сказала она с дрожью в голосе.

— Ну соглашайся. Обещаю, на эту тему я ни слова. Мы просто приедем проведать тебя. Не возражай. Мы выезжаем. Мы все равно приедем.

Весело засмеявшись, она повесила трубку. Райхон от волнения не знала, что ей делать, потом, опомнившись, начала прибирать в номере. Сложив в стопку разбросанные на столе газеты, она вытащила из сумки расческу и подошла к зеркалу и, глянув на свое отражение, мысленно стала успокаивать себя: «Ведь ничего же не произошло? Что я так разволновалась?! Что, он меня съест, что ли?»

Когда в дверь постучали, Райхон встревожилась вновь. Волнуясь, она подошла, открыла дверь и, увидев за порогом одну подругу, облегченно вздохнула. Подруга прошла в комнату, оглядела Райхон с ног до головы и весело затараторила:

— Пошли. Мужчины ждут нас внизу, в ресторане заказали столик. А ты выглядишь прекрасно!

— Нет, мне неудобно. Никогда не ходила по ресторанам с чужими мужчинами. Честно говоря, мы так с тобой не договаривались, — сказала Райхон обиженно.

— Я же обещала: не понравится — и рта не раскрою. Шухрат Бакоевич вовсе ничего не подозревает. Мы ему объяснили, что к моему Кадырджану из Ташкента приехал коллега, с которым хотели отужинать.

Райхон неохотно согласилась. Они спустились на первый этаж и прошли в ресторан. Войдя в зал, подружка стала озираться по сторонам, кто-то помахал им

из угла. За столом сидели двое мужчин: один плотный, с усами, лет сорока, Райхон сразу догадалась, что это Кадырджан. Когда женщины подошли, мужчины встали и пригласили сесть. А вот при виде второго мужчины настроение у Райхон испортилось. На вид ему было лет пятьдесят, полноватый, с большим брюшком, огромным носом и пухлыми губами, откровенно говоря, он произвел на Райхон ужасное впечатление. Ей тут же захотелось извиниться и, сославшись на недомогание, подняться к себе в номер, но подруга крепко держала ее за руку.

— Пожалуйста, знакомьтесь — Райхон, моя подружка. Приехала проверять дела моего мужа,— подмаргивая Кадырджану, сказала она.— А это — наш сосед Шухрат Бакоевич, директор хлебозавода.

Райхон молча кивнула и присела рядом с подругой. Как ни старались хозяева, разговор за столом явно не клеился. Настроение у Райхон было испорчено, это тоже понял Шухрат Бакоевич и чувствовал себя от этого неловко — то вилку ронял, то нож, потом кряхтя доставал их с пола. А Райхон все выжидала удобного случая выйти из-за стола. Потом все же решилась.

— Я сейчас вернусь,— сказала она, хватая свою сумочку.— Только на минутку.

Райхон стремглав вышла из ресторана и, поднявшись в номер, заперла его на ключ изнутри. Спустя некоторое время в дверь тихонько постучали, Райхон нехотя поднялась с кровати, вытерла мокрые глаза и открыла дверь — в коридоре стояла подруга.

— Что с тобой? Там тебя ждут!

Райхон, ни слова не говоря, бросилась ничком на кровать и зарыдала. Она плакала, сотрясаясь всем телом, спроси ее, она бы не могла ответить, почему плачет. Не ожидавшая такого поворота, подруга с удивлением застыла над ней.

— Ты что, обиделась? Прости меня... Я хотела как лучше.

Уговорить Райхон спуститься вниз подруга не смогла. Чем больше она ее уговаривала, тем сильнее рыдала Райхон.

Об этом случае Райхон вспоминала с каким-то сожалением, тяжелым чувством неловкости. Тогда она поняла, что не ценила мужа, веселого, мудрого, умного, правда, немного упрямого. Сладостные воспоминания пробивались сквозь печальные мысли, подобно то-

му как сквозь гранит пробивается маленькая зеленая былинка. В такие минуты она по-доброму вспоминала Шухрата Бакоевича и переживала, что ни за что обиделась тогда на подругу, и сожалела, что в такое неловкое положение ее поставила. «И что я тогда взбеленилась, ведь не приставал же он ко мне. Ну и что, что не красив, а может, он хороший человек... А может, я ему не понравилась? Я даже об этом не подумала! Вот, допрыгалась, без мужа осталась! Да кто я сама такая? Ангел небесный, что ли?»

Райхон чмокнула в щеку спящую дочку и поправила сползшее с нее одеяло. Потом, тихонько приоткрыв дверь, вышла на балкон. Было тихо и прохладно. Словно какая-то неведомая тишина окутала землю. Для Райхон эта ночь была одной из привычных ей бессонных ночей. Она невольно подумала о своем и своего ребенка будущем.

А кто знает, может, спустя какое-то время она выйдет замуж за человека, похожего на Шухрата Бакоевича. Чего только в жизни не бывает!

## ДВОЕ

Ему уже под пятьдесят, но он не женат. В студенческие годы был влюблен в сокурсницу из Бухары, но она, так и не дождавшись его предложения, вышла замуж за своего дальнего родственника и куда-то уехала. Позже Файзулло Умарович радовался, что не женился в молодости. «Повесил бы себе на шею обузу — и тогда прощай эта вольная, счастливая жизнь! Я доволен своей судьбой — стал врачом, профессором... Женитьба никуда от меня не денется...»

Успокаивая себя таким образом, он, правда, понимал, что рано или поздно надо будет решить эту проблему. На личную жизнь и будущее семейное счастье он возлагал большие надежды. «Любовь в молодости — это любовь безрассудная, эмоциональная,— считал он.— Жениться можно, лишь взвесив все «за» и «против», оценив объект своей любви, сделав соответствующие выводы...» Такова была его «философия любви». Он считал, что любовь в зрелом возрасте более прочная и серьезная, в отличие от любви в молодости. Эту свою философию, скорее для собственного утешения, он подкреплял жизненными примерами. Ему

почему-то не приходило в голову, что жизнь человеческая быстротечна, что каждый час, каждый день, месяц и год приближают нас к старости и что он так и проживет, не испытав в жизни цену настоящей любви. Точнее, он гнал от себя эти мрачные мысли. Но, задумываясь о своей судьбе, он все чаще думал о том, что настала пора жениться — и, естественно, на молоденькой девушке.

На вопросы друзей: «Почему не женишься?» — отшучивался: «Жениться еще успеем! Ну, что хорошего в жизни вы видите? Возвратившись с работы, насытившись ужином, приготовленным женой, сидите перед ящиком. Потом идете спать! И так каждый день!»

Однажды Файзулло Умарович услышал такое, что волосы на голове встали дыбом. Один из его коллег-аспирантов, который на протяжении многих лет не мог защитить кандидатской диссертации, под хмельком смешил преподавателей: «Файзулло Умарович похож на евнуха из ханского гарема...» Узнав об этом, Файзулло долго не мог успокоиться от возмущения. У него появилось желание при всех как следует проучить лжеца и сплетника, но, придя в институт, передумал. «И что мне уподобляться ему, нашел тоже с кем связываться!» — успокоил он себя.

Правда, мысль о том, чтоб отомстить своему обидчику, не давала Файзулло Умаровичу покоя. И он твердо надумал жениться, чтоб опровергнуть слухи, распространенные его «другом». Файзулло Умарович сделал предложение студентке, гордости и красе того самого курса, где преподавал тот самый неудачник-аспирант. Девушка как-то странно покраснела и ничего не ответила, о том слухе знали не только на кафедре, но и все студенты. Его так за глаза и звали: «Евнух!»

«Что скажут подруги? — первое, что подумала девушка.— Если дам согласие, решат, что выхожу замуж по расчету. Тем более, все на курсе знают, что у меня есть жених, с которым вот уже три года встречаемся. Как я могу его предать?!»

Барно, так звали девушку, решила посоветоваться с матерью. Та выслушала все «за» и «против» и неуверенно ответила:

— Сама решай, доченька. Подумай хорошенько. Ты уже не девочка. Такой жених твоей руки просит, а ты еще думаешь? Смотри, потом не жалей. Птица счастья только раз садится на плечо...

А когда Барно намекнула матери, что у нее есть парень, та вдруг обрадовалась:

— Так и сказала бы, что есть любимый! Дала ему слово, да?

— Нет, что ты, мама. Мы на эту тему и не разговаривали,— смущаясь ответила Барно.

Мать многозначительно посмотрела на дочь, погладила по голове и, глядя в глаза, доверительно спросила:

— Откуда же твой парень?

— Из Термеза.

— А-а?!

Вот и весь разговор. Мать так и не дала совета — согласиться ей выйти замуж за профессора или отказать ему. А самой спросить язык не повернулся.

Утром за завтраком мать неожиданно прослезилась.

— Разве я тебе плохого желаю, доченька. Ты же радость моя единственная. Был бы отец, посоветовал. Ты молода, и не надо поддаваться чувствам. Мне кажется, если сам профессор, преклонив свою голову, выбрал тебя,— соглашайся. Он по-отечески будет заботиться о тебе...

Словом, Барно согласилась. И тут же по институту пошли слухи: «Слышали?! Файзулло Умарович женится... И знаете на ком? На лауреате республиканского студенческого фестиваля, искусной танцовщице Барно Касымовой!..»

Кто смеялся этому, как очередной шутке, кто страдал. А нашлись и такие, что жалели. И жалели скорее не Барно, а Файзулло Умаровича. Даже те из его друзей, кто в общем-то многое повидали в жизни, пытались отговорить его от такого необдуманного шага и советовали ему подыскать ровню, а не жениться на девушке, которая ему в дочери годится, даже называли вдову, что преподавала у них философию.

Файзулло Умаровича трудно было узнать. Он словно был пленен каким-то пьянящим чувством, охватившим его мысли и сердце. Стоило ему подумать о Барно, как его охватывало непонятное волнение и душу переполняла радость. То ли оттого, что он никого до этого по-настоящему не любил, он не чаял в ней души. Наконец-то он почувствовал эту таинственную радость. Стоило ему представить ее фигуру, вспомнить ее походку, ее чуть смущенный взгляд, когда встречалась

с Файзулло Умаровичем, как все это вызывало в нем сладостные думы. Он теперь не ходил, а летал.

Потом была пышная свадьба. Спустя три месяца Файзулло Умарович, возвратившись с работы в прекрасном расположении духа, обнял молодую жену и улыбнулся.

— Вот, милая,— произнес он, доставая из кармана две какие-то бумаги и торжественно кладя их на трюмо.— Это для начала.

— Что там? —.по-детски наивно поинтересовалась Барно.

— А ты прочти! Что там написано? Путевка в санаторий «Южный берег Крыма».

Барно невольно вспомнились слова матери о том, что муж будет заботиться о ней. Она радостно захлопала в ладоши, крепко обняла мужа и чмокнула его в щеку.

В ту ночь она долго не могла заснуть. Разные мысли лезли в голову. «Ну и что, что он старше меня на двадцать три года... зато умный... профессор. Подруги судачат об этом из зависти. Ну и пусть говорят, на чужой роток не накинешь платок...»

Но как ни пыталась Барно успокоить себя, но все же в глубине души страдала оттого, что она, молодая и красивая девушка, вышла замуж не за ровесника, сильного и красивого парня, а за старика. Эта мысль часто терзала ее. Она, как червь, потихоньку подтачивала дерево с корней. «Зато у меня он настоящая опора. Разве мне плохо с ним?! Другие всю жизнь пашут, как волы, чтобы кое-как сводить концы с концами, чего-то приобрести... А у меня всего в достатке... Чего мне еще надо? Я счастлива!.. Файзулло Умарович любит меня, заботится обо мне...» — успокаивала она себя.

Файзулло Умарович, то ли потому, что поздно женился, очень любил свою жену, вился вокруг нее, не зная, чем бы ей еще угодить, выполнял любые ее капризы и, если бы это было возможно, ни на шаг бы от нее не отходил. На людях, когда рядом бывала жена, он сидел довольный, гордый тем, что у него такая красивая жена. Он и до женитьбы следил за собой, хорошо одевался. А теперь так и вовсе стал модником. Они часто ходили в гости. Барно надевала красивое, чуть выше колен, атласное платье, укладывала венком длинные черные косы, рядом, как молодой олень, не

в силах скрыть своей радости, вышагивал Файзулло Умарович. Он надевал темный шерстяной костюм, модную светло-желтую рубашку с ярким цветастым галстуком, в одной руке он нес коробку с тортом, в другой, в зависимости от погоды, зонт или кофту жены. В такие минуты они действительно были счастливы.

Но эту, казалось, бесконечную идиллию мог нарушить какой-нибудь незначительный пустяк. Естественно, когда они прогуливались по улице, на его жену заглядывались молодые парни, что приводило Файзулло Умаровича в состояние неуравновешенности. А если еще к тому ж Барно тайком провожала их взглядом и это не ускользало от него, он устраивал дома сцены ревности. Чтобы не вызывать у мужа этого чувства, Барно, завидев молодых мужчин, старалась отвлечь Файзулло Умаровича разговором или вдруг опускала глаза, крепко хватая его за руку. Это еще больше настораживало Файзулло Умаровича, и он сильнее ревновал жену и переживал.

В Крым они прибыли вовремя, в день заезда. За всю свою жизнь Барно впервые отдыхала на юге, у моря. Для нее все здесь было новым, и она с любопытством разглядывала курортный город. Ее радовала такая удивительно гармоничная природа — бескрайнее море и высокие горы со снежными вершинами. Несмотря на то что в санаторий они приехали поздно ночью, Барно и Файзулло Умарович проснулись очень рано. Выйдя на балкон, залюбовались видом Ялты. Среди зелени деревьев и кустарников тянулись вверх стройные кипарисы. А выше, у самой вершины, белело здание ресторана. Над горами висели облака, и их почти не было видно. Внизу величественно шумело море. Мерно качались на волнах то там, то сям лодки, плотики и водные велосипеды. Лучи солнца, пробившись сквозь рваные облака, как прожектором высвечивали водную гладь, искрясь и переливаясь огнем. Эта картина вмиг менялась: откуда-то набегали тучи — и все погружалось во мрак, то снова проглядывало солнце — море под лучами солнца таинственно переливалось всеми цветами радуги.

Барно была очарована теплым морем и прекрасным видом, открывавшимся с их балкона. Глядя на плывущие по морю небольшие белые пароходики, ей хотелось скорее спуститься к причалу и на таком малень-

ком суденышке поплыть по морю. Она не замедлила высказать свое пожелание мужу.

— Еще успеем,— улыбнулся Файзулло Умарович.— Надо сначала акклиматизироваться, а не то продует на море и проваляемся весь отпуск в постели.

Барно ничего не оставалось, как согласиться с мужем, но в душе закралась обида на то, что он оставил ее просьбу без внимания. Барно готова была броситься в объятия природы, несмотря на усталость, бродить, смотреть, любоваться. Файзулло Умаровичу же, наоборот, хотелось уединения, покоя или тихих бесед на скамейке...

Прошла неделя. С утра день выдался ясным. Молодожены решили съездить на экскурсию в Ботанический сад. Наняли небольшой катер. Ступив на раскачиваемую волнами лодку, Барно, оступившись, испуганно вскрикнула, Файзулло Умарович, подав руку, помог ей сесть на сиденье. Потом, расчувствовавшись, обнял жену за плечи. И катер, вспенив белые волны, рванулся вперед, задрав нос.

Барно, впервые плывшая по морю на судне, вначале испугалась, но когда катер вырвался на простор, успокоилась и даже обрадовалась. Свежий морской ветерок ворошил волосы, и она то и дело поправляла спадавшую на глаза прядь. Барно опустила руку за борт, окунув пальцы в прохладную синеву моря. Берег едва виднелся вдали туманными очертаниями гор. Катер весело подпрыгивал на волнах, и от этого казалось: вдали пляшет и подпрыгивает берег. Стало припекать солнце, и Файзулло Умарович достал из полиэтиленовой сумки две панамки, купленные вчера в палатке во время прогулки. Одну он надел на голову Барно, другую надел сам. И жена от переполнивших ее нежных чувств обняла и поцеловала мужа. Она была признательна Файзулло Умаровичу за эти приятные переживания.

Часа три гуляли по саду. Под каждым деревом была установлена табличка с названием дерева, места, откуда оно привезено. Барно изучала надписи, останавливаясь у каждого растения. Файзулло Умарович устал и начал проявлять нетерпение. Сказать жене, что здорово намаялся, он не решался и потому молча следовал за ней, охая и вздыхая. Барно, увлеченная красотой, ничего этого не замечала. Она перебегала от одного дерева к другому, от цветка к цветку, увле-

кая за собой мужа, и ей казалось, что нет счастливей ее человека.

Файзулло Умарович изнемогал от жары и усталости. Когда жена, остановившись под зеленым кленом, стала любоваться деревом, он не выдержал:

— Скорее, душенька. Такими темпами мы не поспеем с тобой в санаторий к обеду!

Барно, как бы спохватившись, ускорила шаги, но, пройдя несколько метров и увидев другой цветок, склонилась над растением, повергая Файзулло Умаровича в отчаяние. А тут еще как следует стало припекать солнце. Утеревшись платком, Файзулло Умарович снял пиджак и, повесив его на руку, поспешил вперед. Оглянувшись и увидев, что жена отстала, сел в тени дерева на скамейке и стал ждать, пока Барно подойдет к нему. Жаркая погода сморила и Барно, и она села рядом с мужем. Откуда-то рядом из репродуктора донеслась бравурная музыка, и Файзулло Умарович даже подумал, что ее включили специально, чтобы разбудить разморенных этой жарой отдыхающих.

Музыка внезапно оборвалась, зазвучали позывные «Маяка», и диктор стал передавать сводку погоды. В Крыму было двадцать четыре градуса тепла. Потом сообщили погоду по стране. В Узбекистане оказалось тридцать девять градусов жары.

— Синоптики, вероятно, ошиблись? — сказала Барно.— Думаю, что в Крыму намного теплее, чем передали.

— Да, здесь всегда кажется жарче из-за влажности. Ты заметила: парит, как в бане,— ответил Файзулло Умарович, показывая на море. Над морем нависла дымка.— У нас и в сорок градусов так не потеешь. В тени можно от жары схорониться. А здесь?

Барно, взглянув на мужа, только теперь заметила, что он выглядит усталым: мешки под глазами, опухшее лицо производили впечатление больного человека, и даже желтая рубашка намокла и обвисла на нем.

Они отправились в обратный путь. Когда вышли из сада, до обеда оставался еще час. Как назло, народу на остановке было много, и едва удалось сесть в автобус. «Надо было и назад на катере вернуться»,— подумала Барно. Мысль о возвращении в санаторий автобусом пришла Файзулло Умаровичу, он хотел на обратном пути показать жене красивые места Крыма.

Доехав до города, молодожены поняли, что на обед в санаторий они опоздали, и Файзулло Умарович предложил Барно отобедать в одном из прибрежных ресторанов. Облюбовав себе место на открытой веранде с видом на море, они сели за столик и заказали еду. Пообедав, спустились по лестнице вниз, любуясь морем, и стали прогуливаться вдоль берега. Дошли по тропинке до небольшого пруда с голубыми лилиями на водной глади и повернули обратно к оживленному центру города. Отдыхающих было настолько много, что казалось, они, как муравьи, снуют везде. В порту в окружении небольших пароходиков стоял на якоре теплоход «Россия», собрав вокруг себя толпу любопытных. А там, где шумели аттракционы, вовсе невозможно было пробиться.

— А может, на качелях покачаемся? — вдруг предложила Барно.

Файзулло Умарович охотно согласился.

Постояв в очереди, купили билеты. Барно, загоревшая за день, с распущенными волосами была похожа на молодую цыганку. Она была молода и красива, а тут еще недельный отдых на море, свежий морской воздух сделали свое дело, и Барно расцвела еще больше.

Взобравшись на только что освободившиеся качели, они стали раскачиваться. «Держитесь!» — сказала она Файзулло Умаровичу и, присев на корточки и затем резко выпрямившись, стала раскачивать качели. Стоило Барно раза два подтолкнуть их, как они тут же взлетели высоко вверх. Барно вспомнила, как вместе с подругами ходили в парк кататься на качелях и как визжали от восторга, когда удавалось раскачать качели так, что казалось, они сделают оборот вокруг оси, и надо было крепко держаться за поручни, чтобы не упасть. Воспоминания детства захлестнули ее, и она стала с усердием еще сильнее раскачивать качели, соревнуясь с другими — кто взлетит выше. Файзулло Умарович понял, что сделал глупость, согласившись с женой. У него закружилась голова — вначале замелькали отдельные предметы, потом все вокруг завертелось каруселью. Находившиеся недалеко от парка многоэтажные здания то приближались, наваливаясь на него, то удалялись. Да и людские голоса внизу сплелись в единый шум, и он уже ничего не слышал. Он с мольбой смотрел на жену, но она в азарте ничего не

замечала. Крикнуть, чтоб она прекратила раскачивать, не было сил. Пальцы слабели, он закрыл глаза. Наконец он не выдержал, ему казалось, что он упадет. «Стой!.. Останови!» — крикнул Файзулло Умарович, но из горла донесся едва слышный хрип. И только тут Барно обратила внимание на мужа, который сидел в углу растерянный и бледный. Она дала знак, и качели остановили.

Файзулло Умарович с трудом открыл глаза и попытался улыбнуться склонившимся над ним жене с заплаканными глазами и окружившим их тотчас людям. Какой-то старичок из толпы протянул ему таблетку валидола и, покачав головой, сказал:

— Ничего не жалеют для своих детей — и вот результат! Чуть не угробила своего отца!

Барно покраснела, но ничего не ответила, а Файзулло Умарович этих слов не слышал. Им помогли вызвать такси, и они добрались до санатория.

Файзулло Умарович слег — у него поднялось давление, болело сердце,— врачи не отходили от него ни на шаг. Но так как состояние его не улучшалось, Файзулло Умаровича перевели в больницу.

Барно каждый день навещала мужа, просиживая часами у койки. Теперь ее уже не радовала ни прекрасная солнечная погода, ни чудесная природа, словно все вдруг окунулось для нее в туман. Она корила себя за то, что так легкомысленно тогда поступила, и не знала, как искупить свою вину...

Срок пребывания в санатории заканчивался, но врачи не давали разрешения Файзулло Умаровичу ехать домой. Чувствовал он себя намного лучше, ему уже позволяли прогуливаться по двору. А во время осмотра профессор сказал:

— Не спешите. Никуда ваш Ташкент от вас не денется. Поправитесь — отпустим. Мы же о вас беспокоимся.

— Поймите, профессор, у меня тут жена... Срок пребывания в санатории закончился, и надо уезжать,— возразил Файзулло Умарович.

— Не беспокойтесь. Если все будет хорошо, через две недели выпишем... А жена может лететь в Ташкент. Кризис уже миновал.

— Приедет жена одна, дома будут волноваться. Разрешите лететь, профессор!

Но профессор был неумолим.

— Вы что, хотите инсульт получить! Жена прилетит домой и всех успокоит. Через две недели — пожалуйста!..

* * *

Спустя три дня Файзулло Умарович получил телеграмму: «Дорогой! Долетела благополучно. Дома все порядке. Желаю скорейшего выздоровления. Ждем нетерпением. Обнимаю, Барно».

Прочитав телеграмму, Файзулло Умарович расстроился. Опять заныло сердце и сдавило виски. Подойдя к окну, он взглянул на плещущее внизу бескрайнее море...

## ЖЕНЩИНА

*Рассказ куклы*

В любви — сирота, в жизни — половинка,
В высохших руках — люлька с младенцем.
Неужели, друзья, вечную разлуку
Сочла невестушка вечным блаженством?

*Абдулла Арипов*

Я — обыкновенная кукла, сделанная из тряпок. Моя Манзура раньше доверяла мне все свои тайны. Потом тайны кончились, но я продолжала быть свидетельницей жизни моей хозяйки. Теперь вот уже много лет я нахожусь на одном месте — на старом шкафу. Мне это место нравится, потому что, во-первых, отсюда все видно, а во-вторых, когда Манзура-апа стирает со шкафа пыль (по крайней мере раз в день), она берет меня в руки и осторожно переставляет с места на место. В ее прикосновении я чувствую любовь и нежность. Вообще-то мы с ней почти ровесники. Если не ошибаюсь, ей лет шестьдесят шесть, но выглядит она старше, потому что у нее была тяжелая жизнь. Я тоже постарела, но меньше, чем Манзура-апа.

Когда меня купили в магазине, Манзуре было годика два или три. Ее матушка, худенькая, сгорбленная женщина, день и ночь пряла пряжу или ткала бязь. Вероятно, меня купили для того, чтобы Манзура играла со мной и не мешала матери работать. Девочка полюбила меня сразу и навсегда. Теперь, когда прошло

столько лет, я понимаю, что такая искренность и привязанность могут быть только в детстве. Манзура редко расставалась со мной, даже когда ела. В такие моменты матушка иногда отчитывала ее:

— Поешь сначала. Ничего с твоей куклой не случится, если она побудет немного одна.

Я тоже привязалась к девочке и полюбила ее. Когда Манзура уходила гулять без меня, я очень огорчалась и с нетерпением ожидала ее возвращения.

Девочка общалась со мной как с лучшей подругой: задавала вопросы, советовалась, пересказывала истории и сказки, услышанные от матушки или добрых соседей. И я понимала ее. Только не умела говорить. Ах, как я жалела об этом! Иногда, недовольная моим молчанием, она обижалась и сердилась на меня. Но такие «ссоры» продолжались недолго. Манзура была девочкой мягкосердечной и доброй. Она быстро забывала обиды и снова дружески разговаривала со мной.

Свои первые практические уроки по домоводству она получила благодаря мне. Например, прежде чем взять настоящий утюг, она часто гладила мою одежду игрушечным утюгом. Потом взялась за шитье. В то время у меня была своя кроватка, на спинки которой девочка сама сшила из белого материала чехлы. Да и ухаживать за собой она научилась тоже благодаря мне. Причесываться сама она стала лишь после того, как бесчисленное число раз провела расческой по моим волосам, в результате чего в правой части головы они сильно поредели.

Помнится, сколько было радости, когда ее матушка увидела, как она гладит настоящие занавески настоящим утюгом.

— Вай, моя дочка, оказывается, стала уже помощницей! — воскликнула она и, взяв ее на руки, несколько раз поцеловала.

Я тоже тогда так разволновалась... Да, это были счастливые мгновения, и они уже не повторятся.

Прямо за нашим домом был разбит большой парк. Весной Манзура любила гоняться за бабочками. Прижав меня к груди, она выходила туда гулять, но, как только замечала бабочку, бросала меня на траву и бежала за ней. Я лежала в траве, дышала удивительным весенним воздухом и не могла надышаться. Я видела, как мимо меня деловито сновали муравьи, ползали какие-то букашки. Все это было интересно и ново. Наконец де-

вочка возвращалась ко мне, брала на руки и ласково приговаривала: «Ты не обиделась, что я бросила тебя одну?» Маленькими ручонками она поглаживала меня по лицу, целовала, а потом вплетала в свои и мои волосы какой-нибудь цветок.

Теперь я особенно понимаю, как мы тогда были счастливы.

У нас не было никаких забот. С утра до вечера мы были вместе. Манзура заботилась обо мне и оберегала даже больше, чем себя. Помню, однажды она споткнулась на улице, упала и разбила коленку. Меня она выронила, и я тоже здорово ушиблась. Девочка сразу бросилась ко мне и стала успокаивать, хотя у самой из раны текла кровь.

Каждый вечер, перед тем как ложиться спать она укладывала меня, непременно прикрывая своей жилеткой. «Если будешь замерзать или тебе будет страшно, позови меня»,— говорила она мне, направляясь к своей кровати. Рано утром Манзура подходила ко мне, снимала с меня жилетку, которой я была укрыта, и до вечера мы не расставались. Когда я вспоминаю то светлое время, до сих пор не могу сдержать слез...

Когда Манзуре было восемь лет, в нашем поселке открылась новая школа, в которую она пошла учиться. Вот тогда-то для меня начались скучные, тяжелые времена. Утром девочка уже не брала меня на руки, не ласкала и не укладывала спать. Правда, придя из школы, она немного играла со мной, но потом начинала помогать матушке по хозяйству и садилась за уроки А я с завистью смотрела, как ловко Манзура управляется с домашней работой, как усердно готовит уроки, и жалела, что я — обыкновенная кукла, а не человек.

Когда Манзура достигла совершеннолетия, я все чаще стала слышать какую-то непонятную фразу, что «многие просят ее руки». В это время умер ее отец. Девушка сильно переживала его смерть.

Но, говорят, время лечит любые раны, и это действительно так. Спустя года полтора Манзура вышла замуж. После этого меня вовсе забыли, и несколько лет со мной никто не играл. Только когда Манзура прибиралась в доме, она переставляла меня с места на место и иногда при этом улыбалась и плакала.

У Манзуры родился сын, назвали его Бахрамом, а года через два — второй, Сухраб. Матушка Манзуры

души не чаяла во внуках, да недолго пришлось ей радоваться — вскоре она умерла.

Когда Бахрам научился ходить, моему покою пришел конец. Он то и дело протягивал в мою сторону руки — просил, чтобы мать дала ему куклу, но не играл со мной, а все пытался оторвать мне руки или ноги. Однажды он вырвал из моей головы пучок волос. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы мать не увидела его проделки и не спасла меня. К счастью, вскоре Бахрам потерял ко мне интерес.

Муж моей Манзуры-апа, Хайриддин-ака, был высокого роста, с крючковатым носом, крепкий молодой человек с разлетевшимися от самой переносицы бровями. Когда он смеялся, казалось, стекла в окнах дребезжали. Хайриддин-ака уходил на работу рано и поздно возвращался, но, несмотря на это, после работы играл с сыном, а когда оставался наедине с Манзурой-апа, смешил ее и носил на руках. Счастливые, они бросались в постель... Потом, проходя мимо, Хайриддин-ака легонько щелкал меня по носу. Но я не обижалась на него за это. И вот однажды эта счастливая жизнь кончилась.

Манзура-апа возилась в комнате с младшим сыном Сухрабом, когда с улицы вошел взволнованный и растерянный Хайриддин-ака. С тоской глядя на жену, сказал:

— Война!

— Боже мой! Что теперь будет?! — прошептала она.

Через месяц Хайриддин-ака должен был уйти на фронт. Я никогда не забуду день, когда Манзура-апа прощалась с мужем. К этому времени Бахрам уже резво бегал, Сухраб ползал на четвереньках, а Манзура-апа снова была беременной. Муж и жена крепко обнялись. Манзура-апа плакала. Бахрам и Сухраб испуганно молчали, чувствуя, что происходит что-то неотвратимое и страшное. Хайриддин-ака взял их на руки, прижал к груди, поцеловал и заплакал.

— Возвращайся живым, о нас не беспокойся. Бог даст, будем ждать тебя вчетвером, — сказала Манзура-апа и зарыдала.

На улице просигналила машина. Хайриддин-ака последний раз обнял жену и, не оглядываясь, вышел из дома...

Вскоре в поселке открыли небольшую швейную ма-

стерскую, в которой стали шить теплую одежду и рукавицы для фронта. Манзура-апа пошла туда работать. Иногда она брала ребят с собой на работу, но чаще оставляла их дома. Уходя на целый день, клала на стол по куску хлеба. Малыши долго плакали, стуча в запертую дверь, потом, обессилев, засыпали. Мне было очень жаль, что я — кукла и ничего не могу для них сделать.

Вечером Манзура-апа торопливо открывала дверь, облегченно вздыхала, видя ребят живыми, и начинала их кормить. Затем она брала детей на колени, обнимала и долго рассказывала, как они будут жить после войны.

Сухраб был хилым ребенком, часто болел и плакал по ночам, из-за чего Манзýра-апа постоянно недосыпала. Она вставала, согревала малыша и поила его теплым чаем, настоянным на лекарственных травах...

Сейчас Сухраб не помнит то время. А когда мать рассказывает об этом, он недоверчиво улыбается.

Говорят, к родителям надо относиться с той же заботой, с какой они растили нас. И многие следуют этому неписаному правилу, чего, к сожалению, нельзя сказать о Сухрабе. Но об этом попозже...

Короче, как могла, Манзура-апа растила малышей, а когда наступил срок, родилась девочка. Назвали ее Рихси — чтобы отец вернулся с фронта живым. Но судьба не считается с нашими желаниями.

За последние два месяца от Хайриддина-ака не было никаких писем, и Манзура-апа почернела вся, ожидая вестей. Однажды вечером к нам пришли два аксакала. Встревоженная Манзура-апа пригласила их в соседнюю комнату. Они пробыли там недолго. После их ухода моя хозяйка упала на кровать и долго лежала молча, устремив ничего не видящий взгляд в потолок, а потом горько рыдала, качая люльку с младенцем. Так просидела она до утра.

Утром Манзура-апа оделась в черное, вынесла из соседней комнаты портрет мужа, окантовала его траурной лентой и повесила на самом видном месте. Теперь она не плакала ни одна, ни при соседях, приходивших выразить соболезнование и утешить ее. И только ввалившиеся глаза говорили о том, как велико горе этой женщины. Казалось, душа покинула это сразу постаревшее тело и разум ее погас. Она работала автоматически, не сознавая, что делает. Я смотрела

на мою Манзуру-апа и не узнавала ее. Это была лишь ее тень. А ведь ей было всего двадцать шесть лет, когда она осталась вдовой. Дальнейшая ее жизнь прошла в заботах о детях.

Манзура-апа возвращалась с работы усталая. Накормив детей и уложив их спать, начинала бесконечные домашние дела. Оставив часть дел на утро, она клала поседевшую голову на люльку Рихси и тотчас же засыпала. Но сон ее был чуток. Стоило Сухрабу беспокойно повернуться и сбросить с себя одеяло, как она сразу просыпалась и вновь укрывала его. Манзура-апа вставала очень рано, и пока дети спали, заканчивала домашние дела. Даже когда дети подросли, она не очень загружала их посильной работой, а все делала сама.

Так летели годы. На моих глазах дети росли, становились взрослыми, а их мать все больше старела и горбилась. Бахрам стал таким же, как отец, крепким и стройным парнем: густые черные волосы, брови вразлет, карие глаза — копия отец. Он кончил десять классов и уехал в Ташкент поступать в институт. Мать была счастлива, когда он сообщил ей, что прошел по конкурсу. А после третьего курса Бахрам приехал домой на каникулы с девушкой. Представляя ее матери, сказал: «Учимся вместе на одном курсе» — и зарделся.

Месяц, который провел дома Бахрам со своей гостьей, был для матери настоящим праздником. Я видела ее счастливое лицо, когда сын разговаривал с девушкой в соседней комнате, а она сидела за швейной машинкой в комнате, в которой живу я. Манзура-апа вроде была занята шитьем, но думала совсем о другом. Ее взгляд остановился на портрете мужа, и на глазах появились слезы. Боясь, что увидит Бахрам, она поспешно вытерла их кусочком материала.

— Ах, если бы он сейчас увидел сына,— прошептала она и снова тихонько заплакала.

А полгода спустя Бахрам на этой девушке женился. Колхоз взял на себя все свадебные расходы, и свадьбу сыграли на славу. Мою комнату превратили в таванхану[1]. Женщины входили сюда с тагарами[2], и все они

---

[1] Помещение, где хранятся все подношения и готовые продукты для угощения гостей во время свадьбы.

[2] Большая плоская чашка, на которой женщины приносят на свадьбу свои подарки.

с удовольствием помогали готовить угощения Манзуре-апа, которая в этот день словно помолодела. Она успевала и встретить гостя, и поговорить с женщинами, и пошутить, и распорядиться сделать ту или другую работу. В такой радостной суете прошла свадьба.

Иногда день, даже час могут длиться томительно долго, но годы всегда быстротечны. Кажется, совсем недавно Манзура-апа была ребенком. И не верится, что прошло столько лет.

Я рассказывала, как женился Бахрам. А вскоре после него женился и Сухраб. Ему в жены взяли дочку дальних родственников, которая оказалась очень избалованной, поскольку была поздним и единственным ребенком в семье. Ее пожилые родители уговорили Сухраба поселиться у них, обещая передать ему большой кирпичный дом с садом после их смерти. Конечно, Манзура-апа, как все матери, хотела, чтобы ее дети жили с ней. Но желание детей чаще всего не совпадает с желанием родителей. Едва оперившись, они улетают из родного гнезда, мало заботясь о тех, кто их вырастил. Молодость эгоистична, она больше думает о себе, о своем благе. И так продолжается до тех пор, пока дети не становятся родителями.

Что касается Рихси, то люди правильно говорят: «дочь — отрезанный ломоть». Она вышла замуж за комсомольского работника и уехала в Ташкент.

Теперь с Манзурой-апа остались только Бахрам и его жена. Правда, Сухраб вместе с женой довольно часто навещали мать. Рихси приезжала гораздо реже. Мать встречала гостей с распростертыми объятьями. На стол ставилась лучшая посуда и подавалась лучшая еда. В это время Манзура-апа будто забывала о своем старшем сыне. Бахрам, хоть понимал и разделял радость матери, обижался на нее и, когда гости уезжали, надолго уходил в свою комнату, заставляя еще больше переживать и без того огорченную отъездом детей мать. Впрочем, такие размолвки случались редко.

Но вот однажды Бахрам сказал матери, что ему дают на окраине поселка двухкомнатную квартиру и он собирается туда переехать в ближайшее время. Его жена не скрывала по этому поводу радости. Манзура-апа грустно посмотрела на сына, на сноху.

— Что я могу сказать? Я была рада, что вы жили со мной. Но если вам удобнее жить отдельно, конечно,

поезжайте. Ваша радость — моя радость. Только не пропадайте надолго, заезжайте ко мне, будете радовать и меня, и душу отца... Дай бог вам счастья! — она заплакала.

Бахрам почувствовал жалость к матери. Он тоже еле сдерживал слезы.

— Не плачь, мама. Мы ведь будем жить рядом,— сказал он, поглаживая ее по плечу.

Сноха попыталась превратить все в шутку:

— Вай, матушка, зачем вы плачете? Ведь ваш сын отправляется не на фронт. Если хотите, можете жить у нас.

— Помолчи, жена,— впервые повысил голос Бахрам.

Манзура-апа, испугавшись, что может стать причиной ссоры сына с женой, поспешно вытерла слезы и стала оправдываться:

— Что вы, ребята! Я рада за вас и благодарна за приглашение. Конечно, хорошо, что государство выделило вам такую квартиру. А плачу я от радости, дочка...

Я со шкафа смотрела на эту сцену, и мне тоже хотелось плакать — так мне было жалко мою Манзуру-апа.

И вот в целом доме мы с ней остались одни. Сначала дети навещали ее довольно часто. А иногда даже собирались все вместе, и дом наполнялся шумным весельем. Дети приезжали с подарками: один дарит платок, другой — материал на платье или деньги. От денег мать отказывалась:

— Не надо, сынок. Мне пенсии хватает...

Но дети уходили, и снова мы оставались одни. Постепенно дети стали приходить реже, ссылаясь на командировки или срочную работу. Прождав их две, а то и три недели, Манзура-апа по субботам сама стала отправляться к ним. В эти дни она вставала раньше обычного, открывала сундук, оставшийся со времен, когда она была невестой, и одевалась в праздничное платье. Зимой она несла в подарок детям высушенные помидоры или кишмиш, а летом и осенью — немного черешни или несколько гранатов. В ее дворе рос гранатовый куст, всего один, но он каждый год давал богатый урожай. Манзура-апа снимала гранаты только поздней осенью и бережно укладывала их в сундук. Ими она угощала редких гостей или несла в подарок детям.

Однажды к ней заехал Каюмджан — младший брат Хайриддина-ака — с женой Назокатхон. Каюмджан сейчас большой ученый, работает в Ташкенте в Академии наук. Во время войны он был хилым мальчиком и его часто привозили к старшему брату. Манзура-апа кормила его сушеным урюком, яблоками, сладостями. Сейчас, через много лет, она рада была его видеть. Но вид Каюмджана огорчил ее. Он был каким-то неухоженным и плохо одетым. Манжеты белой рубашки были грязные, концы воротника загнуты, старый пиджак сидел на нем мешком. Зато Назокатхон рядом с ним блистала. Атласное платье облегало ее плотную фигуру. Почти все пальцы рук были унизаны кольцами и перстнями, шею обвивала золотая цепочка.

Манзура-апа вынула из шкафа подходящую для этого случая скатерть и стала накрывать на стол.

— Не утруждайте себя, мы зашли на минутку! — воскликнула Назокатхон, манерно улыбаясь.— Нам надо зайти еще к одному человеку. Вот, едем с мужем в путешествие по Средиземному морю. Принимаем заказы на подарки. Что вам привезти, Манзура-апа?

— Мне ничего не надо, Назокатхон, спасибо,— ответила она.— А без чая я вас не отпущу.

Манзура-апа расставила пиалушки, блюдца под варенье, разлила уже настоявшийся чай. Ей хотелось поговорить с Каюмджаном о прошлом, о его старшем брате, но Назокатхон не поняла ее настроения. Она торопила мужа, и вскоре они ушли.

Манзура-апа убрала со стола посуду, свернула скатерть и задумалась, глядя на портрет мужа. Затем подошла к нему, погладила фотографию и заплакала.

Мне сразу не понравилась Назокатхон, а когда Манзура-апа заплакала, так я ее прямо возненавидела. Думаю: «Разве можно перед такими женщинами, как Манзура-апа, которые в двадцать шесть лет стали вдовами и вынесли всю тяжесть этой страшной войны, демонстрировать свои золотые побрякушки и манерничать? Ведь эти женщины, оставшись с детьми, уже и не помышляли ни о каком другом браке, хотя именно они имели право на счастье. И надо быть человеком, чтобы не задевать раны, которые не заживают в их сердцах вот уже сорок лет». Впрочем, это поймут только те, кто сам перенес испытания военного времени. Даже дети, которых родила и вырастила Манзура-апа, не знают и не видят боль, причиняемую этими ранами.

Когда Манзура-апа рассказывает о тех трудных годах, дети просят ее вспомнить лучше о чем-нибудь хорошем. А между тем она и вспоминает о хорошем: о таких людях, как ее муж Хайриддин-ака, которые сделали все возможное, чтобы те трудные годы прошли как можно скорее.

Накануне тридцатилетия победы над фашистской Германией Манзуру-апа вызвали в военный комиссариат, вручили подарки и сказали, что ей повышают пенсию. В тот день она вернулась домой радостной и взволнованной, держа в руках белую коробку с подарком и цветы. Не разуваясь, подошла к портрету мужа, положила все это перед ним. Потом прислонилась к стене и зарыдала.

— Хайриддин-ака! — шептала она.— Родненький мой! Это, наверное, ты думаешь и заботишься обо мне.

Она опустилась на пол. Долго просидела Манзура-апа рыдая. Затем, взяв себя в руки, встала, с какой-то решительностью произнесла:

— Нет, ты не погиб, ты не мертвый. Пока я жива, пока живут наши дети, пока существует наша страна, ты жив! Ты будешь жить в нашей памяти!

В один из праздников Победы в Ташкенте было торжественное открытие могилы Неизвестного солдата. Когда по телевизору показывали, как жители города несли на плечах гроб с останками воинов, погибших под Москвой, где погиб и Хайриддин-ака, Манзуре-апа стало плохо. К счастью, в это время у нее в гостях был Бахрам, который вызвал «скорую помощь».

Манзура-апа около месяца пролежала в больнице. Сейчас она выглядит неплохо. Но вся поседела, да и силы уже не те. Вставая, жалуется на поясницу, долго растирает ее. Но, несмотря на это, продолжает по субботам ходить к детям. Иногда ездит в Ташкент. Накануне отъезда она выбирает в саду цветы, срезает их и кладет на ночь в ведро с водой, а рано утром отправляется в путь, чтобы положить цветы на могилу Неизвестного солдата, которую считает могилой своего мужа...

Я очень жалею Манзуру-апа и поэтому, кажется, с пристрастием рассказала о ее детях. На самом деле они хорошие люди. И мне думается, не будь их, Манзура-апа не прожила бы и дня. Сейчас у нее много внуков, и забота о них поддерживает ее жизнь.

Иногда она останавливается около портрета мужа и говорит:

— Я свою жизнь посвятила тебе и нашим детям. Как могла, вырастила их. Теперь они обзавелись семьями, имеют дом, детей. Если теперь наши дети привязаны к своим чадам, что в этом плохого? Почему мы должны отнимать у них половину этой привязанности? Пусть будут живы и здоровы. А нам теперь достаточно и того, что они есть и иногда вспоминают нас. Нет, я довольна своей жизнью, отец! И они тоже...

Вот такие дела. Я — обыкновенная кукла, очень люблю людей, потому что в них есть душа, потому что они умеют терпеть, мечтать и прощать.

## ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Уже две недели отдыхаю в Ялте, в санатории «Узбекистан». После жаркого Ташкента, попав прямо-таки в райский уголок с мягким климатом (вся дорога заняла полдня), окруженный похожими на задумчивых невест деревьями, я несколько дней не мог как следует выспаться. В первый же день врач, осмотрев меня, сказал: «Вам лекарства не нужны, вы просто переутомились. Необходимо от всего отключиться, больше купаться и целый день быть на свежем воздухе». Сначала я так и делал, но спустя неделю охладел к назначенным процедурам. Я заметил, что начал скучать по дому, по друзьям. Море, несколько лет бывшее моей мечтой, уже не восхищало меня. Иногда, проснувшись слишком поздно, я не успевал к автобусу и в этот день конечно же не купался. В санатории меня в основном окружали пожилые люди, молодежи, когда я приехал сюда, почти не было.

Пожилых людей путешествия уже не привлекают так сильно, как в былые годы, они чаще всего предпочитают, найдя удобное местечко, посидеть, поговорить о прошлом. Если присоединишься к ним, надо все всплывающее в их памяти со вниманием выслушать, изредка вставляя свое словечко, и сидеть смирненько, сохраняя спокойствие и чинный вид, или лучше... вообще не присоединяться к ним.

Спустя две недели именно этой мысли я и придерживался.

Бывая на берегу моря, скоро забываешь о мелоч-

ном, оно уходит, теряет свою значимость. Ты чувствуешь себя много спокойнее и более здраво смотришь на все происходящее. И ничего в том удивительного: внимание твое не рассеивается по пустякам и ты более чем когда-либо углублен в себя. Из-за прохладной погоды купаться доводилось не каждый день. Все же я иногда заставлял себя нырять в холодную воду, потом, взобравшись на деревянный топчан и расстелив полотенце, лежа читал. Монотонный шум прибоя действовал усыпляюще, и скоро глаза сами собой закрывались, дыхание становилось спокойным и глубоким. Подступала дрема. Иногда подойдет медсестра — и сквозь сон услышишь:

— Эй, товарищ, здесь солнце не такое, как у вас, здесь много ультрафиолетовых лучей, получите солнечный удар. Перейдите в тень.

Откроешь глаза и увидишь, что тень от навеса отошла далеко от тебя и солнце нещадно палит твое тело. А море все так же шумит и шумит, выбрасывая волны на берег.

К полудню, когда солнце уже в зените, на пляже ступить ногой негде. Если ты желаешь искупаться, должен осторожно, сохраняя равновесие, переступать через лежащие на песке темные фигуры людей. Одни курортники играют в шахматы, другие в карты, в подкидного дурака, третьи беззаботно беседуют, а большинство читают газеты или книги.

На женском пляже картина та же. Разница лишь в том, что многие женщины прикрыли лицо от солнца кто чем, но издали кажется, что все они повязаны белыми платками.

Позавчера, хотя и было прохладно, я все же несколько раз искупался и, сидя на солнце, устав от чтения, стал бросать камешки в воду. Оглянувшись, вдруг увидел, что со стороны женского пляжа спускается женщина лет сорока, в ярком купальнике, алого цвета. Черные волосы, разметавшись на ветру, закрывали ее лицо и глаза. Дойдя до середины лестницы, она остановилась и взглянула наверх, видимо ожидая кого-то. Вскоре появилась молодая женщина. Одной рукой она держала малыша, а другой прижимала к телу большую резиновую черепаху. Мать с сыном подошли к женщине, и обе принялись осматривать пляж, ища свободное место. Молодая женщина как две капли во-

ды походила на старшую. Можно было не сомневаться, что она ее дочь. Обе были очень привлекательны.

Все лежаки были заняты, и только те, что стояли на солнцепеке, оставались свободны. Осторожно ступая по камням и песку, женщины подошли к пустым лежакам, разложили вещи и, словно по команде, обернувшись, застыли, глядя на море.

— Какая красота! — сказала старшая, глядя на свою дочь.

Смутившись, она тут же оглянулась по сторонам, не услышал ли кто ее, и поймала мой взгляд, обращенный к ней. Поняв, что я тоже из санатория «Узбекистан», кивнула мне головой, как бы здороваясь, и не торопясь отвела взгляд. Видимо, они приехали в санаторий сегодня или вчера вечером. Обе не уставали восхищаться увиденным. Спустя некоторое время они по очереди пошли купаться.

В тот вечер в санатории состоялась встреча с артистами ялтинского театра, а когда выступления закончились, начались танцы. Как оказалось, аккордеонист знал мелодии многих народов и прекрасно исполнял их. Когда очередь дошла до андижанской польки, танцплощадка мигом заполнилась и ту женщину, которую я видел днем на пляже, кто-то насильно вывел в круг. Она немного постояла, все еще отнекиваясь и отмахиваясь руками, затем легко и плавно пошла по кругу.

В этот момент две незнакомые женщины, сидящие рядом со мной, принялись перешептываться.

— ...Какой Даврон?. — донесся до меня голос одной из них. Женщина с любопытством уставилась на танцующих.

— Тот самый, преподаватель института, профессор Даврон Бакирович... Это его вторая жена, а та, что рядом с ней сидела, — ее дочь от первого мужа. Смотрите, как она себя ведет, будто молодая девушка, и даже не стыдится...

В это время женщина, получая приз лучшей исполнительницы польки, грациозно раскланивалась окружающим. Ее манера держаться вовсе не показалась мне недостойной, а скорее наоборот. Откровенно говоря, когда я услышал имя Даврона Бакировича, сердце мое защемило, ведь четырнадцать лет тому назад я учился у него. Тогда Даврон Бакирович был канди-

датом наук. Потом от своих однокурсников узнал, что он защитил докторскую...

Глядя на эту привлекательную женщину, я подумал: «Значит, вот какая у него вторая жена».

Вечер закончился, и отдыхающие стали расходиться. Возле корпуса мы встретились с этой женщиной. Узнав меня, она приветливо спросила: «Как отдыхаете?» — и вместе с дочерью они прошли к своей комнате.

Охваченный внутренним беспокойством, в ту ночь я долго ворочался и не мог заснуть. То и дело перед моими глазами возникало лицо Даврона Бакировича. Как я ни противился, поток воспоминаний нахлынул на меня, заставляя вновь переживать прошлое...

На первом курсе института самую первую лекцию нам читал Даврон Бакирович. Он преподавал узбекскую советскую литературу. У него был большой опыт, и читал он блестяще. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь повысил голос, все конфликтные ситуации разрешал наедине с провинившимся. Он был человеком приятной наружности, всегда уравновешенный и подтянутый. Даже в самые жаркие дни он никогда не снимал пиджак, и каждый день на нем была свежая рубашка. Всем было любопытно, кто же у него жена. Многие девушки были втайне влюблены в него. Их всегда мучило любопытство — кто та счастливая женщина, ставшая его женой. Но любопытство так и оставалось неудовлетворенным, поскольку никто никогда не видел его вместе с женой. Эта неизвестность порождала всяческие слухи, но большинство утверждало, что она — артистка.

Случилось так, что в летнюю сессию Даврон Бакирович заболел и некоторые студенты остались без зачета по его предмету. Наш декан позвонил ему домой, и он согласился на следующий день принять нас. Мне как старосте группы необходимо было явиться вместе с ними.

Даврон Бакирович жил на окраине города в небольшом домике, обвитом виноградными лозами. Когда мы постучали в ворота, нам ответила какая-то женщина: «Сейчас...» Спустя некоторое время перед нами появилась одетая в простое ситцевое платье смуглая женщина с родинкой на левой щеке. Она приветливо поздоровалась с нами и повела нас во двор.

Пройдя коридор, мы вошли в комнату. Даврон Ба-

кирович сидел на диване и читал книгу. Увидев нас, довольно холодно поздоровался с нами и предложил сесть. Я огляделся. Мы находились в комнате, оборудованной под кабинет. Противоположная стена от пола до потолка была заставлена книжными полками. Чтобы достать книги с верхних полок, надо было взбираться на лестницу. Она стояла тут же. В углу у окна — массивный рабочий стол. На нем в беспорядке лежали книги, бумаги. Видимо, перед нашим приходом Даврон Бакирович работал. Лист бумаги был исписан наполовину. Возле стола, на стене висела фотография пожилого старика и старухи, повязанной белым платком. Брови, глаза у старухи были такие же, как у Даврона Бакировича.

Даврон Бакирович строго посмотрел на нас, достал из конверта подготовленные билеты, роздал их, а сам опять взялся за книгу. Мои однокурсники, чувствуя себя неловко в непривычной обстановке, стали готовиться. Я, не зная, что делать, поднялся с места и подумывал о том, как бы мне выйти на улицу. И уже сделал было шаг, но в этот момент жена Даврона Бакировича принесла на подносе пиалушки, варенье и поджаристые лепешки, обсыпанные семенами чернушки. Это, видимо, не очень понравилось домле. Он хмуро взглянул на жену и опять уставился в книгу. А жена его, приветливо глядя на нас, как на своих детей, с улыбкой отчитала мужа:

— Бросьте, отец, не мучайте детей. Смотрите, какие они худые. Они ведь как наш Атхам. Бедный сынок, как он там на практике...

Даврон Бакирович строго посмотрел на жену, но промолчал. Видимо, жена поняла его настроение и, повернувшись к нам, сказала:

— Берите, дети мои! Берите! Сначала попейте чай, а экзамен никуда не денется, все равно сдадите,— промолвила она и вышла.

Глядя ей вслед, я уловил в ней какое-то сходство со своей матерью. Она жила в деревне, и ездил я домой не часто — один раз в три-четыре месяца, а иногда и раз в полгода. Как радовалась мама, когда я приезжал. Не знала, что для меня сделать, чем угостить... Хотя Магрифат-апа была намного моложе моей матери, но своей манерой держаться очень походила на нее.

Выпив пиалу чая, я вышел во двор. Он был неболь-

шой, но очень уютный и чистый. Посреди двора росли две виноградные лозы, а под ними стояла деревянная кровать. Вдоль цементной дорожки располагались цветники. Через весь двор натянута веревка, сплошь завешанная белоснежными рубашками. Магрифат-апа, расположившись на низком столике, стирала белье. Что-то неуловимое в ней опять напомнило мою мать, ласковую, добрую, которая всю себя посвятила семье, детям. Я почувствовал, что и Магрифат-апа из тех женщин-тружениц, на чьих плечах держится мир и уют домашнего очага.

Видя, что Даврон Бакирович не отпускает моих однокурсников, я вышел на улицу и, дойдя до киоска, купил газеты. Не спеша просмотрев все газеты, я вернулся во двор.

Жена Даврона Бакировича закончила стирку и хлопотала под навесом у плиты. Какой-то знакомый запах, который обычно бывает в лугах, ударил мне в нос. В эту минуту дверь приоткрылась — и мои однокурсники один за другим вышли на улицу. Все улыбались, значит, решил я, зачет прошел успешно. Следом за ними вышел сам Даврон Бакирович. Увидев его, жена, обращаясь к ребятам, сказала:

— Куда же вы? Обед готов, сейчас мы будем обедать.

Мы наперебой поблагодарили Магрифат-апа, но она, не слушая нас, обратилась к домле:

— Отец, скажите ребятам, пусть пообедают с нами.

После этих слов Даврон Бакирович улыбнулся и, обращаясь к нам, сказал:

— Я бы должен наказать вас за то, что вы не сдали вовремя зачет, но, если вы сейчас уйдете, не пообедав, мне попадет от Магрифат.

Не успели мы расположиться, а Магрифат-апа уже принесла приятно пахнущий зеленый чай и миску жаркого. Чувствуя неловкость, мы съели всего несколько кусочков жареного мяса и, поблагодарив домлу и Магрифат-апа, простились и вышли.

— Теперь нарочно в следующий раз провалю зачет,— сказал один из моих товарищей.

Мы рассмеялись. Пока ехали в трамвае, ребята, перебивая друг друга, обсуждали сегодняшний необычный зачет, а я все думал о своей маме и о Магрифат-апа...

Так вот, оказывается, какая у Даврона Бакировича

жена. В сущности, она присматривает за ним, как за ребенком.

Трудно судить о человеке только по внешнему виду. Если бы посторонний человек увидел их вместе, непременно бы сказал, что они не пара. Я представляю, как разочаровались бы наши девушки, на которых мы (чего греха таить) сердились тогда за их увлечение Давроном Бакировичем.

Хотя Магрифат-апа была на два года моложе своего мужа, выглядела она старше своих лет. Своему туалету, видимо, не придавала особого значения. Особенно это бросалось в глаза, когда она оказывалась рядом с модно одетым мужем. У меня было такое впечатление (возможно, не у меня одного), что он, образованный и высокоэрудированный человек, сожалеет, что у него такая простая жена. Мне казалось, что он считает ее не равной себе, иначе отчего он никогда не приходил на торжества в институт вместе с ней. Другие преподаватели приводили даже детей, о женах не говорю.

Студенческие годы пролетели незаметно. Есть каждому из нас о чем вспомнить из той, далекой теперь, жизни. Но одно событие я помню со всеми подробностями и вряд ли когда забуду.

Однажды, когда мы были уже на пятом курсе, перед самым Новым годом, на третьей паре, Даврон Бакирович должен был читать нам специальный курс «Духовная драма Навои». Звонок давно прозвенел, а учитель почему-то не появлялся. Я как староста направился в деканат, узнать, в чем дело. Декан был мрачен. Он покачивал головой и повторял: «Жалко, жалко...» Глянув на меня, сказал:

— Повторяйте пройденное.

Я молча смотрел на него.

— У Даврона Бакировича жена скончалась,— сказал он,— только что сообщили.— Он вздохнул и глянул себе под ноги: — Максуджан, после занятий возьмите нескольких человек и поезжайте к домле, там наверняка нужна помощь.

Я вдруг почувствовал, как сжалось сердце. Бывает, увидишь человека всего один раз, а помнишь всю жизнь. Перед моими глазами вдруг предстала Магрифат-апа, ее приветливый взгляд, добрая улыбка. Я вспомнил, как она в считанные минуты, пока ребята отвечали Даврону Бакировичу, приготовила всем

нам жаркое. Она отнеслась к нам, как к своим детям.

Когда прозвенел последний звонок, мы вшестером отправились к домле. Народу собралось много: старые, молодые. Многих я не знал, видел впервые. В глубине двора стояли группой несколько наших преподавателей, чуть поодаль от них я увидел студентов с других курсов. Раньше нам не доводилось участвовать в похоронной процессии, мы растерялись и застыли возле ворот. Наш декан подошел тогда ко мне и шепнул на ухо:

— Максуджан, зайдите в дом, выразите соболезнование Даврону Бакировичу.

Мы пришли в себя. Надо же было быть такому совпадению: тело покойной находилось в той комнате, в которой мы два года назад ели жаркое! Осторожно переступили порог. Даврон Бакирович в длинном коричневом халате стоял у гроба. В руках намокший от слез платок. Закрыв ладонями лицо, он застыл на несколько секунд, затем, взглянув на пожелтевшее лицо жены, на ее высохшее тело, зарыдал и задрожал всем телом. Мы осторожно подошли к нему и встали рядом, невнятно пробормотав ему свои соболезнования. Даврон Бакирович увидел меня и положил руки на мои плечи, потом вдруг обнял и сказал:

— Максуджан, я лишился вашей тетушки Магрифат.

Сказал и вновь зарыдал, как ребенок.

Всякий раз, когда я вглядывался в малознакомое теперь лицо Магрифат-апа, мне почему-то очень хотелось уйти от гроба. Потом кто-то из пожилых подошел к нам и попросил выйти во двор. Мы тотчас вышли.

Два старика, сидя на скамейке около порога, беседовали между собой и хвалили покойную.

— Да, она была светом в этом доме. Бедняга, так быстро угасла,— говорил один из них.

Другой вторил ему:

— Всегда в делах и заботах, такую хозяйку еще поискать. Из-за детей выписалась раньше времени из больницы... Видно, чувствовала, бедная, что дни ее сочтены, вот и просила ее выписать, чтобы умереть дома. От судьбы куда же денешься...

— Душевная женщина...

В тот день гроб с телом Магрифат-апа мы несли на руках до самого кладбища.

Время — лучший лекарь. Сглаживается горечь утраты, притупляется острота чувств. Человек смиряется со случившимся. Так, впрочем, и должно быть. Может быть, в этом и есть мудрость жизни.

Мы закончили институт и разъехались кто куда. Первое время переписывались, не забывали друг друга. Но со временем на письма оставалось все меньше и меньше времени. Меня направили в Фергану преподавать русский язык и литературу в средней школе. Проработав семь лет, я перешел работать в газету, где в студенческие годы печатали мои заметки. Вот уже шесть лет я со своей семьей живу в Ташкенте и заведую отделом в редакции молодежной газеты...

По воле случая получил путевку в санаторий и две недели отдыхаю в Ялте. Сейчас глубокая ночь, но я лежу с открытыми глазами, и передо мной мысленно проходят события четырнадцатилетней давности. Какие же все-таки неожиданные встречи готовит порой судьба.

Убедившись, что уснуть не удастся, я встал, открыл дверь и вышел на террасу. Несмотря на летнее время, воздух был прохладным. Внизу городок, утопающий в свете дневных ламп. Море — темное, загадочное. Несколько таинственными казались высокие горы. Они походили даже на какие-то чудовища. Я улавливал запах диких цветов, растущих по склону гор. Природа отдыхала. Ощущение таинственности охватило меня. Воображение рисовало загадочные существа, витавшие вокруг меня, и только редкие гудки парохода напоминали о реальности.

Как я ни старался отвлечься, мысли возвращались к Даврону Бакировичу. «Значит, он женился на этой женщине. Почему они не приехали отдыхать вместе? Кто же она? Если верить словам моих соседок, сказанным за обеденным столом, она была раньше замужем... По внешности напоминает актрису... Очень эффектна. Умеет следить за собой. Властная... Но чем она занимается?.. Бедная Магрифат-апа, ей, наверное, и во сне не снилась такая жизнь... Как-то странно получается в жизни — один создает, а другие пользуются, кто-то готовит, а кто-то ест».

Под утро я все же заснул, а когда проснулся... было

уже девять часов. Солнце давно взошло. На автобус я, конечно, опоздал. Чувствовал себя разбитым и очень жалел, что не пришлось искупаться с утра. Быстро собравшись, я побежал в столовую. Но не одна лишь боязнь опоздать к завтраку заставляла меня торопиться, мне почему-то очень хотелось увидеть тех женщин. Почему, сказать не могу. Для меня самого это было необъяснимо.

Подойдя к столовой, я увидел возвратившийся с моря автобус. В зале, окинув взглядом присутствующих, я сразу обнаружил их. Они сидели через два стола от меня. Жена Даврона Бакировича была спиной ко мне и меня не видела, но ее дочь, едва заметив меня, улыбнулась и что-то сказала матери. Та повернулась ко мне и приветливо кивнула. И сама она, и ее дочка, и внук сегодня были в новых нарядах. На жене Даврона Бакировича очень открытое шелковое платье, волосы высоко подобраны. На шее сверкала цепочка с бриллиантами. Я бы посчитал их за обычные бусинки, если бы не шепот моих соседок за столом:

— Это же больше тысячи стоит...

Едва жена Даврона Бакировича поворачивала голову, как бусинки начинали ослепительно сверкать в лучах утреннего солнца. А дочь ее была в платье из бухарского атласа. Алый цвет очень шел к ее тонкому лицу. Она была похожа на восточную красавицу, из произведений Чингиза Ахмарова. Кокетка, она так умела взглянуть на вас, что на какое-то время вы могли потерять голову. Малыш был одет во все импортное.

Дальнейшая судьба учителя все более интересовала меня. Я тут же решил при первом удобном случае представиться им как ученик Даврона Бакировича.

Если говорить откровенно, увидев женщин, я потерял душевное спокойствие. И даже мысли мои приняли иной оттенок. «Пусть Магрифат-апа посвятила себя целиком Даврону Бакировичу,— рассуждал я,— пусть... Но тогда не было у людей таких возможностей, как сейчас. А если они есть, почему не повеселиться? Ведь женщины молоды, красивы, и все в мире живут ведь один раз. Разве не так? Разве нельзя, чтобы твоей красотой наслаждались? Разве не стоит только из-за этого жертвовать тысячи на ожерелье? Вот ведь — оглянись

вокруг: все смотрят в их сторону. Почему? Да потому что они — воплощение красоты. А человек ищет красоту, ему недостает ее в жизни».

Чувствуя всеобщее внимание, женщины и вели себя соответственно. Поза, жест, взгляд — все было продуманным и отточенным. Но что-то вызывающее и отталкивающее было в их поведении. Даже благосклонный взгляд чем-то раздражал. Как-то свысока смотрели эти люди на окружающих. Но такова природа человеческая, удачливым завидуют все. Мне во что бы то ни стало хотелось поговорить с ними. Меня тянуло к ним. Я искал подходящего случая познакомиться поближе, но его не было. Его не было, и это мучило меня.

Прошла еще неделя. Я терял надежду, но за два дня до моего отъезда в Ташкент ко мне подошла жена Даврона Бакировича и пригласила прийти отметить день рождения внука. Я несколько удивился приглашению, но пообещал быть у них.

В назначенное время я пришел к ним в палату. Дверь открыла жена Даврона Бакировича. На ней было белое тонкое платье, строго облегающее фигуру, и в нем она выглядела гораздо моложе своих лет. За столом сидело около десяти человек, в основном мужчины. Как я отметил, все присутствующие были из нашего санатория.

— Вот пришел музыкант, значит, потанцуем,— сказал сидящий в глубине комнаты черный, высокого роста, толстый человек.

Я вспомнил, как он однажды в библиотеке наблюдал за моей игрой на дутаре, которого, видимо, давно никто не брал в руки. Теперь мне стало ясно, почему я приглашен на торжество. Под ложечкой у меня засосало, и, пока я раздумывал, как поступить, жена Даврона Бакировича пригласила всех к столу.

Стол ломился от обилия еды. Здесь был сушеный виноград, миндаль, очищенные орехи, пироги с разнообразной начинкой, жареная индейка, еще не разделанная на куски, огурцы, помидоры и многое другое. Видимо, все это недавно было доставлено из Ташкента. На подоконнике красовалась мирзачульская дыня. Из соседней комнаты жена Даврона Бакировича принесла жирное казы и чуть затвердевший хасил.

— Только сегодня утром доставили из Ташкента,

пожалуйста, угощайтесь,— сказала она, поставив миску на стол.

— Шоирахон! Лаборхон! — обратился толстяк,— садитесь за стол, а то мы никогда не начнем.

Обе женщины сели за стол. Толстяк, с шумом отодвинув стул, встал и сказал:

— Друзья! У нашего народа есть одна поговорка. Она гласит: «Косточка вкуснее, чем сам плод». Плод — это дети, косточка — дети детей, то есть внуки. Вот сейчас мы ради сладкой косточки собрались здесь, в этом прекрасном уголке природы...

Вскоре беседа оживилась, за столом стало шумно. Постепенно приподнятое настроение передалось и мне.

Жена Даврона Бакировича была очень оживлена, много смеялась и часто повторяла, кивая на окно:

— Как красива ночная Ялта!

Действительно, ночь была прекрасной. На небе сверкали бесчисленные звезды, а внизу, вдоль берега моря, светились огни города...

Но в душе я ощущал какой-то неприятный осадок. Никто из присутствующих не подозревал, какие мысли терзали меня. А я все думал о Давроне Бакировиче. Чем он сейчас занят? По всей вероятности, работает. Ведь помимо преподавательской деятельности он занимался переводами произведений классиков мировой литературы на узбекский язык. Может быть, и сейчас переводит. Но за этим праздничным столом никто — ни жена, ни ее дочь Лаборхон ни разу не вспомнили о нем.

Незаметно Шоирахон-апа подала знак дочери, и та исчезла за дверью соседней комнаты, откуда вскоре вынесла дутар, тот самый, на котором я играл в библиотеке.

— Сыграйте нам,— попросила жена Даврона Бакировича.

У меня не было желания играть в эту минуту.

— Может быть, вы сами сыграете,— сказал я.

Шоирахон-апа будто этого и ожидала. Взяв дутар из рук дочери, она заиграла «Тановар». Чувствовалось, играла она от души. Мелодия захватила ее... Первым в круг вышел толстяк и начал неуклюже кружиться. Следом за ним поднялись из-за стола и другие. Потянули и меня в круг, но Шоирахон-апа встала и сказала:

— Постойте, постойте...— и протянула мне дутар.

Отказаться было трудно, и я начал играть «Мунод-

жат». Шоирахон-апа, щелкая пальцами, стала танцевать. К ней сразу же присоединился толстяк. Неуклюжие движения его забавляли всех, вызывая невольный смех.

Когда танцы закончились и все разошлись по местам, Шоирахон-апа взяла дутар и запела приятным грудным голосом какую-то грустную песню. Вдруг раздался телефонный звонок. Поспешно прислонив дутар к стене, она взяла трубку. Наступила тишина. Неожиданно Шоирахон рассмеялась, и мы услышали имя Даврон-ака.

— Да-да, все нормально, все хорошо,— говорила она в трубку.— Спасибо... Получили... Живы-здоровы... Прошло две недели, мы и не заметили как... Хорошо... Да, купаемся... Ездим... Лабор иногда ездит по два раза. Сейчас?.. Сейчас устроили небольшое застолье... Почему вы так поздно звоните? В Ташкенте уже два часа ночи... Когда мы вернемся? Алло, слышите, Даврон-ака?.. Алло, мы собираемся возвращаться через Тбилиси... Что за связь?! Так плохо слышно. Как вы там? Управляетесь со стиркой? — После небольшой паузы Шоирахон рассмеялась, по всей вероятности, Даврон Бакирович ответил, что он сам стирает.

Все словно отрезвели, наступила неловкая тишина. Толстяк, заерзав на стуле, предложил нам всем выйти на улицу и немного погулять.

Все дружно встали из-за стола и направились к выходу. Гуляли мы до полуночи. Шоирахон-апа весело щебетала, рассказывала о чем-то, и, судя по всему, у нее было прекрасное настроение.

Сколько я ни прислушивался к речи Шоирахон-апа, она ни словом не обмолвилась о муже. Восхищалась луной, которая вот-вот должна была скрыться за горой, непривычной тишиной...

Утром, проснувшись, я почему-то обрадовался, что не представился им как ученик Даврона Бакировича... Почему я не сделал этого я не мог понять.

Наступила пора уезжать из санатория. Жена Даврона Бакировича, ее дочь, даже толстяк, принимавший участие в застолье, провожали меня. Все обменялись телефонами. Женщины просили, чтобы я звонил им, когда буду в Ташкенте.

* * *

Откровенно говоря, переживания долго не покидали меня. Даже занятый работой, я часто думал о Давроне Бакировиче. А недавно я неожиданно увидел его из окна автобуса. Он пересекал перекресток. Я сразу вспомнил, о чем подумал еще в санатории, едва узнал его вторую жену: если в чьей-то душе воспламенится страсть к вещам, к красивой жизни, там совести и человечности нет места, они исчезают, не побоюсь этого слова, сгорают в огне неуемной страсти к наживе и стяжательству. Не дай бог судьбе свести нас с таким человеком. Придется платить невидимые счета. Мне тогда еще подумалось, что, имея такую жену, Даврон Бакирович может потерять авторитет, уважение, может сам быстро одряхлеть, сникнуть. Но я отгонял эти мысли. Я не мог представить, не хотел видеть его таким.

Простенькая рубашка его не отутюжена, широкие брюки висели как мешок. От этого он казался еще более жалким. И сам он словно постарел, выглядел почти дряхлым; в руках большая сумка, довольно тяжелая,— это чувствовалось. Он шел чем-то озабоченный, ушедший в свои невеселые мысли...

Спустя некоторое время Даврон Бакирович исчез, растворился в толпе, а я почему-то вспомнил бриллиантовые цепочки на шее Шоирахон-апа, ее лукавую улыбку. Потом вспомнил об Магрифат-апа, которая всю свою жизнь посвятила мужу, детям. Когда Даврон Бакирович был моложе и жива была первая его жена, не было таких людей, которые бы не завидовали ему. Да и сам он выглядел настоящим джигитом.

Как бы то ни было, я мысленно возвращался к прошлому и воскрешал в памяти его портрет. Старость, бессилие ожидают каждого. Куда нам деться от старости? Но ведь и стареть можно по-разному. Если душа чиста, спокойна, и старость выглядит красивой. Но можно постареть и в одно мгновение, едва предашь себя, главное в себе. А осознаешь случившееся — и поседеешь в один миг, согнешься, и не будет уже сил выпрямиться.

И я все вспоминал то славное время, когда Даврон Бакирович был настоящим джигитом.

## ОТЕЦ

К вечеру сильно похолодало.

Белесое солнце скрылось за многоэтажными домами. С востока подул пронизывающий ветер.

Прохожие, ежась от ветра, спешили по улице.

Прибывший из района автобус, весь обрызганный грязью, остановился чуть поодаль от городского автовокзала. Открылась передняя дверь, и из нее вышел старик со свертком. Сделав несколько шагов, он остановился, опираясь на палку, и перевел дыхание. Приложив ладони к бровям, посмотрел на противоположную сторону улицы. Прямо перед ним стояло недостроенное пятиэтажное здание, огороженное деревянным забором.

Пропустив вереницу автомашин, старик осторожно перешел улицу.

За недостроенным зданием в новом четырехэтажном доме жил младший сын старика. Каждый раз, приезжая к сыну, он думал: «Вот, если бы не это здание, Абдумаджид видел бы, как я подхожу к дому».

Переходя одну из канавок, старик поскользнулся и неловко упал в снег. К нему поспешил молодой парень, проходивший мимо, и помог подняться. На снегу валялись сушеные помидоры, выпавшие из свертка. Старик собрал их и аккуратно положил обратно в сверток. Он посмотрел на окно второго этажа, где жил его сын: шторы были задернуты. Старик сразу понял, что дома никого нет. У снохи была такая привычка: если все уходят из дома, задергивать занавески. Старик покачал головой и осторожно перебрался на тротуар. Прежде чем войти в подъезд, он стряхнул палкой снег с полы своего халата, вычистил о решетку испачканные грязью ичиги. Затем, осторожно ступая, поднялся на второй этаж, перевел дыхание и, хотя знал, что дома никого нет, нажал кнопку звонка. Как он и ожидал, никто не открывал. Нажал еще несколько раз, напряженно прислушался — за дверью тишина. Постучал в дверь напротив, но на стук никто не отозвался. Удрученный, спустился во двор.

С наступлением темноты холод еще более усилился. Ветер бил в лицо, колол глаза колючий снег, поднятый им с земли.

Старик в раздумье стоял посреди двора и никак не мог сообразить, что же ему теперь делать. Он было

вышел на большую дорогу и собирался направиться к автобусной станции, но вспомнил, что последний автобус, с которым можно было вернуться в село, давно ушел. Постояв немного, старик вернулся к дому. Подумал: «Если ушли в гости, скоро вернутся». Потом им вдруг овладело беспокойство: «Может, заболел он, может, сон мой в руку? Не-ет, тогда бы в доме кто-нибудь был...»

Он вошел в подъезд, положил сверток около порога и приложил озябшие руки к батарее. Немного согревшись, он почувствовал жажду. Взяв сверток, вышел на улицу. «Жалко, рядом нет чайханы,— подумалось ему,— а то бы я и время скоротал, и отогрелся за чаем...»

— Зариф-ата! — раздался чей-то голос.

Старик повернулся.

Высокий человек, одетый в темно-розовый халат, вышел из соседнего подъезда и, подойдя к старику, приветливо поздоровался:

— Отец, как поживаете? Что стоите на морозе?..

Старик узнал старого приятеля сына Таджибая.

— Что, Абдумаджида нет? — поинтересовался тот.

— Видимо, куда-то ушли. Дай бог, чтобы только здоровы были.

— Да живы-здоровы. Недавно только видел его. Э, отец, их нет, почему к нам не зашли? Пойдемте.

Зариф-ата молча последовал за Таджибаем.

Жена Таджибая, Бибисора, снова накрыла на стол: подала сушеный виноград, соленые косточки, варенье из айвы и хлеб, собственной выпечки.

Зариф-ата, с удовольствием выпив крепкого чая, согревшись и разомлев, подумал: «Какая все-таки хорошая жизнь. Раньше мы видели только одну чайхану, теперь время другое... Как приятно жить в таком вот доме. Не надо колоть дров... И печь топить не надо... Тепло и уютно в доме. После работы приятно отдохнуть здесь, телевизор посмотреть... Хорошо!»

— Не стесняйтесь, берите варенье и не волнуйтесь: скоро придут ваши,— сказал Таджибай.

— Нет, я просто так... В прошлый раз, когда я приезжал, Абдумаджид кашлял. А сегодня на рассвете мне приснился сон, будто Абдумаджид зовет меня. Утром не вытерпел, сказал старухе: «Давай заверни, что у тебя есть, поеду навещу Абдумаджида. В общем, если вы их

видели и они живы и здоровы...— Зариф-ата покачал головой, словно говоря: «И на том спасибо».

Возвратив пустую пиалушку Таджибаю, старик кивнул на телевизор: работает ли? Таджибай поднялся и включил его. Демонстрировался какой-то фильм. Зариф-ата положил на колени подушку и уставился на экран, не очень-то понимая, что там происходит. Фильм оказался двухсерийным, и первая серия закончилась на самом интересном месте. Диктор объявила, что следующую серию можно смотреть завтра.

— Всегда так,— вздохнул старик.

Начали транслировать хоккейный матч. Шла прямая передача из Москвы. Старик оживился, задвигался и даже, похоже, забыл о хозяевах. Те переглянулись между собой и улыбнулись друг другу.

Едва кончился первый период и объявили перерыв, на лестнице послышались чьи-то шаги. Старик замер, прислушался и хотел было встать, но Таджибай, опередив его, открыл дверь и выглянул на лестницу. Оказалось, ватага мальчишек забежала в подъезд погреться.

— Интересная игра — этот хоккей,— сказал Зарифата, глядя на Таджибая.— Абдумаджид его очень любит. Раньше мне было смешно: здоровенные парни гоняются за одной шайбой. Разве это игра, думал я. Но вот прошлой весной внук Амантай простудился, и я целую неделю жил здесь, ухаживал за ним. Тогда показывали этот хоккей. Чемпионат мира шел. Помню, наши играли с этими... со шведами,— Зариф-ата с довольной улыбкой посмотрел сначала на Таджибая, потом на Бибисору.— Ай, как играли. Оторваться трудно было. Сын и внук кричали, переживали. Увлекся и я. Вот так и привык к этой игре, стал болельщиком. Теперь все правила знаю. Очень интересная игра. Если знаю, будет хоккей, заранее читаю намаз.

Таджибай от души рассмеялся. Бибисора, с улыбкой глядя на старика, направилась на кухню заваривать свежий чай. Вскоре начался второй период матча. Зариф-ата замолчал и стал следить за игрой.

...Абдумаджид с женой вернулись уже после полуночи. Услышав, что к дому подкатило такси, Зариф-ата поднялся и посмотрел в окно. Он не сразу узнал сына. Тот стоял спиной к дому и долго рассчитывался с таксистом. Старик поспешно вышел в коридор и надел калоши, вычищенные Бибисорой (когда только успела!).

Таджибай стал убеждать, что пригласит их сюда, но старик отнекивался, мол, поздно, и ушел, стуча палкой.

В подъезде перегорела лампочка, и он долго нащупывал дверь. Выйдя на улицу, торопливо засеменил к соседнему подъезду. Едва он ступил на первую ступеньку, как услышал, что дверь Абдумаджида с шумом захлопнулась, и старик прошептал в тревоге: «Не случилось ли чего?» Он боялся, что молодые поссорились. Подойдя к двери, кашлянул, затем нажал кнопку звонка. И только услышав голос сына («Гульноз, кто-то пришел!»), успокоился. Послышались легкие шаги. Несколько раз щелкнул замок, и дверь приоткрылась. Гульноз, не ожидавшая визита свекра в столь позднее время, какое-то время растерянно смотрела на старика, но, справившись с замешательством, живо воскликнула:

— Абдумаджид, отец приехал! — и поспешно отворила дверь.

В нос Зарифа-ата ударил запах вина.

Гульноз приняла из рук свекра сверток. Он, по обыкновению, прочел молитву и вошел в дом. Из комнаты, слегка покачиваясь, неуверенно ступая, вышел полуголый Абдумаджид. Глаза его слипались. Он положил руки на плечи отца, снимавшего калоши, пробормотал:

— Отец, что так поздно?

— Разве так говорят?! Вы очень грубы!.. — отчитала Гульноз мужа.

Зариф-ата поставил палку в угол и взглянул на сына. «Видимо, устал на вечеринке и плохо чувствует себя», — подумал он, переживая за Абдумаджида, и сказал:

— Я уже давно приехал. Был у Таджибая.

Абдумаджид, похоже забыв свой вопрос и не вникая в то, что говорит отец, молча прошел в комнату. Он явно был не в себе. Гульноз махнула на него рукой и пригласила свекра в комнату. Взяв с дивана курпачу, разостлала на пол. Зариф-ата присел, приговаривая: «О боже». Прочитав про себя молитву, он посмотрел на сноху и сказал:

— Раз вы живы и здоровы, значит, все в порядке... — Как наши сваты, живы-здоровы?

— Спасибо, все живы и здоровы, — учтиво ответила Гульноз.

Щеки у нее зарделись, и старику показалось, она избегает встретиться с ним взглядом.

— А почему Амантая не видно?

— Мы оставили его у мамы, перед тем как уйти в гости,— ответила Гульноз.

«Значит, не ошибся. Были на вечеринке»,— подумал Зариф-ата.

— Приятель вашего сына защитил диссертацию, и мы ездили на банкет. Хотели раньше уйти, но нас не отпустили. Сердце мое как будто чувствовало, надо раньше вернуться. Оказывается, не зря. Вот вы приехали. Не замерзли на холоде? Небо словно продырявилось. С Нового года снег идет и идет. Конца ему не видно.

— Самое время, пусть идет,— сказал Зариф-ата, усевшись на корточки.— Вам-то что, дома тепло...— пошутил он.

— Как там мать, жива-здорова? — спросила сноха.— Как свояченицы? Все здоровы?

— Слава богу... Передают вам привет. Вчера во сне видел Абдумаджида... на душе стало неспокойно, и я отправился сюда. Слава богу, оказывается, все в порядке...

— Абдумаджид-ака! — сказала Гульноз, глядя в другую комнату,— не пора ли вам выходить? Отец дожидается вас.

Подождав еще несколько секунд и поняв, что муж уже лег спать, пошла в комнату. Старик услышал ее быстрый шепот: «Вставайте скорее! Не стыдно вам? К вам приехал отец, которому уже за восемьдесят, какой вы человек?!» Растолкав мужа и убедившись, что до его сознания дошло, чего от него хотят, она прошла на кухню. Послышалось, как из водопроводного крана льется вода в чайник, как чиркнули спичкой.

Спустя некоторое время вышел Абдумаджид, в пиджаке, одетом прямо на майку. Он сразу прошел в ванную и подставил голову под струю холодной воды.

— Как поживаете? — спросил он, вытираясь полотенцем и усаживаясь напротив отца.

— Слава богу. Как сам? Кашель прошел?

Старик беспокоился о здоровье сына. Семь лет тому назад Абдумаджид серьезно заболел, и когда попал в больницу, Зариф-ата не отходил от него ни на шаг. Как же старик радовался, когда болезнь миновала! Он жил для сына, гордился им. Всегда внимателен был

к его словам. Он, безграмотный декханин, радовался тому, что его сын стал ученым, живет в городе, что его уважают люди.

Вошла Гульноз и накрыла на стол. Хотя Зариф-ата был сыт, но, соблюдая обычаи, не стал отказываться от чаепития. Заварив чай, Гульноз первую пиалу протянула свекру.

— Отец, пейте с медом, промерзли, наверное,— обратилась она к свекру и потихоньку подтолкнула задремавшего Абдумаджида.

Тот удивленно посмотрел на жену и взял протянутую ему пиалу. Вдруг, сделав несколько глотков, повернулся к жене:

— Ну и угощение у этого лысого! Пыль всем хотел пустить в глаза. Вот, отец,— обратился он к Зарифу-ата,— кто хочет понравиться другому, должен жить для других. А этот лысый кандидат доказал только, что он... лысый,— и Абдумаджид засмеялся.— Уч-ченый,— произнес он сквозь зубы, погасив улыбку. Недовольство разбирало его.— А сколько родственников-то понаехало!.. Плешивый и шелудивый... И колбаса, ты обратила внимание, Гульноз, какая колбаса у него вонючая.

Про себя старик решил, что сын немного не прав. Не может человек ученый быть вконец плохим человеком. Просто у Абдумаджида из-за чего-то плохое настроение — и он так сердит на виновника торжества.

Абдумаджид, повернувшись спиной к отцу, продолжал твердить свое:

— А тот, что сидел напротив меня, в синем костюме, ну и обжора... Весь вечер лязгал челюстью. Да еще спорить взялся со мной!.. Зря ты мне не дала сказать ему кое-что,— Абдумаджид брезгливо поморщился.

Зариф-ата почему-то вдруг вспомнил загору[1]. Вспомнил, как Абдумаджид вместе со старшим братом и сестрами сидел часто возле печки и с нетерпением ожидал своего куска...

— Я бы его поставил на место! — резкий голос Абдумаджида прервал мысли старика.

Гульноз махнула рукой, мол, прекрати этот разговор, но Абдумаджид еще больше разгорячился:

— А почему он так сказал?!

---

[1] Круглая булочка из муки сорго. Такие выпекали во время войны.

Зариф-ата, желая переменить тему разговора, вслух поинтересовался внуком. Гульноз в точности повторила прежний ответ.

— Да-а...— протянул старик и замолчал.

Абдумаджид, выражая недовольство всем и вся, в конце концов рассердился и на Гульноз, нагрубив ей. Иногда он, вдруг вспоминая про отца, оборачиваясь к нему, говорил: «Берите, берите, вон мед, вот варенье».

Зарифу-ата не хотелось есть, ему очень хотелось рассказать о сельских новостях, о том, как на прошлой неделе у матери подскочило давление и все очень испугались. Ему хотелось высказать, что накопилось в душе. Но подходящего момента старик уловить не мог.

Еще ему надо было сказать, что у старшего дяди скончалась жена и надо обязательно приехать и выразить соболезнования, а то получится очень нехорошо. Мать очень просила сказать об этом Абдумаджиду. Но он молчал, слушая молодых.

Теперь уже и Гульноз с азартом обсуждала впечатления от прошедшего вечера.

Когда Зариф-ата сказал снохе, что больше не будет пить, Гульноз принялась убирать со стола. Затем вынесла сатиновую курпу, на которой спал свекор каждый раз, когда приезжал к ним в гости.

— Пора вам лечь, отец. Устали очень,— сказала она.— Утром во сколько вас разбудить?

Старик улыбнулся. Ответил, чтобы разбудила пораньше, хотя всякий раз совершал утренний намаз в тот час, когда в доме все еще спали...

Сын и сноха еще некоторое время суетились, входя и выходя из комнаты, но наконец ушли в спальню и закрыли дверь. Зариф-ата выключил свет, но долго не мог заснуть. Опять вспомнил детство Абдумаджида. Он был любимым сыном у Зарифа-ата. Куда бы отец ни ходил, сын всегда был рядом с ним. Абдумаджид был сладкоежкой, и отец баловал его... Вечерами, взобравшись на спину отца, ножками давил на его поясницу, а Зариф-ата получал огромное удовольствие...

Старик, глядя на свет, падающий в комнату от уличного фонаря, подумал: «Не зря говорят, жизнь — текущая вода. Не заметишь, как она вытекла... Хорошо, что у человека есть наследники... Жизнь твоя оста-

нется в детях, внуках, правнуках, и такие мысли приносят утешение в старости...»

Отец был благодарен судьбе за выпавшую на его долю счастливую жизнь. Зариф-ата лежал долго, предаваясь размышлениям. Только под утро глаза его сомкнулись и он заснул тихим и спокойным сном.

## СУДЬБА

Недавно в Ташкентском аэропорту я встретил своего однокурсника Акрамджана Нарджигитова, с которым двадцать лет тому назад учились вместе в институте. Сейчас он работает первым секретарем районного комитета партии. Район перевыполнил план сдачи хлопка государству, и теперь мой однокурсник летел в отпуск в Крым.

Его рейс задерживался на полтора часа, время у нас было, и мы зашли в небольшой буфет на втором этаже аэровокзала. Заказали зеленый чай, поговорили о том о сем, о студенческих годах, о семьях, о детях, о мечтах сбывшихся и не сбывшихся, о нынешней работе. За беседой Акрамджан рассказал удивительную историю одной женщины, живущей в его районе. Еще тогда мне захотелось увидеть ее и, может быть, написать о ней...

Говорят, язык до Киева доведет. На остановке «Кызылкия» я вышел из автобуса и по узкой улочке зашагал к сельскому гузару [1]. Сначала повернул налево, потом направо и оказался перед голубыми невзрачными воротами, о которых мне говорили люди.

Дом был старый, но, видимо, недавно выбеленный. Из-за того что стена со стороны улицы была низкой, деревья, росшие во дворе, видны наполовину, а чуть слева, над крышей довольно высокой веранды, построенной тоже недавно, поднимался сизый дым. «Готовят ужин,— подумал я, подходя к дому.— Может быть, уехать в Самарканд и переночевать там в гостинице? Время для визита уж не очень подходящее».

Пока я размышлял, что мне делать, во дворе послышалось шлепанье наскоро одетых тапочек и около калитки появилась девушка лет девятнадцати, одетая

[1] Место, где расположены чайхана, лавки, парикмахерская и т. д.

в ситцевое платье, черноглазая и чернобровая. В руках она держала ведро. Увидев незнакомого человека, она чуть растерянно поставила его на землю, поздоровалась. Я коротко объяснил ей, кто я и зачем приехал. Девушка улыбнулась, жестом пригласила меня войти и повела внутрь двора. Проходя мимо навеса, я обратил внимание на новенькую «Волгу», стоящую под ним, и мне вспомнился Акрамджан.

Узкий тротуар вел под навес, густо обвитый виноградными лозами. За стойку каркаса был привязан свирепого вида пес, который с такой яростью бросался на меня, что невольно возникала мысль, выдержит ли цепь. Девушка приказала ему лечь, и пес сразу умолк, даже показал некоторое расположение, завиляв хвостом.

Через открытые двери я успел рассмотреть, что комнаты в доме низенькие, но хорошо отделаны, потолки обшиты фанерой. К веранде примыкала открытая спереди кухня, в середине которой был расположен тандыр. Над ним висело огненное марево — до меня донесся запах сдобной самаркандской лепешки.

Девушка проводила меня до квадратного деревянного топчана, стоявшего у дома под виноградным навесом. На топчане сидела маленькая сгорбленная старушка. Она была одета в платье из голубой ткани и вельветовый жакет. На голове повязан белый платок. Все это как-то очень шло ей. Шли даже старые круглые очки. Девушка наклонилась близко к уху старушки и довольно громко сказала:

— Бабушка, к нам приехал журналист из Ташкента. Хочет познакомиться с мамой.

Потом обратилась ко мне:

— Это моя бабушка. А зовут ее все тетушка Тоти. Кстати, меня зовут Санобар. Извините, мне надо заниматься хозяйством.

Она улыбнулась и поспешно направилась в кухню.

Я поздоровался, присел на край топчана. Старушка посмотрела на меня, потом, вероятно решив, что рассматривать незнакомого человека бестактно, стала взглядом искать чайник на столике, поставленном у топчана.

— Ну, как живы-здоровы, сынок? — начала она разговор.

Санобар принесла две румяные горячие лепешки,

которые даже через салфетки жгли руки. Тетушка Тоти налила из заварного чайника в пиалушку зеленый чай и протянула его мне:

— Попей, сынок, чайку с лепешкой.

Я отломил себе кусок.

— Поездом приехал?

— Нет, тетушка, самолетом.

Старушка удовлетворенно кивнула головой.

— А Нарпаша, моя дочь, уехала в Ташкент. Вместе с мужем.— И, будто вспомнив что-то важное, добавила: — Поездом поехали.

Я почувствовал вдруг разочарование и досаду из-за того, что не застал дома человека, ради которого проделал такой путь.

— А когда они вернутся?

Тетушка Тоти, глядя вверх, вспоминала, когда должна приехать дочь, но, так и не вспомнив, крикнула в кухню:

— Санобар, когда приедет мама?

— Послезавтра.

Наступила неловкая тишина. Я не знал, уезжать мне или остаться. Стал осматривать двор. Хотя была уже осень и с деревьев опадали листья, погода стояла теплая. Временами ветер доносил запах прелых листьев. На широких полках, установленных между стоек веранды, стояли большие и маленькие глиняные чашки. На стойке висел маленький репродуктор.

Из раздумья меня вывел голос старушки. Она указала рукой на «Волгу»:

— После того как дочери вручили эту машину, к нам часто стали приезжать корреспонденты,— сказала она, улыбаясь и обнажая ровные искусственные зубы.— И раньше приезжали, но редко. Нарпаша у меня вообще-то веселая. Только вот история с машиной огорчила ее. «Из-за этой железки, говорит, стала как белое пятно на лбу у лошади». Дело в том, что в этой машине она возила на колхозное поле навоз. Газетчики узнали об этом раньше меня. А мне об этом навозе рассказал мой внук, Назрулладжан.

Как-то в праздник поехали мы с ним к родителям его невесты в соседний поселок... Эй, доченька,— прервала она свой рассказ, обращаясь к Санобар,— Назрулладжан еще не приехал?

— Скоро приедет,— отозвалась Санобар.

— Так вот, Назрулладжан повез меня на машине

в соседний поселок. Чувствую, в машине какой-то неприятный запах. Спрашиваю:

«Почему в машине так пахнет? Не горит ли чего?» А он обиделся и говорит: «Об этом ты у своей дочки спроси».

Не поняла я ничего. «О чем ты говоришь, сорванец?» — спрашиваю. «Дочка твоя на машине навоз возила», — отвечает. И рассказал мне всю эту историю. Я постаралась успокоить внука: «Машина-то из железа, не сломается. А навоз для земли — что хлеб для человека». Внук еще больше обиделся. «Э, брось, бабушка, говорит. Все, кто видел «Волгу» с навозом, смеялись. По поселку молва пошла. Один говорит: не сумасшедшая ли? Другой иронизирует: может быть, она хочет заполучить еще один орден? Лучше бы она мне сказала, что надо навоз на ее поле доставить. Я бы эти десять мешков на себе перетаскал. Не понимаю, что случится, если она, как все, будет жить спокойно?» Я ему говорю: «Вай, сынок, ты только теперь узнал свою мать? Когда это она вела себя спокойно? Ну, когда? Поэтому не обижайся на нее и не огорчайся».

Как могла, успокоила внука, а про себя Нарпашу ругаю. Действительно, в колхозе машин полно. Если бы одну для дела попросила, разве дело от этого пострадало бы? Пока не сказала об этом Нарпаше, не успокоилась. А она мне говорит: «Ты же видела, как град изуродовал все всходы хлопчатника на склоне, перебил их. Пока машины освободились бы, давно бы стемнело. Вспомнила, что у нас дома «Волга» стоит. Зачем, думаю, стоит она, как бык на откорме?»

Потом многие приезжали к Нарпаше и удивлялись, глядя на поле. А в тот день, ближе к вечеру, приехал секретарь обкома. Смотрит он на мою дочь да на машину. На прошедшем курултае он сам в награду вручил ей эту машину. Нарпаше, видимо, стыдно стало за то, что подарок от государства она использовала вот таким образом. На новую машину, как дочка рассказывала, смотреть было страшно: кабина доверху в грязи. А подруг ее — членов бригады — и узнать трудно: уставшие все до смерти и тоже грязные. Но начальник этот понятливым оказался: сначала посмеялся, а потом долго благодарил всех членов бригады, и мою дочь.

После того дня зачастили к нам репортеры. Интере-

совались машиной. А дочка еще больше стыдится. Все ей казалось, что репортеры над ней смеются.

Правильно она сделала, что использовала эту машину для работы. Конечно, перевозить навоз на «Волге» нехорошо, но ведь была срочная необходимость. Да и неужели какая-то железка ценнее нас самих?

Старушка глубоко вздохнула, будто свои слова были ей в тягость. С минуту помолчала, потом налила мне еще пиалушку чая.

Эту историю с навозом я слышал от Акрамджана. Но тетушка Тоти рассказала ее интереснее, по-своему. Послушав ее, я теперь более ясно представил себе дочь тетушки Тоти. Вспомнил я и слова Акрамджана о Нарпаше, что «главные ее заботы начинаются потом, после посевной. Она первой заканчивает вспашку и сразу идет в райисполком: требует, чтобы помогли достать все, что необходимо бригаде. Если ей отказывают, идет в обком. То кирпичи ей нужны, то доски, то шифер. Надо ли сына кого-то из членов бригады отправить учиться или кого-то устроить на работу — до всего ей есть дело. Члены других бригад постоянно просятся к ней на работу».

В калитку вошел, запыленный с головы до ног, парень лет двадцати. «Видимо, это и есть Назрулладжан»,— подумал я. Он еще от калитки спросил, готов ли ужин, увидев меня, улыбнулся, поздоровался со мной. Сбросил спецовку и с удовольствием стал мыться под водопроводным краном.

Вымывшись, ушел в дом переодеваться. Спустя некоторое время вышел и сел на топчан около бабушки. Санобар принесла ему ужин.

— В какой газете работаете? — поинтересовался он.

Я ответил. Назрулладжан поел, расспросил бабушку о ее делах, затем, извинившись, встал.

— Простите, мы с товарищами договорились сходить в кино. Привезли фильм «Москва слезам не верит». Хоть я смотрел его в Ташкенте, хочется посмотреть еще раз.

Бабушка пристыдила его: «Вай, Назрулладжан! Не стыдно тебе? У нас ведь гость». Назрулла развел руками, еще раз извинился.

Едва он ушел, бабушка сказала:

— Как две капли воды похож на деда. И по характеру такой же. Покойный его дедушка был таким же

неугомонным. К сожалению, его жизнь оказалась короткой: моего мужа убили за шесть месяцев до рождения Нарпаши.

Тетушка Тоти взглянула на угол, где висел портрет ее мужа, затем, подняв жилистые, худые руки и прошептав молитву, провела ими по лицу.

— Дедушка его, Султан-палван, был членом партии,— продолжала она,— вступил в нее совсем молодым: было ему тогда двадцать лет.

Если бы бог дал ему жизнь, в этом доме было бы много детей. До сих пор не могу забыть, когда видела его живым в последний раз: Султан-палван поднял с земли серп, который лежал вон в том углу, оглянулся и сказал: «На обед готовь рисовый суп». До сих пор звучит у меня в ушах его голос. Сейчас мало кто верит в существование духов, но порой, когда туманится сознание, кажется, что вижу моего покойного мужа, и начинаю с ним разговаривать. Как наяву он задает вопросы, а я на них отвечаю. Потом приду в себя, оглянусь — вокруг ни души. Оказывается, сама с собой разговариваю. Страшно становится, начинаю молиться.

Так вот, в тот день стала я варить рисовый суп. Жду, жду, уже вечер наступает, а его все нет. Пытаюсь чем-то отвлечься, но на душе кошки скребут. Чувствую, беда случилась. Время тогда было очень неспокойное. Наконец не вытерпела, оставила сыновей у соседки и побежала в степь, где косили пшеницу. На полпути услышала, что Султана-палвана басмачи убили. Как добежала до пшеничного поля — не помню. Вижу только, между скирдами пшеницы люди суетятся, поднимают кого-то. Пытаюсь я кричать, а голоса нет. Подбежала к своему палвану. Глаза у него чуть приоткрыты, лицо бледное. Бросилась к нему на грудь, зарыдала...

Через полгода родилась Нарпаша. Э, сынок, до сих пор, как только взгляну на тот угол, где его портрет, сердце начинает щемить.

Все наши соседи переселились на новые участки, а мы вот одни остались здесь. Правда, есть один сосед, но лучше бы его не было. Дети долго уговаривали меня переехать отсюда, но я не согласилась. Как могу оставить этот уголок? Ведь придет кто-нибудь, который не знает событий тех лет, поднимет кетмень и разрушит все это. Нет, пока жива, отсюда не

уйду. Когда умру, пусть дети решат, что делать с домом.

Сколько раз говорила Нарпаше: «Переезжайте, дети, на новый участок, не отрывайтесь от людей. Будете при случае заезжать — и слава богу. Сколько проживу еще — неизвестно, но хочу умереть здесь, чтобы дух покойного отца не обиделся на нас». А Нарпаша не послушалась, решила тоже остаться здесь со мной и принялась за ремонт.

Да, пятьдесят лет прошло с тех пор, как не стало Султана-палвана. Иногда про себя думаю: «Уж не сон ли все это?»

Из соседнего двора послышался громкий скрип открывающейся калитки. Потом она так же громко захлопнулась. Тетушка Тоти сурово посмотрела в ту сторону, откуда донесся скрип.

— Сосед пришел,— сказала она, не скрывая раздражения. Поправила на голове платок, взглянула на меня, пытаясь узнать, не наскучила ли своими разговорами, и продолжала рассказ.— Все прошло, сынок, как страшный сон. Был у меня старший сын Азад. Как начну о нем кому-нибудь рассказывать, Нарпаша отчитывает меня: «Перестань, говорит, терзать себя. Все равно его не вернуть. Береги себя, подумай о своем здоровье». Если подумать, она права. Но куда денешься от прошлого?

Мой сын родился в год революции, потому и назвали его Азад. Таким ладным, таким здоровым был он парнем!

На второй день войны призвали его на фронт, а через два месяца пришло извещение о его смерти.

Раньше, когда он был жив, я как-то не очень думала о нем: для меня важно, что он был сыт и здоров. А теперь не могу не думать. Все время ругаю себя за то, что, провожая его на фронт, не сказала ему ни одного ободряющего слова. Повисла у него на шее и плакала, надрывая его сердце. Хороший он был сын, да немного пришлось ему пожить. Все надежды унес с собой. А я вот до сих пор существую...— Старушка вытерла слезы.— Ох, сынок, можно свыкнуться с мыслью, что человека съедают черви,— это удел и царя, и нищего. Подумаешь так и успокоишься. Но когда человека человек грызет, как оставаться спокойной? Девушка, которая была помолвлена с моим сыном, стала женой пьяницы.— Тетушка Тоти с горечью показала на

соседний двор.— Видеть ее — для меня мучение. Разве в юности она такая была?

Старушка замолчала. Я видел, что она вновь переживает давно прошедшее, но успокаивать ее не стал. Это было лишним.

— Война есть война. Она стала бедствием как для молодых, так и для стариков,— скорбно заговорила тетушка Тоти.— У меня хоть остались дочь и внуки. А сколько семей погибло полностью. Но самый страшный удар нанесла мне судьба, когда погиб мой младший сын. Учился он в Ташкенте пять лет и приехал сюда инженером-строителем. Очень ценили его в городе. Звали его Иркин. Был он ловким и сильным со школьных лет. Еще когда учился в седьмом классе, за спортивные достижения награждали его путевками в Ташкент, в Москву и еще в какие-то города. Говорили, что мой сын ловко лазит по скалам и нет ему в этом равных. Я удивлялась...

— Он был альпинистом? — перебил я тетушку Тоти.

Лицо ее засветилось.

— Да, да, он был альпинистом. Во время отпуска никуда отдыхать не ездил, а брал свой рюкзак и уходил в горы. Через месяц возвращался исхудавший и почерневший. Долго после этого приходилось его откармливать.

А однажды ушел в горы и не вернулся. Когда он собирал рюкзак, я его, бессердечная, пожурила: «Ты стал отцом, а все еще скитаешься по горам. Когда образумишься? Не стыдно тебе?» Сын улыбнулся, обнял меня, ласково похлопал по плечу. У его отца была такая привычка.

Оказывается, тогда проходили соревнования по скалолазанию где-то под Нальчиком. Взбирались они на какую-то трудную вершину. Его товарищ сорвался со скалы, но зацепился за дерево и остался жив. А Иркинджан пытался его спасти, да неудачно: упал в пропасть.

В прошлом году собрались вместе Нарпаша, моя сноха, сын Иркинджана Фатихджан и повезли меня на то место. Приехал еще его товарищ из Владивостока, которого Иркинджан пытался спасти, приехал специально, чтобы почтить его память. Долго он нам рассказывал, каким был Иркинджан в горах. Видели мы и могилу моего сына. Зарыт он у подножия той вершины, на которой все это случилось. Там находится

кладбище бойцов, погибших во время защиты этих мест от фашистов. Похоронены там еще несколько альпинистов. У подножия гор — леса, а сами горы — высокие-высокие. Перед ними человек будто песчинка.

С тех пор каждый праздник получаю от товарища моего сына письмо. Все они начинаются словами «здравствуйте, матушка», и эти слова успокаивают меня. Мой сын отдал свою жизнь за друга и этим оставил хорошую память о себе. Иногда так разболится душа, что становится невмоготу. Закрою глаза и вижу своего Иркина. Почему погибли мои сыновья, а не я? Эта мысль не дает мне покоя. О них думаю больше, чем о живых.— Старушка тяжело вздохнула. Отвернувшись, вытерла концом платка слезы.

Из кухни вышла Санобар. Тихонько подошла к бабушке, присела рядом с ней, погладила по плечу. Та пододвинула чайник и пиалушку к внучке.

— Налей чаю и гостю,— сказала она. Немного успокоившись, продолжала: — Люди помнят моих сыновей и мужа: на целине одно село назвали Султан-палван, а школа, в которой учился Азад, вот уже двадцать лет носит его имя. Из этой школы пионеры приходят ко мне каждую неделю; убирают двор, подметают в доме. Дай бог им здоровья! Конечно, мне это приятно. А друг моего Иркина, Сергей, часто присылает письма. Привязался он к нам. Сначала мне было больно даже имя его слышать. А потом подумала: «Разве виноват он, что так все случилось? Видимо, это судьба». Несколько лет тому назад от него долго не было никаких известий, так я даже встревожилась не на шутку: может быть, заболел или что-то случилось с ним. Места себе не находила. К счастью, вскоре от него пришла телеграмма. Сообщал, что был где-то в командировке. А в этом году Нарпаша пригласила его к нам со всей семьей. Недавно Сергей прислал письмо: пишет, сможет приехать только весной.

Санобар встала с топчана и, видимо желая отвлечь бабушку от воспоминаний, включила телевизор.

— Единственная моя надежда теперь — Нарпаша. Правда, дома она бывает мало, все на работе. Иногда приходит с работы усталой, раздраженной. Начну успокаивать ее, а она мне в ответ: «Разве можно, мама, оставаться спокойной, когда некоторые нерадивые совсем перестали работать?» И сердится еще больше. А я с ней не согласна, говорю ей: «А ты и ругай по-хо-

рошему, без зла. Когда ты сердишься, и красота твоя вянет. Когда же говоришь ласково — ты похожа на раскрывшийся цветок. Говори со всеми приветливо, дочка. От этого и тебе хорошо, и другим приятно». Моя дочь — депутат, бригадир...

— Бабушка, иди скорее сюда! Маму показывают! — раздался голос Санобар с веранды. Не выдержав, она подбежала к бабушке и помогла ей подняться.

Я тоже пошел на веранду, где стоял цветной телевизор и несколько стульев. Шла передача из Ташкента, с совещания лучших хлопкоробов страны. Показали зал, затем — выступающего и президиум. Санобар нетерпеливо ожидала, когда на экране телевизора покажется мать. Объектив камеры остановился на круглолицей женщине, у которой вся грудь была в орденах и медалях.

— Вот мама! Она что-то записывает! — закричала Санобар.

Тетушка Тоти подсела к телевизору, потом, повернувшись ко мне, с сожалением сказала:

— Старость — не радость. Вот вы видели мою дочь, а я не смогла разглядеть как следует.

Передача кончилась. Лампочка, висящая под виноградным навесом, освещала весь двор. Я не заметил, как пролетели три часа. Хотя время было уже позднее, Санобар принесла в больших фарфоровых чашках шурпу. Вероятно, успела сварить ее, пока мы разговаривали с тетушкой Тоти.

Вскоре пришел Назрулла, поделился своими впечатлениями о фильме. Мне пора было возвращаться в гостиницу. Назрулла предложил довезти меня до Самарканда, я не стал возражать. Наспех поужинав, он вывел машину на улицу. Я попрощался с тетушкой Тоти и Санобар. Старушка проводила меня до машины.

— Излила перед тобой свое горе, сынок. Надоела, наверное, тебе? Приезжай, когда Нарпаша будет дома. Мы все тебе будем рады.— Затем, повернувшись к внуку, предупредила его: — Езжай помедленнее, а то мы здесь будем переживать...

Профессор Базар Хамраевич не мог вынести слез жены...

Пользуясь выходным днем, он хотел написать статью для одной из центральных газет. Говоря откровенно, это решение было продиктовано тем, что ему было стыдно появляться на улице, а сидеть дома без дела он не привык.

Осенью Базару Хамраевичу исполнится шестьдесят два года. Он родился и вырос здесь, в этой махалле. Авторитет его среди людей высок. Уже издали здороваются с ним и стар и млад, положив руку на грудь. Но, к сожалению, в пожилом возрасте Базару Хамраевичу стало стыдно смотреть в глаза даже незнакомым людям, а соседям — тем более. «Домла, почему вашего сына не видно?.. Все ли в порядке?.. Бог даст...» — такое участие соседей иглой вонзается ему в сердце. «Лучше бы они дали мне пощечину», — думает он.

В течение тридцатичетырехлетней счастливой совместной жизни Базар Хамраевич ни разу не повысил голоса на жену. И это нельзя было объяснить одной только внутренней его культурой или их взаимной любовью. Вероятно, здесь имело большое значение то обстоятельство, что, кроме Фарруха, у них не было детей.

...Он подошел к двери гаража, открыл ее. Войдя в гараж, поднял капот «Волги», проверил уровень масла. У Икбалхон, наблюдавшей из окна за действиями мужа, сразу на сердце стало чуть легче, потому что, когда Базар Хамраевич собирается в дальнюю дорогу, он всегда начинает с того, что открывает капот; если же хочет поехать в магазин или на рынок, тогда бросает в багажник сумки, ведра и отправляется в путь.

Но теперь, глядя на собирающегося в дорогу мужа, Икбалхон засомневалась. Может быть, она заставляет его ступить на неправедный путь? Ведь в течение стольких лет совместной жизни ее муж ни перед кем не оказывался в неловком положении. Неужели он не вытерпел ее слез и поступился своими принципами? Икбалхон знала, что в другой ситуации Базара Хамраевича бесполезно было бы уговаривать. Но этот случай был слишком серьезным. Надо было обязательно убе-

дить мужа, и поэтому свои уговоры она подкрепила слезами. И вот муж сдался.

Но что ей было делать? Фаррух — ее единственный сын, свет ее очей, ее радость и смысл жизни. Конечно, Икбалхон благодарна судьбе, что она свела ее с таким благородным, золотым человеком. Ее замужеству завидуют многие женщины. Действительно, ее муж — опора, верный супруг, покровитель. Но Фаррух — тепленький кусочек ее сердца.

Базар Хамраевич принес ведро воды и кряхтя стал мыть машину. Вот он вытирает правую сторону, которая окрашена в другой цвет. Месяц тому назад Фаррух наехал на электрический столб, после чего машину с трудом удалось отремонтировать. Икбалхон представила себе сына, и слезы опять полились у нее из глаз.

Она вспомнила, как две недели тому назад он пришел домой с пожелтевшим лицом, испуганный и раздраженный. А на следующий день Базара Хамраевича навестил какой-то человек, который рассказал о неприятной истории, случившейся с их сыном в институте. Икбалхон не слышала, о чем они говорили, но, после того как тот человек ушел, муж вышел из комнаты совершенно расстроенный. В это время из института вернулся Фаррух, и отец стал отчитывать сына, что случалось с ним очень редко. Фаррух сидел молча, не поднимая головы. Потом вскочил с места и закричал: «Хватит! Я сыт по горло вашими нравоучениями!» Побросав в чемодан рубашки и смену нижнего белья, он молча ушел.

С тех пор прошло две недели, и столько же времени Икбалхон страдает. Кажется, всю душу вложила в сына, ни в чем ему не отказывала, ни в чем не перечила, и вот результат — «сыт по горло».

Вот так, терзаясь сомнениями и плача, Икбалхон встречала сумерки. Со слезами упрашивала она мужа: «Поезжай к отцу девушки, уговори его не подавать жалобу в суд. Ведь Фаррух — наш единственный сын!»

Мало ли она мучилась разными страхами и тревогами, пока Фаррух вырос? Достаточно вспомнить, что она вернулась с края пропасти, откуда нет возврата, когда рожала его. Потом — тяжелые дни, месяцы, годы войны. Тогда единственной ее радостью и надеждой был Фаррух. Она бережно растила его. Письма, ко-

торые приходили от Базаркула, Икбалхон вновь и вновь перечитывала маленькому Фарруху, будто он понимал их. В те годы она несколько лет прожила в селе, в родительском доме, у отца, работая в колхозе. В селе остались учащиеся, женщины да инвалиды, и все они работали на полях, не зная отдыха, а вечерами собирались в колхозном клубе очищать хлопок.

Чтобы не доставлять неудобства матери, Икбалхон забирала сына с собой, укладывала его спать на куче очищенного хлопка, а сама до утра работала.

Теперь Фаррух — студент пятого курса института.

Какая мать и какая женщина может вынести то, что некоторые завистливые соседи, радуясь про себя, насмехаются над горем Икбалхон? И сноха, Нигинахон, которая вот-вот должна родить, ушла к родителям. Теперь в огромном доме Икбалхон осталась одна. Правда, есть Базар Хамраевич, но он занят своей работой...

Хотя Икбалхон и узнала от мужа, что натворил их сын, она не считала вину сына слишком тяжелой. Ее мягкосердечие не мешало ей быть немного эгоистичной. Уважение, которое махалля оказывала Базару Хамраевичу, естественно, в некоторой мере переносилось и на его жену, что порождало в ней чувство превосходства над соседями и уверенность в том, что она может диктовать свою волю махалле. Поэтому сейчас, когда дело касалось ее сына, она пыталась если и не оправдать, то по крайней мере не судить его очень строго. Что касается чести и достоинства других, связанных с этой историей, то она ничего не хотела об этом знать.

Слепая любовь взяла верх над разумом. Ведь ее муж — не кто-нибудь, а знаменитый ученый. До сих пор все считались с его мнением. «Если сын такого авторитетного человека один раз в жизни побаловался, от этого разве небо провалится?» — такие мысли приходили иногда Икбалхон.

...Базар Хамраевич привел машину в порядок, посмотрел на окно, возле которого сидела Икбалхон, и помахал ей рукой. Жена встала, вышла во двор.

— Поеду к родителям этой девочки, хотя не знаю, о чем буду с ними говорить,— сказал Базар Хамраевич.

— Удачи тебе! — Икбалхон вытерла уголком платка слезы.— Ее отец, оказывается, был твоим студен-

том... Не стесняйся, умоляй, словом, добейся, чтобы он не упрямился. Подожди минуту.

Икбалхон быстро побежала в дом и вскоре вынесла что-то завернутое в носовой платок. Когда Базар Хамраевич увидел сверток, он побледнел. Не повышая голоса, сказал жене: «Оставь это, я все равно не смогу купить нашему сыну порядочность». Но Икбалхон не отступала:

— Нужный камень — не тяжел, отец. Если не возьмет, привезешь обратно, но пусть будет при тебе. Если он человек жесткий, то деньги могут смягчить его: пять пальцев — не равны, всякие люди бывают.

Базар Хамраевич невольно взял сверток, открыл в машине ящик для инструмента, сердито сунул сверток туда и громко закрыл крышку. Потом завел машину.

Спустя некоторое время он выехал на сельскую дорогу. По обе стороны вереницей тянулись низенькие тутовые деревья с чуть раскрывшимися почками; в бескрайних полях пробивались зеленые стебельки пшеницы. Небо чистое, под весенним солнцем сверкали снежные горные вершины. Базар Хамраевич вдруг вспомнил, что давно не был в селе. Открыл окно кабины — свежий упругий воздух ворвался в машину. Но тяжелые мысли не проходили. Он ехал безостановочно уже больше часа и словно не замечал обгоняющих его машин.

«Ну, как я приеду к Муртазу Касымову? Что ему скажу? Вообще что можно сказать отцу девушки, которую обесчестили? Другие ведь точно так же любят своих детей! — Базар Хамраевич как будто только теперь почувствовал, какой сложный вопрос взялся он разрешить.— Где и когда я упустил сына? В сущности, это моя ошибка. Резкая боль в правой ноге отвлекла его от мрачных мыслей. Пришлось остановить машину. «Опять началось»,— пробурчал он, торопливо массируя бедро. Базар Хамраевич вспомнил то время, когда, раненный в ногу, три дня пролежал в углу одного из полуразрушенных зданий Сталинграда... «Не дай бог повториться тем дням. А то, что я переживаю сейчас, пройдет»,— успокаивал он себя. Когда боль немного утихла, он продолжил путь.

За окном кабины все еще мелькали тутовые деревья. Базар Хамраевич продолжал терзаться мыслями о случившемся. Он даже забыл про боль в ноге.

«Это моя ошибка,— повторял он.— Ведь садовник должен ухаживать за деревьями... Доставал все, что необходимо...»

Не зная подробностей истории, происшедшей с Фаррухом и Барно, он иногда успокаивал себя: «Чего не бывает в молодости». Вспомнив слезы жены и недавно ушедшего сына, даже подумал: «Ну и порядки у нас. Ни за что ни про что посадят парня». Базар Хамраевич вздрогнул: «Что я говорю? Или дьявол проник мне в душу? Ведь чтобы осуждать закон, надо иметь для этого веские основания. Видимо, к старости я становлюсь эгоистом. Нет, надо винить не других, а в первую очередь себя. Не шутка, мне уже шестьдесят два. Сколько всего я пережил за свой век! Какие опасности подстерегали меня на фронте, хотя и вернулся домой живым! Я прошел всю войну. И неужели сейчас не признаю своей вины в этом ясном деле? Неужели хочу свалить свою вину на других?»

Базар Хамраевич разгорячился. По левой стороне, навстречу ему, ехал грузовик с сеном. Видя, что «Волга» несется прямо на него, шофер грузовика резко свернул в сторону, но сухие веточки поцарапали краску на крыше машины.

«Во всем виноват я сам. Когда сын грубил, не обращал внимания. Почему? Не знаю. Может быть, потому что он — единственный?» Базар Хамраевич вспомнил тяжелые роды жены. Врачам тогда с трудом удалось спасти жизнь матери и ребенка, после этого Икбалхон не могла уже иметь детей. Когда друзья Базара Хамраевича справляли свадьбу очередного из своих многочисленных сыновей, он чувствовал себя обделенным судьбой, но вида никогда не показывал. Все его надежды были связаны с единственным сыном.

Фаррух оказался смышленым мальчиком. Еще во втором классе он стал рисовать сюжетные рисунки. Это удивляло многих, а радость Базара Хамраевича была беспредельной. В шестом классе Фаррух выделялся среди учеников своими способностями к рисованию. На городском конкурсе юных художников он занял первое место. Потом, увлекшись теннисом, стал чемпионом республики среди учащихся. Тогда Базар Хамраевич, вопреки педагогическим соображениям, купил сыну золотые часы.

Прошли годы. Фаррух, с помощью отца, поступил в институт. На третьем курсе института его женили на

Нигинахон, дочери профессора-геолога. По мнению Базара Хамраевича, все шло как по маслу... Вот только эта неожиданная, очень неприятная история. Фаррух, еще учась на третьем курсе, стал руководителем кружка художников в техникуме, в котором училась и посещала этот кружок дочь Муртаза Касымова — Барно. По словам человека, пришедшего из института, Фаррух ее... Об этом стало известно не только дирекции института, но и органам правопорядка. Теперь Фарруха могут строго наказать.

Базар Хамраевич задумался о себе. Он вспомнил времена, когда писал кандидатскую, а потом и докторскую — о воспитании молодежи. Вот уже сколько лет он читает лекции о том, как с детства следует воспитывать детей трудолюбивыми, не боящимися трудностей, гармонично развитыми гражданами; сколько книг написано им об этом. На любом большом совещании или мероприятии по воспитанию молодежи главным докладчиком обычно назначали Базара Хамраевича.

В махалле на свадьбах знакомых и родственников должность тамады никому, кроме Базара Хамраевича, не доверяют. Если он отказывается, его просят до тех пор, пока не согласится.

Базар Хамраевич любое торжество ведет с таким знанием дела, что всякий, кто видит это впервые, получает не только хороший урок, но и большое удовольствие.

— Я прочитал много книг, но ни в одной из них не говорится, что избалованный мальчик может стать хорошим человеком. Если ребенок в свое время не встретится с трудностями, не ушибется, не поплачет, он будет похож на красивый, но безвкусный помидор. Кто чрезмерно балует свое чадо, тому не избежать впоследствии огорчений и страданий. Причем страдать придется не только ему, но и всему обществу, потому что этот ребенок будет жить рядом с нами.

Примерно так произносил торжественную речь в честь будущего сына молодоженов Базар Хамраевич.

«...Почему я еду? — раздраженно спросил он себя.— Почему уступил Икбалхон? Я не должен был этого делать. Мой сын совершил преступление — обесчестил девушку, принес несчастье ее семье. Как я могу ехать к ее отцу и говорить о каком-то снисхождении к моему сыну? Разве можно простить такое злодеяние? Эх, Ба-

зар, Базар, ты начинаешь терять совесть, иначе не оказался бы на этой дороге в машине. Поставь себя на место Муртаза Касымова. Что должен испытать ты в этом случае? Что ты ответил бы человеку, сын которого опозорил твою дочь?»

В таком настроении к обеду он приехал в село Хумсан. Начались полевые работы, и поэтому на улице никого не было. У дверей промтоварного магазина на стуле сидел продавец, листая старый номер «Муштума». По-видимому, он решил, что приехавший — один из городских начальников, и поэтому, сразу отложив журнал и положив руку на сердце, пригласил его в магазин. Базар Хамраевич вошел, осмотрел полки. Товаров было много: кучей валялись красивые туфли, которые в городе считались дефицитным товаром. Вперемежку с ними лежали кофты, рубашки, брюки. Он взял одну пару туфель, осмотрел их с разных сторон и купил для снохи, с удовольствием представив, как будет радоваться она подарку. Потом, будто боясь, что его кто-нибудь услышит, почти шепотом спросил:

— Вы не подскажете, где здесь дом Муртаза Касымова?

Продавец насторожился.

— А вы что, следователь? — поинтересовался он.

— Да нет, просто мне нужен Муртаз Касымов, — неуверенно сказал Базар Хамраевич.

Он хотел уже уйти, когда продавец заговорил:

— Бедный Муртаз-чайкал! С таким трудом устроил дочь учиться, а она опозорила его. Рассказывают, связалась в городе с сыном какого-то начальника. Без ветра не закачается макушка дерева... А у того парня, говорят, не один, а четверо детей. А ведь она была уже сосватана. Сваты приходили к нему за разъяснением, опозорили беднягу. Если завернете за ивой налево и пройдете метров двести, то на левой стороне увидите зеленые ворота. Это и есть дом Муртаза Касымова. — Он помолчал и добавил: — Эта девушка и у меня была на примете. Хотел видеть ее невестой младшего сына. Но бог спас меня.

Слова продавца угнетающе подействовали на Базара Хамраевича. Пока нравственные страдания не касались его, он относился к ним сдержанно, философски, полагая, что где жизнь, там и ошибки и, следовательно, надо ко всему этому относиться терпимо и спокойно.

Сейчас он понял, что ошибался, что за нравственные ошибки приходится платить дорогой ценой.

Совершенно расстроенный, сел в машину и задумался: ехать или не ехать. Почувствовав, что продавец смотрит на него, Базар Хамраевич завел машину и тронул ее с места. Проехав немного, решил все-таки повернуть обратно и стал уже было разворачиваться, когда увидел зеленые ворота, о которых говорил продавец. Как загипнотизированный, забыв о только что принятом решении, он остановил машину под ивой, ствол которой весь сгнил и стал рыхлым, подождал, пока рассеется пыль, поднятая колесами, и направился к воротам. Мелькнула мысль о свертке с деньгами. Не зная зачем, он вернулся к машине и накрыл его промасленной тряпкой. Затем снова направился к дверям. Осторожно постучал. Спустя некоторое время кто-то поглядел на него через щель ворот. Дверь открылась. Перед Базаром Хамраевичем стояла смуглая женщина лет сорока. Глядя себе под ноги, она поздоровалась.

— Это дом Муртазабека? — поспешно спросил Базар Хамраевич.

Женщина кивнула головой, сказала:

— Ему нездоровится, лежит в постели. А кто вы?

— Когда-то он у меня учился.

Женщина взглянула на него, и в ее глазах Базар Хамраевич увидел явную злость. Она молча повела его в комнату, где лежал муж. Проходя под длинным навесом, Базар Хамраевич увидел тощую овцу, усердно тершуюся боком о столб. По двору ходили несколько кур. Дом был старый и не похожий на нынешние типовые сельские дома. Ступая по высоким каменным ступеням, они прошли коридором в довольно просторную комнату.

Муртаз лежал на диване. В изголовье, на маленьком столике, лежала куча лекарств, здесь же стояла пиалушка с чаем. Муртаз, видимо, дремал. Услышав шаги, он открыл глаза.

Базар Хамраевич сразу узнал своего бывшего ученика. Муртаз тоже узнал учителя, поздоровался, попытался подняться, но Базар Хамраевич попросил его не вставать, стал расспрашивать о здоровье. Муртаз указал на левую сторону груди и грустно улыбнулся, пригласил гостя присесть. Базар Хамраевич сел на цветистую курпачу, огляделся. На противоположной стороне ком-

наты большой книжный шкаф, на стене фотография Муртаза с однокурсниками. Среди студентов на фотографии Базар Хамраевич увидел себя, молодого и энергичного. А Муртаз — щупленький паренек, почти мальчик.

В глубине комнаты разостлан алый ковер, около порога — толстая дорожка.

— Добро пожаловать, домла,— сказал Муртаз и опустил глаза.

«Значит, уже знает, что Фаррух — мой сын»,— подумал Базар Хамраевич. Он посмотрел на обросшие впалые щеки Муртаза, и ему стало стыдно, нестерпимо стыдно за сына, за себя, за то, что приехал в этот дом. Он молчал, не зная, с чего начать разговор. Жена Муртаза вышла из комнаты.

— Муртаз, в институте я узнал, что она — ваша дочь...— ничего лучшего Базар Хамраевич придумать не смог.

Он опять замолчал. В голове мелькали какие-то обрывки мыслей, вопросы: «Зачем я сюда приехал? Вероятно, как преступника тянет на место преступления, так и меня влекло в этот дом... Я не имею права выражать ему сочувствие, да это и бесполезно... Сказать, прости моего сына, потому что ты когда-то был моим студентом... Да он рассмеется мне в лицо...»

Муртаз Касымов, чувствуя его состояние, глубоко вздохнул, покачал головой.

— Мне тоже стыдно говорить,— сказал он.

Наступила еще более неловкая тишина. Опять вошла жена Муртаза, бесцельно переставила с места на место стул. Увидев, что молчат и муж, и гость, вышла.

Базар Хамраевич понял, насколько его сын омрачил жизнь этой семьи. Теперь к его терзаниям добавилась еще жалость к Муртазу. В большом городе люди заняты собой, своими проблемами и мало интересуются делами друг друга. Для города это естественно. А в селе? Здесь все как на ладони: кто скончался, кто болен, у кого когда свадьба, кто что купил — об этом знает и стар и млад. Поэтому очень нелегко Муртазу.

О чем он думает сейчас, низко опустив голову?

Базар Хамраевич возненавидел себя за то, что оказался здесь. Чувствуя, что дальше молчать невозможно, решился продолжить разговор:

— Муртаз, не думайте, пожалуйста, что я буду о чем-нибудь вас просить. Разве только прощения —

как человек и отец. Не знаю, где сейчас находится мой сын. Но хочу заверить вас, что он получит все, что полагается ему по закону. Я виноват перед вами, Муртаз.

Муртаз с ненавистью и болью посмотрел на Базара Хамраевича. Губы его дрожали.

— Если бы вы сами не приехали, ни за что не поверил, что это ваш сын,— сказал он слабым голосом.

Базар Хамраевич еще немного посидел, даже попил чаю, который принесла и поставила перед ним жена Муртаза. Не глядя гостю в лицо, она вдруг сказала:

— Домла, вы все понимаете. Мы вас могли бы и простить, хотя горе, которое ваш сын нам принес, безмерно. Но невозможно заставить людей держать язык за зубами. Что бы там ни было, пусть ваш сын возьмет нашу дочь в жены хотя бы на один день.

Базар Хамраевич, не ожидавший такого оборота, молчал, перебирая бахрому скатерти.

— Мубор! — тихо произнес Муртаз.

Женщина рассердилась:

— Помолчи, Муртаз! Пусть он тебя когда-то учил. Но за это он получал зарплату. И если этот человек — домла, то это вовсе не значит, что из-за него мы должны терпеть позор! В нашем роду никогда не было такого...— она заплакала.

Чем дольше сидел Базар Хамраевич, тем сильнее жалел он, что поддался на уговоры жены. И согласился он ехать сюда, потому что подсознательно думал прежде всего о своем спокойствии, о спокойствии жены и сына. А возможные последствия оскорбления, нанесенного его сыном, были для него тогда лишь причиной, из-за которой нарушилась их спокойная жизнь и которую надо было устранить. Разве может он после этого считать себя порядочным человеком? Что пользы от того, что он назубок знает категории добра и зла?

Базар Хамраевич стал поспешно прощаться. Муртаз хотел было подняться, но Базар Хамраевич не позволил ему этого сделать. Он быстро вышел на улицу, даже не оглянувшись на жену Муртаза, которая что-то хотела ему сказать, сел в машину и погнал, будто кто-то преследовал его.

Он промчался мимо удивленного продавца, сидевшего на прежнем месте, выехал из села на шоссе и только тут почувствовал, как сильно болит голова. Огромная скорость на мгновение дала ему ощущение

свободы, но тут же какая-то внутренняя тоска сдавила сердце.

«Что бы там ни было, пусть ваш сын возьмет нашу дочь в жены хотя бы на один день...» — вспомнил он слова жены Муртаза Касымова. Бедная женщина! Видимо, страдает ужасно.

Базар Хамраевич вдруг представил себе Нигинахон, свата Рашида Азимовича и других родственников. На душе стало еще более гадко. «И перед ними я опозорился,— подумал он.— Прошла неделя, как ушла Нигинахон, и ни от кого ни звонка. Все переживают про себя. Эх, Фаррух, Фаррух! В какое положение ты поставил меня в старости!»

Во всем виноват я сам... Молчал, когда он собрал сомнительных дружков. Думал, опомнится. Молчал и тогда, когда он, бросив учебу, волочился за девушками. Полагал, семейные заботы заставят его взяться за ум. Я хотел, чтобы сын жил вольготно, потому что у меня была слишком тяжелая жизнь. И вот результат!

Даже если Фаррух — единственный сын, как он мог прикрываться моим авторитетом, втаптывать его в грязь?! Пусть люди говорят что хотят, но ни за что не буду защищать сына! Пусть получит наказание, какое ему полагается!»

Базар Хамраевич все более увеличивал скорость. Мелькали тутовые деревья по обочинам дороги. Ему представилось мрачное будущее сына, безутешное горе жены. На душе опять стало тяжело и тоскливо.

## ЗАГАДОЧНЫЙ БЕРЕГ

На этом свете жил он в суете,
Дел много делал — только все не те,
Ни пользы не принес, ни мудрым он не стал,
Но долго жил и оттого устал...

Устал. Пора бы вроде на покой,
Но, поглядев назад, махнул в тоске рукой:
«Зачем я жил на свете столько лет?»
И с горя он покинул этот свет!

*Эркин Вахидов*

Как-то раз, по пути на работу, я увидел на скамейке, около автобусной остановки, забытый кем-то небольшой сверток. Среди ожидавших автобуса хозяина свертка не нашлось, и мне пришлось отнести его в го-

родское бюро находок. По дороге я на ощупь определил через газетную бумагу, что в свертке было что-то похожее на книги. Так оно и оказалось. Работница бюро развернула сверток и удивленно взглянула на меня:

— Только и всего?!

На столе перед ней лежала книга Адыла Якубова «Серебряные люстры» и потрепанная общая тетрадь, исписанная неровным почерком. Чернила были зелеными, да кое-где на бумаге так расплылись, что с трудом можно было разобрать отдельные слова...

— Ни адреса, никаких данных о хозяине...— женщина повертела тетрадь в руках и сказала, возвращая мне сверток: — Забирайте-ка свою находку обратно... Такого рассеянного владельца мы век не найдем.

Делать было нечего. По дороге домой я стал было от скуки просматривать записи и неожиданно зачитался. Правда, фамилии и имени автора я так и не нашел, но его рассказ о действительных или, может быть, выдуманных событиях заинтересовал меня. Некоторые строки были совершенно не понятны, а отдельные страницы пришлось буквально расшифровывать. Я взял на себя смелость немного перекомпоновать и отредактировать текст, чтобы придать повествованию логическую завершенность. Главное, что произвело на меня впечатление,— то, что написано было, как говорится, от души, с предельной искренностью. А впрочем... Прочтите и судите об этом сами...

* * *

Старые люди говорят, что размолвка между мужем и женою забывается быстрее, чем высохнет на ветру после стирки легкая косынка. Так-то оно так... Но как вода уносит со временем яркие краски ткани, так размолвки и ссоры, пусть и самые незначительные, обедняют душу, оставляя в сердце свой след, горький свой осадок...

Если бы кто-нибудь увидел нас тогда, посмотрел со стороны. Наверное, этот человек не на шутку бы испугался. Что с нами произошло? Почему легкий холодок в отношениях и мало-помалу нараставшее отчуждение вдруг, в считанные мгновения обернулись злобной, исступленной ненавистью? Я снова и снова возвращаюсь мысленно к тому, что случилось, желая разобраться, осмыслить, понять...

В ту ночь я так и не смог уснуть. Поднялся утром с тяжелым сердцем, вспомнил, что день субботний, и, неожиданно для себя самого, позвонил старому товарищу по институту. Аскарджан, после обмена традиционными приветствиями, стал расспрашивать меня о житье-бытье, а я вдруг набросился на него с упреками:

— Тоже мне, друг называется! Небось забыл уже, когда мы и виделись. Где же твоя совесть?

Аскарджан не обиделся и, рассмеявшись, неожиданно предложил:

— Знаешь что? Поехали-ка с нами сегодня в Чарвак. Мы как раз с Ашурали вместе собираемся. И я чувствую, что тебе тоже не мешает встряхнуться... Поехали... Там хотя бы искупаемся как следует...

Я не долго раздумывая согласился. Положив трубку, я сидел неподвижно около телефона, погруженный в свои невеселые думы. И все больше и больше охватывало меня чувство жалости к самому себе: «Крутишься, крутишься как белка в колесе, а чего ради? Кому ты нужен в этом доме? Разве ценят тебя по-настоящему за все, что ты делаешь?» И чем больше я размышлял об этом, тем обиднее мне становилось за себя.

А через несколько часов мы, втроем, уже въезжали в Юсуп-хану. Оказывается, и Аскарджан, и другой наш приятель, Ашурали, бывали здесь частенько, так что мы направились прямо к дому одного их хорошего знакомого. Машина въехала на широкий двор, окруженный вместо забора невысокой глиняной стеной. Веселые, загорелые дочерна мальчишки крутились вокруг с радостным визгом, прыгали и кричали. Казалось, нашему приезду обрадовалась даже привязанная к столбу посреди двора маленькая рыжая собачонка, подобострастно завилявшая своим куцым хвостом. Правда, увидев нового человека, она было оскалила зубы, да, видно, радость встречи и законы гостеприимства оказались сильнее...

Вечер в горах наступает быстро. Тихая и немного грустная осенняя тишина воцаряется вокруг. Становится прохладно. В темнеющем небе вспыхивают бесчисленные звезды, яркие, как огни праздничного салюта. Веет свежий ночной ветерок, донося временами отзвуки

женских голосов. Это перекликаются закончившие свои дневные хлопоты жительницы села, обмениваются новостями, желают друг другу спокойной ночи. Я прислушиваюсь, затаив дыхание, но улавливаю только отдельные слова да обрывки девичьего смеха — все остальное уносит ветер. Даже здесь, в селе, чувствуется влажное спокойное дыхание Чарвакского моря. Иногда мне словно слышится даже легкий плеск воды, набегающей на прибрежные камни. И в строгой тишине, охватившей, кажется, весь мир, невольно чувствуешь себя песчинкой, затерявшейся на берегу вечного океана времени.

Хозяева постелили нам на большой деревянной кровати, стоящей в самом углу двора. Я вглядываюсь в даль, туда, где на фоне ночного неба еще различимы вершины могучих гор, словно застывших в раздумье. Все вокруг дышит покоем. Но нет покоя в моей душе...

Я вспоминаю, с чего началась наша ссора, восстанавливаю в памяти события минувшего дня. Неужели не сохранилось в наших сердцах ни капли доброты, простого человеческого тепла? Вот ведь сдержись я тогда, не дай волю раздражению,— наверное, все обернулось бы по-другому. Почему, едва переступив порог, я закричал: «Можно ли в этом доме хоть однажды поесть вовремя?» Как будто не видел, что Шахиста, только что пришедшая с работы, готовит на кухне ужин... Знал прекрасно, что она устала не меньше моего, да и есть-то мне не особенно хотелось... И надо же!

Да и ей бы промолчать. Но нет...

— Ишь чего захотел! Я что, по-твоему, в игрушки играю целый день?! Сама только что вернулась...

— Слышать больше не хочу о твоей работе! — взорвался я.— По мне — так уж лучше бы ты вовсе не работала... В доме никакого порядка!

И здесь еще, как назло, из глубины квартиры раздался пронзительный крик нашего младшего: «Дай, дай, дай!» Я, разъяренный, влетел в комнату. Так и есть... Старший зажал в руке игрушку и дразнит маленького. А тот вцепился в нее и вопит на весь дом, явно стараясь привлечь внимание взрослых. Я уже плохо понимал, что делаю: «Дать? Нате, получайте у меня оба...» Влепил по затрещине тому и другому и, провожаемый дружным ревом, выскочил из дому, хлопнув дверью так, что задрожали стены.

И вот теперь я лежу под чинарой, укутавшись от пронизывающей ночной свежести в ватное одеяло. Лежу и ругаю себя: «Зачем, зачем я так?» Кошки скребут у меня на сердце, я ворочаюсь с боку на бок, не находя себе места... Аскарджан и Ашурали давным-давно уснули. А я все думаю и думаю о своем доме, сыновьях, о моей жене Шахисте: «Как они там, что делают сейчас без меня?» Но внезапно перед глазами снова возникает побелевшее от злости лицо Шахисты. Я вижу ее плотно сжатые губы, яростно горящие глаза, и невольно внутри все закипает гневом.

Тишину разрывает громкий собачий лай. Я приподнимаюсь, всматриваюсь в темноту. Но никого нет. Собака так же неожиданно успокаивается, и снова кругом тишина. А я опять один на один со своими печальными думами...

Аскарджан трясет меня за плечо:

— Вставай, вставай... Тот, кто сюда приехал, не имеет права пропустить восход солнца! Быстрее... Вот увидишь — почувствуешь себя так, словно вновь родился...

Только начало рассветать. На траве и деревьях лежит обильная роса. Я медленно приподнимаюсь на кровати, сонно потягиваюсь. Аскарджан вдруг нагибается к арыку, протекающему у самой кровати, зачерпывает горсть воды и выплескивает мне на голые плечи. Я подскакиваю от неожиданности.

Мы быстро умываемся и вскоре поднимаемся по крутому склону горы. Пожелтевшая от зноя, покрытая утренней росой трава достает чуть ли не до самых коленей.

Да, трудно сравнивать с чем-либо красоту этих гор! Из глубины ущелий, еще задернутых плотным туманом, доносится едва слышный шум. Трудно определить, что это — журчанье ли ручейков, сбегающих вниз по камням, или шелест листьев, ведущих свои бесконечные беседы с легким утренним ветерком...

Мы поднимаемся все выше и выше. И вот уже внизу, сквозь разрывы тумана, можно различить темную, холодную неподвижность вод Чарвакского моря... Аскарджан и Ашурали — далеко впереди. Я с непривычки здорово от них отстаю. Откровенно признаться, в институте я не был особенно дружен ни с тем, ни

с другим. А после его окончания пути наши и вовсе разошлись. Аскарджан уже много лет работает научным сотрудником Института языка и литературы, а Ашурали — школьный учитель. Видимся мы теперь совсем редко, случайно же встретившись, не знаем, о чем и говорить. Вот и сейчас они вдвоем, чуть пригнувшись, быстро поднимаются по склону, словно совсем забыв про меня, и даже не оглядываются. Я тяжело дышу, поминутно оступаюсь и думаю уже только о том, как бы поскорее передохнуть. Впереди, метрах в двухстах,— скала, причудливо нависающая над склоном. Друзья взобрались на нее и теперь дожидаются меня. Аскарджан машет мне сверху рукой и кричит, улыбаясь:

— Держись, Вахиджан! Еще немного осталось...— голос его эхом отозвался в глубине ущелья.

Я едва-едва успеваю перевести дух, и мы снова трогаемся в путь. Часа через полтора взорам нашим открылась наконец плоская вершина горы. Пот заливал мне лицо, сердце готово было выскочить из груди, и хотя это и кажется странным, но я вдруг почувствовал себя совсем легко. Тело словно внезапно окрепло, а руки стали наливаться особой, необыкновенной силой. Казалось, сделай я еще несколько шагов к краю обрыва, взмахни руками — и взлечу в это быстро светлеющее небо. Отсюда, с высоты, хорошо виден поселок. Я отыскал взглядом маленький домик, давший нам приют на ночь. Его белая глиняная крыша выделялась среди других, покрытых потемневшей от времени соломой. Я сразу узнал его по двору с высокой раскидистой чинарой. Весь поселок был передо мной как на ладони. Глядя вниз с высоты, начинаешь невольно ощущать себя сказочным великаном. Я медленно перевел взгляд налево — в сторону Чарвакского моря и... сердце мое точно замерло. Что это? То самое место... Нет. Не верю своим глазам. Неужели оно?

Тем временем спутники мои, перебравшись на восточную сторону вершины, о чем-то оживленно спорили, то и дело указывая в сторону Бурчмуллы. А из-за самой дальней горы медленно поднималось солнце.

Не отрывая глаз смотрел я на скалу, приникшую к самой воде, прямо напротив того места, где мы сейчас стояли. Своими очертаниями она удивительно напоминала фигуру верблюда. Я не мог прийти в себя от неожиданности. Даже зажмурился на миг — не растает

ли, как видение... Но нет. Без сомнения, это то самое место, где...

И моего хорошего настроения как не бывало. Охваченный грустью, я пристально вглядывался в зеркальную поверхность воды, будто надеялся увидеть в ней картины дорогого мне прошлого. Все напрасно. Ледяным холодным равнодушием дышит вода. Я чувствовал это даже здесь, на высоте. Да и было ли когда-нибудь то, о чем я вспоминаю сейчас с таким волнением... Было или не было?

Приятели окликают меня. Время завтракать. Я медленно спускаюсь вниз, не отводя взгляда от скалы, которая напомнила мне о счастливых днях моей молодости. Аскарджан и Ашурали веселятся от души, наблюдая за моим неуверенным спуском. Они и не подозревают, что творится у меня на душе. Я пытаюсь успокоить себя, но напрасно. Слишком разволновали меня воспоминания.

Я слышал рассказы о том, как заполнялось Чарвакское море, но даже не мог представить себе, что все здесь так неузнаваемо изменилось. Ведь надо же, там, где сейчас многометровая толща воды, раньше находился маленький, уютный дом отдыха. Сейчас напротив того места, где стояли его домики, неширокий пляж с разбросанными тут и там пестрыми зонтиками.

Я не стал делиться с приятелями своими воспоминаниями. Да, на этом берегу прошли лучшие, незабываемые и, пожалуй, самые дорогие для меня часы моей жизни. Но кому интересно слушать о чужом да к тому же давно прошедшем счастье?

Позавтракав, мы втроем медленно направляемся к воде. Аскарджан не может удержаться и, раздевшись, вдруг прыгает прямо с каменистого берега, поднимая целые фонтаны брызг. И тут же выбирается на камни, отряхивая с себя воду:

— Пошли на пляж. Здесь, пожалуй, все ноги изрежешь,— он подхватывает свою одежду, и через несколько минут мы уже располагаемся на песке, как раз напротив той самой, памятной мне, скалы.

Осеннее солнце светит вовсю, но оно уже не в силах прогреть воду. Мы выскакиваем на берег, стуча зубами, и бросаемся на горячий песок, чтобы поскорей согреться.

Я лежу на спине и опять мучаю себя вопросами, на

которые не нахожу ответа, опять сокрушаюсь о необратимом и стремительном беге времени.

На берегу с каждой минутой становится все многолюднее. Приятели мои задремали, кажется, под теплыми лучами. Я поворачиваюсь на бок и прикрываю лицо газетой. Теперь ослепительное солнце не режет мне глаза, и я смотрю, смотрю не отрываясь на скалу, безмолвную свидетельницу нашего далекого счастливого прошлого. Над ней лениво проплывает небольшое облако. Я вижу, как постепенно оно меняет свои очертания, тает в небесной голубизне, и душа почему-то вновь наполняется тоской и беспокойством.

Ах, как была величественна эта скала! Тюбетейка сваливалась с головы у того, кто хотел взглянуть на ее вершину со дна ущелья, заполненного теперь водами Чарвакского моря. А по дну долины, пробив себе узкое русло в камнях, мчались в те времена воды маленькой речушки Чаткала. В том месте, где долина немного расширялась, среди невысоких каменистых холмов и располагался тогда дом отдыха. Его строения появлялись перед путешественником неожиданно, когда узкая дорога на Бурчмуллу, проложенная вдоль берега, внезапно круто поворачивала направо. Уютные белые домики буквально утопали в глубине красивой тополиной рощи. Вдоль всей территории проходила широкая аллея. Между деревьями журчали струйки холодной родниковой воды, омывая обнажившиеся корни.

Я приехал в этот дом отдыха много лет назад — не отдыхать, а увидеться с Шахистой, моей будущей женой. Она только что окончила университет и решила немного отдохнуть перед работой. Как же давно это было! Там, где шумели тогда тополя, гуляют сейчас волны Чарвакского моря...

Стояла осень. В одну из суббот я собрался и поехал навестить милую мою Шахисту. Добирался я из города довольно долго — сначала автобусом, а затем попутной машиной, приехал уже после обеда и Шахисту дома не застал. Мне сказали, она с подругами ушла купаться.

Я шел вдоль берега и не переставал удивляться здешней природе. Рядом — песчаный берег, усеянный валунами, похожими издали на пасущихся овец, и высокие заросли жесткой сухой травы. А там, наверху, в глубоких каменных расселинах, куда никогда не за-

глядывает солнце, до сих пор еще лежит прошлогодний снег. Взгляд мой остановился на скале, удивительно напоминающей огромного верблюда. Как будто он пришел сюда, чтобы напиться из прозрачной горной реки, склонился над водой да и застыл так навеки.

Шахисту долго искать не пришлось. Я не стал спускаться вниз, к самому пляжу, а принялся разглядывать сверху отдыхающих, уютно расположившихся под зонтиками или прямо на полотенцах, расстеленных на песке. Некоторые загорали стоя, заложив руки за голову и блаженно зажмурив глаза. Другие весело переговаривались, шутили, радуясь теплу. Тут же, рядом со взрослыми, резвились ребятишки. Купающихся почти не было видно,— видимо, вода сильно остыла.

Она первая заметила меня, радостно замахала рукой, схватила свою одежду в охапку и, прижав ее к груди, начала взбираться по круче. Через несколько минут, запыхавшись от быстрого подъема, Шахиста стояла передо мной, улыбающаяся, загорелая.

— Вот странно... А я только сегодня вспоминала вас. Но никак не думала, что приедете...

Я видел, что она рада моему приезду и не скрывает этого. Мы отнесли к ней в комнату мои пожитки и, выйдя, остановились на пороге домика, раздумывая, что нам теперь делать...

— Знаете что,— пригласила меня Шахиста, прервав затянувшееся молчание,— пойдемте посмотрим нашу речку...

Мы направились к низовьям Чаткала. А кругом только горы, горы... С узкой тропинки куда ни свернешь — только пыль да камни, осыпающиеся под ногами. Приблизительно через километр медленно спускавшаяся тропинка вывела нас прямо к реке. Над самой водой нависла огромная черная скала, весь восточный склон которой был покрыт мягким ковром нежной зеленой травы, а на самой вершине упрямо пробивался из камней одинокий куст. С шумом несущаяся вода ударялась о скалу и резко сворачивала влево, а чуть дальше снова меняла направление и, кипя и клокоча, скрывалась из виду за очередным поворотом. У самого края воды лежал большой плоский камень, образуя своего рода естественную площадку, на которой вполне могли уместиться сразу пять-шесть человек.

— Посмотрите! — воскликнула Шахиста, указывая рукой.— На днях наши девушки пришли сюда, посиде-

ли немного, опустив ноги в воду, а ночью у всех температура поднялась. Попробуйте, какая ледяная тут вода...

Я опустил ладонь в воду. Она обожгла меня.

— И это, по-вашему, ледяная? — я искоса взглянул на Шахисту.— Вот возьму и переплыву сейчас на тот берег...

Глаза ее испуганно расширились:

— Нет, нет, что вы! — она схватила меня за руку, словно пытаясь удержать от безрассудного поступка.

Я сделал вид, что хочу поймать ее, но Шахиста ловко увернулась. Она подбежала к берегу и, наклонившись над водой, опустила в нее свой яркий легкий платок. Тотчас поток вырвал его из рук девушки, подхватил, и вот уже, мелькнув раз-другой в волнах, он пропал из виду. Шахиста ахнула и повернулась ко мне. На щеках ее блестели то ли слезы, то ли капельки воды. Вдруг она весело расхохоталась:

— А ведь вроде бы кто-то собирался пуститься вплавь? Или мне это просто послышалось...

Я смутился, а Шахиста внезапно погрустнела и о чем-то задумалась.

Еще долго бродили мы в тот осенний день каменистыми подножиями гор, не замечая времени, не чувствуя жаркого не по-осеннему солнца.

На одном из склонов одиноко торчало старое, наполовину высохшее абрикосовое дерево. Годы не пощадили его, и, могучее прежде, теперь оно являло собой печальное зрелище. Мы увидели его издалека и, не сговариваясь, начали взбираться к нему по каменистой круче. Подъем дался нам не легко, и едва мы добрели до места, как рухнули в изнеможении на пожухлую осеннюю траву.

Лежа на спине, я смотрел в голубое небо сквозь редкую крону. Листьев на ветвях осталось совсем мало, и дерево почти не давало тени. Всем своим видом оно напоминало глубокого старика, уставшего от долгой жизни. Даже от самого легкого ветерка дерево жалобно постанывало и поскрипывало иссохшими ветвями. С одной стороны ствола они совершенно высохли и отсюда снизу похожи на переплетенье темных тонких жил, по которым еле-еле движутся животворные соки. Удивительно, что часть дерева еще жива и кое-где свешиваются чудом уцелевшие, тя-

желые, перезрелые плоды абрикосов. Жизнь и смерть соседствуют рядом, и никто не хочет уступить.

Задумавшись, я совсем забыл о Шахисте и возвратился к действительности, услышав ее смех. Вскочив, я быстро забрался на дерево, начал что было сил раскачивать его ствол, трясти ветки. На землю с шумом посыпались абрикосы. Мы бросились их собирать, ели, наслаждаясь сочной, ароматной мякотью, беспричинно смеясь, веселились, как дети.

Спохватились, когда начало смеркаться. Мне пора было возвращаться в город. Отсюда и при свете дня не очень просто добираться, а уж в темноте-то...

Половину пути до дороги Шахиста проводила меня. а дальше я пошел один. Ладонь моя еще ощущала тепло ее руки. Я посмотрел назад — Шахиста не уходила, стояла неподвижно, глядя мне вслед. Помахав ей рукой в последний раз, я вышел на дорогу. Из-за поворота, пыля, выскочил грузовик и неожиданно затормозил прямо около меня. Водитель, молоденький парнишка, открыл дверь, приглашая меня в кабину. Поблагодарив его, я вскочил на подножку и, еще раз оглянувшись, увидел далеко внизу тоненькую фигурку, машущую мне рукой.

Я смотрю на ровную поверхность воды, а перед глазами встают удивительные картины давно прошедших дней. Никогда не предполагал, что воспоминания могут так разволновать меня. Через толщу времени, как через увеличительное стекло, вижу я в мельчайших подробностях кипящие струи Чаткала у самых наших ног, вижу, как в прозрачной воде словно светятся, вспыхивая и переливаясь всеми цветами радуги, мелкие речные камешки, вижу платок Шахисты, исчезающий в волнах.

Шахиста... Ее улыбающееся лицо... Все, все вижу я как сейчас. Мне слышится звонкий ее голос, тысячекратным эхом отдающийся в ущелье, веселый, заразительный смех... Я чувствую на лице своем ее горячее дыхание... Как же мы любили тогда друг друга! Ничего не существовало для нас в мире, кроме этой любви, беззаботной, заставляющей забыть все на свете.

Повеял ветерок с гор, на воде появились мелкие барашки и вот уже понеслись стремительно в сторону берега. Казалось, и этот ветерок тоже хотел напомнить

мне о прошлом. В плеске волн я вновь услышал шум той озорной речки.

Двадцать лет прошло с тех пор! Двадцать лет... Поразительна эта внезапная вспышка памяти. Я увидел все так ясно, будто вспыхнула на мгновение свеча в темной комнате, ярким светом разорвав ночной мрак.

Пытаюсь успокоить себя, убеждая в том, что хотя прошлого и не вернуть, но жизнь-то ведь не кончена. И еще успеют осуществиться многие мои мечты и заветные желания. И много доброго могу я сделать для близких и дорогих мне людей. Для моих знакомых, друзей, родственников. Для моих детей и жены.

Сделаю... Смогу... Сумею... Успею... Боже мой! А сколько я уже не смог, не сумел, не успел... Пустые, никому не нужные, бесполезные мечтания, годы, проведенные в бесплодной суете... Ну, да что уж теперь... Не об этом сейчас надо сокрушаться. Страшно другое — то, что растрачено, растеряно во времени драгоценное чувство уважения и любви к людям. Сердце огрубело, сделалось черствым. Мелочи быта заслонили радости семейной жизни, превратив ее в тяжкую повинность.

Да, право, а любил ли я по-настоящему Шахисту? Может быть, и не было в моем сердце этого великого, всепоглощающего чувства? Нет, любил. Конечно же любил. Но ведь я и сейчас ее люблю... Но почему тогда... Почему? И все-таки я решительно отказываюсь понимать себя. Неужели любовь стареет вместе с нами, утрачивая ту удивительную силу, что так крепко соединяла нас прежде?

И вновь передо мной лицо юной Шахисты, ее глаза, губы, шепчущие слова любви... Необъяснимое, сладостное чувство охватывает меня, и опять замирает мой взгляд, устремленный на величественные и равнодушные к людским заботам воды Чарвака.

Ветер усиливается. Появились тучки. Только что ярко светило солнце, и вот они уже закрыли его. Сразу на берегу сделалось неуютно. Отдыхающие понемногу потянулись с пляжа.

Шахиста... Шахиста... Я невольно сравниваю ту, юную девушку и вчерашнюю Шахисту. Неужели это один и тот же человек? Кто виноват в этой разительной перемене? Если не я, то почему так мучают меня воспоминания двадцатилетней давности? Задаю себе вопрос за вопросом, ищу, но не нахожу на них ответа.

А ведь как благодарили мы судьбу, которая свела нас вместе! Куда ушло все то, что давало нам счастье любви, подарило радость жизни и желание жить друг для друга? Да, годы прошли, и многое ушло вместе с ними. Вот уже нет и веселой речки с искрящимися водоворотами, давно обратилось в прах старое абрикосовое дерево, одарившее нас своими плодами.

Я думаю об этом, и, против моей воли, слезы наворачиваются на глаза. Хорошо еще, что приятели все дремлют и не видят того, что со мной происходит. Как перевернули мне душу эти несколько часов, проведенных здесь! Я смотрю на скалу и желаю только одного — еще хоть на миг вернуться в ту тополиную рощу, к тем белым домикам, к той речке — речке нашей молодости, нашего счастья... Вернуться к милой Шахисте, той, без которой я не мог жить, без которой мир казался пустым, а дни бесконечно долгими...

Но то, что ушло, ушло безвозвратно. Время и вода поглотили наше прошлое. А жизнь продолжается. Шумная, беспокойная, она не прекращается ни на миг. Такой она была и такой будет всегда. И теперь, пока мы живем на земле, и после, когда мы уйдем в небытие...

А волны все бегут и бегут, догоняя друг друга. Они накатываются на берег, разбиваются о камни, а на смену им рождаются там, вдалеке, все новые и новые... И кажется, что нет им конца, как нет конца жизни...

## РОСА

Бывает, скажет тебе человек, на первый взгляд, неприятное, даже надуешься на него, обиду затаишь, а пройдут годы, поостынешь, вернешься в памяти к прошлому и по-иному взглянешь на то — сказанное тебе когда-то. Вспомнишь и вздохнешь. Сколько лет прошло, а до сих пор помнит Мамлакат Шукуровна свой разговор с мамой, слова ее. Как давно это было! Тогда Мамлакат впервые завела разговор об Искандере. Мама молча выслушала ее и ничего не ответила, лишь плечами пожала. Только на следующий день, когда обе присели рядом, внимательно (словно в самую душу заглянула) посмотрела на нее и сказала:

— Доченька, терпеливая девушка дождется своего счастья. Не спеши. Будет у тебя еще кто-то. Всякий же-

них для своей невесты рождается, так в народе говорят. Я понимаю, милая, твое состояние, но... его надо пережить. У Искандера двое детей. Подумай, каково им будет без отца? По себе можешь судить.

Тогда Мамлакат не восприняла слова мамы. Несправедливыми они ей показались. Дух противоречия в ней вызвали. «Хватит мне того,— думалось тогда Мамлакат,— что первая любовь принесла много переживаний...» Первая любовь. Кто в этой жизни забудет ее? Что бы ни происходило затем в твоей жизни, какие бы новые чувства ни охватывали тебя и ни увлекали, всегда наедине (чего греха таить!) ты будешь сравнивать их с теми — первыми, самыми яркими и самыми острыми...

Мамлакат лишилась отца в первые дни войны. Он погиб на фронте. Пришла похоронка, и мать почернела от горя. Остались вдвоем. С малых лет испытала девочка все трудности жизни, росла немногословной и скрытной. Мама, овдовев в двадцать два года, больше не выходила замуж. Весь смысл своей жизни она видела в дочери... Все это Мамлакат знала, но, только став совсем взрослой, смогла по-настоящему оценить это. Отца она помнила смутно, но ей всегда недоставало его. Мамлакат интуитивно ощущала в доме пустоту.

В тот год, когда она поступила в аспирантуру, понадобилось съездить в Москву, чтобы собрать материал по теме, поработать в Ленинской библиотеке. Осень была. Дни стояли дождливые. Пока добралась до аэропорта, промокла до нитки. Поставила чемодан, присела в кресло и оглянулась, выискивая, где бы можно выпить горячего чая.

— По-видимому, вам надо куда-то отойти, и опасаетесь за вещи? Пожалуйста, не беспокойтесь. Я присмотрю,— услышала она рядом чей-то голос и подняла голову.

Хорошо одетый парень, ладно скроенный, стоял у газетного киоска и сочувствующе смотрел на нее. Не встречая возражений, пододвинул вещи Мамлакат поближе к себе. Она, поблагодарив его, поднялась и направилась в зал... В самолете они оказались рядом. Парень представился. Его звали Санджар. Он инженер, работает в Ташкенте. Пока летели в Москву, рассказывал смешные истории, учтиво ухаживал за ней. В этом парне было нечто такое, что располагало к нему всякого.

Приземлились в Домодедове. Время в полете прошло незаметно для Мамлакат. Когда Санджар, неся в одной руке свои вещи, а в другой — вещи спутницы, вышел на площадь перед аэровокзалом, Мамлакат взглянула на него, и какое-то незнакомое чувство шевельнулось в ней. На автобусной остановке было много народу, и они взяли такси. Санджар, узнав, что Мамлакат впервые в Москве, довез ее до общежития, помог устроиться, рассказал, как добираться отсюда до библиотеки, и только после этого, попрощавшись, уехал. Мамлакат была рада, что так благополучно добралась, но как только Санджар уехал, сердце защемило. Ей неловко было спросить: увидимся ли опять? Но она чувствовала: он обязательно придет. И не ошиблась. Он пришел на другой день и поджидал ее возвращения у дверей общежития. Как Мамлакат ни пыталась сдержать себя, все равно не могла скрыть радости. Они долго бродили по улицам Москвы, побывали на улице Горького, на многолюдных бульварах Садового кольца, катались в метро, ели мороженое. У Мамлакат было такое ощущение, будто они давно знакомы. Зашли в ресторан. Наконец, где-то часов в одиннадцать, он проводил ее до общежития и, прощаясь у порога, сказал улыбнувшись:

— Удивительно, как я до сих пор не встретил вас в Ташкенте?

— А что бы сделали вы, если встретили? — Мамлакат вдруг стало неловко от такого смелого вопроса.

Санджар улыбнулся, пожимая плечами:

— Когда будете возвращаться, дайте мне телеграмму.

— Что, вы уезжаете?

— Я закончил свои дела. Вот мой адрес. Я встречу вас.

Мамлакат молча взяла протянутую визитку и положила ее в сумку...

Как и обещал, Санджар встретил Мамлакат в Ташкентском аэропорту. Они стали встречаться ежедневно. Мать втайне радовалась, что дочка ходила веселая, счастливая. Правда, иногда ее одолевали сомнения и чувство тревоги, но она отгоняла их, полагаясь на дочь, зная ее серьезность.

Но судьбе было угодно распорядиться так, что пути-дорожки Мамлакат и Санджара разошлись. Трудно было в это поверить и никак не укладывалось в голо-

ве, но так случилось. Как-то Мамлакат познакомила его со своей близкой подругой и вскоре почувствовала, что отношение Санджара к ней изменилось. Она была в растерянности: как же так? Самый близкий и дорогой человек вдруг отвернулся от тебя. Мамлакат не знала, кого должна ненавидеть: себя, подругу или Санджара. Душа ее изнывала, но объяснить случившееся она не могла. Временами ей казалось, что сама она во всем виновата: не надо было откладывать свадьбу. Да ведь она не так чтобы твердо настаивала на ней, больше для того, чтобы подзадорить Санджара. Но разве это может быть причиной охлаждения? Или все-таки Манзура лучше ее?

Постепенно она ожесточилась, не было прежней веселости. Ребята, которые пытались за ней ухаживать, лишь раздражали ее. Только работа отвлекала девушку от горьких мыслей. Работая с невероятным упорством, она в срок защитила кандидатскую. В институте Мамлакат добросовестно выполняла все задания, вела большую общественную работу, пытаясь забыться, но мысли ее возвращались к Санджару, и она думала, что вряд ли когда сумеет забыть его.

Но Искандер сумел как-то незаметно проникнуть в ее сердце, в ее жизнь. Мамлакат даже не предполагала, что так может случиться. Однажды — это было глубокой осенью — она пришла в райисполком. Ее тогда только-только выбрали председателем месткома. Вот тогда она впервые и увидела Искандера. Он был ответственным секретарем райисполкома. Тогда ее поразила его работоспособность. Десятки людей шли к нему с разными вопросами и заботами. И он как-то умел сразу находить контакт с людьми, даже если вопрос решался не в пользу пришедшего сюда человека. Мамлакат подумалось: «Мы жалуемся, у нас работы много. Да разве сравнить...»

Институту, в котором работала Мамлакат, выделили квартиру, и Мамлакат должна была предложить намеченную кандидатуру на утверждение. Дождавшись очереди, она изложила свой вопрос, поставила подпись, и на этом все было закончено. Она вышла и забыла об ответственном секретаре. Спустя месяц уборщица институтского общежития Хасият-буви пришла к ней и сказала, что получила в райисполкоме ордер и что она очень благодарна всем и лично Мамлакат.

— Искандер Кадырович расспрашивал о вас,— сказала она вдруг.

Вот тогда Мамлакат и вспомнила бедняжку ответственного секретаря, который не знал ни минуты покоя, и, улыбнувшись, посмотрела на старуху:

— Неужели?

— Да, да! — сказала Хасият-буви.— Спросил: кто она? Как живет? Только это его интересовало. Передал вам привет. Вот я и пришла к вам.

Мамлакат и Хасият-буви неожиданно рассмеялись. Мамлакат чуть было не произнесла вслух то, о чем обе они подумали: «Все мужчины одинаковы...»

Спустя некоторое время Мамлакат простудилась и схватила воспаление легких. Больше пяти недель пролежала в больнице. Долго держалась высокая температура. Только на двадцатый день она почувствовала, что начинает выздоравливать. Силы постепенно восстанавливались, она уже могла вставать, и вот тогда... неожиданно пришел Искандер с пакетом в руках! Сначала Мамлакат подумала, что у него здесь лежит кто-то из знакомых, кого он пришел навестить. Он спросил ее о самочувствии, поговорили о работе. Мамлакат поблагодарила его от имени Хасият-буви. Она осторожно сидела на краешке кровати, а Искандер, накинув на плечи белый халат, чуть поодаль, внимательно слушая Мамлакат. Видно было, что он не торопился.

Наконец все, что полагается при встрече малознакомых людей, было уже сказано — и наступила неловкая пауза. Искандер, вдруг вспомнив про пакет, который держал в руках, положил его на тумбочку. Мамлакат смутилась и хотела что-то сказать, но тут вошла медсестра и стала готовить шприц. Искандер пожелал Мамлакат скорейшего выздоровления и, пообещав прийти еще, простился и вышел. Мамлакат удивленно и растерянно смотрела ему вслед и только сейчас поняла, что именно ее пришел навестить Искандер. Сестра сделала укол и спросила:

— Ваш муж?

Мамлакат, запинаясь, ответила:

— Нет, вместе работаем.

— А-а,— произнесла медсестра и вышла.

Через три дня Искандер опять появился в палате. Мамлакат видела, что он о чем-то говорил с лечащим врачом и медсестрой, прежде чем подошел к ней. На

следующий день, во время утреннего обхода, врач, постучав по грудной клетке, многозначительно спросил:

— Оказывается, вы знакомы с Искандером Кадыровичем? Мы вместе с ним работаем, я депутат в райсовете. Хороший человек, пользуется большим уважением и авторитетом.— Взяв руку Мамлакат, глядя на часы, проверил пульс. Удовлетворенно кивнул головой и продолжил: — Только вот личная жизнь не сложилась у него, двое детей остались без отца...

Врач ушел, а она еще долго размышляла над услышанным. Какое-то странное чувство охватило ее.

Теперь Искандер приходил каждый день, и это, откровенно говоря, было ей тяжело. Настороженно относясь к людям, замкнувшись в себе, она давно не вела откровенных бесед, и сейчас ей было не по себе от настойчивого внимания Искандера. Она старалась вежливо ответить на вопросы, не побуждая к продолжению разговора. А когда он уходил, думала: каким же должен быть человек, который родных детей бросил. Лучше, решила она, держаться на расстоянии и не принимать все близко к сердцу. Кто один раз споткнулся, другой раз будет осторожнее...

Но Искандер как будто не замечал ничего и держал себя свободно и непринужденно. И что же — холодность Мамлакат постепенно исчезла. О чем не передумаешь в больнице, лежа на кровати и глядя в потолок. Случается, близкий человек, будучи занят своими делами, не имеет возможности часто навещать тебя. Когда ты здоров, на это не обращаешь внимания. Но когда болен... такое отношение обижает. А если придет навестить тебя человек, которого ты и не ждал, теплое чувство вдруг пробуждается к нему и ты совсем другими глазами смотришь на этого человека.

По-видимому, с Мамлакат произошло то же самое. Она выписалась из больницы в каком-то странном, даже для себя самой, настроении. К тому же один поступок Искандера заставил ее еще больше задуматься. Через четыре дня после того как выписалась из больницы, он позвонил в институт. Мамлакат была на лекции. После окончания лекции декан сообщил ей о звонке и добавил:

— Видимо, по квартирному вопросу.

Мамлакат неожиданно покраснела и посмотрела на своих коллег: не заметил ли кто? В тот же день, когда

Мамлакат возвращалась с работы, возле остановки троллейбуса ей преградил путь Искандер.

— Теперь вы никуда не уйдете,— шутливо сказал он.

Мамлакат промолчала... Когда вдали показался троллейбус, Искандер вдруг произнес:

— Не торопитесь, я должен вам что-то сказать.

У Мамлакат вдруг заколотилось сердце.

— Вы мне нравитесь,— тихо сказал он,— и знаете об этом. Если вы согласны...

Мамлакат не дала ему договорить. Она сделала предостерегающий жест и сказала:

— Э, оказывается, вы странный человек!..

Махнув рукой, она побежала к троллейбусу. Щеки ее горели, а чувства были в смятении. Единственная мысль сверлила ее мозг: «Что же теперь будет?..»

Придя домой, она не выдержала и обо всем рассказала матери. Мать, успокаивая дочь, задумалась. С одной стороны — молодость проходит. Мамлакат не из таких девушек, которые сегодня с одним, завтра с другим. Ее ровесницы давно уже обзавелись семьями, нарожали детей. Что ж, если нравится ей этот парень, пусть выходит замуж... Но, с другой стороны, грустно как-то было на сердце. Ее смущало, что единственной дочери суждено выйти замуж за человека, который был женат и у которого двое детей. Настроение матери тяжело подействовало на Мамлакат. «Почему у меня все так сложно?..— думала девушка.— В чем моя вина? Даже мама, которая все знает обо мне, не понимает меня. Ей важна не я, а мнение чужих людей. Как бы те не осудили меня... Ведь не могу же я всю жизнь поступать в угоду чужому мнению. Ведь ни один мужчина до сих пор не сделал мне столько добра. Да и развелся он еще до нашего знакомства. Пусть мое запоздалое счастье, по мнению других, будет ущербным, для меня их мнение не имеет значения». Прошло немногим больше месяца. В новогодний вечер, часов около девяти, когда Мамлакат еще не вернулась из института, в ее квартире раздался звонок в дверь. Мать, думая, что вернулась дочь, поспешно открыла дверь и застыла удивленная. Перед ней стоял солидный мужчина с букетом цветов. Он спокойно поздоровался и сказал:

— Вас и Мамлакатхон поздравляю с Новым годом!— и протянул цветы.

Мать, волнуясь, взяла цветы и поблагодарила за подарок и поздравление.

— Заходите, сынок,— сказала она, смущенно улыбаясь.— Мамлакатхон сейчас придет, у них в институте праздник.

— Да, я знаю, но зайти не могу. Передайте ей, что приходил Искандер,— сказав это, парень извинился и ушел.

Мать была растрогана этим визитом, и с этой минуты она уже ни в чем не перечила дочери, ругая себя за прошлое... Мамлакат сразу заметила перемену в настроении матери, но не показала виду.

Жизнь человеческая устроена так, что никогда не знаешь, откуда ждать беды. Мамлакат жила, терзаемая сомнениями. В ту пору никакие другие мысли не занимали ее, как вдруг неожиданно скончалась мать. Она, никогда не болевшая, вдруг почувствовала острую боль в груди и умерла в одночасье. Тяжело было с этим смириться и пережить ее смерть. Никак не укладывалось в голове, что нет самого близкого, самого дорогого человека на свете. Нет той, с которой обо всем можно поговорить, высказать сокровенное. Только потеряв близкого, осознаешь полностью, какую роль играл он в твоей жизни. Какая же все-таки несправедливая эта жизнь: не однажды лишает она нас опоры, не однажды заставляет думать о том, что все так зыбко, переменчиво в этом мире. Неожиданно лишившись матери, бедная девушка нашла опору в Искандере. Если бы не он, Мамлакат просто бы не знала, что делать.

Спустя год они поженились. Вскоре у них родился сын, потом дочь. Жили они в четырехкомнатной квартире в центре города. Да, время летит незаметно. И замечаем мы его разве что по своим детям. Давно ли детишки бегали в школу, а вернувшись, рассказывали о важнейших событиях: кто кому расквасил нос, кто получил двойку и кто в кого влюблен. А теперь и дети выросли, и Мамлакат уже скоро пятьдесят... Возможно, и бабушкой скоро станет. Сын в прошлом году женился. Живут дружно. Да и к дочке женихи сватов засылают. Отбоя от них нет. А Искандер... Мужчины интересные существа. Как говорится в народе, седина в голову, бес в ребро. Все им нипочем. И раньше до нее доходили всевозможные слухи, но она не придавала им значения и обращала все в шутку. Она верила

Искандеру. «Его работа требует постоянного общения с людьми... Это еще ничего не значит»,— размышляла она. Но недавно Мамлакат узнала имя женщины, с которой встречается ее муж. Хуже всего было то, что она с ней знакома...

И вот теперь ходят слухи, что они с этой женщиной уехали на курорт. Когда Мамлакат Шукуровна узнала об этом, она побледнела как полотно, но, пытаясь успокоить себя, улыбнулась. «Э, бросьте, не может быть. Наверное, обознались»,— сказала она знакомой, передавшей эту новость, но в душе вдруг осознала, что это правда. А ведь они с мужем вместе собирались ехать отдыхать, но потом оказалось, что вторую путевку достать очень трудно, просто невозможно.

Последнее время Мамлакат Шукуровна все чаще вспоминала мать, ее слова, которые показались ей тогда обидными. Теперь она понимала, что слова те шли от самого сердца. Как только матери могут так интуитивно и безошибочно угадывать будущее своих детей! Как мать могла предугать, что в судьбе дочери произойдут такие перемены? Нет, все-таки материнское сердце предчувствует беду. Как? Одной ей это известно. Теперь все сказанное когда-то матерью приобретало какую-то значимость. В чем причина, почему все так складывается? Ведь все было хорошо. Своих детей вырастили и, как могли, помогали детям от первой жены, причем Мамлакат частенько настаивала на том, чтобы муж был более внимателен к ним. Она доверяла мужу. А как же иначе? И осуждала женщин, которые готовы были следить за мужьями. «Разве годится такое,— думала она.— Всякий имеет право встречаться с кем-то, разговаривать, смеяться. Иначе скудной будет жизнь. И главное, чтобы у человека было желание прислушиваться к голосу своей совести, а если ее нет, тут уж карауль не карауль...» Два года назад, когда Мамлакат услышала, что Искандер начал встречаться с вдовой какого-то профессора, сердце ее екнуло. Она знала эту женщину, знала ее поведение, но не могла, не хотела не верить Искандеру.

Мамлакат Шукуровна вспоминает, как под Новый год он в компании друзей бахвалился, что они с женой собираются ехать вместе отдыхать. Да, было такое. Оба строили планы, мечтали вместе провести отпуск на курорте. Отвлечься от дел и забот. Но когда приблизилось время отпусков, Искандер вдруг начал гово-

рить о том, что очень трудно, почти невозможно достать две путевки в один санаторий. «Ничего не получается»,— сокрушался он. Она, чтобы успокоить его, говорила беззаботным тоном: «Что из того? Не расстраивайся. Нет так нет. Признаться, мне и не очень-то хочется... Дорóга, волнения». Может, здесь она и допустила ошибку? Может быть...

Услышав от знакомой неприятную для себя новость, Мамлакат отчего-то сразу же вспомнила слова матери: «Не опозорь меня, не заставляй плевать кровью двоих детей». Прозвучавшие как совет, сильно обидевшие тогда Мамлакат, слова эти сейчас казались многозначительными, и она пыталась понять, не в них ли корень всего происшедшего.

Который день находилась в смятении Мамлакат Шукуровна. Сердце ее разрывается на части, но ей стыдно признаться даже самой себе, что чувство ревности снедает ее, не дает ей покоя. А что скажут сын и дочь? Как смотреть им в глаза? Подвижная по натуре, последнее время она часами может сидеть, не вставая, и все думать и думать...

Когда ей становится невмоготу, хочется махнуть на все рукой, но сердце от этого не успокаивается. Вот ведь как в жизни бывает: оказывается, с годами меняется человек и готов подчас ко всепрощению, готов согласиться со многим... мягкосердечным становится. Вот ведь оно как...

На память ей приходят всякие подобные истории в знакомых ей семьях. Сколько раз слышала она, что мужья, даже самые преданные, иногда, уже в пожилом возрасте, вдруг влюбляются в другую женщину. И ничто не останавливает их. Бросают детей, жену, словно разум изменяет им. Они становятся похожими на сумасшедших. Неужели это в самом деле сумасшествие? А может, им не хватало в семейной жизни внимания, искренности и чего-то еще? Нет, корень происходящего надо прежде всего искать в себе. Конечно же в себе... Но и от осознания этого спокойствия не прибывает. Она знает, как часто оскорбленные женщины мстят своим мужьям, выбирают путь открытой вражды и неприязни. «Нет, это не для меня,— размышляет Мамлакатхон.— Это очень унизительно. Простить ошибку заблудшему, простить с добрым сердцем — разве это не есть большое мужество, истинное человеческое качество?..»

Мамлакат Шукуровна готова была простить мужа. Чистосердечный человек, она относилась к тому разряду людей, кто со стыдом и страхом вспоминал нечаянную ошибку. Вот отчего она не хотела покрыть грязью Искандера. И именно поэтому, возможно, едва она услышала от знакомой неприятную новость, и вспомнились ей правдивые, как сама жизнь, слова матери.

Но люди... люди. Откуда в них столько жестокости? К чему рассказывать об увиденном или услышанном, заведомо зная, что это принесет боль другому человеку? Может, это доставляет им удовольствие? Может, за видимым сочувствием скрывается желание увидеть, что и у счастливого человека возможно горе?

Люди стараются навязать другим свою волю, свои взгляды, но, в сущности, каждый человек сам себе царь, сам себе вельможа. А в жизни, особенно в семейной, это чувство попирают. А ведь именно это чувство сделало человека человеком...

Мамлакат Шукуровна, предаваясь невеселым размышлениям, равнодушно смотрела в телевизор. Демонстрировали какой-то документальный фильм. Видимо, это был Камчатский полуостров. Скалы, море, котики... Огромные волны с ревом и гулом надвигаются на скалы и, ударяясь, разбиваются, разлетаются, поднимая такой шум, что становится не по себе. Море отступает, чтобы спустя некоторое время, словно собравшись с силами, с еще большей силой обрушиться на скалы. И опять с ревом отступает...

«Как схватываются скалы и волны,— подумалось Мамлакат Шукуровне.— Если бы на месте скал была ровная поверхность... волны угасли бы, смягчились и плавно бы набегали на берег».

Эта мысль озадачила ее и встревожила. Встревожила, потому что означала соглашательство. Соглашательство, которого она все-таки боялась. Ведь согласиться — это значит признаться в собственном бессилии. Сказав дочери, что пойдет прогуляется, она вышла на улицу. Несмотря на глубокую осень, заморозков еще не было. На начинающие желтеть деревья выпала роса. «Как же жить дальше? Как бы я ни старалась,— думала Мамлакат Шукуровна,— я все равно не смогу жить так, как советуют другие. Страдания мои — мои страдания. Радости мои — только мои радости. Никто не может оценить их, как я сама... Живу, как могу, как подсказывает мое сердце...»

Капли росы на листьях в лучах заходящего солнца вдруг как бы воспламенились. Мамлакат Шукуровна, с завистью глядя на них, удивлялась, как это золотые капельки, готовые упасть при малейшем дуновении ветра, в состоянии придать природе такую неповторимую красоту, а человеческому сердцу принести столько радости. Могла ли она подумать в эти мгновения, что ее жизнь сродни этим каплям росы — чистым, прекрасным.

## ШКОЛЬНОЕ ОКНО

По профессии я — архитектор.

Мой дом расположен напротив Дворца пионеров, который построили два года тому назад. Если смотреть на дворец из моего окна, он напоминает огромную птицу, которая должна вот-вот взлететь. Кажется, дети мечтали именно о таком здании. Я часто вижу, какими влюбленными глазами они смотрят на него, как спешат к нему. Что нравится мне в нем — это его убранство, какая-то чистота, незамутненность, что ли. Сразу вспоминаешь детские души... В спортзале, что на первом этаже, свет обычно горит до позднего вечера. Дети, играющие при свете неоновых ламп, кажутся рыбешками в аквариуме.

Был канун майского праздника.

Рано утром со стороны Дворца пионеров раздался сильный звон бьющегося стекла. Я выглянул в окно. На тротуар летели большие и малые осколки. Кто-то в фойе бил окна.

Наскоро одевшись, выбежал на улицу. Осколки стекла продолжали сыпаться на землю. «Что за дурак там объявился? — подумалось мне.— Неужели никто не видит, что делается?» На одном дыхании я влетел в подъезд и вскоре был в фойе первого этажа. Повернул за угол и увидел (к удивлению и ужасу своему), что не один, а два человека спокойно стоят на козлах и бьют молотком целехонькие окна.

— Что вы делаете? — закричал я.— С ума сошли?

Человек средних лет, в брезентовых рукавицах, поняв по выражению лица мое состояние, улыбнулся, как бы говоря: не обращайте внимания на происходящее. Потом, показывая молотком на второй этаж, сказал:

— Вот спросите у начальника... А мы делаем то, что нам приказывают.

Говоря это, он разбил чуть загрязненное, но совершенно целое стекло.

Я побежал к директору, но дверь кабинета оказалась заперта. Никто еще сегодня не открывал ее. Раздраженный, вернулся к рабочим. Мне хотелось пристыдить их, хотелось, чтобы они сами поняли, что поступают не по-хозяйски, неразумно.

— Ведь это же добро, народное добро,— наступал я.— Неужели вы этого не понимаете?

— Мы люди маленькие,— ответил один из рабочих, продолжая свое дело.

— Да остановитесь вы,— потребовал я.— У вас же головы на плечах, в конце концов!

Рабочий, что постарше, хмуро посмотрел на меня и раздраженно сказал:

— А кто вы сами? С чего указывать взялись? — и принялся передвигать козлы на новое место.

Поняв, что разговоры ни к чему не приведут, я быстро спустился во двор и побежал в комнату сторожа. Сторож — старик, в серой бархатной тюбетейке,— нагнувшись над плитой, заваривал чай. Видимо, он знал меня, потому что поздоровался как со старым знакомым. Я поинтересовался: где директор?

— Подойдет чуть попозже,— ответил сторож.— Вчера он задержался... поздно ушел. Работы много,— и добавил как бы между прочим: — Перед праздником собрание большое будет. Гостей высоких ждут.

— Но для чего бить стекла? — не удержался я.— Кто поручил людям такую работу?

У меня был, похоже, угрожающий вид, потому что лицо сторожа стало меняться как-то на глазах и сам он незаметно вытянулся во фрунт. Всем видом своим он старался показать мне, что ни сном ни духом не причастен к этому делу и оно далеко от него. Он как-то виновато пожал плечами.

— Мулла-ака, я... я человек маленький,— наконец ответил он.— Знаю, что мне нужно присматривать за воротами, а остальное... остальное, право же, меня не касается.— Не успел он закончить, как во двор въехал газик. Сторож облегченно вздохнул и кивнул на приезжего: — Вот у него можете обо всем спросить,— и засеменил к машине.

Из нее вышел тощий, рыжий человек лет пятидеся-

ти пяти. О чем-то переговорив со сторожем, он отдал распоряжение ему (сторож тотчас поспешно скрылся за углом) и направился ко мне. Директора я знал и потому решил, что этот человек, по всей видимости, его заместитель по хозяйственной части. Подойдя ко мне и оглядев с ног до головы, он произнес:

— Слушаю.

— Я архитектор...

— Очень хорошо. И что же привело вас к нам?

— Я живу в доме на противоположной стороне улицы. Гляжу, кто-то разбивает окна.

— Правильно. Не удивляйтесь.

— Не понимаю: с какой целью?

Он не дал мне договорить:

— Дружок, праздник приближается! Накануне у нас состоится республиканский слет. Приедут гости из других городов. Осталась всего неделя...

— Но для чего разбивать стекла?

— Вот вы архитектор. Молодцом! Значит, и вы виновник происшедшего, в некоторой степени. Ну, если и не вы, так ваши коллеги. Разве окна такими должны быть? Ни открыть, ни закрыть. А ширина подоконников... Просунешь руку на полметра, только тогда достанешь наружное стекло.

Еще не совсем осознавая ход его мыслей, внимательно слушаю его объяснения.

— Начальство приказало вымыть стекла,— продолжал он.— Как назло, все уборщицы заболели. И мы, посоветовавшись, решили сменить стекла. Все равно на складе пятьдесят ящиков со стеклами пылятся. Это будет быстрее и легче.

— И не жалко вам?

— Чего?

— Стекол.

— Жалко, товарищ архитектор, жалко... Но времени нет, ничего не поделаешь. Из-за этих ерундовых стекол кому хочется получить нагоняй? — и, откланявшись, он дал понять, что разговор исчерпан.

С тяжелым чувством я покинул Дворец пионеров. Шел по улице, а на сердце было неспокойно. Не по себе было... Происходящее никак не укладывалось в моей голове. «Неужели целехонькие окна,— думалось мне,— можно разбивать с такой легкостью?» Такого разгильдяйства я еще никогда не видел. «Из-за ерун-

довых стекол...» Как только язык поворачивается у него?!

«Из-за ерундовых стекол...» О боже! Какая короткая у людей память. Забывают то, что было еще совсем недавно. А я не могу забыть.

* * *

Это было в первые послевоенные годы. Если не ошибаюсь, учился я в шестом классе...

Когда до окончания урока оставалась минута, дверь класса отворилась и к нам заглянула вожатая Василя-апа. Наш математик, обросший, суровый человек, пальцы которого были желты от папирос, глядя на нее, сказал: «Я помню, будьте спокойны». Василя-апа осторожно прикрыла дверь. Мы стали под диктовку записывать домашнее задание.

Когда прозвенел звонок, учитель встал с места и, глядя на меня, неожиданно попросил: «Касымов, не уходи, есть разговор». Я вздрогнул от его громкого голоса и пораженно уставился на него. Товарищи удивленно взглянули на меня. Они нарочно долго возились, не желая выходить из класса, чтобы узнать, что же произошло.

— А вы можете идти,— поторопил их математик.

Мои одноклассники, не смея ослушаться, один за другим покинули класс. Учитель полистал зачем-то журнал, захлопнул его и предложил мне следовать за ним. Сердце мое учащенно забилось. Все мы очень боялись этого преподавателя. Вышли в коридор. Молча проследовали к кабинету директора, и только подле двери, отворив ее, он произнес: «Проходи, брат, дело до тебя есть». Я стал лихорадочно вспоминать все свои проступки, за которые мог быть вызван к директору, но ничего такого, за что бы мог получить нагоняй от него, не мог вспомнить.

Едва переступив порог, я вконец растерялся. В кабинете директора находились учителя литературы и географии. Я сел на стул, на который мне указал учитель математики, и только тогда вспомнил, что забыл поздороваться. Неловко поднялся со стула и, густо покраснев, нечленораздельно произнес приветствие. Директор, улыбаясь, кивнул головой.

В этот момент кто-то тихонько постучал в дверь. Громким голосом директор предложил войти, и на по-

роге появилась Василя-апа. Она присела напротив меня.

— Скажи честно,— вдруг обратился ко мне директор,— ты разбил окно?

— Какое окно? — удивился я, вставая.

— Не прикидывайся простачком. Садись. Вот это,— и он указал на окно.

Я видел, что в углах рамы торчат маленькие осколки стекла.

— Теперь вспомнил? — спросил директор, видимо по-своему расценив молчание.

— Я не разбивал,— произнес я и заплакал.

Мне было обидно за то, что меня обвиняли несправедливо. И кто?

— Плакать бесполезно,— сказала вожатая. Обычно ласковая и внимательная, она сейчас очень сухо смотрела в мою сторону. Я вконец растерялся и неспособен был что-либо понимать.— Если бы ты подумал своей головой,— продолжала она,— этого не случилось бы,— и она кивнула на разбитое окно.— Мирхашим Саидович,— она повернулась к директору,— вчера вечером, услышав звон стекла, я выбежала на улицу. Выбежала и увидела, как Касымов, завидев меня, кинулся за угол...

— Мы играли в войну,— сказал я, вдруг вспомнив вчерашнюю игру.

— Нашли где играть,— произнес математик, тыльной стороной кулака вытирая правый глаз, который у него постоянно слезился.— Хотел кинуть «гранату» и угодил прямо в окно, да?

Слезы душили меня, и я ничего не ответил. Директор посмотрел на преподавателя географии, как бы предлагая высказаться. Почувствовав это, он поспешно заговорил:

— Я сам своими глазами не видел... но без ветра деревья не качаются. Не понимаю, ведь Касымов был дисциплинированным мальчиком, видимо, он нечаянно разбил окно... Так ли, Касымов?

— Я не разбивал. Мы камнями не бросаемся, играем с деревянными пистолетами. Вон, он у меня в папке,— сказал я, вытирая слезы.

— Но почему ты говоришь, что не бросаетесь камнями, когда играете? — Учитель алгебры резко поднялся со стула и многозначительно посмотрел на директора, как будто поймал меня на месте преступления.—

Окно-то, братец, камнем разбито,— повернулся он ко мне.

Директор разорвал на мелкие куски какую-то бумагу и выбросил их в корзину.

— Все, разговор окончен, ясно, окно разбил ты! — отрезал он и повернулся к вожатой: — Василяхон...

Едва он назвал ее имя, дверь отворилась и в кабинет вошел школьный сторож Алиходжа-ата. Он поставил на стол перед директором чайник, из носика которого шел пар, и пиалушку. Он собирался выйти, но, заметив меня, остановился.

— Что случилось? Почему парнишка так горько плачет? Вы, видимо, крепко огорчили малыша,— сказал он, желая как-то успокоить меня.

— Он разбил окно,— заметил директор.

— Неужели? Кто сказал? — Алиходжа-ата повернулся к директору.

— Василяхон видела,— сказал Мирхашим Саидович.

Алиходжа-ата вопросительно посмотрел на вожатую. Та пересказала все, что говорила несколько минут тому назад, и в пылу добавила: «Как только увидел меня, весь побледнел и удрал за угол».

— Вы о ком-то другом говорите, Василяхон...

— Я пока не ослепла! — раздраженно ответила Василя-апа.

Алиходжу-ата в школе уважали и стар и млад, даже резковатый учитель алгебры, проходя мимо, всегда очень учтиво здоровался с ним. И это нас почему-то радовало.

— Ошибаетесь, доченька, ошибаетесь,—сказал твердо старик, и я почувствовал к нему неизъяснимую благодарность.— Да, кстати, как вы могли разглядеть, что он побледнел, удирая за угол, когда он был так далеко от вас? Ведь, доченька, от подъезда до угла вон какое расстояние...

— В сущности вы должны охранять школьное имущество,— иронически заметил математик.— Вы, будучи сторожем, не знаете, кто разбил окно, а защищаете его.

Алиходжа-ата сердито махнул рукой:

— Разве такой мальчик может натворить такое? А вы почему молчите? — он повернулся к учителям литературы и географии.

Те, взглянув на директора, пожали плечами.

— Василяхон,— нарушил молчание директор,— завтра вызовите его отца.

Я весь похолодел. До сих пор ничего такого со мной никогда не было. Мне казалось, что произошло что-то непоправимое, и я совсем растерялся.

— Напрасно вы так обижаете мальчика,— Алиходжа повернулся к директору.— Неужели кусок стекла дороже самого человека? И потом, стекло разбил не он. В этом я уверен.— Алиходжа-ата вышел из кабинета.

Все присутствующие молчали. Мне казалось молчание это бесконечным. Мирхашим Саидович, все еще хмурясь, посмотрел на меня и сказал: «Ладно, иди, сынок!» Когда я вышел во двор, Алиходжа-ата, сидевший около сторожки у ворот, увидев меня, встал и подошел ко мне.

— Не бойся, если вызовут твоего отца, я поговорю с ним,— сказал он и положил руки мне на плечи.— Не огорчайся, все в жизни бывает... Твои учителя ведь переживают за тебя. Они хотят, чтобы ты стал человеком... это потом поймешь. Не огорчайся.

Я молча стоял, опустив голову и вытирая слезы.

Почти неделю я ходил в тревоге, все ждал, что вот-вот отца вызовут в школу. Но его не вызывали. Через несколько дней на улице я неожиданно встретился с директором и замер в нерешительности. Улыбаясь, он приветливо поздоровался со мной и прошел мимо. Значит, понял, что я не виноват. И я облегченно вздохнул. Мне хотелось крикнуть вслед ему «спасибо».

...Прошли годы, сейчас я архитектор. Живу в городе. На днях ездил в родное село, где прошло мое детство. Много перемен произошло без меня. Выстроили новую школу. На том же месте, где стояла и старая. Там, где раньше был кабинет директора, теперь склад. Я специально посмотрел на маленькое окошко за решеткой... и сердце мое екнуло!

Мирхашим Саидович вышел на пенсию. Василя-апа работает библиотекарем. Старательно напрягал память, чтобы вспомнить, как звали учителей географии и математики, но так и не смог вспомнить, как не вспомнил и фамилии преподавателя литературы. Но школьного сторожа!.. Я его вижу, как живого. Я словно не расставался с ним. Нос крючком, глаза карие, добрые. Он всегда содержал в чистоте школьный двор. Помню жилистые, потрескавшиеся руки его, как

заваривал он чай директору... К большому моему сожалению, я узнал, что семь лет тому назад он скончался. «Не огорчайся, всякое в жизни бывает...» Эти слова навсегда остались в моей памяти, так же как и те, с которыми он обратился к учителям: «Почему молчите? Разве этот мальчик может натворить такое?»... «Не огорчайся...» А ведь он никогда не изучал педагогику. Может, он и не ведал, что на свете существует такая наука...

* * *

Тот случай, который произошел со мной в детстве, часто вспоминается мне. Вспомнил я о нем и сегодня. Тогда учителя показались мне бессердечными, жестокими, бесчувственными... Но после того, что случилось сегодня... мне вдруг стало стыдно за себя. Я взглянул на случившееся совсем по-иному. Тогда я глядел на происшедшее глазами несправедливо обиженного человека. Смотрел ведь односторонне... Сижу сейчас в своем кабинете и будто наяву вижу Мирхашима Саидовича и Василю-апа. Может быть, они тогда проявили чуточку бессердечия... может, они ни за что и несправедливо заставили страдать меня, чуть не раздув из мухи слона...

Но в сущности их действия вдруг стали уроком для меня. Да, они преподали мне урок, мне, взрослому, как надо хранить народное добро. Ведь из этого они исходили, обсуждая случившееся в директорском кабинете. Они просто по-человечески смотрели на суть вещей. И откровенно говоря, сейчас мне хотелось еще разок увидеть Василю-апа и бывшего нашего директора, чтобы низко поклониться им и сказать человеческое спасибо.

## В ПУТИ

До перевала было еще довольно далеко.

Тяжело груженная машина медленно поднималась в гору. Натуженно гудел мотор. Шофер нажимал на газ. Ему было нелегко за баранкой — на лбу выступали капли пота.

— Тяжелый подъем,— сказал он.— Всякий раз, когда еду здесь, думаю: вытянет или нет? — И, помолчав, похвалил машину: — Молодцом, тянет...

Так мы доехали до перевала. «МАЗ» начал спуск. Теперь начиналась самая трудная часть дороги, очень извилистая, с крутыми поворотами. И так до конца нашего пути.

— Не дать ли передохнуть джейрану? Что вы скажете на это, мулла-ака? — произнес мой спутник.

Я хоть и торопился, но поддержал шофера. Мы вышли из кабины. Он открыл капот и стал копаться в моторе. Я поднялся на бугор и взглянул вниз. Далеко от нас, в долине, мелькали огоньки. Незаметно подступал вечер.

Когда я обернулся, шофер уже закончил работу и вытирал промасленные руки тряпкой. Заглянув в кабину, достал сверток и, присев на плоский камень, разворачивая бумагу, сказал:

— Давайте немного перекусим. Присаживайтесь.— Вытирая платком шею, он вдруг досадливо произнес: — Смотрите, опять забыл!

Я рассмеялся, потому что сам иногда (не рассчитывая на свою память), как этот шофер, завязывал уголок носового платка.

— Ну-ка, мулла-ака, угощайтесь,— говорил шофер.— А на меня не смотрите и не удивляйтесь. Память вконец дырявая стала. Послезавтра день рождения моей жены, и я хотел купить ей перстень.

— Хороший подарок.

— Значит, едете писать очерк о Назирташе? — спросил он.— Славный парень, стоит этого. Я его давно знаю. Боевой, задиристый, что тебе петух. В работе прямо-таки неистовый. Никому спуску не даст и ни в чем не уступит. Бывали дни, когда он работал на экскаваторе по три смены подряд. Под его бы начало таких, как Алиджон, чтобы попотели немного, работать научились...

— А кто такой Алиджон?

— Э, не говорите! — Шофер махнул рукой.— Так уж получилось: ударил я слегка этого негодяя, не сдержался, и целая история из этого вышла...— Он замолчал, дожевал последний кусок и неспешно закурил. Неожиданно улыбнулся и произнес: — Наверняка ждете момента, чтобы спросить о подробностях. Нет на свете человека любопытнее путника. Ладно, так и быть, расскажу. Но потом ехать придется быстрее. Вы сами откуда? — Услышав ответ, обрадовался: — Из самого Ташкента? Ну, да молодцом. Я тоже жил в Ташкенте,

работал на третьей автобазе, на той самой, которая рядом с баней. В прошлом году с этой автобазы около двадцати шоферов послали в Мирзачуль, собирать хлопок. Среди них был и я. С этого, собственно, все и началось. Днем работали без отдыха, а ночью спали как убитые. Уставали,— по лицу его вдруг словно пробежала судорога. Он сморщился.— О, опять начинается...— Достал из бокового кармана флакончик одеколона, намочил вату и приложил к зубам.— Постоянно мучаюсь,— сказал он.— Приложу одеколон, боль сразу прекращается. Некоторые прикладывают соль, чеснок, а мне видите что помогает? Удивительно.

Шофер замолчал и некоторое время словно прислушивался к боли. Она отступила, и он продолжил:

— Ну так вот... Однажды мы вместе с колхозниками собирали хлопок. На грядке, справа от меня, работала девушка, лет двадцати. Пухленькая, щеки как гранат, волосы густые, черные. И работала, надо сказать, с удивительной ловкостью. Мне иногда казалось, что хлопок из коробочек, словно железо к магниту, устремляется к ее пальцам. Я, помнится, глядя на это чудо, застыл удивленный. Вскоре она оставила меня далеко позади. Оставила, но, наверное, угадывала, что я слежу за ней. Неожиданно оглянулась на меня и, увидев, что я уставился на нее, сразу отвела взгляд. Верите или нет, сердце у меня учащенно забилось. Я стал усиленно собирать хлопок, желая во что бы то ни стало догнать девушку...

Меня более заинтересовал сам шофер, чем то, о чем он рассказывал. Попутчик мой оказался более словоохотливым, чем я ожидал. Очевидно, о своих переживаниях он рассказывал не раз, гладкой была речь его. Мне было только непонятно, говорит ли он искренне или шутит, вставляя в нее высокопарные слова о любви. Посмотрев на часы и оценив, что у него есть еще время, продолжал:

— Вы, мулла-ака, наверняка знаете, что такое холостяцкая жизнь. Пока молодой человек найдет подходящую спутницу жизни, эх-хе-хе, сколько он настрадается... Да, да, не смейтесь! Хотите, я вам скажу откровенно, к какой мысли я пришел? Тот, кто не страдал, никогда не полюбит по-настоящему...

Он ненадолго умолк. Молчал и я. По выражению лица его и глубокой задумчивости я понял, что говорит он серьезно.

— Когда я первый раз увидел Насибахон,— продолжал он,— я уже был в возрасте, говорить точнее — не молодой, двадцать седьмой шел, и был холост. Так случилось: армия, потом остался на сверхсрочную... Иногда думаю, может быть, это и хорошо. Иначе не встретил бы ее. После возвращения из армии стал работать на автобазе, учиться поступил на заочное отделение в политехническом. Не успел глазом моргнуть, уже тридцать не за горами. Скоро я стану отцом...

Он произнес эти слова с таким волнением и гордостью, что я невольно позавидовал ему. Чем-то все ближе и симпатичней становился для меня этот человек.

— Там на поле, знаете,— сказал он,— я как ни старался, не мог догнать Насибахон. К тому же в спешке оставлял много хлопка в поле. Насибахон на обратном пути, глядя на мою грядку, даже покачала головой. Мне стало неловко и стыдно за себя. Но целый день я не мог оторвать взгляда от ее стройной фигуры. Не мог, и все тут. Как притянула она меня к себе. Мне очень хотелось, чтобы она заметила меня. Стараясь привлечь ее внимание, я таскал чьи-то тяжелые мешки на хирман, а когда сбежала лошадь бригадира, кинулся за ней и с трудом, с большим трудом, но все же поймал ее... В тот день до поздней ночи товарищи подшучивали надо мной. Я не обижался, поскольку чувствовал, что шутки их беззлобные. Среди нас был парень, звали его Шадивай. Неприятный человек. Мы сторонились его. Так вот он всячески старался задеть меня и вывести из себя. Когда я уже засыпал, Шадивай из угла произнес: «Ничего, колодец роет один человек, а воду пьют все». Меня словно хлыстом ударили! Если бы кто-то тогда ударил меня кулаком по лицу, я не чувствовал бы себя столь оскорбленным. Вне себя от гнева, я выхватил из-под подушки железную кружку и изо всей силы швырнул ее в сторону Шадивая. К счастью, он увернулся. Мои товарищи тут же вскочили и предотвратили стычку, которая, думается, для одного бы из нас кончилась плачевно. С тех пор никто не отваживался заводить подобных разговоров... Вот вы журналист, мулла-ака, много книг читали, ну-ка скажите, что же все-таки такое любовь, в чем ее тайна? Вы простите за такой наивный вопрос, но, по-моему, ни одна книга не ответит на это. В неосознанности

этого чувства и заключается вся его сила. Сколько девушек (хоть похвалюсь разок!) искали встреч со мной! Но любовь пришла совершенно неожиданно и тогда, когда я меньше всего об этом думал.

Пока шофер рассказывал, я внимательно наблюдал за ним. Мои сомнения вконец рассеялись, и мне было совершенно ясно, что он говорит искренне. В нем подкупала какая-то детская непосредственность.

— Через три дня, — продолжал он, — мы уже были знакомы, и я пригласил ее в субботу съездить в райцентр, посмотреть фильм. Признаюсь откровенно, в ее присутствии меня охватывала робость и язык еле ворочался. Надо сказать, и она то краснела, то задумывалась, а то так испытующе глянет на меня... А во взгляде этом, знаете, ни с чем не сравнимая боль и тревога. Мог ли я догадаться тогда, отчего они?.. В общем, в тот день опоздала она на свидание. Опоздала и пришла не одна. Девочка с ней была лет трех. «Извините нас, — сказала Насибахон, — но мы никак не могли прийти раньше». А я, вспомнить стыдно, ничего не мог умнее придумать, как спросить, не ее ли это сестра. А девчушка пугливо прижалась к ней и за рукав теребит. На меня с боязнью поглядывает и говорит вдруг: «Мамочка, пойдем домой!» Я вздрогнул, резко посмотрел на Насибахон, а у нее в глазах слезы... В райцентр мы не поехали. В тот вечер долго бродили по берегу Анхора. И знаете, более откровенного разговора с человеком у меня в жизни не было. Вот тогда, тогда я ощутил, что такое душевная близость. Она мне все рассказала о себе. Говорил и я... — Он помолчал и продолжал: — Родители Насибы насильно выдали ее замуж, причем выдали за человека, который развелся с прежней женой. Прожили они полгода, и выгнал он Насибахон. Выгнал, даже не подумав, что она в положении. Вот и все...

Шофер вдруг испытующе взглянул на меня, словно желая понять, верю ли я его рассказу. Вздохнув, продолжил:

— Иным рассказываю, а как дойду до этого места, не верят. Не могу понять таких... Бродили мы в тот вечер долго. Девочка устала, и я взял ее на руки. Легкая, как пушинка. Насибахон попросила, чтобы мы присели. Место нашли на берегу. Внизу вода. Девчурка посапывает у меня на руках. Приморилась и уснула. И ведь если рассуждать здраво, чужая она совершенно

мне, дочка Алиджона-капаратчи, а я... я словно держал в руках своего ребенка. Он дорог мне был.

Капля дождя, упавшая на лоб, заставила шофера вздрогнуть. Мы оба взглянули на небо. Месяц, словно завешенный черной марлей, потускнел, и черные тучи заволокли все небо.

— Быстро в кабину,— сказал шофер и посмотрел на дорогу.

Когда машина миновала извилистый участок пути, он продолжил свой рассказ:

— В общем, мулла-ака, я женился на этой женщине. Уволился с автобазы и приехал в колхоз. Год уже прошел... Да, начал я с ссоры, с Алиджона свой рассказ. Расскажу и о нем. Есть же такие еще на свете. Жили мы с женой дружно. Счастливо. Ничто не омрачало нашу жизнь, если бы не Алиджон. Однажды вечером он, сильно выпивши, пришел к нам. Стал колотить в ворота. Вышел я к нему, спрашиваю: что, мол, надо? Отвечает: «Позови Насибу». Говорю ему, спокойно говорю: «Иди, милый, своей дорогой». А он мне: «Я ребенка видеть хочу». Видите ли, чувства у него отцовские проснулись. Мог я его спровадить, труда мне это не составило бы, но сдержал себя. Попытался его уговорить уйти по-хорошему. Но ведь прет, что таран. В дом рвется. Насиба лежала в постели, ей нездоровилось. А он прямо-таки с кулаками. Ну, тут я остудил его маленько, силой-то меня бог не обидел. Так он очухался — и знаете, что сделал? Побежал в милицию. Там акт составили. В общем... послезавтра опять иду в милицию. Я понимаю, что мне ничего не грозит и не выйдет у него ничего с ребенком, но ведь сколько это нервов стоит для Насибы. А этот тип не унимается, все угрожает ей...— шофер умолк.

Впереди уже ясно мелькали огоньки домов. Проехав еще немного, машина свернула налево, мы миновали цементный мост, и, прежде чем остановиться, шофер глубоко вздохнул и произнес:

— Вот такие дела, мулла-ака...

Возле сельской гостиницы мы остановились. Я вышел из машины. Шофер спустился вслед за мной, подошел к витрине магазина и стал что-то рассматривать... Взглянув на вывеску, я прочитал «Ювелирный магазин». Не забыл все-таки...

— Назирташу передайте привет от меня, скажите

от Кадырджана, он все поймет, — сказал он и, крепко пожав руку, простился.

Машина быстро удалялась, а я смотрел ей вслед, смотрел долго, пока она совсем не скрылась из виду. Рев мотора еще долго звучал в моих ушах...

## БЕССОННИЦА

Бегмат Суннатов закрыл глаза, но сон не шел. «Как люди засыпают?» — раздраженно думал он. И было неизвестно, то ли он кому-то завидует, то ли на кого-то злится. Оба его сына, которых он недавно отчитал, выругал на чем свет стоит, похрапывая, спали на веранде. А у Бегмата, лежавшего на топчане у сарая, под двумя деревьями, ныло сердце, он задыхался, сам не зная почему: то ли не все в порядке с легкими, то ли зависть одолела его. Действительно, все крепко спят, а он бодрствует, не может заснуть. Обидно. Как назло, у него, оказывается, кончился бром. В голове гудело, в ушах стоял звон, но он упрямо продолжал лежать, не открывая глаз.

Вдруг на крыше сарая, прямо над его головой, пронзая тишину ночи, дико завыла бродячая кошка. Бегмат сначала удивился: «Обычно кошачьи концерты бывают ранней весной, а сейчас — июнь». Потом удивление сменилось гневом, поскольку кошка продолжала кричать.

Все более раздражаясь, он закутался с головой в простыню в надежде спастись от этого воя, но, вспотев, сердито откинул ее. Вой бил по нервам, и Суннатову казалось, что он сходит с ума.

— Проклятье! — прорычал он, вскочил с топчана и тут же споткнулся о заварной чайник — раздался звон разбитого фарфора. — Проклятье! — повторил он, потирая ушибленную ногу.

Теперь было непонятно, кому адресовалось ругательство: то ли кошке, то ли детям, которые не убрали чайник на место, то ли было просто жалко испорченную вещь. Взглянув на крышу сарая, при свете луны он увидел большую полосатую кошку, сидящую на самом коньке. Согнув спину и помахивая хвостом, она время от времени опускала морду и издавала истошный крик. Бегмат осторожно поднял с земли боль-

шой комок сухой глины и запустил им в кошку. Перепуганная неожиданным нападением, она спрыгнула на землю и исчезла в соседнем дворе.

Комок глины, брошенный Бегматом, рассыпался на части и, перекатываясь по крыше, упал на яблоню в соседнем дворе. Привязанный к яблоне пес яростно залаял. Его поддержали соседские псы, и вскоре всю махаллю охватил собачий лай.

— Проклятье! — раздраженно прошептал Бегмат и вспомнил прежнего соседа.

Тот не любил ни кошек, ни собак, зато на всех деревьях, что росли у него во дворе, висели клетки с певчими птицами. Как только Бегмат ложился спать, птицы начинали петь на разные голоса. Бегмат не только не испытывал радости от птичьего пения, но оно стало его проклятьем, и он решил избавиться от соседа. Начал писать жалобы в райсовет, постоянно ссорился с ним и наконец выжил его. Переезжая, любитель птичьего пения наговорил жителям махалли на Бегмата Суннатова бог знает что: например, что самые несчастные в поселке люди — те, кому пришлось или придется жить по соседству с Бегматом, что выбирать надо не дом, а соседа и т. д.

Бегмату казалось, что сейчас в каждом доме не по одной собаке, а минимум по десятку. Терпение оставило его. Задыхаясь от злобы, он взглянул в сторону веранды, где спали его жена и дети. Временами оттуда доносился отрывистый храп жены. Занимаясь целый день домашней работой, она очень уставала.

«О боже, не успеет лечь, уже храпит!» — злобно подумал Бегмат. Он выругался.

А лай собак все не прекращался. Бегмат стал думать о новом соседе. «Хваткий, — прошептал он. — В школе учился еле-еле, а теперь агроном! Стяжатель! Каждый вечер после работы копается в своем огороде. Будто не хватает ему работы на совхозном поле. Грыжу-то, наверное, в огороде заработал. Поделом ему!» Это пожелание воскресило в его памяти эпизод месячной давности.

Тогда жена Бегмата вышла из дома агронома с заплаканными глазами.

— Эй, отец, — крикнула она мужу, — вызови скорее врача к соседу. Его маленького сына сбила машина. Такой хороший мальчик! Может, выздоровеет, бог даст.

Вот тогда Бегмат произнес: «Поделом ему!» Жена поразилась услышанному.

— Э, что ты говоришь! — возмутилась она. — Сына нашего соседа сбила машина! Слышишь, что я говорю?

Муж молчал, и она еще резче набросилась на него:

— В своем ли ты уме? Ведь и у нас есть дети!

— Я говорил не о ребенке, — невольно пробормотал Бегмат. — Я имел в виду его отца. Уж очень он зазнался.

— Брось, другие не лучше его. По крайней мере, тебе он ничего плохого не сделал. Кстати, когда ты сильно болел, кто, как не он, доставал лекарства, которые днем с огнем не сыщешь?

Тогда Бегмату нечего было возразить, и, раздраженный, он молча вышел на улицу. Врача он все-таки вызвал.

...— Проклятье! — пробормотал он вновь.

На этот раз он ругал всех тех, кто держит собак. Будь его воля, во всей махалле он не оставил бы ни одной собаки.

Бегмат долго стоял, злясь на собак и проклиная весь свет. Наконец лай начал затихать. Лишь изредка то здесь, то там побрехивала собака. Бегмату казалось, что все живое создано для того, чтобы мешать ему жить и раздражать его. Днем мешают люди, а ночью — собаки и кошки. Попадись ему сейчас кто-нибудь навстречу, обругал бы ни за что ни про что. А ругаться Бегмат был большой мастер, никто с ним по этой части сравниться не мог. Ругань доставляла ему удовольствие, он слушал ее, словно музыку.

Если у кого-то случалось несчастье, внешне Бегмат, как и все, выражал сочувствие, но внутри у него все ликовало, даже лицо светлело. И думалось ему в такие моменты: «Не только я, пусть и другие испытают муки этого мира».

Может быть, оттого что сквозь допотопные линзы смотрели большие навыкате глаза, или оттого что большинство жителей поселка знали, что ночами ему не спится, прозвали его Бегмат-сова. В чайхане или в каком-нибудь другом людном месте, едва он появляется, веселившиеся люди замолкали или даже потихоньку начинали расходиться. Бегмат-сова чувствовал это. Их поведение задевало его. Иногда он кричал вслед уходящему соседу: «Эй, я прокаженный, что ли?

Почему уходишь?» А не нашедшие повода уйти продолжали молча сидеть до тех пор, пока не кончалось их терпение.

— Если хочешь узнать кого-то, дай ему большую должность,— часто повторял в чайхане Бегмат-сова, всякий раз отчего-то бледнея.

Люди удивленно глядели на него, а он бормотал: «Распустились все! Ни у кого совести не осталось!»

Никогда Бегмат-сова не соглашался с чьими-нибудь словами: собеседник не успеет и рта раскрыть, а он уже машет рукой, возражая ему.

Жене было жалко мужа, и однажды она сказала ему: «Будь проклята ваша работа! И днем и ночью глядите в бумагу, от этого душа высохнет. Послушай меня, Бегмат, хоть раз. В район приехал большой доктор, покажись ему. По-моему, ты совсем больной».

— Премного благодарен,— ответил он с обидой.— Всех вас кормил, поил, одевал — был здоров, а теперь стал больным!

Обида переросла в гнев, и после этого целую неделю жене пришлось выслушивать его ругань.

Бегмат работал служащим в районной конторе по сбору макулатуры. Работа заключалась в том, что он постоянно заполнял какие-то бумаги. Работа Бегмату давно опостылела, но перейти куда-то на другое место он не мог решиться.

В глубине души Бегмат знал, что жена права и ему надо показаться врачу. И однажды он пришел к доктору. В приемной было много народу, и, пока дошла его очередь, он весь извелся. «Большой доктор» оказался тощим человеком среднего возраста. Он внимательно выслушал жалобы Бегмата, затем тщательно осмотрел и прослушал его, проверил рефлексы.

— Вы были на фронте? — спросил врач.

— Нет,— растерянно ответил Бегмат.— А почему вы об этом спрашиваете?

Вместо ответа врач задал другой вопрос:

— Что вы любите вообще?

— А что это значит? Что вы имеете в виду? — раздраженно спросил Бегмат.

Врач рассмеялся.

— У нас, невропатологов, такая необходимость: мы спрашиваем пациентов обо всем, что нас интересует, а они, по возможности, отвечают. Вы должны рассказать мне, что вас беспокоит в жизни вообще, расска-

зать о своих увлечениях, пристрастиях. Тогда мы с вами решим, как нам лучше бороться с вашей болезнью. Вот я вас и спрашиваю: что вы любите? К примеру, кино или футбол, вкусно поесть или спиртное?

Эти вопросы показались Бегмату не имеющими никакого отношения к его болезни.

— Ничего я не люблю,— ответил он, раздражаясь все больше.

— Неужели такое может быть?

— Может.

— Тогда, может быть, ответите мне на такой вопрос: люди каких профессий вызывают у вас чувство уважения?

— Надоели мне ваши вопросы, доктор,— сказал Бегмат, вставая со стула и собираясь уйти.

— Хорошо, я не буду больше спрашивать вас ни о чем. Потерпите еще несколько минут. Вы рассказали, что днем ходите сонным, потому что не можете заснуть ночью; жалуетесь на сердце, звон в ушах; вас раздражают различные звуки, люди, даже жена и дети. Это симптомы самой настоящей и запущенной неврастении. Вот вам рецепт — купите в аптеке лекарство и принимайте его в течение недели, а потом мы с вами встретимся еще раз.

Врач протянул Бегмату исписанный латинскими буквами листок бумаги.

— Но предупреждаю: излечиться от этой болезни очень трудно. Вам нужно приложить много усилий, чтобы болезнь отступила. Будьте немного добрее, не переживайте из-за мелочей, будьте приветливы с людьми — и тогда увидите, что жить станет гораздо легче. Постарайтесь увидеть в людях не только плохое. Радуйтесь их успехам, как своим. Тогда у вас появятся друзья — и жизнь приобретет для вас новый смысл.

Бегмат молча вышел из кабинета и уже в коридоре про себя выругал врача: «Очковтиратель! Наверное, должность доктора купил за большие деньги! Взялся учить меня, негодник, вместо того чтобы найти мою болезнь».

Лекарство он все-таки купил и через неделю стал чувствовать себя значительно лучше. К врачу он больше не ходил, но покупал бром и пил его утром и вечером.

...Бегмат все еще стоял в темноте и смотрел на соседский двор. «Разве существует на этом свете спокой-

ствие? Вчера вечером поднялся ветер, и всю ночь на улице гудело, как у водопада. Сегодня, кажется, тихо, но покоя опять нет: луна светит да собаки лают. Сдохнут ли когда-нибудь эти собаки и кошки?» — думал он.

Бегмат снова посмотрел на веранду. Теперь при свете луны он ясно увидел спящих жену и детей; взгляд упал на старшего сына Кудрата, и опять его охватил гнев. «Ишь ты! Молоко еще на губах не обсохло, а возражает! Будь ты неладен!» — пробормотал он, вспомнив недавнюю ссору с сыном.

Вообще говоря, никакой вины за Кудратом не было. Все началось вечером, когда смотрели матч по хоккею, транслировавшийся по телевидению. Встречались сборные СССР и Канады. Кудрат вместе с младшим братом Восилом с раннего утра ждали начала игры. Когда она началась, отец тоже подсел к телевизору. Кудрату было непонятно, почему отец во время всех международных встреч болеет за наших соперников. Если кто-то из наших хоккеистов начинал играть жестко, отец вскакивал с места и ругался. Кудрат и Восил в такие моменты обычно помалкивали. Сегодня было то же самое: только канадцы забросили шайбу, отец вскочил со стула и захлопал в ладоши. Кудрат и Восил молча переживали пропущенный гол. Вскоре счет сравнялся, и отец умолк. До перерыва наши забили еще три шайбы. Тогда оживился и комментатор. Он все чаще говорил о том, что любительская школа хоккея лучше профессиональной. Отец не выдержал:

— И здесь обман! — закричал он.

— Но наши не продают себя с молотка,— возразил Кудрат.

— Ах ты! Неужели так? А я, тупоголовый, этого не знал! Ну-ка, быстро ложитесь спать. Мне завтра рано вставать на работу! — и он резко выдернул из розетки шнур телевизора.

Кудрат и Восил, чуть не плача, пошли укладываться спать...

Бегмат вспомнил своего коллегу по работе, Хайдара Аскерова, которого на каждом собрании хвалили за добросовестность и трудолюбие. Бегмат поморщился: «Подхалим! Что только не сделает, чтобы понравиться начальству!»

Потом его взгляд упал на волосы сына, рассыпавшиеся по всей подушке. «Сейчас уже нет разницы между мужчиной и женщиной»,— раздраженно пробормо-

тал он. Услышав, как где-то пропел петух, Бегмат нехотя лег спать.

Вокруг было тихо. Ни звука. Будто вся вселенная крепко заснула. И только Бегмату-сове не спится. Как только он закрыл глаза, снова начали ныть скулы, снова зашумело в голове и зазвенело в ушах, зачесалось тело. Повернувшись с боку на бок, Бегмат еще раз прошептал: «Проклятье!»

А вокруг занималась утренняя заря. Крепким сном спали люди, птицы, все живое...

## ДЕРЕВО БЕЗ ТЕНИ

В парке было тихо и по-осеннему грустно... Или ему только чудилась эта грусть в шорохе осторожно падающих листьев?! Он выбрал скамейку в отдаленной аллее, где детвора, однако ж, успела оставить следы своих веселых занятий: асфальтированная дорожка вся была расписана цветными мелками. Он смотрел на неуклюжих зайцев, на больших пассажиров и маленькие самолеты — и улыбался.

Но вдруг лицо его помрачнело. Он как-то нерешительно раскрыл папку, достал вчетверо сложенный лист бумаги и, в который уже раз, принялся читать.

«...Помните? Когда вы подписали заявление, я расплакалась. Отчего? Трудно сказать... И оттого что было жаль расставаться с детьми, к которым привыкла, и оттого что не было за мной никакой вины. Но главное — не верила больше тому, кто стал для меня образцом. Я долго размышляла над случившимся и поняла: что бы ни совершал человек, хорошее или плохое, это непременно связано с чьей-то судьбой...

Никогда не забуду той растерянности и смущения, которые испытала, впервые представ перед вами. Приехав из кишлака поступать в институт, я провалила экзамены. Возвращаться назад с поражением не хотелось. И вот, хотя я решительно ничего не умела делать, вы приняли меня в свой коллектив. «Будешь учиться печатать». Я знаю, школе нужна была квалифицированная машинистка, но вы тогда, видно, сердцем почувствовали, как я нуждалась в помощи, простом человеческом участии...»

Он оторвался от чтения и задумчиво смотрел на за-

брошенную танцевальную площадку. Одинокие листья кружились по ней в неторопливом осеннем вальсе.

«...Не проходило и дня, чтобы вы не поинтересовались, как идут у меня дела. Находили время для душевных бесед. У вас я училась трудолюбию, нелегкому искусству общения с людьми. Мне кажется, только в юности, чистой и светлой, способны мы так трепетно откликаться на доброту. Своего отца я знала лишь по фотографии. Как хотелось временами называть вас отцом!

Однажды вы пригласили меня в директорский кабинет: «Матлуба, прошу зайти». Я удивилась официальному тону. Но когда вошла, увидела мягкую улыбку и добрый взгляд. «Матлуба, согласна ли ты быть пионервожатой?» Я чуть не расплакалась от радости — мне давно хотелось стать «командиром детей». «Не волнуйся, Матлуба,— сказали вы, подумав, что я не решаюсь принять предложение.— Давно мы наблюдаем за тобой — ты прекрасно ладишь с детьми».

Кажется, ни одной строчки в тот день я уже не смогла напечатать.

Шли дни, заполненные любимой работой. Рядом были вы, дружный учительский коллектив,— я чувствовала себя счастливой. В начале прошлого учебного года поступила в заочный педагогический институт, и педсовет решил доверить мне первый класс!

...Подошло время выборов. Как и многие учителя, я стала агитатором. Бывали дни, когда приходилось задерживаться допоздна. Помните, несколько раз вы подвозили меня на своей машине до дома?»

Он снова оторвал взгляд от листка. Помнит ли? Да, слишком хорошо помнит. Ведь с этого все и началось...

«В тот день, как всегда с нетерпеливым чувством, спешила я в школу — хотелось поскорей увидеть своих ребятишек. С чем можно сравнить радость, которую испытываешь, когда окружают тебя приветливые лица, сияющие глаза, когда тянутся к тебе маленькие доверчивые руки?!

Переходя через мост, я услышала:

— Вас зовут Матлуба?

За мной спешила девчушка.

— С вами хочет поговорить мама.

Удивленная, я последовала за малышкой. В стороне, прислонившись к старому тополю, стояла... ваша жена. Вместо приветствия она истошно закричала:

— Плохая телега разрушает дорогу, а плохой человек разрушает семью.

Ничего не понимая, я застыла перед разъяренной женщиной. А та, не сбавляя тона, продолжала:

— Тебе что, парней мало, отбиваешь у меня мужа. Не стыдясь людей, на машине с ним разъезжаешь!

Ноги мои так и подкосились. Кровь прилила к лицу. Да как она смеет... Я так разволновалась, что не в силах была произнести ни слова. Лишь слезы от сознания полного бессилия перед несправедливостью сами собой полились из глаз. Нет, ничего не сказала я вам тогда. Не хотелось думать, что женщина эта — ваш друг, ваша жена, мать ваших детей. После стольких лет совместной жизни не знать друг друга, не верить друг другу! Никогда не примирюсь я с пословицей: есть дом без достатка, нет дома без скандала.

На второй день отвратительная сцена повторилась. Я шла на работу, а вслед мне неслись оскорбления и угрозы. И тогда я пришла к вам.

— Не обижайся, Матлуба. Нас оклеветали. Помнишь, мы как-то фотографировались, и ты встала возле меня...

Я не слышала дальнейших объяснений... Не этих слов я ждала от человека, которому не в чем было упрекнуть ни себя, ни меня, не так должен был поступить тот, кто воспитывал во мне чувства справедливости и добра».

Он тяжело вздохнул. Достал сигарету, несколько раз жадно затянулся...

«Все вроде бы оставалось прежним: ваше участие во всех моих делах, ваши дружеские советы... Но вдруг неуютно стало мне в школе, мне казалось, должно что-то случиться. И предчувствие это оправдалось.

Как-то вы вызвали меня и грустно сказали:

— Матлуба, вот какие невеселые дела... Дома нет покоя: подозрения, сцены ревности. Я найду тебе другую работу...

— Но ведь уйти — значит признать за собой вину,— возразила я.

— Ты еще молода и многого не понимаешь...

Молча я вышла из кабинета.

Вы даже и не пытались защитить меня от клеветы. Да что меня! Вы и за свою честь не стали бороться. Предпочли миром уладить скандальное дело, а для

этого нужно было пойти на предательство. И вы меня предали. Вы были похожи на ветку, что клонится, куда дует ветер. Теперь по утрам, при одной только мысли, что надо идти в школу, меня охватывало чувство тоски.

Не дожидаясь, пока вы подыщете мне работу, я решила уехать домой, в кишлак. В последний раз зашла к вам в кабинет, положила на стол заявление. Вы понимающе улыбнулись, как бы говоря: что тут можно поделать. Но признайтесь, когда подписывали заявление, рука ваша дрогнула».

Он беспокойно огляделся по сторонам. Ему казалось — в эту минуту любой прохожий может без труда догадаться, что написано на этом листке.

«Сейчас, когда немного сгладилась острота обиды, я задумываюсь над тем, почему же сама не боролась с несправедливостью? И теперь понимаю — почему. Большой, сильный, уверенный в себе человек, вы вызывали тогда у меня чувство жалости...»

Все так же неторопливо, словно зачарованные, кружили листья на пустынной площадке. Все так же маленькие самолеты увозили куда-то пассажиров... Он тяжело поднялся и, ссутулившись, медленно направился к выходу из парка.

## В ГОСТИНИЦЕ

Только захотел прилечь, как постучали в дверь. Открыл ее и на пороге увидел высокого человека. В руках маленький чемоданчик и сетка с книгами. Мужчина кивнул мне и молча прошел в комнату. Сложил вещи возле кровати, стоящей у подоконника, и устало сел на нее. Похлопал по карманам и, не найдя ничего, попросил у меня спички. Я достал их из ящика тумбочки. Мой сосед попросил разрешения закурить в комнате — я не стал возражать.

— Замучился в дороге,— сказал он, закуривая. Полюбопытствовал: — Давно ли здесь?

— Третий день,— отозвался я.

— А уезжаете когда?

— Примерно через неделю.

— А я вылетаю завтра,— произнес он, и я почувствовал в его голосе явное удовольствие.— Билет куплен. Завтра домой.

Сосед достал из чемоданчика полотенце, мыло, чистое белье и направился в душ.

Я вспомнил разговорчивого соседа, который два вечера кряду донимал меня своими рассказами, пока не уехал, и подумал с раздражением, что, пожалуй, и сегодня не удастся пораньше заснуть. Взял недочитанную газету, стал просматривать последнюю страницу.

Новый сосед вышел из ванной.

— Вы уж извините меня за беспокойство. Я вижу, вы собирались ложиться спать,— сказал он, укладывая туалетные принадлежности в чемодан.— Потерпите еще немного, самую малость. Бога ради, извините,— повторил он.

Вид у него был уже не такой измученный: он вымылся, причесал волосы. Закончив дела, лег на кровать. Я положил газету на стул, выключил свет и тоже лег.

Некоторое время в комнате было тихо. Неожиданно кровать под соседом заскрипела, и, повернувшись в мою сторону, он устало произнес:

— Вот уже месяц как в командировке, и почти все время в пути. Соскучился по детям, по жене, по дому.

Мне пришлось поддержать разговор.

— Какая же судьба привела вас сюда? — спросил я.

— Я врач. Работаю инспектором в министерстве. Принимали в районах новые больницы, да застряли немного в колхозе «Коммуна». Заставили строителей устранить недоделки в здании больницы. Вот теперь возвращаюсь домой. Вчера дал телеграмму жене. А вы женаты?

Я не успел ответить: в коридоре кто-то поддал ногой ведро — и оно покатилось с грохотом, закричала какая-то женщина, выругался мужчина. Полураздетые, мы тут же выбежали в коридор. На видавшем виды диване, на котором обычно ночует дежурная, сидел парень в фуражке, повернутой козырьком назад, и кого-то ругал. У перил лестницы стояла испуганная дежурная. Парень, видимо, испугался нас: тут же поднялся и, пошатываясь, вышел во двор гостиницы. Минуту спустя со второго этажа спустился, ковыряя спичкой в зубах, крепкого вида лысый администратор гостиницы.

— Опять Талат дурит? — спросил он дежурную.— Совсем парень распоясался. Придет еще раз, вызывайте милицию.

Вытирая платком шею, администратор ушел в свой кабинет.

— А что случилось? — поинтересовался мой сосед у дежурной. Та, махнув рукой, басовито (прямо-таки по-мужски) ответила:

— Сам во всем виноват... Пьет. И ревнует свою жену к нашему администратору. Уж если ревнуешь, держи жену дома. Так и на это не соглашается. Его жена работает у нас уборщицей, а он сам — на автобазе завскладом. Чуть жена опоздает с работы, приходит сюда. И давай на меня кричать, всю брань выльет. В милицию его сдавать жалко, а слов не понимает.

Мы вернулись в свой номер. Сосед мой как-то сразу переменился. Глянул во двор и задумчиво принялся перебирать листья вьюнка. По лицу его было видно, какие-то воспоминания волновали его.

Я, с разрешения соседа, выключил свет и лег спать, а он остался у раскрытого окна. Незаметно я заснул. Меня разбудил звук какого-то удара. Открыв глаза, я увидел моего соседа, все еще стоящего у подоконника. Он потирал рукой голову.

— Разбудил вас. Извините, пожалуйста, — произнес он. — Голова закружилась. Нечаянно ударился о раму.

— Почему не спите? — спросил я его.

— Да вот сердце пошаливает.

Я встал, включил свет, налил ему из графина воды. Сосед выглядел очень плохо: лицо бледное, дыхание тяжелое. Я вспомнил, что у меня в чемодане таблетки нитроглицерина, которые постоянно, неизвестно зачем, вожу с собой, и, достав их, протянул ему. Он вынул одну, запил ее водой, поблагодарил меня и тяжело вздохнул.

— Сердце стало сдавать, — пожаловался он, глядя на меня. — Вспомнил того парня и разволновался. А чуть поволнуюсь — начинается приступ.

Сосед достал из сетки одну из книг и стал ее перелистывать. На стол выпало письмо; пожелтевший, вчетверо сложенный листок был мелко исписан зелеными чернилами, края бумаги чуть обгоревшие.

Он протянул письмо мне. Увидев удивление и недоумение по поводу такого откровенного жеста, пояснил:

— Когда меня вселяли в этот номер, сказали, здесь живет журналист. Я даже знаю, вас зовут Шараф. Кстати, сам я не представился: Хашим Муратович. Думаю,

вам как журналисту будет интересно прочитать это письмо. Вы почитайте, а я все-таки выйду на свежий воздух.

Я сунул ему оставшиеся таблетки и, оставшись один, принялся читать письмо.

«Хашимджан-ака!

Хотя я знаю, то, что делаю, низость, другого выхода у меня нет. Чаша моего терпения переполнилась. Вы довели меня до отчаяния! При жизни Вы не ценили меня, так, может быть, оцените после моей смерти. Вы еще долго будете вспоминать обо мне. Но подобно тому как невозможно найти упавшие в море камешки, так невозможно будет Вам возвратить меня.

Когда Вы будете читать эти строки, меня уже не будет в живых. Перед смертью не лгут. Поэтому постараюсь описать все, что у меня сейчас на душе.

Первая любовь — чувство безотчетное и страстное. Оно заполняет человека всего, как весенняя река в половодье затопляет берега. Да, мы с Батырджаном, к которому Вы ревнуете меня, дали друг другу слово, что будем до самой смерти вместе. Но ведь это же детство, и оно проходит, и на него смотришь затем с улыбкой. И если бы тогда было что-то серьезное, разве я рассказала бы Вам о Батырджане, друге детства. И все-таки первая любовь — это праздник. Если хотите, праздник души. Вероятно, Вы это понимаете не хуже меня, но делаете вид, что не сознаете этого. Вы ищете грязь там, где ее не может быть. К сожалению, люди вообще стали настолько лицемерными, что могут сказать «не видели и не слышали», когда явно все видят и слышат.

Почему-то, когда речь идет о каких-то других вещах, мы можем понять и простить человеку любые его ошибки. Порой даже можем оправдать действия негодяя. Но почти никогда не прощаем человеку его прежней любви к другому. Мы всегда требуем, чтобы любовь была такой, какой она нам представляется. Только такой. А иначе это вроде и не любовь. А представляется она нам безупречной от начала и до конца.

Когда-то я любила Батырджана. Любила безоглядно. Но, повторю, это было детство. И какими же смешными виделись потом наши взаимоотношения. Я с улыбкой вспоминала о них. Кто в семнадцать лет понимает, что первая любовь редко остается последней и что с годами меняется понятие любви?

В книгах я читала: настоящая любовь эгоистична и требует, чтобы человек принадлежал другому безраздельно. Как мне это понятно! Исполняется год, как мы с Вами поженились. Но разве хоть один раз за это время я возразила Вам? Да и как я могла возражать, если Ваши убеждения и понятия стали моими. Сущей правдой является то, что один из влюбленных всегда бывает властелином, а другой — рабом. Причем рабом добровольным. Вы этого не поняли. Вы, наслушавшись чьих-то наветов, стали унижать меня. Каждый день Вы приходили пьяным, угрожали мне, обвиняли в том, что я — обманщица. Других слов я от Вас не слышала.

Говоря правду, у Батырджана было много таких качеств, каких нет у Вас. Он умел сочувствовать людям, не раздражался из-за мелочей, как это делаете Вы. И не был таким жестоким.

Помните, как Вы швырнули со стола тетради с сочинениями моих учеников, которые я проверяла? Или другой случай, когда Вы ударили меня и я упала в арык? Во всем этом разве виновата водка? Конечно, нет. Я понимаю, что тогда было у Вас на душе. Но нельзя все свои дикие поступки оправдывать ревностью. В большей мере ревность породили не наши отношения с Батырджаном, а Ваши распущенность и бессердечность.

Я хотела уйти от Вас, но мне было стыдно перед людьми, перед родственниками. Ведь я вышла за Вас по своей воле. У кого дома неспокойно, тому тесна и улица...

И перед своими учениками мне было очень стыдно. Я стала хуже работать, за что меня справедливо упрекали в школе. Мне стало страшно выходить на улицу. Я хотела поделиться с кем-нибудь своим горем, но все были заняты собой, своими проблемами.

Сколько страданий мне пришлось вытерпеть! Но то, что произошло вчера, выше моих сил. Разве можно так унижать свою жену? Как я могу смотреть людям в глаза после того, как Вы, избив меня, вытолкали затем из ворот, да еще на виду у спекулянток Зейнаб и Айпаши? Ведь я учительница! А Вы уничтожили мой авторитет! Да и свой тоже. Столько страданий на одну голову! И главное — не видно никаких перемен к лучшему. Поэтому я решила: чем так жить...»

Нижняя часть письма была обгоревшей. Только в углу сохранилась запись: «14.XI. 1940. Халима».

Меня взволновал крик души умной, но несчастной женщины. Хотелось узнать, что произошло потом, осталась ли она жива? Если да, какова ее дальнейшая судьба? Мне хотелось получить ответы на эти вопросы немедленно.

Я нетерпеливо посматривал на дверь ожидая возвращения соседа. Но его все не было. Не вытерпев, вышел во двор. Мой сосед сидел на берегу пруда рядом с Талатом и, положив руку на его плечо, о чем-то говорил с ним. Талат внимательно слушал.

— У вас это не так сложно, друг мой. И по-моему, хорошо, что нам удалось поговорить по душам,— услышал я, подходя к ним. Обернувшись ко мне, Хашимджан-ака извиняющимся тоном сказал: — Вы, наверное, беспокоились обо мне. Хотел побыть на воздухе немного, да вот встретились с Талатбаем и разговорились о жизни.

— Как ваше сердце? — спросил я.

— Немного отпустило. Стало полегче.

Я протянул ему письмо. Хашим-ака положил его в карман пиджака, помолчал, пытливо глянул на меня.

— Это письмо написано моей женой,— сказал он.— Я вот здесь рассказал Талатбаю о том, что случилось у нас в семье перед войной. Да вы садитесь, садитесь. Посмотрите, какая красота вокруг! — Хашим-ака пододвинулся, уступая место.

Я присел рядом с ними. Действительно, была какая-то привлекательность и таинственность в предутренней тишине.

— Шарафджан, вы так и не успели тогда ответить на мой вопрос. Женаты ли вы? — спросил меня Хашим Муратович.

— Нет еще.

С берега в пруд плюхнулась лягушка, и по воде пошли круги.

— Сейчас у вас золотая пора,— немного помолчав, продолжил Хашим-ака. И было непонятно, говорит он это мне или Талату.— Раньше мы тоже были такими же... Мечтали закончить учебу, жениться на красивых девушках, стать отцами. Казалось, наступит райская жизнь. Но не такая она простая оказалась, жизнь. Все в ней оказалось куда сложнее, чем мы думали. Вероят-

но, слышали, одного философа спросили: «Что самое трудное на свете?» — и он ответил: «Прожить жизнь». Счастье человека зависит от него самого — это верно. Но разве найдется человек, который хотел бы стать несчастным? Все дело в том, что мы не очень вникаем в душу окружающих нас людей. Вот, оказывается, у Талатджана накипело на душе. Да и парень-то он славный. Добрый. Я иногда задумываюсь: душа человека подобна толще морской воды. Сколько бы ни освещало ее солнце — дальше двух-трех метров ничего не видно. А ведь как важно знать, что там, на глубине. Сумеешь заглянуть — и другим человека увидишь. И как часто человек, которого считают полуграмотным, оказывается умнее, деликатнее человека грамотного, считающего себя культурным. Возьмите ту же нашу дежурную и этого чванливого администратора...

Я слушал складные рассуждения Хашима-ака и все ждал, что он вот-вот начнет рассказывать о жене, о пожелтевшем от времени письме, но он молчал о нем.

По улице проехал мужчина на мопеде. На некоторое время шум двигателя оглушил нас, но скоро вновь наступила тишина. Хашим-ака помолчал и, глядя на пруд, словно угадывая мои мысли, спросил меня:

— Письмо прочитали?

Я кивнул головой.

— После тех событий меня призвали в армию.— В голосе Хашима-ака была какая-то задушевность.— Но сначала я, пожалуй, расскажу о письме. Моя жена действительно хотела покончить с собой. Бывает, одолеют вконец мрачные мысли — и жизнь кажется такой, легче умереть. Потом опомнилась, отказалась от своего решения и бросила конверт с письмом в тандыр. Полагая, что он сгорит, жена ушла в дом. И на мое счастье, именно в это время я вернулся с работы. Подошел к тандыру — хотел прикурить папиросу и увидел начавший обгорать конверт. Наитие какое-то подсказало, что нельзя дать ему сгореть. Вот тогда-то я многое понял, узнал, что было на душе у моей жены, осознал, как мучил ее. Стыдно было, мучительно стыдно за себя. Я ведь точно под властью какого-то беса был, жил словно в тумане, ничего, кроме плохого, не хотел видеть в людях. Тот случай снял камень с моей души, и я словно переродился. Правда, чего уж там лукавить, еще долгие годы шло это перерождение. И все

время меня преследовала вина за то, что беспочвенная ревность явилась причиной моего, прямо скажем, хамского отношения к жене.

Я ушел в армию. Прослужив год, собирался домой в отпуск, но началась война. Жена почти каждый день писала мне письма. А однажды прислала посылку. Когда мы ее раскрыли, нашу землянку наполнил запах роз: это она высушила розы, посаженные мной в день нашей свадьбы, и прислала их, завернув в наволочку.

Сколько раз приходилось встречаться со смертью, но миновала меня косая. Был ранен, сердце уже тогда начало работать с перебоями, но вернулся домой живым. Вернулся к своим. И до сих пор меня не покидает мистическое чувство, что это письма жены каким-то образом хранили меня. Теперь у нас четыре сына, но...— Хашим-ака встал, отряхнул брюки.— Но, как говорится, обо всем не расскажешь.— Он положил руки на плечи Талата: — Прощайте, добрый человек.

Талат сидел молча, потом встал, поблагодарил Хашима-ака, попрощался с нами и направился домой.

— Пошли и мы,— сказал мой сосед.

Дежурная, дремавшая на диване, очень удивилась, увидев нас. Мы вошли в номер и легли спать.

— Кажется, все хорошо, но щемит, будь оно неладно, иногда сердце,— вдруг произнес Хашим-ака.—Щемит от ревности. Да, от ревности. Помните, в письме есть такая фраза: «У Батырджана было много таких качеств, каких нет у Вас». Он, бедняга, помер, но.,. когда-то он владел сердцем моей жены — вот это и обидно. Иногда все внутри так и закипит, но сдерживаю себя. В такие моменты мне кажется, жена отнимает у меня счастье, подаренное ей самой. Но что делать? Видимо, за свое счастье человек должен всегда чем-то платить... Ну, давайте все-таки спать. Я такой человек: если раскрою рот, говорить могу без конца.

Я долго не мог заснуть и, может быть, впервые в жизни глубоко задумался о жизни, о любви, человеческой ревности, о людях, которые до этого мне казались простыми и малоинтересными. Размышляя о словах Хашима-ака, о Талате, я заснул. Проснулся, когда было уже светло. Хашима-ака в комнате не было. На столе я увидел записку: «Шарафджан! Вы так хорошо улыбались во сне. Решил, будить Вас было бы грешно.

Оттого уезжаю, не попрощавшись. Простите. Может быть, еще увидимся. Всякое в жизни бывает. Ваш Хашим-ака».

Какая-то грусть охватила меня.

Взяв полотенце и мыло, я пошел умываться, а когда вышел из номера, увидел Талата. Он сидел на стареньком диване, охватив ладонями голову. Заметив меня, он смутился, но поздоровался со мной как с добрым знакомым. Я услышал, как дежурная выговаривала ему: «Лучше, чем у тебя, жены не бывает. Перестань дурить, не позорь себя и жену...»

Эти слова дежурной напомнили мне вчерашний разговор с Хашимом-ака: «Люди живут, постоянно опираясь друг на друга, помогая друг другу, одаривая друг друга счастьем...»

## ВНОВЬ ОБРЕТЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Каждый у себя дома — вроде царя...
*Фирдоуси*

### I

Камолиддин проснулся в полночь. Лениво, с каким-то равнодушием, открыл глаза. Привычно протянул руку в сторону жены и вздрогнул, не найдя ее. Вот уже два года как умерла его Рашидахон, а он все еще никак не мог привыкнуть к этому. В комнате было темно, и при тусклом свете луны ему показалось, что Рашидахон лежит на своем месте и ее черные волосы закрыли всю подушку. Он встряхнул головой, отгоняя сон, ощупью надел свои тапочки и вышел во двор.

Ветер раскачивал лампочку на столбе. Окна соседних домов хмуро уставились друг на друга. Камолиддин поежился. Мысли о Рашидахон заняли его целиком, и сразу защемило сердце.

Он вернулся домой, на цыпочках прошел в комнату, где спала Хасият. Немного постоял, уставившись в угол, откуда слышалось ровное дыхание дочки. Поправил сбившееся одеяло и тихо вышел в свою комнату.

Хотя Камолиддину не хотелось спать, он все же прилег. Закинул руки за голову и, уставившись в пото-

лок, опять стал думать о покойной жене. По правде говоря, все необходимые обряды он исполнил как следует, даже лучше, чем принято...

Камолиддин и Рашидахон тринадцать лет жили очень дружно. Они так привыкли друг к другу, что, когда Рашидахон была при смерти, Камолиддин не мог поверить, что та умрет: «Если ее не будет, какой смысл мне жить?» — думал он, глядя на измученное лицо жены. Однако то, что предсказывали врачи, случилось. И вот ее нет. И не успели глазом моргнуть, как прошло уже два года.

Как ни трудно было Камолиддину, как ни мучила его боль утраты, боль одиночества, время делало свое — скорбь его постепенно слабела.

Еще на поминках жены председатель махаллинского комитета Хашим-ака Аброров наставлял Камолиддина:

— Судьба, брат, что поделаешь... Как ты ни горюй, все равно не воротишь Рашидахон. У тебя маленькая дочка, надо думать о ней. Не будешь же ты жить в одиночестве в этом доме? Дому нужна женщина. Подумай об этом.

Тогда Камолиддин ничего не ответил на эти слова. Возможно, что его молчание люди поняли по-своему...

Камолиддин никогда не был скупым и, когда умерла Рашидахон, истратил все, что имел. Все поминки совершил так, чтобы не было стыдно перед людьми. Сам поехал на базар, купил большого барана на поминки — на сорок килограммов приготовили плов. Потом почти три месяца благоустраивал ее могилу: поставил железную ограду, установил памятник с цветной фотографией Рашидахон. На памятнике попросил мастера выбить понравившиеся ему слова, прочитанные в старой книге: «Словно встреча на дороге — наша жизнь с женой и близкими». После этого почувствовал некоторое облегчение — долг перед Рашидахон он выполнил. Только одно до сих пор камнем лежит на его сердце.

Кажется, на следующий день после смерти Рашидахон пришли его два соседа. Один из них принес новый джемпер, а другой шерстяной платок. Один из них сказал: «Вот эти вещи Рашидахон дала нам на хранение. Пусть душа ее будет в раю... Бедняге не пришлось самой носить их». Камолиддин молча смотрел на пах-

нущие нафталином джемпер и платок и не знал, обидеться ли ему на покойную жену или нет. «Зачем она это делала, неужели я был таким скупым, что от меня тайком надо было покупать и прятать эти вещи?..»

Камолиддин перевернулся на бок и тяжело вздохнул. Вспомнил он, как Рашидахон не хотела расставаться со своим голубым пальто, купленным еще в девичьи годы. Он все же уговорил ее купить новое пальто, но она повесила его в шкаф, а сама носила старое. Все жалела. Вот теперь и висит оно, никому не нужное. Острое чувство жалости охватило Камолиддина, и он тихонько застонал.

II

Прошло уже два є половиной года после смерти Рашидахон. И вот в этом доме скоро сыграют маленькую свадьбу. Будь на то воля Камолиддина, он все провел бы безо всякой музыки, тихо. Камолиддин сначала категорически отвергал всякую мысль о втором браке. Однако шло время, и он начал всерьез подумывать об этом. Частенько возвращался с работы усталым, чем-то огорченным, а дома излить душу некому. Хасият тоже чувствует это. Она молодец. Пока отец на работе, приготовит еду, уберется по дому. Камолиддин садится за стол, медленно, без особого желания, ест. Иногда, глядя на Хасият, сидящую напротив, раздражается — хочется ему свои обиды выместить на этом ребенке. Но он всегда сдерживается и никогда после смерти жены не повысил голоса на дочку. Ведь она совсем еще дитя!

Да, свадьба... Знакомые и друзья в конце концов уговорили его — нашли засидевшуюся в девушках, немолодую учительницу, которая проживала в соседней махалле. Девушка была из хорошей семьи. У нее было много братьев и сестер, и все они давно обзавелись семьями. Только она — самая младшая в семье — оставалась одинокой, хотя ей было уже под сорок. Одной из причин, видимо, было то, что она сильно заикалась. Это несчастье случилось с ней спустя год после окончания университета, когда она попала в автомобильную катастрофу и сильно ушиблась головой. Она долго лечилась, ездила даже в столицу, но все безуспешно. Тогда она стала работать в той же школе в библиотеке. Камолиддин даже не стал встречаться с этой

девушкой и, устав от уговоров, коротко отрезал: «Ладно, согласен».

Родители девушки не возражали против брака и сначала было хотели, по настоянию Камолиддина, сыграть свадьбу без излишнего шума. Но через неделю запели другую песню: «Нет, сыграете свадьбу как следует, как у людей принято!» Испортила все дело тетка девушки. Это она сумела убедить свою сестру:

— Почему без свадьбы отдаешь свою дочь? Или она провинилась в чем-то? Почему нарушаешь народный обычай? Знай, сестренка: то, что совершается втихомолку, кончается плохо! Разве ты сама этого не понимаешь? Свадьба для того и нужна, чтобы все видели, все знали, что дочь твоя Шахлохон и Камолиддин с этого дня муж и жена! Если тот, кто женится на Шахлохон, имеет хоть капельку совести, если он действительно мужчина, то пусть сыграет настоящую свадьбу!

Мать Шахлохон согласилась с доводами своей сестры, и Камолиддин вынужден был уступить. И вот — свадьба. Приглашенных не очень много — близкие приятели и друзья Камолиддина, некоторые соседи. Среди гостей большинство — со стороны невесты. Камолиддин в черном костюме, в белой рубашке, при красном галстуке, чуть сутулясь, стоит помолодевшим лет на десять.

Автобус, в котором находилась невеста, подъехал чуть ли не до порога и резко затормозил. Шофер открыл дверцу. Хорошо было бы, если бы подружки невесты быстро прошли в дом! Ан нет! Оказывается, Камолиддин должен подняться в автобус и спуститься из него вместе с невестой. Камолиддин совсем растерялся. Ему показалось, что все насмехаются над ним. А из автобуса неслось:

Не плачь, девушка, не плачь, свадьба — твоя,
ёр-ёр,
И невеста отправилась в путь,
ёр-ёр,
Отправилась в путь...

Наконец кто-то из друзей Камолиддина почти силой уволок его в автобус. Только тогда невеста встала с места и подошла к нему. На ней было белое свадебное платье, доходящее почти до щиколоток и несколь-

ко тесноватое для ее полной фигуры. Высокая прическа черных волос очень шла к ее круглому, пухлому лицу. Камолиддин взял Шахлохон за маленькие руки в белых перчатках и осторожно повел из автобуса. За ними, что-то напевая, двинулись женщины. Когда Камолиддин и Шахлохон вышли из автобуса, гости начали бросать монеты и конфеты. Чем больше сыпалось монет и конфет, тем сильнее взвизгивали дети, поднимая невообразимый шум. Начиная с этого момента Камолиддин несколько успокоился.

Но когда вместе с Шахлохон усаживался за стол, вдруг увидел Хасият, стоящую на пороге. Она удивленно и недоуменно вглядывалась в незнакомую женщину, которая пришла в этот дом как жена отца и с которой теперь надо будет вместе жить. Видно было, что Хасият вся дрожит. И Камолиддин сразу вспомнил, что произошло между ним и дочерью утром...

Хасият, проснувшись, ни с того ни с сего закапризничала, отказалась пить чай. Камолиддин промолчал. Потом увидел — глаза у Хасият опухшие, раскрасневшиеся. «Переживает»,— подумал он. Хасият, прислонив веник и совок для мусора к стене, вытирала слезы о полы своего платья. Камолиддин подозвал ее к себе. Хасият, потупив взор, нехотя подошла. Камолиддин обнял дочку, поцеловал ее в лоб. Глаза его стали влажными. Хасият, будто ждала этого, прижалась к груди отца и зарыдала. Не зная, как утешить ее, Камолиддин молча гладил Хасият, а в голове мелькала мысль: «Пропади все пропадом! Зачем мне эта свадьба? Не лучше было бы оставаться вдовцом, чем видеть и слышать все это!»

Хасият резко отстранилась, и Камолиддин услышал ее раздраженный голос: «Ухожу, ухожу, все!»

Камолиддин насторожился:

— Куда уходишь?

— К тете.

— А свадьба? Ведь тетя тоже придет.

— Ну что ж, придет так придет. А я ухожу.

Камолиддин погладил по плечу дочку, снова обнял ее.

— Что с тобой, доченька? Я думал, что ты умная. Зачем ты мучаешь меня? Разве я мало настрадался? Что мне теперь делать? Разве я виноват, что твоя мать умерла? Видно, судьба у нас такая. Я не хочу причи-

нять тебе боли, скажи, как мне поступить, и я все сделаю так, как скажешь. Только скажи — как?

После этих слов Хасият стало жалко отца. Она никогда еще не видела его в таком подавленном состоянии. Камолиддин, заметив перемену в Хасият, сказал:

— Чтоб, доченька, второй раз я не слышал, что ты собираешься уходить, ладно? Договорились? А то опозоримся! Скажут злые языки, что вот женился Камолиддин и сразу дочь свою выгнал. Обещай выкинуть из головы все дурные мысли, ладно?

Хасият, как бы давая согласие, кивнула головой. Камолиддин поцеловал дочку в лоб, похлопал ласково по плечу и вышел. Казалось, этот разговор успокоил Хасият, она повеселела и стала помогать готовиться к свадьбе отца.

Гостей пришло немало. Пятисотваттная лампочка, подвешенная на проволоке, освещала двор. Поставленные квадратом и накрытые белыми бумажными скатертями столы ломились от угощений. Всюду красовались, составленные Хасият, букеты цветов.

Когда гости уселись за столами и шум стих, Хашим-ака Аброров, председатель махаллинского комитета, несколько раз постучал ногтем по микрофону, откашлялся и заговорил:

— Дорогие друзья, уважаемые гости! Кем быть и как жить... от самого человека, от его честного труда, от ума, от воспитания, от его человеческих качеств зависит.— Хашим-ака сделал паузу, собираясь с мыслями, но, не находя нужных слов, снова повторил:

— То есть честный труд, воспитание, человеческие качества... все это зависит от самого человека. Посмотрите на этот дом, который, как и его хозяин, смеется сейчас, в этот радостный миг! Раньше в этом дворе стоял ветхий небольшой домик да развалюха-сарай. А теперь — смотрите! Все это Камолиддин сам...

Хорошо, что Хасият не видела свадьбу своей матери, которая тоже была здесь, на этом дворе. Потому что и тогда Хашим-ака, как и сейчас, торжественно открывал свадьбу, говорил про развалюху-сарай и ветхий домик. Может, он нарочно сказал, а может быть, просто забыл, но как бы там ни было, он точь-в-точь повторился. Некоторые соседки вспомнили покойную Рашидахон и вытирали выступившие слезы, искоса поглядывая на Хасият, которая охотно помогала обслу-

живать гостей. «Бедная девушка! Что-то ждет ее впереди?» — горестно вздыхали они.

Между тем два с лишним года сиротства многому научили Хасият. Когда умерла мать, сначала она не почувствовала всей тяжести горя, которое обрушилось на нее. Отец как мог старался помочь ей. Камолиддин, вставая рано, сам кипятил чай, сам готовил себе и Хасият завтрак. Потом уходил на работу. И Хасият оставалась одна. Вот тогда она вспоминала покойную мать, ее ласковые руки, сующие в ее портфель то яблоко, то булочку,— и сердце ее сжималось. Оставив нетронутой еду, она шла в школу. На уроках сидела задумчивая, уставившись в одну точку.

Однажды молодой учитель истории, заметив отсутствующий взгляд Хасият, спросил ее:

— Хасият, о чем ты думаешь?

— Ни о чем,— сказала Хасият, опустив глаза.

— Ну, а все-таки?

— Не скажу! — Хасият с ненавистью посмотрела на учителя.

— Может быть, повторишь то, о чем я рассказывал?

— Я не знаю.

— В таком случае придется поставить тебе двойку!

— Хоть десять двоек поставьте, мне все равно!

Хасият схватила свой портфель и со слезами на глазах выбежала из класса. Даже не оглянулась, когда учитель приказал ей вернуться. Учитель, похаживая у доски, похрустел пальцами и спросил у старосты класса Лолы:

— Что происходит с Хасият? Может быть, у нее что-нибудь случилось дома?

— У Хасият умерла мать. Она часто вспоминает ее, уходит в себя, даже с нами не разговаривает.— Лола перевела дыхание.— Частенько так бывает. И домой уходит одна, плачет по дороге...

— Так. Я не знал этого. Вот что, Лолахон, догоните Хасият. Скажите, что я очень прошу ее вернуться. Мы без нее не будем начинать урок.

Лола выбежала из класса. Спустя некоторое время вошла вместе с Хасият в класс. После этого учитель начал урок. А на перемене, когда все ученики покинули класс, он долго беседовал с Хасият. Никто так и не узнал, о чем именно он говорил, но лицо Хасият по-

светлело, она оживилась и на второй перемене уже играла с подругами.

Хасият видит, как соседские женщины, глядя на нее, о чем-то шепчутся и жалостливо качают головами. Однако такие сочувствующие взгляды порядком ей надоели за два года. Ведь если бы после их сочувствия вернулась мать... Теперь такие взгляды только раздражают Хасият. Эти женщины часто говорят ей о привычках и достоинствах покойной матери, о которых Хасият и не подозревала. После таких сообщений Хасият не спится ночами, почему-то даже родной отец кажется чужим.

Сейчас она, собрав всю свою волю, еле удерживается, чтобы не разрыдаться. Она то и дело кусает себе губы, мысленно повторяя: «Не опозорить бы себя и отца, не опозорить бы себя и отца». Чтобы отвлечься, охотно исполняет все поручения. И только внимательный взгляд обнаружит, как неспокойно у нее на душе...

После председателя махаллинского комитета Хашима-ака гости поочередно выходили на середину и желали Камолиддину и Шахлохон счастья, мира, здоровья. Как ни старался Камолиддин взять себя в руки, некоторые пожелания действовали на него как упрек, и перед его глазами возникала Рашидахон. Тогда, куда бы он ни смотрел — то ли в рюмки, то ли на серебряные ложки и вилки, то ли белоснежные скатерти, повсюду он видел жалобный взгляд покойной жены. От чувства, похожего на стыд, лицо его горело. К тому же, по теперешнему этикету, поздравления гостей надо было выслушивать стоя. От неловкости, вставая, он локтем нечаянно опрокинул вазу с букетом цветов. Двое молодых парней, подбежав, ловко вытерли воду и успокоили его: «Ничего, ничего» — и, ухмыляясь, отошли. Камолиддин вспомнил вдруг, что эти цветы были посажены Рашидахон: «Ухаживала за ними, как за малыми детьми, каждую зиму обрезала, посыпала опилками...»

Желая освободиться от какого-то стыда и неловкости, Камолиддин опорожнил несколько рюмок коньяка, но Шахлохон посмотрела на него осуждающе. Этот взгляд совсем смутил Камолиддина: «Видимо, она думает, что я из тех, кто любит выпить...» Коньяк тоже опротивел ему.

Вдруг Камолиддин заметил, что Хасият, стоя у про-

тивоположного стола, неотрывно смотрит на него. Ему стало не по себе. Хасият, поймав взгляд отца, отвела глаза в сторону и унесла поднос, который кто-то отдал ей. Никогда еще она не чувствовала себя так плохо: голова была тяжелая, ноги отяжелели, как будто налились свинцом. Она вспомнила, что с утра ничего не ела, но чувства голода не было.

Свадьба длилась довольно долго. Когда для заключительного слова микрофон вновь вручили Хашиму-ака, Хасият несла на кухню несколько больших чашек. Со страхом она заметила, как у нее заплетаются ноги. Когда она переступала порог, сзади вдруг послышался знакомый голос матери: «Доченька, Хасият, будь осторожнее». Хасият остановилась, хотела повернуться, но в следующее мгновение в глазах у нее все поплыло, руки бессильно разжались, чашки упали, разбившись вдребезги, и Хасият, скользнув руками по косяку двери, опустилась на землю.

На самом деле сзади ее окликнула не мать, а близкая соседка, тетушка Суюма. Но ее голос так был похож на голос матери Хасият, что девушка страшно перепугалась. «А не воскресла ли моя мать?» — подумалось ей. В кухне поднялась суматоха, несколько женщин унесли Хасият в комнату. Потом принесли воды и побрызгали на лицо Хасият. Она открыла глаза, увидела какие-то незнакомые ей лица, заплакала и снова потеряла сознание...

Увидев, как забегали около кухни женщины, Камолиддин почувствовал что-то неладное. Сердце у него заныло, он встал и пошел на кухню. Женщины брызгали холодной водой на лицо Хасият. Камолиддин оттолкнул женщин, прильнул губами к ее похолодевшему лицу. Потом осторожно взял на руки и отнес в свою комнату. Женщины вытирали глаза концами своих платков. Подошли Шахлохон и ее тетушка, которая тут же стала вопить:

— Эй, люди, зачем разинули рты? Потеряла девушка сознание, вы преграждаете путь воздуху! И так в комнате душно... Идите-ка на свои места, — и с грохотом отворила окна.

Одна из соседок Камолиддина, женщина-врач, внимательно осмотрела Хасият, побежала домой за шприцем. Сделала Хасият укол. Хасият чмокнула губами и глубоко вздохнула. Камолиддин перевел дыхание и вытер вспотевший лоб.

Гости заторопились по домам, и Камолиддин, выйдя во двор, стал прощаться с ними. Скоро двор совсем опустел. Женщины, вымыв посуду, тоже ушли.

Камолиддин вернулся в комнату и сел рядом с Шахлохон у изголовья Хасият. Снова пришла соседка-врач и сделала второй укол Хасият. Уходя, улыбнулась и сказала расстроенным Шахлохон и Камолиддину:

— Ничего страшного нет. Видимо, она целый день ничего не ела. Сейчас, после укола, она спит. Скоро проснется, не бойтесь. После пробуждения дайте ей стакан сладкого чая.

Все произошло так, как говорила женщина-врач. Хасият сначала вспотела. Потом, когда Шахлохон чистым носовым платком осторожно вытерла ей лоб, открыла глаза. Шахлохон взяла большой шелковый платок и стала махать им перед лицом Хасият.

Хасият взглянула на женщину, склонившуюся над ней, на отца, попыталась приподняться. Ей показалось, что над нею наклонилась ее мать. Она хотела что-то сказать ей, но сил не хватило, и только усталая улыбка пробежала по ее губам... Шахлохон укрыла ее теплым одеялом, провела рукой по лбу Хасият. Девушка приподняла свою тонкую руку и, прижав ладонь Шахлохон к своему лицу, еле слышно прошептала: «Мама...»

Камолиддин, видевший лицо Хасият через плечо Шахлохон, еле сдерживал слезы. Стараясь не шуметь, он тихо открыл дверь и вышел во двор, оставив Шахлохон и дочь наедине.

Крупные звезды выступили на ночном небе, теплый ветер доносил лай собак, селение засыпало крепким ночным сном. И Камолиддин поверил, что сегодня счастье вновь перешагнуло через порог его дома.

## КОГДА ТЫ ЗАВИСИМ...

Фаттах Ульмасбаев взглянул на часы, и увидев, что до приема граждан осталось всего десять минут, тяжело вздохнул. Он встал со стула, подошел к окну, посмотрел во двор: зеленые арчовые деревья покрыты снегом, по чисто подметенной, но скользкой аллее осторожно идет шофер председателя райисполкома...

Фаттах Ульмасбаев — заместитель председателя. У него сегодня плохое настроение и поэтому к работе

не лежит душа: ему не хочется ни видеть посетителей, ни выслушивать их жалобы, чаще всего, как ему кажется, бессмысленные и глупые. Да еще разболелся желудок. Вот так всегда: понервничаешь — и начинается обострение. Но работа есть работа, приходится выслушивать и терпеть посетителей, какими бы они ни были — хитрыми или простыми, глупыми или умными.

Раньше Ульмасбаеву доставляло удовольствие выслушивать их жалобы или просьбы и помогать по мере возможности. Ведь едва ли не самая большая награда для ответственного работника или руководителя, когда посетитель уходит от него с чувством удовлетворения и благодарности.

Поначалу, когда только начал работать в райисполкоме, он не разделял посетителей на сносных и несносных, хороших и плохих, полагая, что, если человек пришел с какой бы то ни было просьбой, ему надо помочь или, в крайнем случае, дать полезный совет. Потом, через много лет, концепция Ульмасбаева изменилась: то ли ему надоело положение «вечного» зама, то ли, живя в достатке, он зачерствел душой, стерлись в памяти житейские проблемы, которые ему приходилось решать, забылись и люди, помогавшие ему в жизни. Теперь многих посетителей он встречал как своих врагов, покушавшихся на его покой и достаток, с подозрением выслушивал их жалобы и просьбы. Ненависть к наиболее настойчивым и требовательным людям постепенно распространялась на всех посетителей.

Хотя боль в желудке не прекращалась, Ульмасбаев достал из стола папиросы и закурил. Ему даже показалось, что боль немного утихла. Но раздражение не проходило. Из колеи его выбила утренняя ссора с женой, которая, как ему казалось, нарочно «приберегла» скандал к завтраку,— он не успел как следует поесть. Подавая ему клубничное варенье, она сказала:

— Я хочу тебе напомнить, что в следующую субботу моя сестра выходит замуж. На свадьбу надо что-то дарить.— Она налила мужу и себе чаю, потом полушутя продолжала: — Чем может помочь в этом случае райисполкомовский работник?

«Когда же наконец у этой женщины кончатся свадьбы? Черт бы ее побрал!» — зло подумал он,

вспомнив, что сестра жены выходила замуж уже в третий раз. Он продолжал пить чай, словно не слыша вопроса жены.

— Но мы не можем идти на свадьбу без подарка,— обиженно сказала жена.

— Я никому ничего не должен,— нарушил молчание Ульмасбаев, подавляя желание вспылить.

— Ну, конечно, не должен! — усмехнулась жена.— Все это с неба упало, и никто тебе не помогал,— она указала на дорогой мебельный гарнитур, украшавший квартиру.

Ульмасбаев побледнел, вынул из кармана висевшего на стуле пиджака полученную вчера зарплату, швырнул ее на стол и, схватив с вешалки пальто, вышел на улицу, где его поджидала машина. «Поехали!» — раздраженно сказал он шоферу.

На работу Ульмасбаев приехал взвинченный и злой, прошел в свой кабинет. Через некоторое время вызвал секретаря, успевшую навести порядок на столе начальника, и начал ее отчитывать:

— Сколько раз можно повторять, что ни к каким бумагам, лежащим на моем столе, прикасаться нельзя?! Где письмо из облисполкома? Я не могу его найти.

Секретарь суетливо стала искать письмо, перебирая уложенные бумаги. Оно лежало в ящике стола, и Ульмасбаев знал об этом, но надо было на ком-то сорвать раздражение.

Он вышел в коридор. На стульях, расставленных вдоль стены, уже сидели многочисленные посетители. У него совсем испортилось настроение. «Всех не успею принять,— прикинул он.— А если трудные вопросы, то придется разбирать их еще и завтра».

Думая об этом, Ульмасбаев вернулся в кабинет. Вслед за ним вошел инструктор райисполкома, держа в руках блокнот и ручку, вопросительно посмотрел на своего начальника, как бы спрашивая: «Можно приглашать?»

— Сколько человек записалось на прием? — сухо спросил Ульмасбаев.

Инструктор нашел в блокноте нужную страницу, пробежал глазами записи.

— Тридцать один,— ответил он.

— Почему так много? — задал риторический вопрос Ульмасбаев.

Не зная, что ответить, инструктор опустил глаза, пожал плечами.

Боль в желудке становилась сильнее. Она стала беспокоить его много лет назад. Сначала он чувствовал легкое жжение в солнечном сплетении. Со временем боли усилились, они возникали чаще и продолжались все дольше, но он продолжал думать, что все пройдет само собой. Однако болезнь не проходила. Тогда Ульмасбаев собрался к врачу. После многочисленных анализов поставили диагноз — гастрит. Во время последней встречи с врачом тот сказал ему:

— У вас повышенная кислотность. Соблюдайте диету, берегите себя, а то можете нажить язву. Постарайтесь не нервничать...

После этого разговора Ульмасбаев старался придерживаться советов врача: следил за режимом, перестал есть острую пищу, даже выходил вечерами гулять. Но надолго его не хватило. Иногда даже мелочи могут доконать человека, а тут — работа с людьми, постоянная нервотрепка. Правда, была еще одна причина, точившая Ульмасбаева изнутри, хотя он даже себе не признавался в этом. И заключалась она в том, что он слишком долго, как ему казалось, засиделся в замах. Трижды менялись председатели райисполкома, и всякий раз его обходили. Это обстоятельство выбивало его из равновесия. Он стал раздражительным, грубил людям, что в свою очередь послужило поводом для жалоб в горисполком. Круг замкнулся, и Ульмасбаев махнул рукой на себя и на свою болезнь. Теперь при случае он подробно расспрашивал знакомых, у которых болел желудок, о способах лечения, интересовался симптомами болезни, внимательно выслушивал советы «язвенников» и «гастритчиков». Советы были разные, но чаще всего больные сходились во мнении, что болезнь желудка — следствие нервного напряжения, и советовали ему уйти из райисполкома на более спокойную работу, бередя тем самым не только слизистую желудка, но и душу...

На прием первой вошла женщина лет пятидесяти с покрасневшими, видимо, от слез глазами. Она робко присела на краешек стула, покашляла. Ульмасбаев взглянул на нее, как ему казалось, ободряюще.

— Слушаю вас,— сказал он.

Женщина почему-то начала всхлипывать. «Только этого мне не хватало»,— зло подумал Ульмасбаев. Боль

в желудке становилась все сильнее. Он обратился к женщине, уже не скрывая раздражения:

— Ну, что там у вас? Говорите. Не отнимайте время у других.

Женщина взяла себя в руки, измятым платком вытерла слезы.

— Пришла не от хорошей жизни, товарищ начальник. Дай бог вам здоровья...

— Говорите, я вас слушаю.

— Задняя стенка нашего дома того и гляди развалится. А сын у меня молодой, ничего не умеет. В прошлом году окончил школу, сейчас на заводе грузчиком работает. Нигде не можем достать кирпича...

Ульмасбаев посмотрел фамилию женщины в списке посетителей.

— Товарищ Хайдарова! — сказал он, повысив голос.— Я прошу вас говорить по существу. Какое у вас дело к нам?

— Пусть будут живы-здоровы ваши дети... Дом у нас старый, достался от отца моего покойного мужа. Если стенка вдруг обвалится...— видимо вспомнив угрожающее положение дома, она опять всхлипнула.— Я прошу вас помочь достать кирпич. Да, может быть, пришлете мастеров...

От боли Ульмасбаев прослушал конец рассказа.

— Так что случилось потом? — спросил он невпопад.

Женщина, потупив взгляд, повторила просьбу. Ульмасбаев едва сдержался, чтобы не накричать на женщину. «О боже, люди совсем потеряли головы. При чем тут райисполком, если у них вот-вот развалится дом?» — подумал он.

— Товарищ Хайдарова, райисполком не занимается ремонтом домов и не достает строительные материалы. Просите соседей или родственников помочь вам.

— Если бы у меня были родственники, разве я пришла бы к вам с просьбой? А у соседей своих забот хватает. Конечно, просить стыдно, но я не знаю, что мне делать. У вас столько организаций. Одно ваше слово может сразу решить любой вопрос.

— Если ваш сын работает на заводе, пусть обратится в партком или местком. Они обязательно помогут вам.

— Я просила сына обратиться к директору, но он

категорически отказался. Говорит, что не проработал еще и полгода и поэтому ничего просить не будет. Я хотела сама сходить к директору, а он говорит: «Если пойдешь, уйду с завода». Помогите, дай бог здоровья вам и вашим детям...

— Вы были в жэке?

— Была. Мне там сказали, что у них нет строительных материалов и поэтому надо идти в райисполком. Вот с надеждой пришла к вам.

Ульмасбаев снял трубку телефона, раздраженно стал набирать номер.

— Кто это? Ташматов? — сердито спросил он.— Вот тут у меня сидит товарищ Хайдарова. Она утверждает, что просила вас помочь ей отремонтировать стенку дома, а вы отправили ее в райисполком. Вы тоже считаете, что исполком — строительная организация?

Некоторое время он слушал собеседника. Разговор, видимо, принимал нежелательный для Ульмасбаева оборот. Поэтому он прервал его:

— Я ничего не знаю. Работайте с людьми и не посылайте их сюда.— Он резко положил трубку.

Женщина вышла. Ульмасбаев кивнул инструктору, разрешая пригласить следующего. Вошел пожилой бородатый мужчина с большой сумкой. Он смело сел на стул и начал разговор с вопроса: «Как можно терпеть такую несправедливость?» Ульмасбаев, видевший самых разных людей, даже бровью не повел.

— Я фронтовик! — продолжал посетитель, вынимая из сумки пачку промасленных бумаг.

— Что вас привело сюда? Говорите,— предложил Ульмасбаев, не обращая внимания на вынутые бумаги.

— Сейчас расскажу. Только сначала посмотрите их.

— У нас мало времени. Вы же видели, сколько людей в коридоре.

— А мне какое дело до них? Вы сами виноваты в том, что их много. А я пришел сюда в первый раз и прошу внимательно меня выслушать.

Ульмасбаев стиснул зубы. Взял из рук бородача бумаги, просмотрел их.

— Вы говорили, что являетесь фронтовиком. Но из бумаг видно, что вы вообще не участвовали в войне.

— Как не участвовал? Я служил в тылу.

— Это совсем другое дело. Но что вы все-таки от нас хотите?

— Вы все просмотрели? Теперь давайте их сюда.—

Бородач собрал бумаги, аккуратно перевязал их бечевкой и сунул обратно в сумку.— Меня уволили с работы.— Он замолчал.

— Товарищ Аллакулов, говорите дальше: где вы работали, кто вас уволил?

— Работал я бухгалтером в пятом стройтресте. Видимо, вы не очень внимательно изучили мои документы. Недавно у нас появился новый начальник треста, который почему-то невзлюбил меня. Стал придираться и в конце концов уволил, а местком его поддержал. Я бы не хотел передавать дело в суд.

— В пятом стройтресте, говорите? — прервал его Ульмасбаев.— Дайте-ка еще раз ваши бумаги.

— Да, я работал там. Вам это о чем-то говорит?

— Говорит. И о многом. Я вспомнил вашу историю, Аллакулов. Теперь понятно, почему вы не хотите обращаться в суд. Вас могут посадить за хищения. По-моему, вы должны быть благодарны новому начальнику, что он так мягко спустил ваше дело на тормозах.

— Вы с ним сговорились! — закричал бородач.— Я буду жаловаться в вышестоящие организации!

Он схватил сумку и стремительно вышел из кабинета. Ульмасбаев гневно посмотрел ему вслед.

Инструктор пригласил следующую посетительницу. Вошла скромно одетая, довольно пожилая женщина. Она подождала приглашения Ульмасбаева присесть. Садясь, внимательно посмотрела на хозяина кабинета, как бы спрашивая себя: «Сможет этот человек понять меня, если я расскажу ему про свою беду?»

— Я вас слушаю,— как можно дружелюбнее обратился Ульмасбаев к женщине.

— Неловко даже рассказывать.— Посетительница тяжело вздохнула.— Не знаю, товарищ Ульмасбаев, правильно ли я сделала, придя сюда. Дело это семейное, и вроде бы райисполком не может его решить. Но добрые люди посоветовали обратиться к вам. Мой муж под старость лет с ума спятил и привел в дом чужую женщину. А у нас четверо детей. Стыд-то какой! Хоть ушел бы куда-нибудь со своей бестией! Так нет, живут рядом с нами: в одной комнате они, в другой — мы. Разве можно такое вытерпеть?!

Женщина заплакала. Ульмасбаеву было жалко несчастную, но он знал, что семейные раздоры — дело сложное и лучше в него не влезать.

— Действительно, ситуация малопривлекательная,

но мы вряд ли сможем вам чем-то помочь. Вы обращались в милицию?

— Обращалась. Мне сказали, что это не их дело. Посоветовали обратиться в суд. Но я не хочу идти туда. Стыдно. Может быть, вы как-то уладите это дело?

Ульмасбаев опять почувствовал раздражение. Тем не менее взял себя в руки.

— Вероятно, в том, что случилось, есть доля и вашей вины? — спросил он.

— Не знаю. Я, конечно, не ангел, иногда могу и не сдержаться. Но всю жизнь я работала для семьи и добросовестно исполняла свой долг: стирала, готовила, содержала дом в чистоте. А он, бессовестный, под старость... опозорил меня. Говорит: «Вот тебе половина дома. Хочешь — живи здесь, не хочешь — уходи». Видимо, думает, что я сама уйду. Только некуда мне уходить с четырьмя детьми.

— Я все понимаю. Но если у вас такой муж, мы не сможем его изменить. Такими вопросами занимаются специальные организации: милиция, суд, домовой комитет. Обратитесь туда.

Женщина, вздохнув, встала, направилась к выходу. «Оказывается, нигде нет справедливости»,— услышал Ульмасбаев.

— Постойте! — воскликнул он.— Если вы не устроили личную жизнь, при чем тут райисполком? Это же безобразие! У вас плохой муж, а вы черните всех. Если хотите, я сейчас позвоню в милицию. Они могут принять какие-то меры.

Ульмасбаев снял телефонную трубку, но женщина остановила его:

— Не надо, не звоните. Это не поможет. Он ужасно упрямый человек. Наоборот, еще больше начнет куражиться. Я думала, вы поговорите с ним и этого будет достаточно, чтобы человек исправился.

— Но если мы будем заниматься только разными негодяями, что же тогда будет? — Ульмасбаев развел руками.

— Ладно, товарищ Ульмасбаев, извините, что отняла у вас столько времени. До свиданья.— Она вышла.

Настроение у заместителя председателя райисполкома было испорчено совсем. Резь в желудке все усиливалась. «Пропади пропадом такая работа,— подумал он.— Еще врачи требуют, чтобы я не нервничал. Разве можно оставаться спокойным на такой работе? Все

что-то у тебя просят, требуют: дай то, дай другое, помоги в том, помоги в этом... И продолжается это с утра до вечера!»

Ульмасбаев кое-как закончил прием граждан. От боли он не мог выпрямиться. Все тело горело, словно в огне. Он собрал со стола бумажки, вызвал машину и поехал домой.

Жена предложила вызвать «скорую помощь», но Ульмасбаев отказался. Он выпил стакан кефира и лег в постель, положив на желудок грелку. Боль как будто немного отпустила, и он задремал, но вскоре проснулся. Теперь желудок болел нестерпимо. Жена предложила ему чаю. Он накричал на нее, а потом всю ночь метался по комнате, проклиная и свою болезнь, и себя.

Утром он поехал в поликлинику. Ему сделали рентгеновский снимок. Врач долго рассматривал его, а потом настоятельно предложил Ульмасбаеву лечь в больницу. «Сколько бы ты ни работал, все равно никто тебя не оценит и не скажет спасибо,— решил он.— Надо думать о своем здоровье».

Как ответственному работнику района ему выделили хоть маленькую, но отдельную палату, в которой было светло и чисто. «Если бы еще утихла боль, здесь можно было бы и отдохнуть»,— подумал Ульмасбаев.

С первых же дней его начали колоть и посадили на диету, но улучшение не наступало. Теперь уже любая пища вызывала сильную боль и тошноту. Он перестал спать, и тогда ему назначили снотворное. Просыпаясь, Ульмасбаев чувствовал себя еще более разбитым и больным, чем до приезда сюда. Он пожелтел и стал худым. Друзья, изредка навещавшие Ульмасбаева, с трудом узнавали его. Скрывая чувство жалости, они натянуто улыбались, хлопали его по плечу и говорили, что выглядит он молодцом.

Через две недели Ульмасбаева осмотрел профессор — маленького роста, плешивый мужчина лет шестидесяти. Он обстоятельно помял ему живот, внимательно посмотрел результаты анализов и, успокоив Ульмасбаева: все будет в порядке, назначил новые процедуры и лекарства.

Прошла еще неделя. Хотя боли не обострялись, но и не было видимого улучшения. Ульмасбаев всерьез забеспокоился. Мрачные мысли овладевали им. Во время врачебного обхода он ловил взгляды врача и пытался по его реакции определить исход своей болезни, пола-

гая, что врачи никогда не делятся с пациентами своими соображениями по поводу болезней.

Однажды его навестил старый приятель. Войдя в палату, он остановился, пораженный видом Ульмасбаева.

— Что с тобой, Фаттахджан?! Ты сам на себя не похож!

Сообразив, что проявил бестактность, он замолчал.

— Продолжай, продолжай! Неужели я так плохо выгляжу? — почти простонал Ульмасбаев.

— Да нет. Это я так. Просто ты немного похудел. Лечись хорошенько.

Приятель ушел, и больного охватила паника: ему стало казаться, что он скоро умрет.

Утром он высказал все свои сомнения лечащему врачу. Тот созвал консилиум, на который пришли завотделением и три профессора. Врачи долго совещались, даже о чем-то дискутировали. Ульмасбаев жадно слушал их разговор, но мало что понял. Он только смотрел на каждого из них, ожидая приговора. Все три профессора поочередно помяли ему живот, потом долго рассматривали рентгеновские снимки. При этом они обсуждали его болезнь, мало обращая внимания на самого Ульмасбаева, как будто речь шла о какой-то абстрактной болезни. Это обижало его и раздражало. Он едва сдерживал стон от боли, а его «спасители» занимались разговорами.

Ульмасбаев только теперь понял, как справедлива пословица: здоровому больного не понять... Консилиум подошел к концу.

— Больной,— спросил один из профессоров,— вы говорите, что боли не прекращаются?

— Да, не прекращаются.

— Тогда еще раз сделаем рентгеновский снимок, посмотрим анализы. Сейчас трудно сказать что-то определенное по поводу вашей болезни. Но вы не беспокойтесь, все будет хорошо.

Профессор похлопал его по плечу. Однако, как будто не веря, что «все будет хорошо», он говорил, глядя не на больного, а на своих коллег...

Ульмасбаев остался один. Он бросился на кровать, проклиная свою болезнь, черствых врачей, которые много говорят и мало делают, медицину вообще и заплакал от обиды и жалости к себе...

Прошла еще неделя. Ульмасбаев по-прежнему ча-

сто смотрит на дверь палаты, ожидая с каждым приходом врача приговора. Его здоровье, даже сама жизнь находятся в руках врачей. Все зависит от них. Ему хочется услышать обнадеживающую фразу: «Не бойтесь, у вас ничего страшного нет. Мы вас скоро поставим на ноги». Черствость врачей убивает его. Иногда ему хочется учинить скандал, вдребезги разрушить все вокруг. И в то же время врачи — его последняя надежда. Он вынужден терпеливо ждать, иного выхода у него нет, и Ульмасбаев ждет приговора, но врачи молчат...

## ЛИВЕНЬ

Когда я вышел с работы, небо стало хмуриться — налетевший откуда-то ветерок зашелестел листьями деревьев. Где-то вдали уже сверкали молнии и слышались раскаты грома. Огромная черная туча быстро наползала на город. Сильный порыв ветра поднял клубы пыли и закружил листья по улице. Подняв воротник своего плаща, я поспешил домой. Но не успел я пройти и нескольких шагов, как сверху упала одна, потом вторая капля дождя. Я продолжал свой путь. И тут ливанул такой сильный дождь, что из водосточных труб вода стекала, пенясь и бурля.

Чтобы окончательно не промокнуть, пока добегу до дома, я забежал в ближайшую чайхану. Народу там уже было битком. Люди, схоронившиеся от непогоды, столпились у входа. Пройдя в зал, в надежде переждать ливень, я заказал себе чаю. А дождь, как назло, припустил еще сильнее. В окна вижу — на улице ни души. Ливень загнал всех в укрытия. Только одинокие прохожие пробегали мимо, спеша, вероятно, тоже где-нибудь схорониться от дождя.

Ого, а куда это Шляпа направился?! Ну и здорово он промок! Боже, в такую погоду мог бы оставить дочку дома?!

«Шляпой» я его назвал по той причине, что не знал его настоящего имени. С ним я не был знаком. Просто встречал его часто на улице, вероятно, жил он где-то поблизости. Долговязый и сутулый, когда бы я его ни встретил — летом или зимой,— он неизменно был в шляпе и с девочкой на руках. Да и шляпы он носил старомодные, с широкими полями. И еще я ни разу не видел, чтоб он вел свою дочь за руку. Бегу утром на

работу, он стоит на троллейбусной остановке с девочкой на руках. Вечером встречаю его с авоськой, полной продуктов, в одной руке, с девочкой — в другой. Порой удивляюсь: «Надо же так бояться своей жены. Можно подумать, что у других нет детей!» И сейчас та же мысль мелькает у меня в голове от его жалкого вида. Он стоит у входа в мокром плаще, и с полей его серой шляпы струится на пол вода. Дочку он все держит на руках. Она тоже основательно промокла. Презрительно оглядев его, я продолжаю свое чаепитие.

Но как только он вошел, сидевшие в чайхане в углу, на почетном месте, старики повставали со своих мест.

— Иди-ка сюда, Аскарджан! — обратился к Шляпе бородатый старик, сидевший в чапане грудь нараспашку, несмотря на прохладную погоду, уступая ему рядом место.— Ну и намокли же вы! Надо было чуть переждать, весенняя погода как красна девица, быстро меняется. Лучше проходите сюда, выпейте горячего чаю.

— А Юлдузхон дайте мне,— сказал другой старик, тот, что сидел свесив ноги на деревянном топчане.

Аскарджан — так, оказывается, звали «Шляпу» — прошел к старикам.

— Не беспокойтесь... с удовольствием посидел бы с вами, но тороплюсь, к сожалению, ждут неотложные дела,— сказал он, присаживаясь на край топчана. Девочка же разглядывала картинки в журнале, пока отец пил чай.

Аскарджан, как и сказал, сидел недолго. Когда дождь чуть унялся, извинившись перед стариками и тепло попрощавшись с ними, завернув девочку в полу плаща, вышел из чайханы.

Как только он ушел, бородатый старик, тот, что угощал чаем Шляпу, сказал:

— Надо же! Такой парень пропадает. А жаль, в прошлый раз даже отец Саломатхон вмешался — не согласился он. Только, говорят, твердил, бедняга, чтобы его оставили в покое.

— Хороший парень Аскарджан! — подхватил разговор другой, что сидел на топчане свесив ноги.— Умный, толковый. Делает все, чтоб память покойной не оскорбить! Не приведи господь, есть такие!.. Да, Саломатхон была из тех женщин, на которых все заглядывались. Боль утраты не затихает у него...

— Да, Саломат была красивой и умной женщиной,— сказал бородатый старик и задумчиво покачал головой.— Но не знаю, слышали вы или нет, была у нее одна дурная привычка. Да будет ее место в раю, нехорошо плохо говорить о покойной, но стоит мне увидеть Аскарджана, как сердце щемит. Если муж и жена не доверяют друг другу, в такой семье ладу не будет. Покойная сколько доставила ему хлопот. Ох-хо, если подумать, душа у Аскарджана широкая, как река. Саломат-проказница, доверяя такому милому парню, все время ревновала его... устраивала скандалы. Сколько раз мы мирили их. А однажды дело даже дошло до суда. И в такой момент, пригласив Аскарджана, я наставлял: «Будь мужчиной, сынок. Держи себя в руках. Скандал женщины подобен ливню — прольет и перестанет», успокаивал я его. Позже, когда он ссорился с женой, он то с обидой, то в шутку говорил: «ливень начался» или «ливень прошел». Но нет, так Саломатхон и ушла, не доверяя мужу. Прошло вот уже два года, как она умерла, а Аскарджан до сих пор ни на кого не глядит. С утра до ночи возится со своей любимицей — Юлдузхон, оставшейся ему в память о Саломат. Вы видели, как под проливным дождем он шагал, весь промокнув до нитки. Видно, скучает по Саломат. Пусть хоть настоящий ливень прольется, думает, бедняга.

Выйдя из чайханы, я отправился домой. Погода уже разгулялась. Листья деревьев, умытые весенним дождем, сверкали изумрудной зеленью и переливались в лучах заходящего солнца.

Почему-то мне захотелось, чтоб вновь пошел ливень и чтоб Аскарджан, который мне не нравился, вновь вышел на улицу.

Но небо было безоблачным.

## ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Переходя к правлению совхоза по доске, переброшенной через траншею, выкопанную для газопровода, я споткнулся и чуть не свалился в ров. Кто-то ловко подхватил меня под руки со словами: «Будьте осторожны, гость». Оглянувшись, я увидел пожилого мужчину лет шестидесяти. Я и раньше не раз бывал в совхозе, но так и не мог припомнить этого человека.

Старик был в новых очигах с галошами и в старом потертом тулупе. Он стоял улыбаясь, приложив к груди морщинистые руки. Тихо поинтересовался:

— Далеко ли путь держите, сынок?

— В правление, отец...

— Хотите встретиться с Сотывалды? Пойдемте, я вас провожу.

— Спасибо, не стоит беспокоиться.

— Да какое там беспокойство.

С любезностью, присущей жителям кишлака, он проводил меня до входа в правление и, указав на дверь слева, сказал:

— Вам сюда!

А сам неторопливой походкой пошел и сел на скамейку напротив входа. Поблагодарив его, я вошел в здание.

У директора я задержался надолго. Поговорив с ним о делах и о своих планах, я решил заглянуть на ферму и, выйдя на улицу, заметил, что старик все еще сидит на скамейке. Увидев меня, он встал, отряхнув тулуп и, спросив: «Все ли дела решились?» — увязался за мной. Из уважения к старику я не стал отвечать ему грубо, а про себя решил, что, вероятно, он проводит меня до угла и отстанет.

А когда, перейдя через мостик, мы вышли на шоссе, он вдруг серьезно спросил:

— А теперь куда путь будем держать?

Сначала я удивился, потом разозлился: в конце концов я этого человека вижу впервые — и что ему от меня нужно? Привязался как банный лист. Я решил объясниться с ним.

— Я иду на ферму, отец. А что, вам тоже туда нужно? — спросил я холодно.

— А что, можно и на ферму... нужно так нужно...

Старик явно выводил меня из себя, но я, стараясь скрыть свое раздражение, сказал:

— У вас ко мне дело, отец? Вы что-то хотели спросить?

— Нет-нет, что вы, я просто сам... вы все-таки наш гость.

— Да не волнуйтесь, отец. Эти места я знаю как родные. Не раз приходилось бывать.

— Молодец, сынок, молодец...

Я шел по направлению к ферме, а старик не отставал. Я хотел спросить: может быть, у него дела, но

подумал, что человек он пожилой,— стоит ли мне его зазря обижать. А он, как будто чувствуя это, шел молча, стараясь не выводить меня из терпения своими вопросами. Лучше бы он заговорил со мной о чем-нибудь, чтобы развеять плохое настроение. А он только идет рядом, изредка поглядывая в мою сторону. Это еще больше злило меня.

Наконец мы добрались до фермы. Доярка, о которой я собирался написать очерк, была занята работой, и потому, чтобы не мешать ей, мы остались ждать ее во дворе. Старик не отходил от меня далеко. Усевшись на старом заброшенном плуге, изредка поглядывал на меня.

Минут через десять, не сказав ни слова, я вошел на ферму. Старик вскочил со своего места, намереваясь вроде бы что-то сказать, и тут же молча сел обратно. Я же решил посмотреть, что же он там делает, и, приблизившись к грязному, пожелтевшему от пыли окну, выглянул наружу. Старик, задумчиво опустив голову, сидел на прежнем месте на плуге. Я не переставал удивляться. Что он за человек?! И что ему от меня надо?

Доярка оказалась на редкость скромной, разговор у нас не получился, я и двух слов из нее не вытянул. Сказала только, что в прошлом году окончила десятилетку и решила остаться в совхозе, теперь работает в комсомольско-молодежной бригаде. Работает, старается, перевыполняет план, вот и пошла слава по району как о передовике.

Я ловлю себя на том, что беседую с девушкой, а мысли мои о старике, который остался снаружи. И тут у меня мелькнула мысль: уж нет ли у него для газеты какого-нибудь критического фактика, а иначе зачем же ему преследовать меня. Но если так, он ведь даже не поинтересовался, кто я, где работаю. Да и встретились мы случайно. А может, он меня уже знает и видел меня в мой прошлый приезд. Сейчас закончу дела, выйду и, если он сидит и ожидает меня, отчитаю как следует, скажу, чтобы не ходил за мной, как хвост.

На ферме я задержался надолго: сначала ознакомился с условиями работы доярок, послушал мнение других работниц о подруге... и наконец, когда пожелав всем успехов в работе, я вышел во двор, старика на месте не оказалось. Мне даже стало не по себе. С одной стороны, я был рад, что избавился от своего

назойливого спутника, с другой — переживал, что так и не узнал, чего же он меня преследовал. «А может, он, как это свойственно пожилым людям, хотел поделиться со мной своими наблюдениями, чувствами? Зачем же я так поспешил, почему не сказал ему ободряющих слов?»

Я уже стал жалеть о том, что так плохо подумал о пожилом человеке.

Возвращаясь обратно и проходя мимо большого стога сена, я вдруг увидел человека, спешащего мне навстречу. Узнав в нем своего провожатого, я облегченно вздохнул. Но его поведение показалось мне странным. Было в его поведении что-то льстивое, заискивающее, и в душе у меня снова возникло сомнение относительно его намерений. Я сердито нахмурился, сделав вид, что очень устал. Старик подождал, пока я поравняюсь с ним, и заискивающе спросил:

— Ну как, все дела сделали, гость?

Я молча отвернулся и продолжал свой путь. Он семенил за мной следом.

— Сынок, как у вас сегодня со временем, не могли бы ко мне заглянуть на пиалу чая? — попросил он умоляюще.

Я, пожав плечами, мол не знаю, увел разговор в другую сторону:

— Мне еще надо встретиться с комсоргом совхоза...

— С нашим Каримберды? Так он мой сосед. Но сейчас он в правлении. Тогда пошли к нему.

И он пошел впереди, как бы указывая дорогу. Старик вновь начинал меня злить. Остановившись, я резко и гневно сказал ему:

— Отец, если у вас дело ко мне, то не стесняйтесь, говорите.

Старик обиженно посмотрел на меня:

— Я, кажется, вам мешаю, сынок?

После этих слов мне пришлось, естественно, умерить свой пыл.

— Нет-нет, совершенно не мешаете. Просто я подумал: вы пожилой человек — и зачем вам понапрасну ходить, уставать.

Он, довольный, улыбнулся.

— Если так, пошли, сынок, к Каримберды. Я сам вас к нему отведу.

Долго мы шли молча. Снова, пройдя по мостику че-

рез траншею и подведя меня к двери кабинета комсорга, он внимательно посмотрел мне в лицо.

— Очень похож,— сказал он, удивляясь,— ну просто вылитый Аскарджан... И брови, и глаза...— Он часто заморгал глазами, вытащил из кармана платок и, чтоб я не видал его слез, отвернулся и вышел на улицу.

Я же, растерянный, вошел в кабинет комсорга совхоза. Каримберды Иногамов рассказал мне о совхозной молодежи с таким энтузиазмом и радостным волнением, что трудно все это передать. Завершив разговор и прощаясь, я между делом поинтересовался стариком, увязавшимся за мной. Каримберды, заинтересованный (кто же это может быть?), выглянул в окно.

— Да это же Мирзараим-ата! — сказал он радостно.

Я подошел к комсоргу.

— Сказал, что я очень похож... да, на Аскарджана...

Каримберды посерьезнел, прошел на свое место за столом и тихо сказал:

— Сын его. Единственный у него был сын. Погиб во время взятия рейхстага. Я видел его на фотографии.— Потом внимательно посмотрел на меня:— Да, действительно похожи. Но он был чуть полнее вас.

Я стоял у окна и смотрел на улицу. Мирзараим-ата о чем-то переговаривался с мальчишками, игравшими в снежки, временами поглядывая в нашу сторону.

Я поспешно вышел из кабинета.

## ДОМ, ГДЕ ТЫ РОДИЛСЯ

Тихо покачивали на ветру ветвями только что распустившие почки одинокие деревья. Тук-тук — постукивали они по жестяным крышам полуразвалившихся после землетрясения домов.

Поваленный ковшом бульдозера старый тополь прислонился к стене дома и, несмотря на оголившиеся корни, тоже продолжал цвести. На макушке его строители укрепили прожектор, и он, освещая все вокруг ярким светом, слепил глаза. Несмотря на поздний час, не умолкая работали бульдозеры, то двигаясь вперед, то пятясь назад, поднимая кучи пыли, выполняли привычную для них работу.

Дома с двойными каркасами под ударами бульдозеров, сотрясаясь, скрипели и не рушились, не желая сда-

ваться. По генплану следовало старые дома до лета снести и на их месте проложить проспект. Вот почему и днем и ночью тут кипела работа.

Райисполком давно уже выделил ордера жильцам этого квартала в новых домах Чиланзара. Некоторые, попросив участки, взялись строить себе дома сами. Словом, и в полночь на этой оживленной когда-то улице кипит работа.

Но жил здесь один старик. Месяц назад его семья переехала на новую квартиру в Чиланзар. Но каждое утро, не ленясь, он появляется на этой улице и сидит в тени, наблюдая за ходом работ. Сейчас среди груды развалин трудно даже определить, где был его двор. Но он все равно приезжает сюда каждый день как на работу. Придет с утра пораньше, пока еще строители не начали трудиться, обойдет со всех сторон свой дом с полуразвалившимися стенами, потом, тяжело вздохнув, расстелет под высохшей орешиной свой халат и, присев, молча наблюдает за работой бульдозеристов. Когда это занятие ему надоедает, он встает поразмять ноги, собирает по двору хворост, осколки старой посуды и все это аккуратно складывает в одно место, хотя понимает, что этот хлам никому не нужен.

Однажды невысокого роста бульдозерист, татарин, шутливо спросил старика:

— Эй, бабай! Зачем вам весь этот хлам, уж не собираетесь ли взять его с собой в новый дом?

Старик молча, презрительным взглядом окинул парня, потом, махнув рукой: мол, что ты понимаешь, снова принялся собирать обломки.

Первые два-три дня старик ни с кем не разговаривал, метался по своему бывшему участку. Потом, постепенно перезнакомившись со строителями, стал приносить им из дома гостинцев. Теперь придет пораньше, соберет обломки досок, хвороста и щепок, разожжет огонь в старом очаге и, поставив кем-то забытый помятый алюминиевый чайник, кипятит в нем чай. Расстелив свой халат на соломенном коврике, приглашает строителей на чай. Они с радостью отвечают на приглашение, выглядывая из пыльных машин, и кто-нибудь из парней обязательно в шутку заметит:

— И чего это вам, отец, не сидится на месте? И что вы все ходите, страдаете? Лежали бы в свое удовольствие в теплой ванне и в ус не дули!

— Эх, невежда! Куда от земли далеко уйдешь! —

почему-то грустно вздыхая, отвечает старик.— Когда перед глазами не видишь взращенного тобой деревца, трудно, оказывается, сынок.

— Не спешите, отец. Еще у вас там зацветет райский сад.

— Э, сынок! Разве зацветет, если ждать, когда государство нам деревья посадит? Люди сами должны об этом позаботиться. А то придут с работы и сидят взаперти, по своим квартирам, смотрят телевизор. И на улицу носа не высунут. На, попей-ка чаю с сахаром, шоферов бы своих тоже позвал.

Парень, загнув средними пальцами кончик языка, громко свистит. Не проходит и минуты, как, стряхивая пыль с одежды, появляются шоферы и еще один бульдозерист. Поздоровались, присели рядом. Угощая их чаем, старик вдруг спросил, указывая на свой дом:

— Когда собираетесь его ломать?

— Скорее всего завтра. Идем по порядку с одного края.

— Можно вас попросить ломать его в последнюю очередь?

— Что, дед, доски понадобились?

— Да на что они мне — все прогнили.

— А что ж тогда просите отложить ломать?

— Да так, сам я... не хотел видеть, как будут ломать мой дом.

— Эх, отец, отец! И что вы переживаете за эту полусгнившую развалюху! Или новая квартира не по нраву? Газ, горячая вода. Не надо запасаться на зиму ни углем, ни дровами. Да и омовение можно в ванной совершать.

Старик потер свой морщинистый лоб и задумчиво сказал:

— Ребенок ты еще, сынок, раз не понимаешь. Когда все у тебя под рукой — и жить становится скучно, неинтересно. Каждому свое — утке озеро, а человеку землю. Вообще-то тысячи раз хвала государству за все, что оно делает для нас, для народа! Но запомни: место, где ты родился, бывает одно в жизни, и трудно с ним расставаться. Разве может человек расстаться с прошлым? Ведь без прошлого не было бы сегодняшнего и, значит, завтрашнего.

— Я с вами не согласен, отец,— вмешался в разговор другой шофер.— Сейчас наступили другие време-

на. Человек живет там, где лучше, благоустроеннее. А таких, как ваш, домов мы эх сколько разрушили.

— Не посчитайте меня неблагодарным, раз я переживаю за свою развалюху. Это не значит, что мне не нравятся новые просторные квартиры со всеми удобствами. Дело совсем в другом. Если сегодня мне нравится этот дом, а завтра другой, а послезавтра — третий, какой же я человек непостоянный. Ведь человек рождается в одном месте, и с этим местом его связывает многое — детство, юность, зрелость.— Старик потер лоб и снова задумался.

И шутник бульдозерист и упрямый шофер замолчали. И старик молчал. Парни повставали с мест, благодаря старика за гостеприимство. Старик в этот день понурый отправился домой, и два дня его не было видно.

...А вчера он снова появился в махалле. Выглядел он бледным, осунувшееся лицо заросло щетиной, глаза припухли и покраснели. По привычке он молча обошел все свои комнаты, потом под орешиной, расстелив свой халат, стал собирать дрова. Оглянувшись, он заметил, что шофера стояли поодаль, готовые по приказу старика начать рушить последнюю оставшуюся развалюху.

Старик подозвал к себе вытиравшего ветошью замасленные руки бульдозериста-татарина и повел его в свой дом.

— Этот дом построил мой покойный отец,— сказал он грустно.— Когда я был совсем маленьким, здесь в углу стоял сандал — деревянная печь, лежа в ней под одеялом, я считал на потолке балки — перекрытия,— усмехнулся старик.— Телевизоров тогда не было! Вон там в углу, на третьей балке, свили себе гнездо осы. Всю ночь жужжат, не давая заснуть. Утром вставали — все одеяла в белом порошке. Отец это заметил, попросил мать вскипятить воду. Потом он меня посадил на плечи. Мать подавала мне в пиале кипяток, а я выплескивал его на осиное гнездо. Я тогда чуть сам не ошпарился. Но ос мы всех уничтожили. Видишь, вон тот крючок — на него вешали мою колыбельку, говорила мне покойная мать. Да будет ее место в раю,— старик провел сложенными ладонями по лицу.— А вот на той перекладине вешали связку лука...

Бульдозерист нетерпеливо стал поглядывать на часы: видно, опаздывал на работу. Старик, почувство-

вав это, не стал более задерживать его. Выходя из дома, бульдозерист сказал, обращаясь к старику:

— Отец, мы вас считаем своим чайханщиком. К обеду заварите-ка нам покрепче чаю.

Старик молча кивнул. По дороге на свое место под орешиной он стал подбирать обломки досок, клочки газет. А бульдозеры вовсю тарахтели, и от их треска, казалось, оглохнут уши. Старику бульдозеры напомнили диких зверей, готовых с ревом наброситься на свою добычу.

Стараясь не глядеть, как рушат его дом, старик повернулся к ним спиной и стал разводить огонь. Но когда с гулом рухнула передняя стена, он, не выдержав, оглянулся. А когда улеглась пыль, заметил, что стоит один только скелет от бывшего прежнего дома. Бульдозер, подавшись назад, с разгона снова ударил по оставшейся стене. Дом затрещал, затрясся, но устоял. Старик не удержался, подбежал к бульдозеру и закричал так громко, что вздулись от гнева жилы на шее:

— Эй, потише! Потише, говорю тебе! Не болит у тебя душа — да?!

Но бульдозерист за грохотом не расслышал слов старика. Махнув ему рукой, чтоб отошел в сторону, надавил на газ. Еще одна стена рухнула от удара. Старик стоял как вкопанный, потом, даже забыв про свой халат, шлепая по пыли, поспешил домой в Чиланзар. Занятые работой строители не заметили, как старик ушел. А когда, закончив работу, они вышли из своих машин и захотели попить чаю, старика под орешиной не оказалось. На почти затухшем очаге шипел чайник.

Старик так больше и не приходил.

## ТОЧИЛЬЩИК

— Ка-астрюли пачиняю!.. Самоваары пачиняю!.. Та-ачу ножи!..

Услышав знакомый голос точильщика, мы выбегали на улицу. Во дворах вдруг начиналось веселое оживление: слышалось громыхание ведер и другой металлической посуды — и вмиг небольшая поляна против нашего дома наполнялась криками женщин и шумными ребячьими голосами. Расположившись в тени развесистого карагача, «дедушка», так мы звали старика точильщика, начинал по очереди внимательно осматри-

вать вынесенную нами прохудившуюся посуду и тут же говорил, когда можно будет прийти за готовым заказом. Объяснял он все это смешными жестами, вставляя два-три узбекских слова, которые знал. Старик умел делать все — лудить, паять, точить ножи, склеивать разбитую посуду,— как и все мастера, что тогда ходили по дворам. В детстве я их перевидел много, но этот, которого мы прозвали «дедушкой», до сих пор стоит у меня перед глазами...

Дедушка до того ловко и умело склеивал разбитые чайники и пиалы, скрепляя их затем металлическими скобочками, что мы диву давались, когда из-под его рук появлялся вдруг целехонький чайник.

Слева от поляны, где обычно располагался дедушка, находился заброшенный высохший пруд. Он и сейчас существует. Как и прежде заброшенный. Раньше, когда в каком-либо из домов поливали грядки, сточная вода собиралась в этом пруду. И потом в течение двух-трех дней нас, мальчишек, нельзя было вытащить из воды. С утра до вечера, несмотря на угрозы наших матерей отстегать нас прутьями, мы с наслаждением купались в мутно-желтой воде и загорали на берегу.

А так как дедушка устраивался на открытой поляне в тени старого карагача, то в течение дня он передвигал свой коврик, следом за его тенью. Когда он уставал от работы и жары, то, отнеся свой ножной точильный станок подальше в тень дерева, спускался к пруду умыть лицо и руки. Случалось, мы купались в это время, и он обязательно играючи брызгал на нас водой, потом доставал из длинной замасленной котомки краюху хлеба и ел, обмакивая в воду.

Когда заказов было много, он работал дотемна, и даже, когда становилось совсем темно и ничего нельзя было различить на расстоянии вытянутой руки, он продолжал копошиться на своем излюбленном месте. Несмотря на то что он был одноруким, он с какой-то легкостью, собрав все пожитки в мешок, ловко закидывал его за спину. А когда он точил старые ржавые топоры, серпы или ножи, придерживая их одной рукой и откинув голову в сторону, казалось, едва касаясь точильного круга, из-под которого летели снопы искр, мы любовались тем, как он это проделывает. Временами он бросал на нас взгляд и подмигивал, иногда шутил по настроению, но мы многого не понимали по-русски. Старик был высокого роста, худощавый, оброс-

ший густой бородой. Одет он был в старенький пиджак, из-под которого виднелась матросская тельняшка. Пустой рукав, там, где не было левой руки, был заткнут за ремень, чтобы не болтался. Даже в жаркие дни он не снимал с головы старой ушанки, одно ухо которой торчало вверх, а другое висело, как у дворняжки. Никто не знал, как его зовут. Хоть и не был он очень старым, все звали его дедушкой.

В те трудные военные годы люди редко платили деньгами за работу. Все, что приносили ему, будь то ячменная или кукурузная лепешка, ведро яблок или миска тутовника, он молча ссыпал в свою котомку, как бы говоря: «Ну вот, видите, как здорово!» Отдавая хозяину отточенный нож или залатанную посуду, он поднимал большой палец правой руки и добавлял: «Во!»

...Тогда, я помню, было много заказов — и дедушка работал не покладая рук. А спустя несколько дней в домах, видно, не осталось дырявой, разбитой посуды, неточенных ножей, и никто уже не спешил к нему с заказами. Стоял жаркий летний месяц, когда, казалось, от жары и листочек не шелохнется на дереве. Дедушка дремал в тени карагача, прислонившись к стволу, разложив свои инструменты на коврике перед собой, в ожидании хоть какой-нибудь работы. Не шипел его примус, и не вертелся точильный круг, рассыпая брызги искр, и нам, мальчишкам, стало неинтересно. Постояв немного возле него, со скуки мы шли купаться в пруд или расходились по домам. С наступлением темноты дедушка не спеша собирал свои пожитки в мешок, вешал его на точильный станок и, взвалив все это на плечо, шел куда-то мимо базарчика. Мы не знали, где он живет. Но утром, когда мы появлялись на улице, дедушка уже сидел на своем месте под карагачом.

До сих пор я хорошо запомнил, как в те жаркие дни мама готовила айран — напиток из кислого молока, разбавленного холодной водой, — в большом эмалированном тазу, и мы целый день спасались им от жары, утоляя жажду кислым освежающим напитком. Порой мама, придя во двор с улицы, замечала:

— Дедушка, бедняжка, до сих пор сидит на солнцепеке. — По лицу было видно: жалеет она его. — Акрамджан, сынок, вынеси дедушке айрана, пусть горло промочит, бедняга. Сделай доброе дело, сынок.

Сначала я стеснялся, а потом, привыкнув, уже не дожидаясь, когда мать мне об этом напомнит, стал но-

сить ему айран сам. Дедушка, приняв от меня чашу с айраном, залпом осушал ее, от удовольствия прищуривая глаза, и, вытерев усы и бороду, показывал мне большой палец: «Во!» Потом он, по-моему, предлагал мне вынести из дома что-нибудь починить из посуды, так, по крайней мере, я понимал его странные жесты. Я, улыбаясь, убегал домой.

Вот уже несколько дней никто не несет дедушке новых заказов. Как-то ближе к вечеру я вышел на улицу и увидел точильщика сидящим на берегу пруда. Он сидел спиной ко мне и, естественно, не заметил, как я близко подошел к нему. Я увидел, что дедушка, прижав подбородком к груди горловину мешка, правой рукой роется на дне. Он наскреб оставшиеся крошки хлеба и закинул в рот. Мне даже стало не по себе. «Он голоден! И нет ни куска хлеба у него!!» Вытирая вспотевшую худую шею, он обернулся и, увидев меня, едва заметно улыбнулся. И тут мне внезапно пришла в голову мысль, ни слова не сказав, я помчался домой. Разыскав скатерть, в которую мама обычно заворачивала хлеб, я обнаружил там две кукурузные лепешки — наш ежедневный паек. Одну мать брала с собой на работу, а вторую она оставляла мне с сестрой. Схватив лепешку, я выскочил на улицу. Дедушка уже был на своем обычном месте в тени карагача. Подбежав, я протянул ему кукурузную лепешку. Старик сначала опешил, глаза его смотрели на меня растерянно и жадно, сглотнув слюну, он оглянулся по сторонам «Нет-нет, нехорошо, я не могу это взять,— говорили его глаза и жесты.— Отнеси лепешку обратно домой!» Я стоял с протянутым хлебом и чуть не плакал от жалости. «Так ведь голоден... лучше взял бы... ведь я отдаю ему свое... ну почему не берет?..»

Нет, он так и не взял. Расплакавшись, я убежал домой. Ну, как же мне ему отдать лепешку? И вдруг вспомнил, что вчера, собираясь мастерить рогатку, я затупил об камень недавно заточенный топорик и, чтобы не заметила и не ругалась мать, спрятал его в хлеву в куче хвороста. Найдя топорик, я вновь поспешил к дедушке. «Пожалуй-ста, по-то-чите во-от это!» — сказал я, с трудом переводя дыхание. Дедушка взял топорик, внимательно осмотрел его и, покачав головой, принялся за дело. И снова улицу наполнил звон точильного круга. Дедушка отломил от предложенной мной лепешки небольшой кусочек и бережно положил

его в свою котомку. Покопавшись, он достал оттуда обтрепанную по краям небольшую фотокарточку... На фото я увидел дедушку, там он выглядел намного моложе и одет получше, справа от него сидела полноватая курносая женщина, а между ними стоял мальчишка моего примерно возраста и держал в руке цветок. Я поднял взгляд на дедушку — он улыбался, но глаза его были полны слез. Отвернувшись и крепко высморкавшись, он вытер глаза и, быстро взяв себя в руки, повернулся ко мне и жестом показал, как летит птица или самолет, потом пояснил: «Вжж!.. Бумм!.. Самолет!.. Вжж!.. Бумм!..» И, указав на женщину и мальчика на фотографии, закрыл глаза и сложил руки. «Они теперь спят»,— говорил его жест. Но я все понял. И, видя, с каким вниманием я его слушаю, как близко к сердцу я это воспринял, он нежно погладил меня по головке...

Я больше не встречал старика точильщика. Ни на другой день, ни позже он не появлялся на нашей улице. Может, он и сейчас жив, а может, умер. Уж столько лет прошло, но до сих пор, стоит мне вспомнить военное детство или увидеть встревоженную кем-то ласточку, почуявшую опасность над своим гнездом, поверите ли, перед глазами встает тот бедный дедушка...

## ЛАСТОЧКА

Весной, как правило, просыпаешься рано. Проснешься и лежишь, отходя ото сна. Легкий весенний ветерок задувает в окно, колышет занавески. Но стоит солнцу чуть прогреть землю, как ветерок вдруг стихает, словно кто нарочно взял и выключил его. Своих воздушных змей мы запускали утром в такие вот ветреные часы. От росы блестела трава, и мы выходили на зеленеющие поля, слегка прогретые теплым весенним солнцем...

Как-то я, сидя во дворе, склеивал своего воздушного змея. Вчера во время запуска он зацепился за верхушку старого тополя, и, пока я его снимал оттуда, он весь истрепался. Отличный был змей! До того стало обидно, что я возненавидел этот старый тополь, на котором было больше птичьих гнезд, чем листьев, и он весь был какой-то кривой, от бесконечного подрезания

верхушки, стал каким-то однобоким и уродливым. Ах, если б хватило у меня силы, я бы его вырвал с корнями, подумал я. Но, во-первых, он был таким широким в обхвате, что спилить его я один не мог; во-вторых, даже, если б, предположим, я это мог сделать, отец бы мне этого не позволил. Уж сколько соседи твердили ему: «Спилите эту трухлятину, ведь ветром может повалить и кого-нибудь придавить, будет тогда делов!» Но отец все равно не соглашался, а подходя к могучему стволу и пробуя раскачать, отвечал: «Да он еще крепок, великан, нас с вами переживет... Я бы его срубил, да птичьи гнезда жалко»,–и ласково гладил ствол, поглядывая наверх, где в ветвях свили себе гнезда птицы.

В то утро, когда я приводил в порядок своего змея, мать разводила огонь в тандыре, чтобы напечь с утра лепешек. Отец же, кажется, с утра сердит и из дома не выходил. С ним это бывало часто, когда они с матерью выясняли отношения. Бабушка же на своем привычном месте у окна лежала на кровати, глядя в потолок. Время от времени она обмахивалась платком, отгоняя назойливых мух. Она давно была прикована к постели тяжелой болезнью. У нее не двигались ноги и левая рука. Сколько помню себя — бабушка всегда лежала на кровати у окна. Когда приходили врачи, отец с матерью помогали ей привстать, поддерживая под руки. Но бабушка никогда не жаловалась на свою судьбу. В одном и том же положении она лежала на кровати бледная, и губы ее постоянно что-то нашептывали. Чтобы не беспокоить бабушку, мы старались в доме не шуметь. Мать говорила мне, что, если будем шуметь, больше расстроится отец, чем бабушка. А она отца жалела. И по этой причине, если неожиданно падало и гремело ведро или наша корова начинала громко мычать, мы все как по команде бросали взгляд на бабушку — а она как ни в чем не бывало молча лежала, поглядывая куда-то вверх: то ли в небо за окном, то ли в потолок.

И еще, по рассказам матери, я знал, что у меня был дядя по имени Кахрамон, старший сын моей бабушки. Дядя Кахрамон ушел на фронт биться с фашистами, да так и не вернулся. На него пришла похоронка. Но бабушка до сих пор не верила, что дядя погиб, и все ждала его возвращения. Вот так она и жила надеждой, каждый раз моля бога. Я даже слышал, как она шепта-

ла: «О создатель, сделай так, чтоб он вернулся, чтоб я наконец дожила до этого радостного дня!..»

Я сижу клею своего воздушного змея... Взошедшее солнце зажгло верхушки старых тополей. И на цветах яблонь, вишен, только распустившихся нежно-зеленых листочках винограда заиграли солнечные лучи. Оживленно зачирикали воробьи.

А над моей головой послышалось чье-то громкое щебетанье. Я взглянул наверх — на проводах, которые тянулись от соседей к нашему столбу, как нотные знаки, в ряд сидели ласточки. Я даже не заметил, когда они прилетели. Они сидели плотно прижавшись друг к другу и, как давно не видевшиеся старые друзья, рассказывая что-то интересное, щебетали наперебой.

— Ур-ра! Ласточки! Ласточки прилетели! — закричал я, не в силах сдержать своей радости.

Мама в это время доставала лепешки из тандыра. От моего крика она даже вздрогнула и выронила лепешку из рук. Потом, погрозив мне кочергой, чтоб замолчал, глазами указала на окно, за которым лежала бабушка. А я все еще с волнением, показывая наверх на электрические провода, продолжал восторгаться: «Ласточки!»

Мама повернула раскрасневшееся от жара лицо туда, куда я указывал, и от удивления присела на пороге.

«Спасибо, что дал дожить до этого дня... спасибо, что дал дожить до этого дня», — без конца повторяла мать, глядя на резвившихся ласточек.

Услышав мои крики, на веранду из комнаты вышел отец. Он тоже залюбовался ласточками. Потом осторожно, чтоб не спугнуть птиц, прошел к окну, где лежала бабушка, и указал ей на ласточек. Поговорив с ней о чем-то, отец взял из рук бабушкин платок, некоторое время обмахивая ее лицо. Затем он подошел ко мне, наклонился и поцеловал в лоб, глядя на маму, сказал:

— Ну, я пошел, мать, а то в бригаде заждались... Говорят же — об осени по весне судят, — гулко ступая, он быстро вышел со двора. Мама даже не успела сказать ему, чтобы отец взял с собой горячих лепешек.

Я посмотрел туда, где лежала бабушка, мне показалось, что бабушка обмахивается платком, но оказалось, что она подзывает меня к себе. Я тут же подбежал к ней.

— Ласточки, что ли, прилетели, верблюжоночек

мой? — спросила она, поглаживая мне лоб своими худыми, костлявыми, с синими прожилками вен руками.

Я сказал, что они сидят на проводах и щебечут. Прищурив ввалившиеся глаза и прикрыв их ладонью, она вглядывалась туда, куда я указал, но так, по-моему, ничего и не разглядела.

— Да,— сказала она, облегченно вздохнув.— Слава богу, снова ласточки прилетели.

## УРОК

Батыр, несмотря на свой хилый вид, слыл в нашем классе самым драчливым мальчишкой; а Джура же, наоборот, спокойным, хотя был крепкого, атлетического сложения.

Мы все, одноклассники, делились на два «лагеря». Одни были сторонниками Батыра, другие — Джуры. Сказать по-честному, без сомнения, Джура был сильнее Батыра физически. Но Батыр не уступал ему в напористости, в задоре. Однажды он даже умудрился проткнуть пером Джуре щеку. И тогда к нам в класс приходил сам директор школы, и сколько потом было разговору и бесконечных вызовов в учительскую и в кабинет директора. Вообще-то зачинщиком всех драк в классе всегда выступал Джура, и это несмотря на то, что был он тихим. Не зря, оказывается, говорят: в тихом омуте черти водятся!

Вот и вчера Джура ни с того ни с сего взял и выстрелил из трубочки косточкой от урюка в ухо Батыру, который в спешке на перемене списывал у кого-то домашнее задание. Батыр, завыв от боли, схватился за ухо и, вскочив, запустил портфелем в Джуру. Тот ловко увернулся и, схватив грохнувшийся рядом портфель, швырнул его обратно. И тут между двумя лагерями начался великий бой.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если б в это время в класс не вошла учительница литературы Хуршида-апа... Мы все расселись по своим местам. Класс трудно было узнать — в проходах, возле учительского стола, у двери странички распотрошенных учебников, ручки, карандаши, ластики, крошки хлеба. Под партой, за которой сидел Джура, лежал кусок хлеба с маслом, раздавленный чьей-то ногой.

Увидев такую жуткую картину, Хуршида-апа нахмурилась и как вкопанная остановилась у двери.

— Кто это сделал?..— возмущенно крикнула она, все тут же притихли и опустили головы. — Глупые! Ну до чего глупые...— дрожащим голосом повторяла она и, присев на корточки, начала собирать с пола хлебные крошки.

На глаза ее навернулись слезы. Хуршида-апа подносила к губам каждую крошку, сдувала пылинки и, как бы целуя, клала на ладонь. Когда ладонь наполнилась, она достала из кармана свой платок и, расстелив его на полу, стала собирать в него. Девочки переглянулись и кинулись помогать учительнице. Хуршида-апа вдруг резко вскочила и выбежала из класса. «Сейчас приведет директора!» — испугались мы. Но через некоторое время она возвратилась одна. Вероятно, выходила успокоиться, взять себя в руки...

Хуршида-апа прошла к своему столу. Отодвинула в сторону классный журнал. Дрожащими от волнения руками пригладила тронутые сединой волосы, задумалась, как бы собираясь с мыслями, перед тем как что-либо сказать нам серьезное. Класс притих. А Джура и Батыр сидели, виновато опустив головы.

Несмотря на то что в классе стояла тишина, Хуршида-апа почему-то не начинала урока. Всегда сдержанная, тихая, она разговаривала всегда с нами спокойным тоном. И вдруг она заговорила громко, выразительным голосом, словно декламировала стихи.

— Давно это было, но я помню это как сейчас. Была я тогда девчонкой. Время было военное. Мужчины на фронте. В кишлаке остались женщины, старики да дети. Тяжело было... Да что там говорить!.. В одном казане готовили на весь кишлак похлебку! На день нам, детям, выдавали по куску хлеба. Мы старались растянуть удовольствие и этот небольшой кусочек хлеба ели целый день, отщипывая от него по крошке...— Хуршида-апа ходила от окна к двери, изредка поглядывая на нас, и глаза ее были печальными.— Однажды вечером шла я домой берегом речки. И вдруг слышу где-то рядом плач ребенка. Остановившись, я стала прислушиваться. Так плачут дети, когда у них что-нибудь отнимают дорогое. Присмотревшись, вижу: на противоположном берегу шагает на костылях недавно вернувшийся с фронта без одной ноги наш сосед. Лицо черное, осунувшееся, а на руках плачущий ребе-

нок. Сосед меня за кустами не видит. Он шагает на костылях, левой рукой прижимая ребенка к груди. Временами, когда ребенок замолкал, до меня чуть слышно доносился его голос.

«А-а, постреленок! Дай разок укушу, только разок! — говорит он, стараясь ртом поймать руку мальчишки. А ребенок, пряча от отца маленькую ржаную лепешку, которую ему выдали в детском саду, плачет. И каждый раз, когда отец собирается откусить кусочек лепешки, мальчишка начинает визжать. Я так расстроилась, что, не выдержав, закричала:

«Не трожьте! Не обижайте малыша! Как вам не стыдно!»

Сосед от неожиданности чуть не упал, с трудом удержавшись на костылях. Потом, прижав малыша к груди, на ходу оборачиваясь, заковылял, пока не скрылся с глаз. С тех пор, как меня завидит, так сразу бежит... А мне его потом стало жалко... зачем я его тогда обидела... ведь чем он виноват, что, пройдя через войну, он живой вернулся в кишлак. Может быть, тогда его черт попутал, как говорили старики, и он не ведал того, что делает... ведь он тоже живой человек. Увидев кусок хлеба, не смог себя сдержать. Я очень переживала, что ни за что тогда накричала на него. Позже, чтобы как-то искупить свою вину, при встрече я приветливо здоровалась с соседом, пыталась с ним заговорить. Но он почему-то всегда избегал меня. Стоило ему завидеть меня издалека, как он тут же поворачивал на другую улицу или шел обратно, словно был передо мною в чем-то виноват...

Хуршида-апа замолчала, потом подошла к Джуре и, положив ему на плечо руку, тихо сказала:

— Этот наш сосед давно умер, Джурабай. А малыш, что плакал, не желая давать откусить кусочек лепешки, сейчас самый уважаемый в кишлаке человек. Ты знаешь, о ком я говорю. До сих пор я никому об этом не рассказывала. Это были твой дед и отец.

Хуршида-апа погладила Джуру по голове и, не дожидаясь звонка, вышла из класса.

## СЛЕДЫ

Наш прежний дом стоял на правом берегу Ачияксая, а на противоположном — находилось кладбище.

Было то в тяжелые послевоенные годы. Даже волки и шакалы, не находя себе пищи в горах, спускались вниз и до утра бродили по кладбищу, и по ночам доносились их завывания. Я вместе со своими младшими братьями спал на супе[1] под большим тутовым деревом. Заслышав голодный вой волков и плач шакалов, мы от страха теснее прижимались друг к другу и лезли с головой под одеяло.

Теперь от нашего старого дома и следа не осталось. Так как он находился на берегу реки у самого моста, то, когда из города пустили к нам автобус и понадобилось построить остановку, дом пришлось снести. Нам выделили новый участок. Только большое тутовое дерево осталось на прежнем месте как память о тех далеких годах.

Каждый раз, когда приезжаю в кишлак, ноги сами несут меня на то место, где когда-то стоял наш дом. Вот и сейчас, несмотря на непогоду, накрапывает дождь, я, подъехав на машине к остановке, вылез из нее и, спустившись к реке, спрятался под густой кроной того самого тутового дерева, под которым когда-то в детстве спал с братьями. Все вокруг, особенно листья на деревьях, блестело омытое осенним дождем. На улице не видно ни одного прохожего. Да и последний автобус давно отошел от остановки, и, кроме монотонного шуршания дождя о листья и траву, ничего не слышно. Словно оттуда, сверху, с неба, вместе с дождем опускается на кишлак темнота. Особенно беззвучным и печальным казалось кладбище на противоположном берегу. Деревья под дождем осыпали свои листья, покрыв кладбищенские дорожки и холмики могил желтым ковром. Из-за холма показалось четверо мужчин, несущих носилки с телом покойного. Кто же умер, подумал я, и очень удивился, заметив, что за носилками шли всего трое. Может, грудной ребенок, мелькнуло у меня в голове, но носилки вроде бы большие. Даже чужих людей, недавно прибывших в кишлак и не успевших завести друзей и знакомых, хоронит больше людей. Вероятно, испугались дождя, предположил я, но и эта мысль мне самому показалась нелепой. Уж скорее люди откажутся на свадьбу пойти, но проводить в последний путь человека...

Эти семеро, наскоро похоронив покойного, спешно

[1] Глиняное возвышение для лежания или сидения.

прочитали молитву и, оставив носилки у могилы, отряхнув с халатов налипшую грязь, исчезли за холмом так же быстро, как и появились. Спустя немного времени один из них снова вышел из-за холма и направился через мост в мою сторону. Теперь его можно было разглядеть — лицо крупное, мясистое, густые темные брови, тронутая сединой борода. По правде говоря, я этого человека не знал. Вот уж тридцать лет минуло, как я уехал из кишлака. Мужчина, поравнявшись со мной, с любопытством посмотрел на меня, но тоже не узнал, ответив на мое приветствие, старик хотел было пройти мимо.

— Кого хоронили, отец? — остановил я его вопросом.

Старик, насупив сросшиеся брови, поднял на меня глаза и тяжело вздохнул.

— Пиришбая. Мир праху его. Отдали свой долг. Все мы рано или поздно в землю ляжем. А что, вы знали его?!

Я растерянно молчал. И старик, не дождавшись ответа, зашагал вверх по дороге.

Сердце у меня екнуло. Настоящее имя Пиришбая было Бердикул. Впервые я с ним познакомился, когда мне было лет семь или восемь.

С соседскими мальчишками после школы мы ходили в поле собирать колоски. Мать сшила мне небольшой мешок, который я вешал на плечо. Чтобы наполнить его, надо было пройти километров десять до скошенных пшеничных полей. Собирать колосья доставляло нам удовольствие — скошенное пшеничное поле казалось нам голым и бескрайним, и думалось, когда идешь, не будет ему конца. Поля тянулись до самых вершин холмов.

Если для наших матерей мешочек колосьев был поддержкой повседневному существованию, то для нас это была игра. Особенно когда колосок положишь между ладонями и подвигаешь ими, так он как живой поднимается по руке. Порой, забыв про то, зачем мы сюда пришли, сбегая по склонам, мы играли в войну, не замечая наступления темноты. И затем, потряхивая пустыми мешочками, мы возвращались домой, придумывая по дороге оправдание тому, что ничего не собрали.

Пиришбая мы встретили на склоне холма, на берегу Ачияксая в один из погожих дней, когда мы ходили

собирать колосья. Тогда мы не знали, почему его назвали таким странным именем: Пиришбай. Узнали мы об этом потом, в старших классах. Кто-то когда-то из ребят, посмотрев на него, сказал, что тот вылитый «унтер Пришибеев». Так это прозвище и закрепилось за ним, но на свой манер. Все стали звать его «Пиришбаем». Пиришбай был совершенным невеждой в литературе, и, потому, вместо того чтобы обидеться на такое прозвище, он, наоборот, ходил гордый...

Поясные мешочки были почти полны, и мы уже собирались в обратный путь. Как вдруг неожиданно откуда-то снизу, с подножия холма, послышалась грязная ругань. Оттого что стояла тишина, голос этот показался нам настолько грубым, что мы даже опешили. Вслед за этим послышался конский топот, и снизу на лошади пулей вылетел на нас этот самый Пиришбай. Лошадь широко раздувала ноздри и тяжело дышала, взбираясь по крутому склону. Она испуганно таращила глаза и беспокойно шарахалась в сторону, боясь получить плетью.

— Ага, ублюдки! Значит, решили поживиться колхозным добром!

Он сердито хлестал лошадь, направляя ее на нас. Мы все испугались и бросились врассыпную, но далеко ли убежишь на ровном, голом поле?! А он, согнав всех в кучу, угрожающе размахивал над нашими головами плетью.

— Сукины дети! Дармоеды!

Размазывая грязными руками по лицу слезы, мы уже не плакали, а тихонько всхлипывали, ожидая дальнейшей участи. Мы знали, что Пиришбай работает колхозным сторожем, но не понимали, чем же мы провинились и за что он собирается нас наказывать... Он подъехал близко ко мне и взмахнул над моей головой плеткой — словно раскаленным железом ожгло мне ухо и шею. От боли у меня потемнело в глазах, и мне показалось, что на какое-то время я даже потерял сознание. А когда пришел в себя, схватившись за ухо, повалился на землю. Да и друзья мои, присев на корточки и прикрывая голову и лицо руками, плакали и причитали, что больше не будут. Пиришбай соскочил с лошади, отхлестал каждого, отобрал у нас мешочки. Потом, вскочив на коня и со свистом хлестнув по крупу лошади, поскакал вниз в кишлак.

Всю дорогу до дома мы шли и плакали. Когда

я возвратился, отца дома не было. Увидев ободранное в кровь ухо и ссадину на шее, мать заплакала и стала проклинать Пиришбая.

— Только ничего не говори отцу, — сказала она мне, прикладывая к ранам соленую вату, — а то он этому негодяю, боюсь, голову размозжит костылем, и тогда еще ему придется отвечать перед судом. Пиришбай такой. Лучше с ним не связываться.

Когда я учился в третьем классе, Пиришбая посадили. Причину его ареста я не знал, но однажды услышал, как мать говорила соседке:

— Так ему и надо, мошеннику! Слава богу, получил по заслугам! Когда все страдали и мучались в войну, он, бешеная собака, наживался на чужом горе!

Потом я узнал, что когда началась война, Пиришбай якобы, заснув под орешиной, на следующий день онемел, и его не взяли на фронт: видно, кого-то умаслил. Ходил он немым до конца войны. А когда война кончилась, вдруг ангелы во сне вернули ему язык — и он якобы снова заговорил.

Наверное, тогда, когда он бил нас и ругался последними словами, и был тот период, что он «обрел язык»... Потом Пиришбай попался на каком-то темном деле, а тут еще раскрылись и другие его старые преступления, и его осудили на семь лет...

Спустя уже много лет, я тогда учился в городе, приехав на каникулы в кишлак, я встретил его на улице. Поинтересовавшись, я узнал, что, отбыв срок, он слонялся без дела по кишлаку, нигде не работал, пока не устроился помощником чайханщика. И даже потом чего только не натерпелись от него в кишлаке — посыпались повсюду анонимки.

Вот теперь Пиришбай умер. На его могиле лежит камень. Как клеймо, которое прилипает к человеку, этот камень больше не снимается с могилы.

## СОБАКА, КОТОРАЯ ВЫЛА ПО НОЧАМ

Так как дом нашего соседа Ахмада-бува находился на возвышенности, двор и айван[1] его были видны и от нас. Он жил в доме один. Мы слышали, что у него есть племянники, живущие в далеком городе, но никогда их

---

[1] Терраса.

не видели. Ходил старик с палкой, хромая на правую ногу. Но большей частью он целыми днями сидел у своих ворот, продавая табакерки с насом[1]. Часто отец, возвратившись с работы, заглядывал к деду Ахмаду купить табаку. Иногда отец посылал меня — это бывало в те дни, когда он уставал,— Ахмад-бува никогда не спрашивал, сколько мне нужно наса, а, насыпав полный бумажный кулек, протягивал мне. Неизменно у ног старика, положив морду на вытянутые лапы и свернув хвост кольцом, лежала его собака. Турткоз, так звали пса, был черный, и только живот, основания ушей и кончики лап были белыми. И хотя пес дремал целыми днями, заслышав наши шаги, тут же поднимал голову, а узнав меня, вскакивал и встречал, радостно виляя хвостом. Или вдруг начинал бегать вокруг, резвиться, куда-то убегал, что-то вынюхивая в разных углах, или внезапно исчезал в кустах, появляясь так же неожиданно, как пропадал. Всякого, кто приходил к Ахмаду-бува покупать табак, Турткоз встречал приветливо. Я ни разу не слышал, чтоб он рычал или лаял, выражая недовольство, как другие собаки нашего кишлака. Он смотрел на вас такими добрыми и умными глазами, что казалось, вот-вот заговорит. Турткоз, как и все собаки, неожиданно выскакивал на середину дороги, перебегая то на одну, то на другую сторону улицы, и, подняв хвост, как будто у него есть неотложное дело, начинал рыскать по кустам.

Но стоило Ахмаду-бува окликнуть его, как в тот же миг Турткоз словно из-под земли, даже бросив глодать кость, возникал перед хозяином. В этот миг, мне казалось, для Турткоза ничего не существует, кроме голоса своего хозяина.

В жаркие дни Ахмад-бува любил подремать на овечьей шкуре в тени большого тутового дерева, росшего перед домом. И Турткоз, подражая хозяину, тоже растягивался на густой, зеленой траве на берегу арыка. Но стоило кому-нибудь окликнуть Ахмада-бува или Ахмаду-бува проснуться, как Турткоз тут же вскакивал, подняв уши и повернув голову набок, готовый выполнить любую команду хозяина. Порой, не в силах сдержать своей радости, он начинал скакать вокруг Ахмада-бува или, ласкаясь, терся о его здоровую ногу. И было мне непонятно, как собака чувствовала и пони-

[1] Особый табак, закладываемый под язык.

мала своего хозяина даже без слов, с одного только взгляда или незаметного движения рукой.

Обо всем этом я вспомнил после смерти Ахмада-бува. До этого я вообще не обращал на Турткоза никакого внимания. Подумаешь, собака как собака!

Ахмад-бува скончался неожиданно. Вроде особенно и не болел. Было это зимой. Соседи, жители кишлака, решили хоронить его после полудня. Вся наша семья во главе с отцом с утра были в доме своего соседа, помогали организовывать поминки. В комнату, где лежал Ахмад-бува, я не входил — боялся покойников. Я таскал дрова из хлева на кухню, носил из арыка воду для мытья посуды, убрал валявшиеся во дворе сухие ветки, старый кетмень без рукоятки, обгрызенный веник. Турткоз все это время ходил вокруг меня. Временами он начинал так жалобно скулить, дрожа всем телом, что мне становилось жалко его. Турткоз смотрел на меня такими жалкими и жалобными глазами, словно просил дать ему поесть. Я сунул руку в карман и, вытащив краюху хлеба, сказал: «На, Турткоз!» Собака сначала как-то странно съежилась и, поджав хвост, отскочила в сторону. Вероятно, решила, что я брошу в нее камень. Потом, увидев, что я протягиваю хлеб, осторожно подошла ко мне. Оглядываясь, словно у нее могли отнять этот кусок другие собаки, поспешно стала есть, а доев, облизнувшись, снова уставилась на меня...

Никто из родных Ахмада-бува на похороны не приехал, и потому я в чапане, подпоясанный кушаком, шел впереди носилок, на которых лежал Ахмад-бува. «Дедушка любил тебя,— сказал мне отец.— Мирахмад, из твоего малыша выйдет толк, говаривал мне он. Огонь-парень! Твой пострел, вот увидишь, настоящим человеком станет. Считай, что получил его благословение. Дай бог, чтоб ты тоже дожил до его годов!»

Отец нежно погладил меня по голове.

Хоть никого из родных на похоронах Ахмада-бува не было, провожать его в последний путь, несмотря на лютый мороз, вышли все односельчане. Впереди бежал Турткоз, за ним шел я. Правда, по дороге на кладбище Турткоз то убегал вперед, то отставал от траурной процессии. А на кладбище Турткоз молча наблюдал со стороны, как Ахмада-бува опускают в могилу, как люди бросают горстями землю туда, а затем — как закидали ее кетменями и выложили небольшой холмик.

Мулла прочитал молитву, и все стали расходиться.

Оглянувшись, я увидел, что собака осталась возле могилы. «Турткоз! Турткоз!» — позвал я ее. Она подбежала ко мне и долгое время шла рядом. Потом вдруг задрала хвост, подняв голову, посмотрела туда, где остался хозяин, и побежала обратно. Сколько я ей ни кричал, она не обернулась.

Отец положил мне на плечи обветренные на морозе руки.

— Не огорчайся, сынок. Турткоз скоро вернется!

А кто-то из взрослых сказал: «Верные собаки от тоски умирают!»

Даже когда вернулись домой, я все никак не мог успокоиться, по нескольку раз выходил во двор — появился ли Турткоз. Но собаки нигде не было видно.

В ту ночь я долго не мог заснуть, лежал и думал о Турткозе. И вдруг с улицы донесся протяжный вой. От страха я накрылся одеялом с головой. Даже крепко уснувший отец проснулся от этого жуткого воя и долго прислушивался к нему. А вой все усиливался, доносясь из темноты окна, и от этого мне становилось еще страшнее.

«Уж не волки ли?» — предположил отец, прислушиваясь к завыванию. Потом встал и, накинув чапан, сходил осмотреть хлев. Как только он вернулся и прикрыл за собой дверь, с улицы снова послышалось завывание. Отец, сердитый и недовольный, опять вышел во двор. Я тихонько выскользнул вслед за ним. Было морозно, но ясно. В небе ярко сверкали звезды, и от их света вокруг было светло. И вдруг, нарушив ночную тишину, со стороны дома Ахмада-бува донесся собачий вой. Взобравшись на крышу сарая и задрав морду кверху, выл Турткоз. «Турткоз! Турткоз!» — сердито позвал отец. Собака вмиг вскочила с места, подползла к краю крыши, сверкнув в темноте глазами, и с шумом скатилась вместе с сугробом во двор Ахмада-бува. «А-а, это Турткоз!» — успокоился отец, и мы пошли домой. Не успели мы войти в дом, как с улицы вновь послышалось завывание Турткоза. Всю ночь Турткоз выл волком, не давая никому заснуть.

И так продолжалось много ночей. Со временем этот вой перестал нас беспокоить — мы привыкли к нему и не обращали внимания, а может, она действительно перестала выть. Собака растолстела и разленилась — целыми днями лежала во дворе, а все соседи, жалея ее, несли ей еду. Но все же порой со двора Ахмада-бува

доносилось тоскливое завывание Турткоза. Через полгода собака исчезла: умерла она или ушла бродяжничать, никто не знал. Только каждый раз, вспоминая Ахмада-бува, мы добрым словом вспоминали и Турткоза.

## ДЕТСТВО

Прошел дождь, выглянуло солнце, и подувший легкий ветерок слегка просушил землю.

Алишер не смог усидеть дома,— надев еще не просохшие сапожки, спустился во двор и палкой стал счищать налипшую на подошву грязь. Да и проевшая мне все уши своим тарахтеньем дочь ушла с матерью на базар. Я остался дома один. Был выходной день, и я не спеша побрился. Пока я обтер лицо одеколоном, обмахивался полотенцем, чтоб не щипало, заметил, что Алишер исчез со двора. Наверное, вышел на улицу, подумал я и продолжал заниматься своим делом.

Когда я, промыв станок и лезвие, укладывал все в коробочку, с улицы донесся чей-то пронзительный крик и скрип тормозов машины. Я беспокойно выглянул в окно — Алишера нет. И сам не заметил, как стремглав вылетел на улицу, босиком, с расстегнутыми пуговицами рубахи. Большой самосвал одним боком съехал в арык, и через его борт с шуршанием стекал в воду песок. Вокруг уже собралась толпа. Но среди них Алишера не видно. Я подлетел, растолкав людей, пробрался ближе к машине — рядом с самосвалом стоит бледный, руки в масле, водитель и растерянно качает головой. «Слава богу, никого не задавил!» — первое, что мелькнуло у меня в голове. От страха, что что-нибудь могло случиться с Алишером, я никак не мог успокоиться. А водитель, уже немного пришедший в себя, раздраженно отвечал на вопросы любопытных.

— Ну что вы тут собрались, как на зрелище какое! Одним горе — другим смех. Да разойдитесь вы наконец. Ну просто бог меня миловал. Расходитесь, расходитесь, что вы все уставились, как в цирке?!

Все еще не в силах унять свое волнение, я огляделся. Алишер стоял, прислонившись к столбу, возле дома и молча наблюдал за происходящим. Как это я сразу не заметил его. Сам толком не пойму, почему я подскочил к нему и, резко дернув за руку, потащил домой. Он удивленно взглянул на меня — и, кажется, действитель-

но руке было больно — вдруг заревел. И потом, когда я привел его во двор, он все еще продолжал плакать. А когда с базара пришла мать, так он вовсе зарыдал в голос...

Он целый день дулся на меня. А мне, честно говоря, было перед ним стыдно за то, что я не смог себя сдержать. Совсем потерял голову. Обидел Алишера ни за что перед всеми...

Вечером за ужином, я, поглядев на него, подмигнул матери.

— Сегодня мы с Алишером вместе будем спать. Я обещал ему перед сном рассказать сказку.

Говорю, а сам не отрываю от него взгляда. Алишер никак не отреагировал на мои слова. Поев, встал и ушел в другую комнату. А когда я укладывался спать, он — видно уговорила мать — тихонько вошел в комнату и встал у изголовья. Я тихонько приподнял одеяло, и он молча шмыгнул ко мне в постель. Я, как обещал, стал рассказывать ему сказку. Спустя полчаса Алишер уже сопел, положив голову мне на плечо.

Но сам я никак не мог заснуть.

...Когда я был в таком же возрасте, как Алишер, мы жили в районе. Отец работал в колхозе поливальщиком. Как-то он прискакал с работы раньше обычного на бригадирской лошади. Увидев отца, я испугался — он был весь мокрый, точнее, взмыленный, от напряжения сильно вздулись вены на руках и даже на шее. Отец со стоном сполз с седла, привязал лошадь к столбу, потом, бросив мне на ходу, чтоб сверху с крыши принес скотине сена, держась за поясницу, заковылял домой.

Поднявшись на крышу, я сбросил вниз большую охапку сена. Лошадь стригла ушами и с удовольствием жевала сено. Я же, любуясь ею, тихонько гладил шею, сдирал с гривы налипшие верблюжьи колючки. Очевидно, это нравилось лошади, и она, не обращая на меня внимания, продолжала жевать.

Войдя через некоторое время в дом, я увидел, что отец лежит на кровати и мать суетится возле него, прикладывая к его лбу мокрое полотенце. Рядом на столе стоит пиала с айраном. При виде меня отец оживился.

— Чуть позже, когда дядя Мирхосил вернется с работы, отведешь к нему лошадь, хорошо? — сказал он, стиснув зубы, и застонал.— Знаешь нашего бригадира, того, что живет в Каракие.

«Эх, на лошади прокачусь!» — обрадовался я. Отец это сразу заметил и, нахмурившись, добавил:

— Только не верхом. Отведешь за уздцы. Лошадь упрямая, может сбросить.

Испугавшись, что отец может передумать, я поспешно согласился.

Отец погрозил мне пальцем — смотри у меня! — и закрыл глаза. Я вышел во двор. Отвязав скотину, я стал обхаживать ее со всех сторон. Мама вышла следом.

— Отец строго-настрого наказал не садиться верхом, — сказала она, заметив, что я собираюсь седлать ее. — Разные бывают лошади, глупенький! Не вздумай садиться верхом, еще сбросит!

Чтобы не расстраивать мать, я молча взял лошадь за уздцы и повел со двора. Отойдя на порядочное расстояние от дома, я оглянулся — не следит ли кто за мной. Каждый раз, когда я видел лошадь, все внутри меня переворачивалось. Мне так хотелось промчаться на ней верхом по кишлаку. «А сейчас такая лошадь попалась мне в руки, а я, как дурак, веду ее под уздцы», — ругаю себя. Озираясь по сторонам, я споткнулся о булыжник и упал, до крови ободрав себе большой палец правой ноги. Взвизгнув от боли, я нечаянно резко дернул за уздечку, так что лошадь испуганно шарахнулась в сторону, оставив в руках моих удила. Пока я, присев на землю, присыпал палец пылью, чтобы остановить кровь, лошадь недовольно фыркала в стороне.

Когда боль успокоилась, я встал и, подойдя к лошади, обнял ее за шею и нежно погладил. Она не дергалась и не вырывалась из моих рук. Тогда я погладил ее по крупу — от удовольствия она замахала длинным хвостом, задевая мне лицо. И тут я вспомнил, что забыл ей надеть удила. Я поднес к ней уздечку, и лошадь по привычке подставила морду. Я попытался вдеть ноги в стремена, но ничего не выходило — они были высоко и достать я их никак не мог. Осмотревшись, я заметил на дороге большой камень. Как это я сразу не догадался вспрыгнуть с него на лошадь. Лошадь резко дернулась с места, и я чуть было не свалился с нее. С испуга я натянул уздечку, и она остановилась как вкопанная и затем попятилась назад. Я ослабил уздечку, и лошадь тронулась с места. Дорога к дому бригадира пролегала через большое пшеничное поле. Мне захотелось пустить лошадь вскачь, и я с силой при-

шпорил коня, и он ветром полетел по полю. Я даже не заметил, как домчался до дома дяди Мирхосила. А мне так хотелось еще покататься. Я повернул обратно, и лошадь, почувствовав свой дом, нехотя повернула назад.

Увлекшись скачками, я и не заметил, как стемнело. И тут, вспомнив о наказе отца, я поспешил отвести лошадь. От быстрой езды лошадь была вся в мыле и блестела, как будто ее выкупали. Подъехав к дому, я покричал дядю Мирхосила. Бригадир вышел и, увидев меня на взмыленной лошади, очень рассердился.

— Вот проказник, совсем замучил скотину,— сказал он, хлопая ладонью по крупу лошади.— Скажи спасибо, что не унесла. Твои небось уже десять раз родили, тебя ожидаючи. Иди скорее домой.

Сойдя с лошади, я помчался домой. Бежал и думал, что я отвечу отцу, если он спросит, почему я так припозднился. Отец был человеком сердитым. Правда, до сих пор он меня и пальцем не тронул, но я его все равно боялся.

Я еще издали заметил, что кто-то сидит у наших ворот. Подойдя ближе, я узнал в сидящем человеке своего отца, и ноги у меня задрожали, но, стараясь не выдать волнения, я уверенно шел к дому. А когда до него оставалось несколько шагов, от страха я начал, заикаясь, объяснять отцу, что задержался, потому что лошадь паслась на клеверном поле и мне с трудом удалось довести ее до хозяина.

— Кто же был дома? — сердито спросил отец.

— Дядя Мирхосил.

— Так где ж ты пропадал до сих пор, негодник?

Не успел я сказать, как было дело, отец, крепко схватив меня за запястье, завел во двор, проходя мимо пруда, сорвал свободной рукой длинный ивовый прут и хлестнул по моим голым ногам. Ноги словно огнем обожгло. Тряхнув меня так, что я заревел от боли, он усадил меня на айване, а сам ушел в дом. Я услышал, как он тяжело плюхнулся на кровать. Мать молча отвела меня на кухню, умыла лицо, руки и, прижав мою голову к груди, стала успокаивать. Я все еще ревел, и лицо мое распухло от слез. Когда я притих, мама тоже упрекнула меня:

— Сказали же тебе: скорее возвращайся! Пожалел бы больного отца! Он, бедняга, от волнения места себе не находил!

Но мать не убедила меня. Я тогда не понимал, что родительская любовь может выражаться так жестоко. Я долго сердился на него, несмотря на то что на следующий день он разговаривал со мной ласково... И понял это теперь, когда стал взрослым.

## СОСЕДКА

Возвратившись почти из месячной командировки, я не застал дома ни сына, ни дочь — уехали в пионерский лагерь. После долгой разлуки уж очень мне захотелось их увидеть, и я решил в этот же день съездить к ним. Недолго думая я сел в машину и взял курс прямо на Акташ, небольшой горный кишлак под Ташкентом. Когда я добрался до моста через реку Чирчик, солнце уже склонилось за горы и на лежащий в низине поселок Газалкент опустились сумерки. У поворота на мост со стороны поселка навстречу мне с просьбой остановиться выбежала женщина. Я притормозил и приоткрыл заднюю дверцу. Женщина, запыхавшись от бега, тяжело опустилась на заднее сиденье и стала благодарить за мою любезность, заметив при этом, что в столь поздний час вряд ли бы она дождалась автобуса. Когда я повернулся к ней, она вдруг осеклась и лицо ее от удивления вытянулось. Я тоже узнал ее. Но так как она тут же собралась и не показала виду, что меня знает, я тоже не решился напомнить ей о себе. Я тронулся с места, и она тихим голосом спросила:

— Вы в сторону Сайлика едете?

— Да...

Потом большую часть пути она молчала. Ни с того ни с сего между нами возникла какая-то неловкость, хотя ничего такого, что могло создать такое отношение, между нами не было. Просто порой человек, оказавшись в непредвиденной ситуации, начинает теряться. Дело в том, что несколько лет назад мы с Айнисой, так звали мою попутчицу, были соседями... По дороге я так и не решился заговорить с ней, то ли не позволяла мужская гордость, то ли оттого, что давно ее не видел. Я чувствовал себя чем-то виноватым перед ней. Айниса тоже молчала. Только когда въезжали в кишлак, она попросила остановить машину у нового, не-

давно построенного дома и, вылезая из машины, стала рыться в карманах. Я, улыбнувшись, сказал, что мне было очень приятно подвезти свою старую знакомую. В ответ Айниса тоже улыбнулась, обнажив белые, как жемчуг, зубы.

— Может быть, заглянете к нам в гости,— предложила она искренне, перед тем как захлопнуть дверцу.

Поблагодарив за гостеприимство, я двинулся дальше в путь. Отъезжая, в зеркало заднего вида я заметил, как Айниса, прежде чем войти в калитку, остановилась и долго смотрела мне вслед.

...Как я уже упоминал, Айниса была моей соседкой. Дома наши стояли рядом, не разделенные высоким забором, как отгораживаются ныне соседи друг от друга. Нас разделял только небольшой заборчик из низкорослых кустарников. Виноградные лозы цеплялись за кустарник и росшие рядом деревья, поднимались по веткам вверх, а осенью большие гроздья винограда, свисавшие сверху, можно было срывать что с их, что с нашей стороны. Айниса была ровесницей моей младшей сестры. Они целыми днями бегали вместе по двору, играя в разные игры или в куклы. Мы же, мальчишки чуть постарше, все время мешали им играть, то и дело обижая их. Помню, я часто обижал Айнису, дергая ее за мелкие длинные косички, похожие на мышиные хвостики. Потом я пошел в школу, а когда я перешел в четвертый, Айниса вместе с моей сестрой пошли в первый класс.

Шли годы, и однажды, кажется, когда девочки учились в седьмом, их должны были принимать в комсомол, я вдруг, увидев Айнису, приятно удивился. Точнее, я удивился, увидев ее фотокарточку. За несколько дней до этого Айниса с сестрой ездили в район фотографироваться на комсомольские билеты. И когда на столе у своей сестры нашел фотокарточку Айнисы, я не узнал ее — от прежней Айнисы с короткими косичками и детским выражением лица не осталось и следа — на меня смотрела красивая девушка с пухлыми щечками, длинные косы уложены венком на голове, а глаза под тоненькими бровями улыбались, и пухлые губки придавали лицу особое очарование. «Неужели та самая Айниса?!»

Не знаю, заметила ли она, что я стал посматривать на нее совсем по-другому, или нет, но к нам Айниса стала захаживать реже, и особенно в те дни, когда

я бывал дома. Словно сторонилась меня. Окончив школу, я подал документы в Ташкентский университет...

Назавтра я должен был сдавать экзамен. Лежа в тени виноградника, я готовился к первому в своей жизни испытанию. И в это время со стороны соседского двора послышался знакомый голос, грохот упавшего на землю ведра. Когда я поднял взгляд, то увидел Айнису, уставившуюся на меня и вытиравшую руку полотенцем. Я тут же, сделав вид, что не заметил, тупо уставился в книгу. Спустя какое-то время я услышал совсем рядом за кустарником шаркающие шаги и почувствовал, что кто-то следит за мной. Я оторвал взгляд от книги — сквозь ветви кустарника я заметил Айнису, она лукаво глядела на меня.

— Учиться едете, Джаббар-ака? — спросила она упавшим голосом и тяжело вздохнула.

— Да, завтра первый экзамен.

Айниса молча кивнула, как бы соглашаясь, и с гроздью винограда в зубах направилась на кухню. Мне показалось, что она хотела что-то сказать, но постеснялась, так и ушла...

Был я уже на четвертом курсе, когда однажды, приехав домой на каникулы, узнал, что Айниса вышла замуж за сына колхозного бухгалтера. Почему-то в ту ночь я не мог заснуть.

Айниса, прячась за высоким кустарником, хотела сказать мне что-то важное. Интересно, что она тогда хотела сказать? Что же хотела сказать?! Это все еще для меня загадка...

Сейчас, гоня машину в Акташ, я думал о том, сколько у человека мыслей, дум, остаются невысказанными. Это даже здорово, что есть такие тайны! И в молодости, и в старости ты все живешь догадкой «что же это такое?», интересами и волнением тех дней. К чему-то стремишься. А раз есть стремление, что-то находишь, что-то теряешь. Без тайн, без каких-либо неисполненных желаний жизнь неинтересна. Тайна, неисполненная мечта постоянно вселяют в тебя надежду, заставляют жить...

Возвращаясь после свидания с сыном и дочерью и проезжая мимо тех двустворчатых ворот, я притормозил машину. Ворота были широко распахнуты. Двор ярко освещен электричеством. Крепкого сложения парень в майке, опершись на рукоятку кетменя, улы-

баясь, что-то говорил Айнисе. Айниса же из резинового шланга поливала кустики роз.

«Будь счастлива, соседка!» — сказал я, проезжая мимо.

## УПРЯМЫЙ МУХАММАД

Был он долговязым, а крупная голова сидела на такой длинной шее, что казалось порой, будто существует она самостоятельно, независимо от этого долговязого тела. Голубые глаза на худощавом лице глядели смело и — некоторые полагали — вызывающе.

Правая рука существовала, как видно, у него специально для поглаживания усов. Когда же Мухаммад сердился, — э, тут не попадайся на глаза и сам председатель. И хотя люди обращаются к нему уважительно — «Мухаммад-ака», за глаза непременно скажут: «Упрямый Мухаммад! Ох же и упрямый!»

На перекрестке дорог, под раскидистой старой чинарой, стоит уютная чайхана. Седобородый Ибрагим-ака угостит вас ароматным чаем, а будет в хорошем настроении — расскажет и удивительные истории про упрямого Мухаммада.

### Дома

...И надо же было случиться, чтобы упрямца этого назначили бригадиром. Нет, конечно, сам по себе он парень неплохой и худого про него не скажешь, но уж больно резок. Некоторым это не нравится. Я говорю — «некоторым», а попробуйте спросить его жену! Мы с Саломатхон соседи. Так, верите, прибежала женщина к нам недавно вся в слезах. И что же, вы думаете, случилось?

...Ранним утром муж с женой пили чай. Все было как будто тихо-мирно. Муж читал газету и опустошал пиалу за пиалой, жена старательно подливала ему чай, пододвигала свежие сливки, мягкие лепешки. Но когда Мухаммад оказался у порога, чтобы отправиться в поле, Саломатхон неожиданно заявила:

— Остаюсь сегодня дома. — И ударилась в причитания: — Вы только посмотрите, на кого я стала похожа. Это что — женская голова?! — Саломат что было сил

дернула себя за косы.— А это? Может быть, скажете, это похоже на женские руки?! — И она сунула мужу под нос свои огрубевшие, обветренные ладони.

— Эй, женщина, да ты, наверное, с ума сошла! — вскричал Мухаммад.

Он никак не ожидал такого и поначалу растерялся. Но затем в прищуренных глазах появилось то самое выражение, за которое и прозвали его упрямым.

— Что же требовать от других, когда собственная жена так поступает! О аллах! В такое-то горячее время захотелось ей красоваться! Да если хочешь знать, только такой ты мне и нравишься. Слышишь, немедленно выходи на работу!..

Но Саломат весь день провела дома, «приводя себя в порядок».

А вечером Мухаммад вернулся мрачнее тучи. На принарядившуюся жену и взгляда не бросил. Сидел за столом, не отвечая на расспросы, лишь нервно покручивал усы. У Саломат упало сердце. Три дня смотрела она преданно на мужа, три дня говорила ласковые слова. Мухаммад молчал. Наконец нервы ее не выдержали, и она в слезах отправилась к соседям — помирите, дескать, с мужем.

Вот такие дела, уважаемый! Может быть, скажете после этого, что не упрямый он человек?!

## На собрании

А до чего злой язык у Мухаммада! Лучше не попадайся, не приведи аллах! Ни с кем не посчитается.

Состоялось у нас недавно по случаю приезда комиссии из района собрание. Обсуждались вопросы уборочной. Бурным было это обсуждение — кого хвалят, кого ругают. В кишлаке у нас все, от мала до стара, о гордости нашей — хлопке — заботу проявляют. Однако не каждый может в поле выйти. Вот, к примеру, бухгалтер, Шоислом-ака. Он, конечно, человек здоровья отменного, на хирмане ох как бы пригодился! Да ведь ему, бедному, столько на счетах щелкать приходится, устает за день. Вот сидел-сидел бухгалтер на собрании да и заснул.

Мухаммад, увидев это, поднял руку. В президиуме решили, что бригадир хочет что-то важное сообщить.

— В давние времена жил-был лентяй,— начал Му-

хаммад неожиданно. Все так и замерли от удивления. Он же неспешно разгладил усы и продолжал, не обращая ни на кого внимания: — Только и знал этот лентяй, что целыми днями спал, даже поесть сам не вставал — будить приходилось. Однажды, проспав подряд две ночи и два дня, еле продрал глаза и тут же с сожалением подумал: «Эх, вот если бы мог человек раздваиваться. Тогда бы один постоянно спал, а другой — бодрствовал и ел...» К чему я рассказал вам эту шутку? — даже не улыбнувшись, заключил Мухаммад. — Если мы боремся за выполнение плана, поступаясь своим отдыхом, а зачастую и сном, то бухгалтер наш — дай аллах вам, Шоислом-ака, здоровья! — не только ночью безмятежно спит, но и на ответственном собрании прихватывает...

Э, уважаемый, вы и представить не можете, какой хохот поднялся в зале. Особенно смеялись наши районные гости. Глядя на заспанного Шоислома-ака, они покатывались со смеху. Вот так и обесславил почтенного человека упрямый Мухаммад.

## На хирмане

Произошло это в прошлый понедельник. Да, в тот день из района приехал парнишка — привез плакаты, которые нужно было расклеить на бригадных станах. Председатель заглянул ко мне в чайхану, отдал несколько плакатов и попросил: «Отнеси-ка упрямому Мухаммаду».

Подходя к хирману, я услышал, что бригадир с табельщиком ссорятся. Вернее, Мухаммад отчитывает почем зря нерасторопного своего помощника. Чтобы хоть как-то охладить разошедшегося бригадира, я поспешно протянул ему плакаты:

— Слушай, неугомонный, вот тут раис кое-что прислал тебе. Распишись-ка в получении.

— Что это? — Мухаммад недовольно обернулся...

— Плакаты, кажется. Заботится о тебе раис... Однако ж и горазд ты бушевать, Мухаммад.

Бригадир бросил на меня сердитый взгляд, развернул плакаты, осмотрел внимательно и вновь скатал в трубочку.

— Возьми бумагу обратно, не нужна она нам. Мало от бумаги толку! Так где, говоришь, расписаться?

Я неохотно протянул листок. Мухаммад достал из нагрудного кармана карандаш и вкривь и вкось принялся писать.

С не очень-то веселым настроением возвратился я в правление, очень уж нелюбезно обошелся со мной бригадир.

— Держи, раис,— и я положил перед председателем плакаты и вчетверо сложенный листок.

Раис небрежно развернул «расписку», и вдруг пошли по лицу его красные пятна.

— Ну что за упрямый человек! — сказал он в сердцах.

Вечером, в чайхане, из разговоров я узнал, что именно нацарапал Мухаммад вместо расписки.

«Лучше бы ты, раис, шийпан[1] починил, не сегодня завтра рухнет он. Небезопасно здесь плакаты развешивать».

А ведь пронял-таки упрямец раиса — починили ему шийпан.

## В дороге

А вот что недавно Содик рассказал, шофер наш колхозный. Как-то вечером, погрузив последнюю за день партию хлопка на машину, отправились они в путь. Спешили, так как время было позднее — до закрытия приемного пункта оставалось немного. Настроение у них с бригадиром было отличное, очень уж удачный день выдался — дневной сбор намного превысил норму.

Когда резко прозвучал милицейский свисток, Содик и бригадир и предположить не могли, что это к ним относится. Но молодой, с пухлыми румяными щеками, милиционер решительно остановил машину, приказал Содику выйти из кабины и с преувеличенным вниманием принялся осматривать кузов — по правилам ли закреплен груз. Мухаммад был человеком дотошным, уж если что-то сделает, трудно придраться. Однако румяный сделал вид, что изъян таки имеется. С важным видом потребовал у Содика «права» и так тщательно изучал книжицу, так долго вертел ее и так и эдак, что бригадир засомневался — да умеет ли он читать. Нако-

---

[1] Полевой стан.

нец молодой блюститель порядка изобразил на лице великодушие, протянул шоферу «права» и объявил:

— Ладно, на этот раз прощаю. Но! Отвези-ка ты меня, брат, в соседний колхоз, дело у меня там.

Содик так и ахнул:

— В соседний колхоз! Да ведь скоро приемный пункт закрывается. Куда мы с хлопком денемся?

Но никакие доводы румяный и слушать не хотел.

И тогда Мухаммад, который уже давно сидел бледный от злости, как всегда неспешно разгладил усы и тихо проговорил:

— Что ж, уважаемый, садись, подбросим тебя до места.

И как только еще более зарумянившийся от сознания своей значимости милиционер оказался в кабине, бригадир зло бросил Содику:

— К начальнику милиции!

Уверенный в себе сержант вдруг сник. Он стал умолять Мухаммада не делать этого, вспомнил даже про детей своих малых. А что ж, вы думаете, упрямец? Как сказал, так и сделал.

...А видать, здорово всыпали этому сержантику, если он еще раз к Мухаммаду приезжал, прощения просил...

Вот такой уж он человек, упрямый Мухаммад. Рассказывать про него можно долго. Да лучше самому с ним познакомиться. Правда, предупреждаю вас честно, уважаемый: осторожней — уж очень несдержан он.

Узнав дорогу у Ибрагима-ата, берегом реки я шагал в бригаду Мухаммада.

Бригадир принимал на хирмане хлопок. Холодно поздоровавшись со мной, он продолжал свое дело.

Я сказал, что хотел бы написать о нем,— Мухаммад и бровью не повел. Наконец они с учетчиком вытряхнули последний канар — большой мешок, и бригадир обернулся ко мне:

— Вот что, дорогой, лучше о передовиках пиши.

— Как о передовиках?! — опешил я.— Да ведь сам председатель рекомендовал вашу бригаду как лучшую...

Мухаммад прищурил голубые глаза, удовлетворенно разгладил усы и улыбнулся каким-то своим мыслям.

— Как лучшую, говоришь?..

Но вдруг взгляд его вновь стал холодным, и он резко проговорил:

— Не люблю, когда преждевременно о победах трубят. Верно, сейчас мы первые в колхозе, но работы еще много. А вот когда план выполним, тогда — добро пожаловать, приходите...

С чувством обиды возвращался я из бригады Мухаммада. До чего же бесцеремонный человек — взял да и выпроводил ни с чем. Вот уж действительно — упрямый.

А все-таки рано или поздно, решился я, напишу про Мухаммада — человека, которому до всего есть дело.

## СОДЕРЖАНИЕ

**Усманов У.**

**У 75** Ожидание: Роман, рассказы. Пер. с узб. — М., Советский писатель, 1986. — 464 с.

Узбекский прозаик Уктам Усманов известен широкому кругу читателей своим романом «Наедине», изданным на русском языке в 1983 году и вошедшим в эту книгу.

В своей новой книге, в которую вошли также и рассказы, написанные за последние годы, автор ставит острые нравственные проблемы. Его рассказы — это доверительный разговор с читателем о виденном и пережитом.

$У \frac{4702570200-157}{083(02)-86}$ 354—86 **ББК 84.Уз7**

УКТАМ ИБРАГИМОВИЧ УСМАНОВ

**ОЖИДАНИЕ**

М., «Советский писатель», 1986, 464 с.
План выпуска 1986 г. № 354

Редактор *Л. М. Анисов*
Худож. редактор *А. В. Еремин*
Техн. редактор *С. Л. Шереметьева*
Корректор *И. И. Мороз*

ИБ № 5023

Сдано в набор 04.11.85. Подписано к печати 28.03.86. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура Джилл Санс. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,36. Уч.-изд. л. 25,53. Тираж 100 000 экз. Заказ № 140. Цена 1 р. 90 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» им. А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

л.,

гу
ке

н-
ы.
и

з7

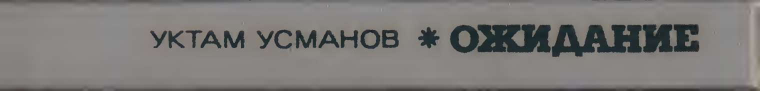
га
л.
ов
11.
ни
р»
СР
д,





1 р. 90 к.




УКТАМ УСМАНОВ * ОЖИДАНИЕ